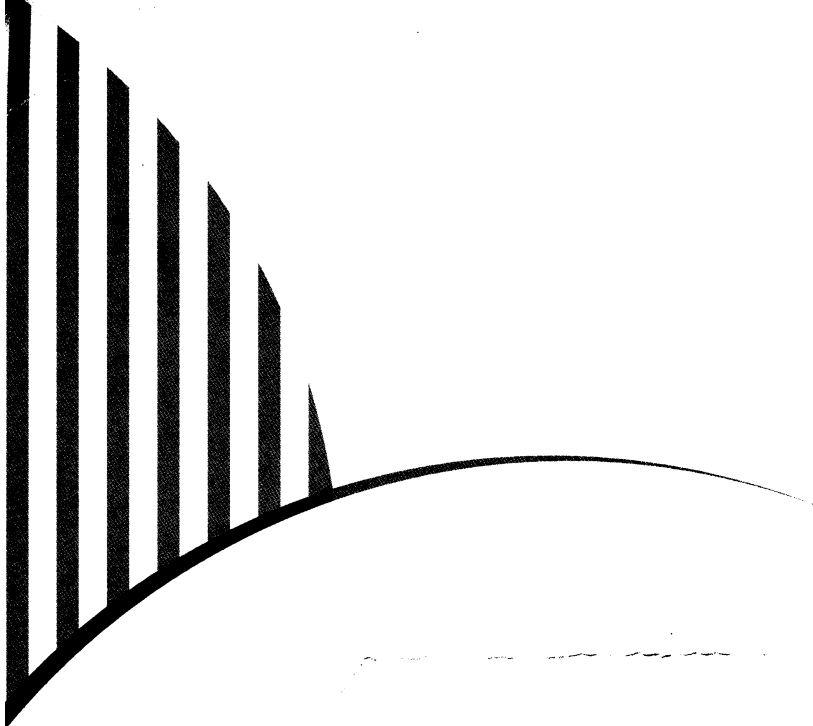


Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • № 17 ОКТЯБРЬ 2006 • ИЕРУСАЛИМ

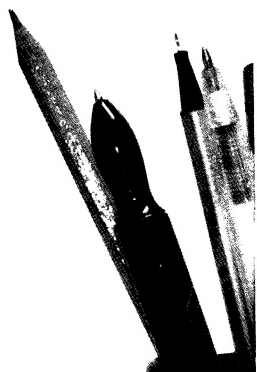
- АВРААМ Б. ИОШУА. Смерть и возвращение Юлии Рогаевой
- ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ. «Наташа»
- ЗЕЭВ САНДЛЕР. Подлинная история «мастера» и «Маргариты»
- MARTIN ван КРЕВЕЛЬД. Война была необходима
- ЭХУД ЯААРИ. Новый Ближний Восток
- МИХАЭЛЬ ДОРФМАН. Пурим в новом свете. Посиделки с Талмудом





העמודה לקליטת עליה בחיפה
רח' ל. סני 20 תל אביב 33541
תל אביב

8720



ספר זה הוענק ע"י
המשרד לקליטת עליה
ועיריית חיפה



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№17

ОКТАБРЬ 2006
ИЕРУСАЛИМ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3** Авраам Б. Иошуа. Смерть и возвращение Юлии Рогаевой
59 Леонид Гиршович. «Наташа»
94 Владимир Грубман. Цфат

НАД ТЕКСТОМ

- 101** Зезв Сандлер. Подлинная история «мастера» и «Маргариты»
117 Михаэль Дорфман. Пурим в новом свете. Посиделки с Талмудом

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

- 143** Мартин ван Кревельд. Война была необходима
158 Эхуд Яаари. Новый Ближний Восток
174 Александр Кустарев. Терроризм и война
185 Виктор Вольский. Дух Еврабии
191 Александр Мелихов. Толерантность – нужда или добродетель? Смех и грех
217 Владимир Фрумкин. Дна все еще не видеть...

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

- 223** Бенедикт Сарнов. Салон Лили Брик
245 Владимир Фрумкин. Соловьи, соловьи...

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА... (дайджест)

- 252** Петр Горелик. Незадолго до Холокоста
261 Павел Полян. Недостающее звено в предыстории Холокоста
278 Евгений Трифонов. Бой с тенью
284 Галина Аккерман. «Али-Баба» и база данных
292 Тамара Замятина. «Путин – совершенно не русский тип политика»
299 Александр Кабаков. Идущие против
305 Марк Кушнирович. Нацистский Леонардо
311 Лев Усыскин. Как русский еврей спас Индию дважды
315 Аркадий Бабченко. Оппонент Сталина
321 Валерий Абрамкин. Зона
333 Анна Политковская. Больная собака в большом городе
337 Сергей Баймухаметов. Белый миф и черный миф
345 Александр Волков. В поисках живой воды

ISSN 1565-5318

ЛИТЕРАТУРА



один из ведущих израильских писателей старшего поколения, в свое время сыгравший революционную роль в освобождении израильской литературы от схематизма коллективистской идеологии, автор многочисленных рассказов («Затянувшееся молчание поэта», «Три дня и мальчик» и т. п.) и романов («Любовник», «Господин Мани», «Возвращение из Индии», «Освобождающая невеста» и др.); в переводах на русский язык появились сборник «Рассказы», а также романы «Господин Мани», «Путешествие на край тысячелетий» и «Молхо». Живет в Израиле.

СМЕРТЬ И ВОЗВРАЩЕНИЕ ЮЛИИ РОГАЕВОЙ*

Глава первая

Такого исхода своей миссии он никак не ожидал. И сейчас, когда ему перевели поразительную просьбу этой старухи в монашеском одеянии, что стояла у костра, догоравшего в сероватых сумерках рассвета, он ощутил непривычное волнение. Иерусалим, этот привычный, старый, измученный город, который он покинул всего лишь неделю назад, вдруг снова показался ему каким-то необыкновенно значительным и важным, как, бывало, в давние детские годы.

И подумать только, ведь вся эта миссия выросла поначалу из сущей мелочи, из ничтожного бюрократического недосмотра, да и недосмотр этот — после того как редактор газеты вовремя предупредил хозяина пекарни — вполне можно было еще заглазить: послать, например, в газету более или менее убедительное разъяснение сути дела и приложить к нему, если уж на то пошло, краткое заверение в сочувствии. Но нет — Старик, человек упря-

* Новый роман ведущего израильского писателя А.-Б. Иошуа «Миссия руководителя отдела кадров» уже переведен на английский, немецкий и некоторые другие европейские языки; наш журнал предлагает вниманию читателей первую часть этого увлекательного романа.

мый и жесткий, так испугался за свою репутацию, что простое извинение, которое могло бы разом со всем покончить, показалось ему недостаточным, и он потребовал – от всех без исключения, как от себя, так и от своих подчиненных – *искупления греха*. И вот этот его каприз, в конце концов, и привел человека, которого он когда-то назначил начальником отдела кадров (или, точнее, ответственным за человеческие ресурсы), в эти далекие, чужие, богом забытые края. Видно, что-то в этой истории так разбредило престарелого владельца пекарни, что им овладел почти мистический страх. Он, наверно, и раньше недоумевал, чем объяснить, что ни одно из тех ужасных, кровавых событий, которые навалились в последнее время на всю страну, а на Иерусалим в особенности, никак не сказывается на доходах его пекарни. И, видимо, стал опасаться, что такое странное процветание на фоне повсеместных бед и несчастий непременно должно навлечь на пекарню дурную молву. А тут она и подоспела, эта молва, да к тому же еще запечатленная на той самой бумаге, которую он же и поставлял иерусалимским и прочим газетам! Правда, автор злосчастной статьи – вечный докторант каких-то гуманитарных наук, известный в Иерусалиме левый радикал и самозванный страж общественной нравственности, мерзкий человек, уверенный в том, что близкое знакомство с источниками иерусалимских сплетен освобождает его от всяких моральных ограничений, – и сам поначалу знать не знал, откуда родом та бумага, на которой будет набрана его пышущая праведным гневом инвектива. Ну, а если бы знал, разве он смягчил бы в ней хоть одно-единственное слово? Слава богу, редактор, он же владелец этой местной газетки, прочтя черновик статьи и придирчиво изучив фотокопию порванной и залитой кровью платежки, найденной в сумке погибшей, разумно решил, что лучше заблаговременно сообщить обо всем хозяину пекарни – может, тот сразу даст нужные разъяснения, выразит сожаление о случившемся, и тогда публикация статьи не станет неожиданным ударом для старого приятеля, и их давние отношения ничем не будут омрачены.

Ну, в самом деле, если вдуматься – так ли уж из ряда вон чудовищна была вся эта история? Да нет же, конечно... Просто в эти безумные последние недели, когда почти ежедневные взрывы в автобусах и мгновенная ужасная гибель десятков ни в чем неповинных, разорванных в клочья людей стали какой-то жуткой иерусалимской рутинной, угрызения совести у выживших становились порой совершенно невыносимыми и овладевали людьми в самые неожиданные и, казалось бы, неподходящие моменты. И не случайно в тот роковой вечер, на исходе рабочего дня, когда «ответственный за человеческие ресурсы», то бишь начальник отдела кадров пекарни, или, проще, Кадровик, уже прикидывал в уме, как бы увильнуть от внезапного послеобеденного вызова к хозяину – ибо он еще с утра обещал бывшей жене освободиться сегодня пораньше и весь вечер посвятить их единственной дочери, – Начальница канцелярии, хорошо знавшая своего босса, женщина с большим опытом и чутьем, прозрачно намекнула ему, что на его месте не стала бы оттягивать назначенную хозяином встречу. И так как она уже до-

гадывалась, с каким нетерпением ждет его Старик, то заодно присоветовала раздраженному Кадровику загодя подыскать, кто бы заменил его в исполнении отцовских обязанностей – и, пожалуй, на всю предстоящую ночь.

Вообще-то, между Стариком и его «ответственным за человеческие ресурсы» издавна царили отношения взаимной симпатии и доверия, которые установились еще в те времена, когда нынешний Кадровик, будучи тогда всего лишь рядовым торговым агентом, по собственной инициативе принялся искать в странах третьего мира новые перспективные рынки для недавно организованного хозяином нового направления – фирмы по продаже писчебумажных товаров. Так что не случайно, когда отношения в семье Кадровика стали мало-помалу разлаживаться и портиться – возможно, как раз по причине его долгих и частых разъездов по службе, – Старик, хоть и с нелегким сердцем, согласился освободить его от прежних обязанностей и перевел в начальники отдела кадров пекарни, чтобы он мог отныне проводить дома если не все дни, то, по крайней мере, все ночи подряд и попытался бы залатать расплывшуюся ткань своей семейной жизни. Увы, произошло прямо противоположное – глухая обида, набрякшая в душе его жены за время прежних отлучек, теперь, когда он постоянно был рядом, перешла в откровенную и злую враждебность, и их отчуждение, поначалу только бытовое, потом душевное, а под конец и телесное, стало разрастаться уже по собственной логике. Однако Кадровик и после развода не попросился назад, на прежнюю должность, хотя его туда и тянуло, потому что, оставшись в Иерусалиме, надеялся сохранить хотя бы расположение любимой дочери.

И вот сейчас он нехотя входит в кабинет Старика – давно ему знакомое, просторное и темноватое помещение, где всегда, независимо от времени дня и года, царит аристократический полумрак, – и ему совершенно неожиданно, что называется, с места в карьер, предъявляется известие о существовании некой оскорбительной, порочащей пекарню статьи, которая должна вот-вот, уже в эту пятницу, появиться в местной иерусалимской газете.

– Наш человек? – Кадровик решительно отказывается поверить услышанному. – Этого не может быть. Я бы обязательно знал. Это какая-то ошибка.

Старик молча протягивает ему гранки злополучной статьи, и Кадровик, все еще стоя, быстро проглядывает короткий и весьма язвительный текст, незатейливо озаглавленный: «Чудовищная бесчеловечность наших ведущих производителей и поставщиков хлеба».

Неизвестная женщина лет сорока, не имевшая при себе никаких документов, кроме платежки *их пекарни* – рваной, грязной и безымянной бумажки, датированной последним месяцем, – была смертельно ранена на прошлой неделе в теракте на овощном рынке и в течение двух дней боролась за жизнь на больничной койке. И за все это время никто из ее коллег по службе, не говоря уж о начальстве, ни разу не поинтересовался ее состоянием. И даже теперь, после смерти, она по-прежнему остается анонимной, неопознанной жертвой террора, и ее тело покоится в больничном мор-

ге при университете, меж тем как хозяева пекарни продолжают бесцеречно игнорировать ее судьбу и не торопятся проявить заботу о ее погребении. Далее шел короткий рассказ о самой пекарне – большое, хорошо известное всем иерусалимцам хлебобулочное производство, основанное еще в начале века дедом нынешнего владельца, с новым, недавно организованным отделом, который занимается продажей писчебумажных товаров. К тексту прилагались две фотографии, не оставлявшие сомнений относительно истинных виновников бесчеловечности. Одна изображала Старика (официальный снимок, сделанный много лет назад, – Старик на нем выглядел значительно моложе), на другой был запечатлен сам Кадровик – фотография хоть и недавняя, но расплывчатая и неясная, явно сделанная без его ведома и снабженная весьма ядовитым комментарием, сообщавшим, что свою нынешнюю должность он заполучил исключительно в результате развода.

– Змея подколотная! – бормочет под нос Кадровик. – И как это человек ухитряется втиснуть столько яда в такую небольшую статейку...

Но Старик игнорирует его негодование. Ему нужны не слова, а дела, и если сегодня принято писать именно так, то нечего пререкаться о стиле – нужно первым делом опровергнуть подлое обвинение. И поскольку редактор проявил снисходительность и готов опубликовать их ответ или извинение одновременно с заметкой, чтобы тем самым смягчить невыгодное мнение, которое может укорениться в сознании читателей, если объяснение появится отдельно, лишь на следующей неделе, то он, Кадровик, как ответственный за человеческие ресурсы пекарни, должен безотлагательно выяснить, кто эта погибшая и как случилось, что никто о ней не вспомнил. И еще он должен, не откладывая, встретиться с этим журналистом, с этой «подколотной змеей», и выяснить, что тому известно об их пекарне вообще. Кто знает, не кроется ли здесь еще какая-нибудь грязная ловушка...

Так что же – он должен отложить все свои дела и целиком посвятить себя прояснению этой неприятной истории? А что он думал? Что в его ведении только отпуска да болезни, увольнения да роды? Нет, смерть их работника тоже в его ведении! А, следовательно, судьба этой неопознанной работницы на его, Кадровика, прямой и личной ответственности. Ведь если их, не дай Бог, действительно обвинят в бесчеловечности, в черстве, в продиктованном скупостью равнодушии к судьбе человека, да еще обвинят без одновременного объяснения или хотя бы извинения с их стороны, это может вызвать бурное общественное негодование, вплоть до бойкота их продукции. А этого нельзя допустить. Что ни говори, их пекарня – не какое-то там жалкое, никому не известное заведение, у них на каждой буханке красуется фамилия отца-основателя! «Мы не можем давать такое оружие в руки наших заклятых врагов, наших конкурентов, которые только и ищут, как бы нам навредить!»

– Наших врагов? – иронически усмехается Кадровик. – По-моему, вы преувеличиваете. Ну, кого может заинтересовать эта статья? Да еще в такое время!

– Меня! – сердито перебивает Старик. – Меня она очень даже может заинтересовать! И именно в такое время.

Кадровик примирительно кивает, аккуратно складывает статью по сгибам и деловым движением прячет ее в карман, словно пытаясь покончить с этой неприятной историей, прежде чем разгневанный хозяин объявит, что его ответственный за человеческие ресурсы лично повинен не только в этом недоразумении, но, чего доброго, и в самой *гибели* их человека.

– Хорошо, я беру это дело на себя. Я им займусь, не беспокойтесь. Завтра же с утра, в первую очередь...

Но тут хозяин выпрямляется во весь свой огромный рост, грузный, усталый и болезненно бледный старик в добротном, дорогом костюме, и в полутьме кабинета его седая старомодная шевелюра белым голубем воспаряет над столом. Его рука с такой тяжестью ложится на плечо подчиненного, как будто страх за доброе имя пекарни прибавил ей добрую тонну веса.

– Никаких завтра! – приказывает он негромко, с жесткой и неумолимой ясностью. – Прямо сейчас. Этим вечером. Ночью. Нельзя терять времени. Ты обязан, понял? Ты обязан распутать эту историю *еще сегодня*, чтобы мы уже утром могли послать в газету исчерпывающий ответ.

– Еще сегодня? – пытается вывернуться Кадровик. – Но как же я успею? Ведь уже очень поздно!

Ему действительно необходимо поскорее попасть домой. Бывшая жена этой ночью в отъезде. Он поклялся ей, что сам отвезет дочь из балетной школы, чтобы девочке не пришлось ехать автобусом. Автобусы взрываются. Что за спешка напала на Старика? Проклятая газетенка выходит по пятницам, а сегодня всего лишь вторник. Времени навалом.

Увы, желание доказать свою человечность делает хозяина беспощадным. Нет, сегодня. Времени в обрез. Завтра вечером *они там* закрывают номер, и, если ответ из пекарни запоздает, его вообще не удастся напечатать в эту пятницу, только в следующую. А значит, мы всю неделю будем под ударом. Так что если он, его ответственный за человеческие ресурсы, отказывается немедленно и полностью посвятить себя этой истории, пусть будет так любезен сообщить об этом вслух, пожалуйста, мы найдем ему замену. И не исключено, что не только на сегодняшний вечер...

– Но простите... минуточку... – запинаясь, бормочет Кадровик, испуганный и уязвленный угрозой, брошенной с такой неприятной легкостью. – А как же моя дочь? С кем она останется? А ее мать?! – добавляет он с горечью. – Вы же ее знаете! Мне не миновать еще одного скандала...

– *Она* тебя заменит, – обрывает Хозяин, поворачивая длинный прямой палец в сторону Начальницы канцелярии. Та с изумлением слышит о возложенной на нее, без ее согласия, роли опекуниши, и лицо ее розовеет от неожиданности...

Глава вторая

«У нас нет иного выхода!» Эти твердые, неумолимые слова старого хозяина звучали в памяти Кадровика все последующие дни – точно некая клятва на верность, точно произносимое про себя заклинание. И не только в ту первую, нескончаемую и запутанную ночь, когда он, не колеблясь, пытался истину даже у покойников, но и во все последующие, долгие дни того необычного похоронного странствия, которое привело его, в конце концов, в эту чужую, бесконечную, скованную льдом равнинную страну. Эти слова он повторял себе и в минуты растерянности и сомнений, и в тяжкие часы неверия и душевной смуты, к ним возвращался он вновь и вновь, высоко вздымая эти простые и твердые слова пославшего его хозяина над головами своих приунывших спутников, словно то было знамя, под которым он шел полководцем на штурм крепостных стен, или некий путеводный факел, мерцающий во тьме, чтобы внушить отвагу, устремить и направить шаги. У него нет иного выхода. Он обязан довести эту историю до конца, даже если ему придется для этого заново проделать весь, однажды уже пройденный, путь.

Поэтому и Секретаршу свою, когда выясняется, что она как раз сегодня досрочно и не спросясь улизнула с работы, он начинает заклинять по телефону с помощью этих же простых и неумолимых слов. И ей не помогают ни горячие мольбы, ни страстные и путанные объяснения: как же так? она уже и няньку отпустила! и за ребенком теперь совершенно некому присмотреть... – нет, боязнь хозяина быть обвиненным в бесчеловечности придаст его подчиненному беспощадное мужество требовать и даже угрожать. «Если нет няньки, возьми ребенка с собой, я сам тебя здесь подменю. Сейчас для нас самое главное – побыстрее выяснить, кому принадлежит эта платежка, а это можешь сделать только ты».

И будто по чьему-то злому умыслу в это самое мгновение на вечерний город обрушивается дождь. Настоящий ливень, принесенный хлещущими западными ветрами, предвестие приближающейся и щедрой на влагу зимы. Зимы, которая и страшит, и одновременно утешает. Зимы, на которую все мы возлагали последнюю, отчаянную надежду – быть может, ее дожди и холода сумеют остудить безумие врагов надежнее всех наших охранников и полицейских. Земля под бешеными струями подернулась зеленой тенью, повсюду поднялась в рост давно пожухшая за лето трава, толкнулись в размякшую почву робкие головки цветов. И не было никого, кто бы злился и жаловался, что в этих стремительных водоворотах застревают машины и общественный транспорт, потому что всем вдруг стало казаться, что, может, ливень этот не впустую, и хоть часть тех потоков, что так безудержно струятся сейчас вокруг, сохранится в подземных резервуарах, чтобы стать нашим благословением в дни грядущих хамсинов.

Секретарша, тяжело закутанная, вся в сверкающих дождевых каплях, появилась лишь в сумерки, и поначалу Кадровик решил, что ей все-таки удалось каким-то чудом пристроить своего младенца. Но когда она сложила мокрый зонт и сняла оранжевую пластиковую накидку, под которой обнаружилось тяжелое, подбитое мехом пальто, он увидел на ее груди «кенгуру» с сидящим в нем крепким краснощеким ребенком с огромной соской во рту. Ребенок с молчаливым любопытством разглядывал чужого мужчину. «Как ты его запаковала? – удивился Кадровик. – Он же мог задохнуться!» Но она только отмахнулась и каким-то незнакомым властным тоном, совсем не так, как говорила в рабочее время, заверила его, что в чем в чем, а уж в этом он может на нее положиться. Затем положила ребенка на ковер и быстро, умело сменила ему соску. Малыш заинтересованно завертел головой, словно выбирая себе подходящую цель, потом деловито выплюнул новую соску, зажал ее в кулачке и с неожиданной быстротой пополз по коврику.

– Вот и следи за ним теперь, – тем же непривычным, фамильярным тоном приказывает Секретарша. – Ты же сам вызывался.

Сама она поднимает со стола гранки злополучной статьи, нахмурившись, просматривает текст и напоследок внимательно вглядывается в почти слепое, мутное изображение рваной платежки, найденной в кармане убитой. Крутит его так и эдак и потом поворачивается к Кадровику, который задумчиво шагает по ковру следом за ползущим ребенком. Когда это случилось? И когда он называет дату, она, подумав, высказывает предположение, что погибшая уволилась или была уволена с работы, как минимум, за несколько дней до теракта, иначе ее отсутствие было бы непременно замечено в цеху. А уж если ее не хватились, значит, в момент гибели она уже не имела никакого формального отношения к пекарне – хотя зарплату ей почему-то уплатили. И тогда, стало быть, гнусная статейка не имеет под собой никакого основания, это ошибка.

Но Кадровик, не спуская глаз с ребенка, который тем временем уже дополз до входной двери и теперь размышляет, остановиться здесь или ползти дальше, в коридор, мрачно отвечает ей: имела отношение или не имела, ошибка или не ошибка, эту женщину необходимо опознать. Как это она могла так легко выпасть из нашей памяти? А, кроме того, если ее уволили или она ушла по собственному желанию, почему об этом не сообщили в кадры? И как в таком случае она могла получить у нас зарплату? Уже после ухода? Это странно. Здесь какой-то беспорядок. Тут нужно разобраться. Не может быть, чтобы где-нибудь не сохранилась хоть какая-то запись. «Так что – давай ищи, нечего зря тратить время», – и он выходит в коридор вслед за ребенком, который на мгновение приостановился у входной двери, словно боясь темноты, но тут же встрепенулся и снова энергично пополз по ковру в сторону кабинета Хозяина.

«Ничего удивительного, что когда такие вот подрастают, – думает Кадровик, шагая вслед за неутомимым ползуном, – они на меньшее, чем поко-

рять Гималаи, не согласны». Время от времени ребенок неожиданно останавливается и ненадолго усаживается на попку, о чем-то трогательно и забавно размышляет, а затем опять опускается на четвереньки и продолжает деловито ползти, не уклоняясь от первоначально выбранного направления. Тяжелая, мрачная усталость овладевает стоящим над ребенком мужчиной – крепким, среднего роста, без малого сорокалетним человеком с первыми проблесками седины в жестком ежике волос. И в его сердце вдруг пробуждается странная неприязнь к погибшей женщине, которая отправилась на рынок, не взяв с собой даже удостоверения личности, словно специально затем, чтобы принудить его заниматься ее опознанием – и это после целого рабочего дня, когда у него горло пересохло от жажды и живот давно уже сводит от голода.

Но тут с другого конца коридора доносится ликующий возглас Секретарши. Ей действительно удалось найти владелицу платежки! «Нет, все-таки у нас личные дела в порядке», – с удовлетворением думает Кадровик. Наклонившись над ребенком, он безжалостно отрывает его от увлеченного созерцания запертой двери кабинета и, не дав времени отчаянно завопить, поднимает и несет раскинувшее руки маленькое тельце обратно к матери, как будто взял в плен игрушечный самолет. Секретарша, оказывается, тем временем уже вывела на переливающийся фантастическими красками экран компьютера не только анкету со всеми личными данными, но и цветное изображение погибшей – светловолосой, улыбающейся, довольно милой и не очень молодой женщины.

– Уверена, это та самая, которую ты ищешь! – торжествующе заявляет она. – Сейчас я тебе ее распечатаю, пусть все ее бумаги будут у тебя с собой. А, кроме того, могу тебе напомнить, что, судя по дате ее поступления на работу, ты тогда лично с ней беседовал.

– Я беседовал с ней? – удивляется Кадровик, все еще не возвращая ей ребенка, который из всех сил дергает его ухо своей маленькой ручкой.

– А как же? Ты ведь еще в прошлом июле, когда тебя назначили к нам в отдел, сразу потребовал, чтобы никого не принимали и не увольняли, миную тебя.

– На какую же должность она поступала? – спрашивает Кадровик, неприятно встревоженный открытием, что он лично связан с погибшей. – В какой цех? У кого она была под началом? Что там говорит твой компьютер?

Оказывается, на этот счет у компьютера нет никакого определенного мнения. Если верить его условным обозначениям, погибшая состояла в списке уборщиц, то есть относилась к той категории работников, которые не имеют постоянного места в пекарне, а кочуют из цеха в цех, с места на место. «Такую искать... И после смерти могут не скоро хватиться...» – думает Кадровик. Но Секретарша, которая, собственно, и придумала когда-то сканировать для компьютера фотографии всех сотрудников, решительно не согласна с таким пессимистическим выводом. Этого не может быть. Эта женщина не могла затеряться. Отсутствие работника не могло остаться не-

замеченным. Над каждым человеком в нашей пекарне, даже над самым распоследним грузчиком, всегда стоит кто-то, кто отвечает за его работу.

Чувствуется, что в ней вдруг вспыхнуло чувство служебного – а может быть, и гражданского – долга. Словно это не она всего лишь час назад отрез отказывалась выйти из дому. Кажется, она забыла и о двух своих старших детях, которые остались дома и теперь ждут не дождутся ужина; и ее не тревожит даже та лютая буря, что воеет и бушует дождем за окнами пекарни. Похоже, что уязвленная человечность Старика, каким-то манером просочившись сквозь запертую дверь его кабинета, заразила и эту молодую женщину, и теперь ее буквально обуревают жажда деятельности. И с той же находчивостью, которая только что подвигла ее искать в компьютере фотографию погибшей, она бросается теперь к шкафу с папками личных дел и, торопливо пошарив, торжествующе вылавливает из океана бумаг запись того давнего интервью, той беседы, которую прошлым летом, нанимая погибшую женщину на работу, действительно провел с ней Кадровик, – несколько жалких листков с прикрепленной к ним короткой записочкой, заключением врача производства. Она быстро, умело подкалывает к интервью анкету покойной, гранки газетной статьи с двумя фотоснимками – тем, на котором запечатлена порванная, окровавленная платежка, и вторым – таким же мутным изображением погибшей женщины, распечатанным с экрана компьютера, собирает все это в тоненькую бежевого цвета папочку и гордо вручает ее Кадровику – какая-никакая, а все ж первая зацепка для предстоящего расследования. Он может посмотреть эти бумаги в соседней комнате, а если хочет остаться здесь, то пусть хоть отвернется, чтобы она могла покормить изголодавшегося ребенка, пока он будет разбираться с той, что «заварила всю эту кашу», – и, еще не договорив эту тираду, она уже торопливо расстегивает верхнюю пуговицу блузки, высвобождая оттуда набухшую грудь.

Глава третья

«Нет, это больше, чем просто зацепка», – удовлетворенно думает Кадровик. Перейдя и в самом деле в свой кабинет, он смахивает с рабочего стола все бумаги и нетерпеливо погружается в пристальное изучение содержимого той тоненькой бежевой папочки, которую приготовила для него Секретарша. Сначала его глаза пытаются увильнуть от встречи с маленькой фотографией, приколотой сверху страницы, но открытое лицо этой молодой – судя по анкете, сорокавосемилетней – женщины так и притягивает к себе его взгляд. У нее светлые глаза, и над каждым из них тянется какая-то необычная припухшая складка, причудливо скошенная к переносице. Высокая шея обнажена во всем своем великолепии. На мгновение он даже забывает, что этой женщины уже нет на свете – может быть, взрыв вообще разорвал ее в клочья, и только бюрократическое равнодушие к ее судьбе еще тянется за ней как требовательный след ее бывшего существования.

Его так и тянет позвонить Старику, чтобы похвастаться уже произведенным – и так быстро! – опознанием, но он тут же передумывает. Уж если Старик так страшится за свою репутацию человеческого предпринимателя, что готов во имя этого растоптать планы трех своих подчиненных, он достоин того, чтобы еще немного помучиться от страха! Незачем создавать у него вредное впечатление, будто любая его прихоть выполняется немедленно и даже с превеликим удовольствием!

Он переворачивает листок с анкетными данными и вдруг слегка вздрагивает, увидев, что биография женщины написана не ее рукой, как это полагается по правилам отдела кадров, а им самим, его собственным почерком, словно бы без всякой обработки, прямо под ее диктовку, как записывают показания на допросе в полиции:

Меня зовут Юлия Рогаева, по образованию я инженер-механик, могу представить диплом, только я родом не из того города, где училась, а родилась в деревне, можно даже сказать в глуши, очень далеко от больших городов. И мама у меня там до сих пор живет. У меня сын тринадцати лет, его отец тоже инженер, но мы с ним живем порознь. Он очень хороший человек, но мы с ним разошлись, потому что я от него ушла к другому человеку, тоже очень хорошему. Он старше моего бывшего мужа, но ненамного, ему под шестьдесят, жена его давно умерла, он переехал в город, к нам на завод, и там мы с ним встретились. Я очень хотела, чтобы он тоже приехал сюда, в Иерусалим, и он согласился, и мы приехали все втроем – он и я с сыном. Но тут для него не нашлось подходящей работы, а просто так оставаться здесь он тоже не мог, потому что не хотел подметать улицы или сторожить и тому подобное, и поэтому он уехал обратно, но уже не к нам на завод, а к себе на родину, в другой город, потому что там у него остались дочь и внучка. А я осталась в Израиле, потому что мне хотелось еще немножко попробовать, может, мы сумеем здесь устроиться, потому что мне Иерусалим как раз подходит, мне тут нравится, тут интересно, а если я уеду обратно, то второй раз уже не сумею сюда приехать. Сын тоже сначала оставался со мной, но потом его отец решил, что в Иерусалиме стало очень опасно, и попросил, чтобы он вернулся, и тогда я сказала, ладно, пусть едет обратно, а я попробую еще немного покрутиться, мне хочется разобраться, что тут хорошо, что плохо, и я готова работать на любой работе, пусть у меня даже диплом инженера, ну и что, это неважно, может быть, мальчик опять вернется сюда. Ну вот, таковы мои дела на данный момент. А еще моя мама тоже очень хочет приехать в Иерусалим из своей деревни. Ну, посмотрим... может, и правда, придет...

Далее в личном деле находилось что-то вроде декларации, которую Кадровик сформулировал уже своим языком:

Я, Юлия Рогаева, удостоверение временного жителя номер 836205, обязуюсь работать в пекарне на любой работе, а также в ночные смены.

Нижe, огромными буквами, – подпись.

Тут же – его личное мнение:

Женищина в статусе временного жителя, выглядит вполне здоровой, семейное положение – одиночка, производит положительное впечатление, очень хочет устроиться на работу. Временно может быть использована в качестве уборщицы, хотя, с учетом высшего технического образования, может быть переведена в будущем, если хорошо проявит себя, на одну из производственных линий или в отделение писчебумажных изделий.

И еще ниже – заключение производственного врача:

Особые жалобы – никаких. Пригодна для любой должности.

Между тем Секретарша, сидя в соседней комнате, не теряет времени даром. Не переставая кормить ребенка, она диктует по телефону все необходимые инструкции – сначала своим детям, потом мужу и, наконец, матери, – а затем, покончив с этим и даже не спросив у Кадровика, затевает по собственной инициативе отдельное, самостоятельное расследование, звонким настойчивым голосом выясняя по внутренней связи, известно ли начальнику цеха, что одна из его уборщиц, некая Юлия Рогаева, вот уже несколько дней, никому не доложившись, отсутствует на работе. Она что, уволилась по собственному желанию? или была уволена? и в любом случае – почему об этом не сообщили, как положено, в отдел кадров?

Кадровик, который слышит этот разговор через приоткрытую дверь своего кабинета, поспешно подключается к линии и слышит неуверенный ответ начальника цеха: да, он смутно помнит такую, даже заметил ее отсутствие, но вообще-то лучше спросить у ее непосредственного начальника, у мастера ночной смены – он как раз только что заступил на работу со всеми своими людьми. Похоже, начальнику цеха не по нраву тот энергичный и требовательный тон, которым Секретарша ведет этот разговор – как-никак со старшим по должности! – потому что под конец он говорит, что лучше бы к мастеру ночной смены обратился сам начальник отдела кадров, а не «какая-то его подчиненная».

Однако разгоряченная своими сыскными успехами Секретарша даже не замечает, что ее пытаются поставить на место, – она торопливо заканчивает разговор, по-прежнему ни словом не упоминая о судьбе исчезнувшей работницы, как будто ее смерть – это некая козырная карта, которую нельзя открывать слишком рано, – а затем так громко и нетерпеливо зовет Кадровика, словно в нерабочие часы они поменялись ролями, и это она теперь его начальник. Войдя в комнату, он обнаруживает, что кормление

младенца уже окончено, на стуле висит развернутая, резко пахнувшая пеленка, а сам младенец болтает в воздухе толстыми ножками и курлычет, как будто произносит положенное по окончании трапезы благословение плодам земли, сама же Секретарша, тоже весьма довольная собой, немедленно сообщает ему, что ее интуиция подсказала ей правильный путь дальнейших поисков. «И я тебя уверяю, – говорит она, – хоть нам и не сообщили об увольнении этой Рогаевой, и мы явно по ошибке уплатили ей за весь последний месяц, но вот увидишь – в конце концов, выяснится, что во время теракта она формально уже не имела к нам никакого отношения. Так что мы вполне сможем потребовать от этого мерзкого журналиста вместе с его симпатичным редактором, чтобы они сами просили у нас прощения, а своей "чудовищной бесчеловечностью" пускай подотрутсЯ. Заодно можешь сказать Старику, что он может спать спокойно». Она бросает последний взгляд на лицо погибшей уборщицы, равнодушно помигивающее в углу светящегося экрана, говорит: «Жаль, интересная была женщина...» – и выключает компьютер.

– Интересная? – встревоженно переспрашивает Кадровик и в недоумении снова раскрывает свою бежевую папочку, чтобы еще раз взглянуть в лежащую там фотографию. – По-моему, ты преувеличиваешь. Если б она была интересной, я бы ее наверняка запомнил.

Но Секретарша уже не слышит его – она торопливо швыряет испачканный подгузник в мусорное ведро, стремительно пакует своего младенца, энергично втискивает его в «кенгуру» и ловко цепляет под мех, на живот, потом закутывается в свое громоздкое пальто, в дождевик, и вот уже ребенок исчез под шелестящей оранжевой пленкой, словно его никогда и не было. Уже у двери она оборачивается и окидывает своего начальника таким удивленным взглядом, будто впервые видит его:

– Нет, интересная, – уверенно говорит она. – Даже красивая. А то, что ты не обратил на нее внимания, так это потому, что ты всегда, как улитка – прячешься внутри себя, а все красивое и доброе проходит мимо тебя, как тень. Да ладно, чего мы спорим о человеке, которого уже нет. Тут уже ничего не докажешь.

И помолчав, вдруг добавляет:

– Знаешь что – давай-ка я тоже схожу с тобой к мастеру ночной смены. А то интересно у нас получается – выбрасывают человека на улицу и даже в кадры не сообщают.

Глава четвертая

Еще недавно она умоляла не вызывать ее обратно в контору, и вот сейчас, кутаясь сама и закутав в мех сытого младенца, идет спокойно и терпеливо, словно ее подключили к нескончаемому источнику свободного времени, шагает рядом со своим начальником по вымощенной плитками дорожке, ведущей из административного корпуса к гигантскому, без единого

окна зданию пекарни, из которого модернистскими скульптурами поднимаются в серое небо тонкие и высокие фабричные трубы. Со скатов черепичной крыши, что нависают над стенами здания, непрерывными потоками струится, кажется, уже не просто дождь, а сотни дождей сразу, и потоки эти с каждой минутой усиливаются, как будто зима окончательно потеряла надежду разом опустошить все небо и теперь выдаивает из него множество струй по отдельности, смешивая их в безбрежное море уже потом, на земле. Он вдруг вспоминает о Начальнице канцелярии, которая вынуждена сейчас заменять его в роли отца, и так же неожиданно и непонятно почему ощущает спокойную уверенность, что эта пожилая, опытная женщина не станет тешить себя иллюзиями, будто в такую погоду безумные самоубийцы с взрывчаткой на поясе поленятся выйти на улицу, чтобы взрывать и взрываться, и будет упрямо стоять у дверей балетной студии и вообще всюду, где ей придется, лишь бы порученная ее опеке девочка и шагу не сделала в одиночку по таким опасным теперь иерусалимским улицам. Теперь он уже ощущает не злость, а странную тихую благодарность к той безымянной женщине, смерть которой сумела пробудить в их душах это поразительное чувство возрожденного братства, и даже готов, протянув руку, дружелюбно коснуться – чего обычно избегает – плеча своей Секретарши, но тут же спохватывается, прячет руку в карман плаща и лишь восклицает шутливо, стараясь пересилить ревуший ветер:

– Кончится тем, что ты все-таки задушишь своего ребенка!

Она отирает залитое дождем лицо и с неколебимой уверенностью отвечает:

– Никогда! Я чувствую каждое его шевеление. Вот, в данную минуту он просит передать тебе самый пламенный привет.

У входа в цех их проверяют, велют надеть высокие белые колпаки, и вот уже они совсем рядом со стальными печами, что дышат блаженным теплом в середине огромного зала. Кадровик здесь гость нечастый. По своей прежней работе он хорошо знает писчебумажный отдел и даже после назначения на новую должность всегда предпочитал встречаться с тамошними сотрудниками, если они в нем нуждались, прямо на их рабочем месте, в привычной для них обстановке, – но работников самой пекарни всегда принимал у себя в кабинете. Эти большие залы и герметически закрытые стальные печи, это долгое таинство выпечки хлеба, а в особенности бесконечные ящики с буханками и батонами – всё здесь навевало на него уныние и тоску, как бывало в детские годы, когда мать посылала его в бакалейную лавку неподалеку от дома. Но в сегодняшнюю грозу он готов благословлять это сдобное, душистое тепло, так неожиданно подаренное ему здесь на исходе длинного рабочего дня, – а день этот, он предчувствует, кончится не так-то скоро, возможно, напрямую слившись с еще предстоящей ему и наверняка такой же длинной, сумбурной ночью. Между тем желтоватые, похожие на глину комки теста медленно проплывают на уровне его глаз на своем неумолимом пути к огню, ждущему их в стальных не-

драх, и это древнее зрелище почему-то греет его душу, несколько притупляя и чувство вины за перепорученную в чужие руки дочь, и гнетущий страх перед гневной сценой, которую, он знает, неизбежно устроит ему бывшая жена. Краем глаза он видит золотистую макушку пыхтящего от натуги младенца, который сумел-таки высунуть голову из меховой тюрьмы и теперь с любопытством посматривает по сторонам, а краем уха слышит голос Секретарши, которая воинственным шепотом предостерегает его ни в коем случае не торопиться с известием о смерти, которая привела их сюда. Как будто она надеется, что эту смерть, точно ребенка, тоже можно спрятать от чужого глаза под мех ее пальто.

Но вот и мастер ночной смены. Смуглый мужчина лет шестидесяти, высокого роста, слегка сутулый, на привлекательном, с тонкими чертами лице выражение легкой озабоченности и даже тревоги – еще бы, неожиданное и столь позднее появление людей из отдела кадров ничего хорошего ему явно не сулит. И действительно, сбедаемая рвением Секретарша тут же рывком протискивается вперед – она по-прежнему боится, что ее начальник не сдержится и слишком рано известит о смерти их работницы, тем самым дав мастеру возможность переложить всю вину на погибшую, – и с притворной наивностью спрашивает: «А что, уборщица Юлия Рогаева, которая вот уже больше недели не отбивалась на проходной, все еще числится у вас в штате? а если числится, то где она в данный момент? и нельзя ли ее позвать, будьте добры...»

Мастер, которому и в голову не приходит, что это сама Смерть задает ему столь невинный на вид бюрократический вопрос, слегка краснеет, как будто уже в самом имени пропавшей работницы таится какая-то ловушка:

– Рогаева? – Он внимательно изучает свои ладони, словно отсутствующая работница прячется именно там. – ... Нет, Юлия уже ушла от нас... давно...

И мягкая интимность, с которой он произносит имя погибшей женщины, заставляет дрогнуть какую-то струнку в душе Кадровика.

Но Секретарша настроена решительно. Как тот пес, что полагает, будто он уполномочен толковать намерения хозяина, она продолжает теревить этого высокого мужчину, в недоумении наклонившегося над ней:

– Как это «ушла»? По собственному желанию? Или это вы ее уволили? А если уволили, то за что?

Мастер почему-то затрудняется дать внятный ответ. Извините, но он хотел бы сначала узнать, в чем дело. С чего вдруг им понадобилась эта работница? Да еще в такой поздний час? Не пришла же она сама жаловаться...

– А почему бы, собственно, и нет?

Потому что он знает. Эта женщина не станет унижаться.

-- Так почему же вы ее уволили?

Кто сказал, что он ее уволил?

– Что же с ней произошло? Почему вы всё ходите вокруг да около и не отвечаете на прямой вопрос?

Видимо, Мастер чего-то опасается, если он так настойчиво требует от

них объяснений. Да или нет? Кто-то из вас недавно встречался с этой женщиной?

– Пока что нет... – Секретарша заговорщически улыбается Кадровику. – Но, возможно, скоро встретимся...

«Что она несет? Это уже переходит всякие границы», – думает про себя Кадровик, но по-прежнему хранит молчание, не пытаясь вступить в разговор.

«Впрочем, вы, наверное, правы...» – уступает Мастер. Чепуха все это. В самом деле, какая разница? Даже если вы с ней встречались, она могла всего лишь подтвердить, что никто ее не увольнял, но и она, собственно, не увольнялась. Просто они с ней... как бы это сказать... ну, расстались по добром, что ли... Да, конечно, теперь он понимает, что обязан был сообщить об этом «расставании» в отдел кадров, но разве это не чистая формальность? Ведь ни администрация, ни профсоюз не могут возражать против ухода временного работника. А вообще-то эта Рогаева, сказать по правде, была прекрасной работницей. У него к ней не было никаких претензий. Хотя, конечно, работа была ниже ее уровня, совсем не по ее образованию. Вы там, в отделе кадров, послали ее сюда уборщицей, даже не разобравшись, наверно, что перед вами дипломированный инженер. Он потому и посоветовал ей уйти из пекарни – хотел, чтобы она нашла себе более подходящее место. У него просто сердце щемило, когда он видел, как такая женщина ходит по ночам с метлой в руках и с мусорным ведром.

Этот простой, даже слишком простой ответ, явно призванный поскорее удовлетворить и спровадить восвояси маленькую делегацию из отдела кадров, нисколько не охлаждает, однако, следовательский пыл Секретарши. Она грозно глядит в смуглое печальное лицо пожилого Мастера, ее волосы выбились из-под белого колпака и разметались во все стороны, пальто широко распахнуто, и толстошекий ребенок, что так и вертится у нее на груди, кажется каким-то живым пропеллером, только что выбравшимся из ее чрева.

– Так что же – из-за того, что у вас такое чувствительное сердце, вы взяли и вышвырнули замечательного работника? Могли бы хоть нас спросить – может, мы бы сами нашли для нее более подходящую работу в каком-нибудь другом месте – например, у нас же, через дорогу, в писчебумажном отделе...

И тут уже терпение Мастера, видимо, кончается – сурово прикрикнув на столпившихся вокруг рабочих, которые с любопытством прислушиваются к странному разговору, он поворачивается к молчащему Кадровику и заявляет, что у него больше нет времени, ему некогда, пора уже запускать третью печь, и вообще – он так и не понял, чего от него хотят. Ведь не может же быть, что весь этот шум поднялся из-за каких-то пустяковых налогов, которые пекарня по ошибке уплатила за ушедшую работницу? Если все дело в этом, то ради бога – пусть они вычтут эти налоги у него из зарплаты, и дело с концом.

Все это время Кадровик с удивлением прислушивается к себе: «Почему я продолжаю молчать? Почему я разрешаю этой разошедшейся ведьме так нападать на пожилого человека, а заодно позорить меня самого?» Но теп-

лое блаженное дыхание пекарни по-прежнему затуманивает его чувства, и ему кажется, что требовательный голос Мастера доносится к нему сквозь ватное одеяло сна:

– Скажите правду, что случилось? Она действительно обратилась к вам?

– Обратилась, – негромко, со значением говорит Секретарша. – Но не так, как вы думаете.

И тут вдруг к Кадровику возвращается утраченное им в этом уюте сознание своей ответственности:

– Ее нет, – тихо говорит он. – Она погибла во время теракта на прошлой неделе.

Кажется, смертоносный пояс террориста, взорвавшийся на минувшей неделе на рынке, сейчас взрывается снова, только на сей раз совершенно беззвучно. Мастер отшатывается, как будто его толкнула взрывная волна, лицо его багровеет, он стискивает голову руками.

– Не может быть...

– Еще как может, – все так же негромко говорит Секретарша, даже, кажется, с каким-то странным злорадством.

Но теперь Кадровик уже не дает ей продолжить. В нескольких простых и внятных словах он рассказывает мастеру о намеченной к публикации статье и об озабоченности хозяина, который страшится, что это может повредить доброму имени и даже доходам пекарни.

– Вы нас немного запутали сейчас вашим «расставанием», – с грустным укором подытоживает он. – Но теперь мы хоть установили, что она уже не работала у нас ко времени теракта. А это значит, что мы вовсе и не обязаны были интересоваться ее судьбой.

Видно, что Мастер и впрямь тяжело переживает внезапное известие, но Кадровику почему-то кажется, что даже это не умерило следственный раж Секретарши, и он вдруг делает именно то, чего всегда избегал, – дружелюбно кладет ей руку на плечо, не стесняясь посторонних. «Хватит, – говорит он увещеваяще. – Кончай. Поздно уже. Смотри, и дождь этот треклятый никак не кончается. Теперь-то уже все ясно, правда? Так что большое тебе спасибо за помощь, но дальше я уже смогу действовать сам, а ты поезжай давай домой – дети, наверно, тебя заждались, и муж...»

И с каким-то незнакомым себе волнением запечатлевает на золотистой макушке младенца легкий поцелуй – словно в награду за его терпеливое молчание. Ребенок жмурится от удовольствия и в очередной раз выплевывает изо рта постылую соску.

Секретарша словно бы вдруг приходит в себя. Все ее административное рвение разом испаряется, она неторопливо, задумчиво застегивает свое широкое меховое пальто, так что младенец снова исчезает в нем, как будто его никогда и не было, и вдруг, широко и озорно улыбнувшись, поворачивается к пожилому Мастеру и спрашивает его: а что, сотрудники администрации тоже могут получить бесплатно буханку хлеба? И от этого просто-душного вопроса недавней неумолимой прокурорши смуглое лицо Масте-

ра тоже расплывается в широкой улыбке, и он набивает ей в сумку три буханки разных сортов, добавляет к этому две пачки сухарей, несколько пакетов крутонов* и панировочных крошек и велит одному из рабочих, которые все еще крутятся поблизости, отнести сумку к ее машине, а заодно дать пару буханок также ее начальнику.

Но Кадровик соглашается только на одну.

Глава пятая

И почему-то не покидает здание пекарни. Напротив, уныло бредет следом за Мастером, который тем временем торопится во внутренний зал, где рядом с гигантским стальным цилиндром третьей печи два техника давно уже ждут его разрешения на запуск. И тут, у печи, этот человек, только что казавшийся таким смущенным и растерянным рядом с наседавшей на него неукротимой Секретаршей, словно бы вдруг меняется на глазах – так уверенно и властно отдает он короткие и твердые приказы, которые мало-помалу пробуждают внутри печи глухое, сдержанное и глубокое урчание, словно там нехотя просыпается какое-то огромное цирковое животное – этаким дрессированный тигр или лев. Кадровик в восхищении глядит на рабочих – как слаженно и дружно работают эти люди в окутывающем их всех братском тепле! На какой-то миг его обжигает тоскливая зависть. Да, в такую промозглую ночь куда лучше иметь дело с молчаливым и послушным веществом теста, чем с хрупкими и ранимыми человеческими существами. Здесь ведь любую ошибку можно исправить – всего-то и нужно, что взмахнуть да нажать.

Видно, этот странный молодой чиновник, уныло и неотступно бредущий следом и всё время поглядывающий вокруг, все-таки беспокоит пожилого Мастера, потому что, когда запуск кончается и к глухому рычанию печи присоединяется какой-то тонкий звенящий вопль, он снова подходит к Кадровику, пытаясь выяснить, что тому нужно еще. Ведь он уже обещал, что сразу по окончании смены зайдет к хозяину и сам признается в своем небольшом административном проступке. Нет, оказывается, ответственный за кадры хочет, чтобы мастер, наоборот, не торопился со своим признанием. Он хочет сначала попробовать вообще отменить зловредную публикацию.

– Нет, это у вас не выйдет... – устало говорит Мастер.

– Но почему? Ведь ясно уже, что ко времени теракта эта женщина не имела к нам никакого отношения...

– Не будьте наивны. Имела, не имела – какой журналист откажется от такой сенсации? Даже если вы сумеете полностью доказать ее непричастность к пекарне – он все равно найдет что-нибудь другое. Ему ведь лишь бы впутать нас в эту историю. Бог с ней, со статьей, пусть публикуют. Не

* Крутоны – маленькие кубики сухариков для бульона (франц.).

переживайте. Ведь в этих местных газетках люди обычно читают одни только объявления – о ресторанах там или о продаже машин... А если кто и наткнется случайно на эту статейку, то, скорее всего, забудет о ней раньше, чем прочтет.

«Странно», – думает Кадровик и вдруг говорит с неожиданной резкостью, поражающей его самого:

– Если вы так переживаете из-за нее, почему же вы с ней, как вы говорите, «расстались»? И даже до того, как она нашла новую работу?

– А вы уверены, что она ее не нашла?

– Но после взрыва у нее в сумке обнаружили только черствые остатки...

– Остатки? – Лицо Мастера вспыхивает. – Какие еще остатки? Кто там может судить, что у нее было в сумке, после такого взрыва?

Кадровик испытующе смотрит на смуглого пожилого мужчину, но к вопросу, так и не получившему ответа, больше не возвращается. Нет, он все-таки попытается отменить публикацию. Хорошо бы удивить Старика еще нынешней ночью. Он кивком прощается с Мастером и поворачивает к выходу. У дверей его останавливают рабочие ночной смены, возбужденно расспрашивая его о подробностях. Нет, он не знает никаких подробностей, он бы сам хотел их о многом расспросить. Но они тоже ничего толком не знают. Пекарня огромна, цеха велики, разбросаны, каждый работает сам по себе, а эта Рогаева – она ведь была принята временно, ну и, понятное дело, боялась, что могут уволить, вот и старалась себя показать, такая добросовестная была, что ото всех замыкалась, слова лишнего никому не скажет – пустая, мол, болтовня...

Снаружи льет. Из-за сплошной дождевой завесы один за другим выплывают серыми призраками огромные военные грузовики, с визгливым скрежетом разворачиваются на парковке и прижимаются широкими задними к погрузочным позициям складов. Почему-то Кадровику становится вдруг жаль, что он не спросил рабочих, казалось ли им, как его Секретарше, что эта Рогаева была красивой. Впрочем, по отношению к погибшему человеку такой странный вопрос, пожалуй, мог бы показаться неуместным. Он зябко поднимает воротник плаща и под секущим дождем, разбрызгивая лужи, бежит через двор обратно в административный корпус.

Глава шестая

Но не сразу проходит в свой кабинет. Сначала задерживается немного возле стола Секретарши, втягивает в ноздри запах подгузника, оставшегося в мусорном ведре, потом садится, набирает номер редакции и просит к телефону редактора газеты. Увы, секретарша редакции – тоже, судя по голосу, женщина разбитная и напористая – бодро сообщает ему, что редактора на месте нет, и более того – в ближайшие пару дней связаться с ним нет никакой возможности. Ему немного поднадоел весь этот идиотский мир, и он решил уйти на время в полное отшельничество – уж куда полнее, он да-

же мобильник оставил здесь, в редакции. Впрочем, она готова предложить свои услуги в качестве временно исполняющей его обязанности. Кадровик снова удивляется этой неумейной страсти секретарш брать на себя право принимать решения вместо начальства, но, тем не менее, представляется ей по полной форме, называя свою фамилию и должность, и осторожно осведомляется, известно ли ей что-нибудь о статье, которая должна появиться в пятничном выпуске их газеты. Конечно, известно! Она, оказывается, не только в курсе всех деталей и подробностей, но и более того – даже видит себя одним из активных участников этой истории. Ведь это именно она посоветовала редактору – перед тем, как тот уединился от опостылевшего мира, – заранее предупредить Старика, какой неприятный сюрприз ждет его в конце недели, чтобы тот успел прислать извинение. «Но в том-то и дело!» – перебивает ее Кадровик. В том-то и дело, что никакого извинения не будет. Только разъяснение. Потому что обвинение, которое предъявляется им в этой статье, в действительности основано на грубой ошибке. Они только что завершили первый этап своего административного расследования и выяснили, что хотя погибшая женщина и в самом деле когда-то работала в их пекарне, но ко времени теракта давно уже не имела к ней ни малейшего отношения. Из чего следует, что руководство пекарни вообще и его собственный отдел человеческих ресурсов в частности никак нельзя обвинять в бессердечности, равнодушии и недостатке человеколюбия. А потому он советует ей – поскольку уединившийся от мира редактор, как это ни удивительно с точки зрения здравого смысла, уединился также от своего мобильного телефона – самой и безотлагательно принять решение об отмене злосчастной публикации. Проще говоря – выбросить эту мерзкую статейку в мусорное ведро. Прямо сейчас. Выбросить. Немедленно и бесповоротно.

– Выбросить статью?! – Секретарша потрясена так, словно он попросил ее выбросить в мусорное ведро звезду, свалившуюся с неба. – Нет, это абсолютно исключено! Аб-со-лют-но! Но почему это вас так волнует? Мы напечатаем статью, а рядом, в маленькой рамке, – ваше разъяснение или извинение, и пусть уж читатели сами вынесут приговор.

– Ни в коем случае! – возмущенно протестует Кадровик. – К чему причинять читателям излишнюю боль в такие трудные дни, да еще по ложному поводу?!

Но нет – секретарша упорствует в своем отказе. При всей ответственности и важности ее положения и при всем ее сочувствии к понятному желанию Кадровика очистить своего хозяина от несостоятельных обвинений, она не чувствует себя вправе ни отменить, ни тем более выбросить, ни даже сколько-нибудь отсрочить какую бы то ни было статью без ведома и согласия ее автора. Если уж вашему хозяину так приспичило, почему бы вам не поговорить напрямую с самим журналистом и не попытаться убедить его немного смягчить свои обвинения? Впереди целая ночь... можно еще успеть перебрать кое-какие строчки...

– Поговорить? С этой змеей подколодной?!

– Змея подколодная? Ха-ха-ха! – Она явно в восторге. – Нет, это просто замечательно! Это вы по опыту личного общения или только на основании его статей?

– С меня достаточно и этой одной его дурацкой статьи!

– Если так, то это гениальное попадание. Прямо в точку! Но скажите сами, – и она неожиданно интимным тоном поверяет ему свое великое секретарское кредо, свое глубокое, основанное на жизненном опыте убеждение – нет, ну скажите сами, разве мы можем вообще обойтись без таких вот змей? Ведь, правда же, хоть одна да должна ползать в каждой газете?! Ведь иначе мы все будем чувствовать себя совсем уж безнаказанно, разве не правда...

Завершив эту занятную, но совершенно бесполезную по результатам беседу, Кадровик погружается в черную меланхолию. Какого черта! Чего ради он так настаивает? За что он сражается? Неужто всего лишь за то, чтобы покрыть непонятное упущение мастера ночной смены? Или все это для того, чтобы снова, как в те былые дни, когда он еще работал торговым агентом, продемонстрировать Старику, какой у него изобретательный и инициативный работник? А может, – он даже чуть пугается этой странной мысли, – может, он потому так упорствует, что хочет вернуть хоть толику уважения этой погибшей женщине, обладательнице инженерного диплома, для которой в Иерусалиме нашлось лишь место уборщицы? Хочет вернуть ей хоть толику положенного человеку достоинства, чтобы и она сама, и все ее близкие поняли, что ее страдания и смерть остались здесь незамеченными отнюдь не по причине всеобщего отупения, бессердечия и равнодушия.

Он зажигает настольную лампу и в тишине пустынного здания снова всматривается в изображение погибшей женщины в своей тоненькой бежевой папке. Неужели в самом деле красивая? Впрочем, кто может судить... Он решительно захлопывает папку и поднимает трубку телефона – проверить, как прошел у дочери урок в балетной студии. Но домашний телефон молчит, и свою временную заместительницу он находит только по мобильнику. Ее легкий английский акцент звучит успокаивающе: да, урок в студии закончился, уже четверть часа назад, но оказалось, что девочка забыла, что им задано в школе на завтра, поэтому она подвезла ее к подруге, а сама ждет теперь в кафе. Так что он может спокойно заниматься своим исследованием. Хоть всю ночь. Он должен еще сегодня закончить это исследование. Они обязаны достойно ответить на эту подлую клевету.

– Всю ночь?! – Он даже задыхается от удивления. – Но это совершенно излишне. Мы уже всё, в сущности, выяснили...

И он рассказывает ей о ходе исследования. Правда, порванная и окровавленная платежка, с которой началась вся эта путаница, действительно выписана в пекарне, но нет никакого сомнения в том, что ко времени теракта эта женщина, – он торжественно называет Начальнице канцелярии ее

имя, – эта Ю-ли-я Ро-га-е-ва, да, Рогаева, уже не имела никакого отношения к их пекарне. Поэтому сейчас он всеми силами пытается отменить публикацию этой несправедливой статьи. К сожалению, редактор отсутствует, и ему, кажется, придется обратиться к самому журналисту...

Его идея приводит ее в восторг. Отменить публикацию? Это абсолютно правильно. Только так они смогут вернуть Старик утрченный душевный покой.

– Не уступай! – подбадривает она Кадровика. – Надави на него, прижми его к стене, этого писаку!

– Как же, его прижмешь, – вздыхает Кадровик. – Это настоящая змея. Если уж он поймал нас в свои кольца, то так просто не отпустит. Не удастся это, придумает что-нибудь другое. Может, лучше, чтобы Старик сам позвонил? Уж ему-то наверняка дадут поговорить с редактором...

Но она хорошо знает своего босса.

– Старик ничего не понимает в этих формальностях. Он только запутается, разволнуется и, в конце концов, еще больше напортит. И потом, времени мало. Ты же сам говорил, что они там, в газете, завтра закрывают пятничный номер. А Старик как раз сейчас в ресторане, а оттуда собирался на концерт...

– В ресторане?! И собирается на концерт?! А мы тут из кожи вон лезем, чтобы защитить его честь...

– Но ведь не только его! – Она вызывает к его чувству справедливости. – Мы и свою честь защищаем тоже. В том числе и честь твоего отдела. Так что оставь Старика в покое... Сколько ему вообще осталось?

Она говорит так тепло, что в душе Кадровика вдруг просыпаются отцовские чувства. Ему тоже хочется услышать добрые слова. Пусть она скажет, что она думает о его дочери.

– Девочка в полном порядке. – Чувствуется, однако, что Начальница канцелярии избегает прямого ответа. – Разве что немного рассеянная, неорганизованная. Сама не знает, чего хочет. Но ты не волнуйся – в конце концов, она тоже найдет свою дорогу в жизни. Все находят...

Кадровик вешает трубку и устало прикрывает глаза.

Глава седьмая

В телефонной трубке – низкий высокомерный голос на фоне разухабисто лязгающей музыки, как будто подколотную змею застигли на свадьбе или в дискотеке. Впрочем, это не мешает журналисту прежде всего обрушиться на своего редактора. Что за отвратительная манера – показывать статью ее же героям?! Настоящая непорядочность, и профессиональная, и моральная. Теперь понятно, почему эта скотина так поспешила спрятаться от всех. И что же – вам, значит, не приглянулась моя статья, да? Ну, он так и полагал, что теперь начнутся всякие закулисные интриги, давление, угрозы – не зря ведь фотограф уже напоминал ему тогда, во время посещения

больницы, что кроме пекарни у вас там есть еще писчебумажный отдел, который вроде бы поставляет бумагу газетам. Ну, и что – вы, небось, полагаете, что в обмен за небольшую скидку в цене бумаги вам положена полная моральная неприкосновенность? Черта с два! Что случится, если ваш ответ появится неделей позже? Ах, вот как, вы хотите вообще отменить статью? Зарубить ее на корню? Вас, что же, так задело обвинение в бесчеловечности? А может, вы просто испугались реакции покупателей? В таком случае вы проявляете совершенно поразительную для современных капиталистов наивность. Думаете, после этой статьи хоть кто-нибудь станет бойкотировать ваши продукты? Если бы... Но нет, этого не будет, увы. Сейчас, когда везде и повсюду так нагло попирается личное достоинство каждого человека, кто там станет обращать внимание на мелкие провинности крупного предприятия?! Наоборот – это, скорее, даже вызовет уважение у наших задолбанных до беспамятства масс: вот, глядите, есть еще, оказывается, в нашей стране места, где не распускают всякие слюни насчет «человечности», а правят твердой рукой и в результате – как эффективно! А если даже какой-нибудь особенно мягкосердечный простачок и возмутится – ну и что? Неужто вы думаете, что он пойдет искать на полках супермаркета ваши продукты, чтобы их бойкотировать? Чепуха. Так что, пожалуйста – шлите нам свои объяснения, извинения, что там у вас есть, только будьте любезны – на следующей неделе. Чао!

– Ни объяснений, ни извинений вам не будет! И никакой следующей недели. – Кадровик пытается перекричать грохочущую музыку. – Эта женщина, эта погибшая, которую вы так усиленно пытаетесь на нас навесить, она ушла от нас уже месяц назад. Так что во время теракта она ни формально, ни как иначе не была нашей работницей, хотя по причине небольшой бюрократической путаницы мы продолжали платить ей зарплату и даже выплачивать за нее налог. Всё проверено. Мы не только не знали об этой смерти, но и не должны были знать. Элементарная порядочность требует от вас признать свою ошибку и отозвать статью.

Ленивый высокомерный голос подколodника и не думает признавать ошибку. Интересно, как это она вдруг перестала иметь к вам всякое отношение? Вы что, уже придумали, как уволить ее задним числом, чтобы ваша совесть была чиста? А как же с платежкой вашей уважаемой пекарни, которую нашли у нее в сумке? Что вы всё крутите да изворачиваетесь? Ясно же, что она ваша! И вы обязаны не только извиниться, но и немедленно ее опознать, чтобы легче было найти ее родственников и друзей, организовать ей достойные похороны. Это ваш минимальный долг по отношению к своему работнику. Достаточно вы ее эксплуатировали, пока она была жива. Выполните свой долг, и тогда читатели, может быть, простят вам ваше омерзительное бездушие и когда-нибудь забудут об этой истории...

Кадровик буквально задыхается от гнева. Во-первых, то, что в этой стране когда-нибудь вроде бы забывают, потом обязательно когда-нибудь всплывает. А во-вторых, прежде чем выносить приговоры и раздавать ука-

зания, лучше объяснили бы, каким боком вы сами причастны к этой истории. Почему это, интересно, вы не обратились к нам сразу же после того, как обнаружили нашу платежку? Почему это даже из реанимации бегут сообщать прежде всего в газету?

– Во-первых, не в газету, а ко мне лично, – назидательно цедит надменный голос. – Во-вторых, в отделении реанимации некогда заниматься документами, они борются за жизнь раненых. Это потом, когда никто не явился ее опознать, и тело отправили в морг, и прошло еще несколько дней, один тамошний патолог, мой знакомый, решил проверить ее сумку и нашел там эту платежку, без указания имени... Кстати, почему это у вас такие анонимные платежи, в вашей пекарне? А, понимаю! Разделяй и властвуй. Скрывай и эксплуатируй. Ну, конечно. Очень похоже на вас. В общем, так – мой знакомый не мог ничего разобрать и поэтому обратился ко мне. Мы с ним немного сошлись за последний год, потому что я написал серию статей о том, как работают наши больницы во время терактов...

– Почему же вы не обратились к нам сразу же, когда увидели, кем написана эта платежка?

– Потому что есть предел и моему терпению. Мое сердце просто лопалось от гнева при виде вашей душевной глухоты и равнодушия, и я решил, что вы заслуживаете небольшой порки, и желательно прилюдной. Это уже не первый раз, что крупные предприниматели, вроде вашего хозяина, умыывают руки, когда их рядовые работники становятся жертвами терактов...

– Но как же так?! – взревел Кадровик, понимая, что он, наконец, коснулся самой сердцевины проблемы. – Как же так?! Ради какого-то сомнительного «урока» вы готовы оставить погибшего человека на неопределенное время в морге?!

– Что значит «оставить»? – насмешливо удивляется голос в трубке. – В каком смысле «оставить»?

– Оставить ее неопознанной, непохороненной – и все для того, чтобы вы могли заварить свою кашу.

– Вот что, любезный, – кажется, голос впервые выходит из равновесия. – В отличие от вас, я за каждым конкретным случаем вижу, прежде всего, общий принцип – низкий уровень общественной и личной порядочности наших преуспевших, зажиточных слоев, которые топчут на своем пути всех остальных. Идут по трупам. А об этой женщине вам нечего беспокоиться. Ей уже неважно, она может оставаться там хоть навечно. Я видел таких мертвецов, которые неделями ждали, пока их опознают и похоронят. Это морг при университетской клинике, они там умеют сохранять человеческое мясо...

– Просто невозможно поверить! – вскипает Кадровик. – Вы называете умершего человека «мясом», а сами выступаете в крестовый поход против крупных предприятий из-за их, видите ли, «неуважения к умершему»!

Музыка в трубке неожиданно смолкает.

– Уважение к умершему? – В голосе звучит неподдельное изумление. –

Вы полагаете, что я сражаюсь за уважение к умершему? Нет, господин хороший, вы ни черта не поняли. А мне-то казалось, что вы уже уловили, что меня нисколько не занимает ваше идиотское «уважение к умершему». Граница между живыми и мертвыми абсолютна. Мертвец – это просто неодушевленная материя, и всё. Уважение, страх, вина – все это относится только к нам самим. Мертвые тут ни при чем, они в этом уже не участвуют. Уж вам-то как начальнику отдела кадров полагалось бы понимать, что все несчастья и боль в нашем мире порождены не отсутствием уважения к умершим, а недостатком внимания к живым. Той невыносимой легкостью, с которой вы забываете о почему-то не вышедшем на работу человеке, отказываетесь признать его своим в уверенности, что тотчас найдете ему замену среди других безработных... Но если я хочу выжать из нашего скучающего, равнодушного читателя хотя бы толику боли и возмущения всем этим, я должен оставить эту погибшую женщину безымянной еще на несколько дней. Что поделать, таковы времена. Даже самый высокий принцип приходится растворять в ложечке скандала... Можете мне поверить, если бы не их вонючая щепетильность, этих, в нашей редакции, я бы непременно послал фотографа, чтобы он сфотографировал ее в морге. Этот мой приятель там... он сказал... ну, выразился в том смысле... что она была если не красоткой, то весьма даже привлекательной особой.

– Привлекательной особой! – Голос Кадровика дрожит от негодования. – Да как вы осмеливаетесь так говорить! Может быть, вам ее даже показали по дружбе, а?! «Красотка», да? И это вы говорите о погибшем человеке?! Да вы оба просто тронутые, вы и ваш приятель! Недаром я сразу почувствовал в вашей статье что-то безумное...

На другой стороне провода слышится довольное хрюканье. А если даже так, что из этого? Когда все в стране разваливается, может, с этим только так и нужно бороться – с помощью безумия? Впрочем, честности ради, следует признать, что слова приятеля о красоте погибшей, действительно, были одной из причин, заставивших его поглубже копнуть это дело. Но господин начальник отдела кадров не может не понять этого, ведь он наверняка говорил с погибшей, когда принимал ее на работу.

Начальник отдела кадров возмущен попыткой журналиста каким-то образом связать его с погибшей. В пекарне два цеха, триста двадцать человек работают в три смены, кто может всех запомнить?

– Может быть, вы мне хотя бы ее имя назовете? Кем она у вас работала? В ее личном деле наверняка есть фотография, я мог бы присоединить ее к статье. А может, присоединим ее к вашему извинению? Это оживит историю и возбудит интерес у читателей...

– Вам фотографию? И имя тоже? Оживить историю? Забудьте об этом! Вы не получите никаких дополнительных данных, пока не согласитесь отозвать свою статью или, по крайней мере, изменить ее злобный, оскорбительный тон.

– Отозвать? Да нет, статья моя крепко стоит на обеих ножках. А вот ме-

ня вы надоумили. Я, пожалуй, действительно, еще немного поработаю над этой темой. Интересно было бы выяснить, как это у вас в пекарне увольняют сотрудника и одновременно продолжают платить ему зарплату? И вообще, я думаю, что из этой истории можно еще кое-что выжать. Люди любят читать о жертвах терактов, это не что-то там далекое и чужое, это реальное и возможное, они тут же примеряют всё на себя. Посмотрите сами на тех, кто приходит сразу после очередного взрыва в кафе, – у них в душе отчаяние, протест, но на лицах – такая горделивая приподнятость: вот, мол, мы снова здесь, мы не поддаемся страху, жизнь продолжается вопреки всему. М-да... Кстати, все хочу вас спросить – что это вы так воинственно настроены против меня? Мы ведь с вами, между прочим, старые знакомые. Да-да... Думаю, если б мы встретились лицом к лицу, вы бы сразу вспомнили, что много лет назад мы даже сидели однажды рядышком на лекции по греческой философии. Так-то... А знаете, я ведь удивился, узнав, что вас вдруг назначили начальником отдела кадров. Вы казались мне совсем не подходящим для этой работы. Но потом мне объяснили, каким образом вы заполучили эту должность, и меня уже не удивило, что эта женщина затерялась среди ваших бумажек... Наверняка, какая-нибудь уборщица...

– Это вас не касается...

– Ничего, когда вы завтра появитесь у нас в редакции, вам волей-неволей придется назвать ее имя...

Кадровик почти физически ощущает, как его сжимают змеинные кольца, и ему уже жаль, что он вообще затеял этот разговор.

– Кто вам сказал, что я у вас появлюсь? Может, мы вообще решим не отвечать на вашу клевету. Проигнорируем ее, и все...

Глава восьмая

Теперь уже он ощущает не одну только вяжущую, давящую усталость. Теперь к ней присоединился острый голод. Пора проверить, вернулась ли дочка, наконец, домой. Но сначала он отправляется в туалет, сполоснуть лицо. Однако мужской туалет занят – здесь возится какая-то новая уборщица, которую он здесь видит впервые, молодая, пышноволосая женщина. При виде мужчины она смущенно отступает в сторону – видимо, не ожидала, что в это позднее время кто-то из сотрудников еще работает. Он приветливо улыбается ей и проходит в женский туалет. По его личному приказу здесь недавно поставили большое, в человеческий рост, зеркало, чтобы сотрудницы могли видеть не только свое лицо, но и всю фигуру. В безмолвной тишине рано подступившей осенней ночи он пристально рассматривает себя. Рядовой мужчина, тридцати девяти лет, сильный, хорошо сложенный, хоть и не особенно высокий, с короткой, ежиком, стрижкой – памятка о сверхсрочной армейской службе. Застывшее, усталое, мрачное лицо. И глаза – сузившиеся в какой-то непонятной обиде. «Что с тобой?» – с молчаливым упреком спрашивает он свое отражение, которое

продолжает недовольно и хмуро смотреть на него. Неужто это все из-за трусливых капризов Старика? Или из-за этой лживой статейки с циничным упоминанием о его разводе? Теперь ему уже совершенно ясно, что журналист куда хитрее и изворотливее, чем он думал. Такой ничего не уступит и ни слова в своей писанине не изменит. И если они завтра же не пошлют в газету самое недвусмысленное извинение, он непременно продолжит ковыряться в их кишках. А там, глядишь, на следующей неделе появится еще один пасквиль. Как только ему станет известно имя погибшей, он наверняка найдет путь к людям ночной смены и отыщет себе там очередного информатора с такой же легкостью, как нашел его в морге. Настучал же ему кто-то о связи между его разводом и назначением на новую должность. Нет, конечно, не Секретарша настучала, в этом он уверен. Не потому, что она так уж уважает его, просто она не станет порочить отдел, в котором работает...

Начальница канцелярии узнает его с первого слова. Да, у них все в порядке. Они уже по дороге домой. Со всеми домашними заданиями до самого конца недели. И дома сразу же возьмутся за них. Может быть, он хочет поговорить с дочерью?

Голос дочери, обычно отчужденный, неуверенный и всегда будто в чем-то оправдывающийся, теперь согрет новой надеждой. Да, ей очень хорошо. Эта женщина очень симпатичная. И она обещала помочь с уроками, так что ему не нужно куда торопиться.

– Ну что, удалось договориться с журналистом? – снова берет трубку Начальница канцелярии.

– Увы. Никаких шансов. Жаль, что я вообще с ним связался.

– Попробуй еще что-нибудь. Подумай. Не торопись. В твоём распоряжении целая ночь.

– Опять ты про целую ночь! У меня совсем другая идея. Может, нам вообще отказаться от ответа? Ну, дать этой истории осесть и забыться. Дай мне номер мобильного Старика, я попробую поговорить с ним об этом еще до концерта.

Нет, она не согласна. Она не даст ему этот номер. Он не будет говорить со Стариком без нее. Да еще перед концертом. Старик без нее беззащитен. И вообще, ей кажется, что это неправильный путь. Зачем отказываться? С какой стати поднимать руки и капитулировать? Нет, нужно хорошенько подумать. Наверняка можно найти что-то другое. Не нужно торопиться.

Он берет в руки полученную в пекарне буханку. Запах свежего хлеба кружит ему голову. Может быть, поспешить в пекарню и предупредить Мастера на случай появления журналиста? Или все-таки подождать до завтра? Он надламывает буханку. Сначала он думал принести ее домой целиком, но сейчас ему вдруг мучительно захотелось есть, до тошноты. Он подходит к маленькому холодильнику Секретарши и заглядывает туда в надежде найти что-нибудь, что можно было бы положить на краюху. Раньше он

себе никогда не позволял рыться в чужом холодильнике. Но его поиски напрасны – холодильник девственно пуст, если не считать сиротливо стынувшей пластинки сыра. Можно было бы взять этот сыр, Секретарша наверняка с радостью им пожертвует, но его сдерживает мысль, что завтра придется извиняться перед ней за вторжение в ее холодильник. Нечего ей воображать! Хватит с него той развязности, с которой она сегодня вела себя с ним самим и с этим пожилым Мастером!

Он надламывает пустую краюху и опять подвигает к себе тоненькую бежевую папочку с личным делом погибшей уборщицы Юлии Рогаевой. В третий раз перечитывает ее анкетные данные – возраст, место рождения, адрес в Иерусалиме – и снова осторожно приближает к глазам маленькое, неясное изображение женского лица и высокой, почти модильяниевской шеи, пытаясь понять, в чем секрет той красоты, что так обидно ускользнула от его взгляда, когда он принимал эту женщину на работу. Неужто Секретарша права, и он действительно замкнулся в себе, как улитка, так что красота и добро проходят мимо него, как тени? Ему вдруг опять вспоминается почти интимная фамиллярность, которую позволила себе Секретарша во время сегодняшних вечерних поисков, и он окончательно утверждает в мысли, что завтра нужно будет первым делом поставить ее на должное место. Среди товарищей по сверхсрочной службе он славился тем, что всегда умел сохранять дистанцию между собой и своими секретаршами – до тех пор, пока не женился на одной из них.

Он закрывает папку, отламывает от буханки еще один кусок и подходит к шкафу, чтобы достать личное дело пожилого Мастера. Эта папка, в отличие от предыдущей, старая, пухлая, со множеством листов, и фотография в ней – не отсканированная с компьютера, а сделанная для паспорта. На снимке – лицо молодого, красивого парня в форме техника инженерных войск, его черные глаза сияют, открытый миру взгляд дышит доверием и надеждой. Кадровик листает бумаги – старые заявления о льготах и дополнительных отпусках, извещения о женитьбе и рождении трех детей. Приказы об очередных повышениях по службе и бесчисленные заявления, отражающие долгую, утомительную тяжбу за приведение зарплаты в соответствие новой должности. В общем и целом, надежный работник, хотя есть тут и десятилетней давности резкое письмо самого Старика с выговором из-за какого-то двигателя, который сгорел по халатности Мастера. История человека, который неуклонно поднимался по службе и в результате сегодня, несмотря на звание обычного техника и запачканные машинным маслом руки, получает вдвое больше, чем он, ответственный за человеческие ресурсы и проблемы всей пекарни.

Смотри-ка, незаметно-незаметно, а буханку он умял-таки целиком – одни крошки остались! Он сгребает их в ладонь и швыряет в мусорную корзину, потом решительно набрасывает на себя еще мокрый плащ и выходит, опять направляясь к зданию пекарни, что смутно темнеет сквозь светящийся под фонарями ночной туман, прослоенный клубами серого дыма.

Глава девятая

Наконец-то последние клиенты разошлись из столовой, и нам удалось поднять стулья на столы и расчистить место, чтобы соскоблить с пола натоптанную ботинками рыжую глину, а то казалось, будто это не столовая, а какая-то бойня. И тут из темноты вышли двое, из соседней пекарни. Мы уже устали от случайных гостей, которые весь вечер прятались у нас от дождя, но этим двоим никак нельзя было отказать. Тот, что помоложе, отвечает у них в пекарне за рабочую силу, и его секретарша каждый раз заказывает у нас угощение, когда они там провожают кого-нибудь на пенсию. А пожилой мастер ночной смены – наш постоянный клиент, с очень давних времен. И если такие важные люди не смогли найти у себя в пекарне укромное местечко для тихого разговора и выбрали для этого нашу простую рабочую столовую, мы никак не могли им отказать. Однако мы сразу их предупредили, что кухня уже закрыта и потому кроме чая мы им ничего не сможем подать. Но молодого это не испугало, а старый мастер как будто о чем-то задумался и наших слов вообще не слышал. Они прошли к угловому столу около окна, а мы продолжали отдира-ть глину, но старались при этом держаться поближе, чтобы услышать, о чем они говорят, потому что если знаешь, о чем люди говорят, то иной раз можно угадать, долго ли они будут сидеть.

Вначале больше говорил этот молодой, из кадров, а старый мастер только слушал и молчал. Сидел себе в своей рабочей одежде и в старой армейской куртке, подперев голову рукой, и слушал его. А потом молодой замолчал, как будто у него разом кончились все слова, и мы увидели, что у старого мастера как будто постепенно рождается на губах ответ, потому что он заговорил – сначала шепотом, запинаясь, а потом все громче и уверенней. Уже и пол был совсем чист, и все стулья расставлены по местам, и свет в окне стал совсем фиолетовый, как всегда бывает с приближением ночи, и тут мы увидели, что старый мастер надолго замолчал и спрятал голову в руки, как будто ему больно или стыдно чего-то. И тогда мы догадались, почему они пришли разговаривать в нашу столовую. Мы поняли, что старый мастер хотел в чем-то исповедаться, а в пекарне ему было неловко.

Глава десятая

Кадровик начал с извинений за грубый, развязный тон своей секретарши, но Мастер слушал его рассеян-но и вполуха, как будто никакие извинения ему не были нужны – напротив, похоже было, что ее настырность почему-то показалась ему вполне оправданной и даже уместной. Но когда Кадровик снова упомянул, что Старик незаурядно обеспокоен этой историей, и заговорил о том, как важно для них сейчас строго придерживаться фактов, чтобы правильно решить, как и что отвечать журналисту, его собесед-

ник вдруг очнулся, словно только тут понял, что в таком случае расследование никак не может ограничиться одной лишь бюрократической стороной дела.

Впрочем, Кадровик тут же объясняет ему, что вернулся в цех не только затем, чтобы выяснить все факты, но и затем, чтобы успокоить. Он только что, в своем кабинете, листал личное дело Мастера, и перед его глазами прошел длинный путь верного и преданного своему предприятию человека. И поэтому он хочет, прежде всего, избавить Мастера от извинений перед Стариком. Он не хочет, чтобы его личное дело было запятнано еще одним замечанием, вроде того, что оказалось там из-за истории с двигателем.

Мастер удивлен. Неужто даже с письма, написанного рукой, и притом рукой самого хозяина, тоже снимается копия? И что, она хранится в его личном деле?

– У всякого документа должна быть копия, – поучительно говорит Кадровик. – И ее естественное место – в несгораемом шкафу с личными делами, который стоит в нашем отделе.

Однако, к делу. Он хочет объяснить Мастеру свои намерения. Поскольку уж он взял на себя труд распутывать эту неприятную историю, он хочет сам доложить Старiku о результатах. Возможно, он сделает это еще нынешней ночью, когда тот вернется с концерта. «С концерта?» – удивляется Мастер. Да, представьте себе, наш хозяин и сегодня не отказал себе в этом удовольствии. Мы тут носимся, не жалея себя, в дождь и в бурю, как новобранцы на тиронуте*, лишь бы защитить его доброе имя, а он в это время наслаждается музыкой. А впрочем, почему бы и нет? Разве истинная человечность не предполагает утонченности? И почему нужно отказываться от музыки, даже если мы переживаем тяжелые дни? Так вот, хотя Мастер по чину и старше его, Кадровика, на добрые две лычки, и зарплата его почти вдвое больше, но в этом конкретном деле именно он, Кадровик, прострет крылья и возьмет более пожилого человека под свою защиту. Но для того, чтобы эта защита была эффективной, он, Кадровик, должен знать всю правду, пусть даже в таком пустяковом и незначительном деле. Потому что та подкодная змея, что один раз уже ужалила их пекарню, хочет ужалить еще. Почему бы нет?

– Змея?

– Да, настоящая змея. Вот именно.

Этот журналист, который затеял всю историю, другого имени не заслуживает. Он, Кадровик, только что разговаривал с ним и убедился, что это для него даже слишком мягко. Короче, они должны быть настороже. Главное сейчас – не отвечать никакому журналисту, ни на один вопрос, даже самый невинный.

– Но чего он добивается?

Личного извинения хозяина пекарни. Недвусмысленного признания *нашей вины*. Его не устраивает никакое формальное объяснение. По его мне-

* Тиронут – курс молодого бойца (*иврит*).

нию, это не оправдывает нашей черствости и бессердечия. Поэтому ему нужно во что бы то ни стало доказать общественности, что эта женщина оставалась нашей сотрудницей во время теракта и смерти и остается нашей даже сейчас.

– Как это – сейчас?

– Да-да, даже сейчас. Поскольку никто не пришел поинтересоваться ее судьбой, он изображает ее как одинокую, брошенную всеми женщину и самовольно назначил себя чем-то вроде ее посмертного адвоката, который имеет право представлять ее, как в суде, а потому уполномочен копаться в ее жизни. Можете не сомневаться, что ему не составит никакого труда добраться и до того вашего «расставания» с погибшей, о котором вы почему-то никому не доложили...

– Но ведь я уже сказал, что сожалею. Я допустил ошибку и готов уплатить.

Кадровик терпеливо объясняет: ни сожаление, ни даже компенсация финансового ущерба тут не помогут. Тут нужно докопаться до правды – что это за «расставание». Подумайте сами: труп безымянной женщины в морге, да еще в течение целых семи дней после теракта – это ведь настоящий подарок всем нашим моралистам и правдоискателям. Такой соблазн...

– Соблазн... – Мастер явно взволнован этим случайно брошенным словом. Да, это верно. Ему тоже хорошо знаком этот соблазн безымянности и чужести. Только не в отношении мертвых, а в отношении живых. Приходят к тебе на смену новые люди – временные, безымянные работники, кто из местных меньшинств, кто из недавних иммигрантов-одиночек, и вот эта их полная незащищенность, несправие, возможность командовать ими – да, это большой соблазн...

– Соблазн?

Теперь уже Кадровик, в свою очередь, удивлен этим словом, которое у него, по правде говоря, выпрыгнуло чисто случайно, просто как метафора, а сейчас вдруг вернулось к нему как что-то реальное и живое.

– Что вы имеете в виду?

Мастер смущен. Нет, сбивчиво объясняет он, дело, конечно, не только в соблазне власти над слабым, одиноким человеком, но также в соблазне сочувствия, симпатии к нему, в соблазне желания заполнить пустоту его жизни...

«Но в действительности... чтобы не оставалось недоразумений...» Мастер смущен, лицо его покраснело, голос дрожит. Он должен признаться... хотя в принципе он никому не обязан этого говорить... в действительности... то есть на самом деле... между ним и этой новой работницей *ничего такого не было*. То есть никакой физической близости. Ну да, он готов признать – эта женщина очень его *волновала*. Возможно, именно потому, что между ними ничего не было. Но ведь на нем лежит ответственность за всю ночную смену, это большое и сложное дело, ему нужно постоянно сохранять спокойствие и уверенность, и поэтому... сами понимаете... в конце концов, у него остался единственный выход – *рассстаться*, удалить ее от себя.

Кадровик дивится так легко доставшейся откровенности. И как два ча-

са назад, когда он увидел, что ее заявление написано его рукой, его охватывает странная дрожь. Как будто эта женщина, старше его почти на десять лет и упорно отказывающаяся всплыть в его памяти, способна – даже после смерти – стать соблазном и для него самого. Поэтому он очень осторожно подбирает слова. Да, у него у самого уже возникло подозрение, что тут было что-то такое, что стало помехой обычным трудовым отношениям. И хотя он очень устал после долгого рабочего дня и должен торопиться к ждущей его дочери, он все время чувствовал, что какая-то деталь мешает ему сделать окончательные выводы по этому расследованию, ответственность за которое на него возложили. Теперь ему понятно. Так что же в действительности между ними произошло? Что-нибудь серьезное? Потому что его Секретарша, когда распечатывала сегодня вечером портрет этой женщины, очень впечатлилась ее красотой, и тот негодяй-журналист тоже говорил что-то такое...

– О чем? – Лицо мастера резко бледнеет.

Ну, не то чтобы это было так важно, смущенно и сбивчиво объясняет Кадровик, но, в общем, это так понятно... Одиночество... ночь... а тут еще подвернется такая привлекательная женщина... Или это все-таки преувеличение, насчет ее красоты? Потому что он сам, например, хотя лично беседовал с ней при поступлении на работу, никак не может, даже уже посмотрев на ее фотографию, припомнить что-нибудь примечательное... Он вообще не помнит ее... А как думает Мастер?..

Снаружи еще слышен частый стук капель по желобам водосточков, но ночь вроде бы уже очнулась после дневного потопа. Лицо пожилого Мастера спокойно, он весь погружен в себя. Не чувствуется, чтобы его тревожила исповедь, к которой осторожно подводит его Кадровик. Видимо, этот молодой мужчина с короткой армейской стрижкой вызывает его доверие.

Глава одиннадцатая

Потому что он вдруг одним глотком допивает окончательно остывший чай и начинает рассказывать – поначалу медленно и запинаясь. Кадровик терпеливо слушает его, то и дело, неприметно для Мастера, подавая собирающим стулья официантам знак – потерпите еще немного, он человек пожилой, вряд ли его исповедь затянется надолго.

Огни в столовой мало-помалу гаснут, официанты один за другим расходятся по домам, и только самый старый из евреев да еще молодой араб, занятый на мытье посуды, ждут, пока можно будет погасить за гостями последний свет. А тем временем пожилой Мастер вытягивает из клубка своей исповеди первую тонкую нить. Да, он должен откровенно признаться, что новая работница, эта Юлия Рогаева, его буквально *обворозжила*, притом настолько, что именно из-за этого, как он теперь – увы, только теперь – понимает, и произошла вся эта неприятная путаница с ее причастностью и одновременно непричастностью к пекарне.

Причем он точно знает, что дело тут не только в ее внешнем виде. Он смотрит в упор на своего молодого собеседника и снова, доверительно и по-братски, заверяет его, что между ним и этой женщиной ничего особого не было. Одно только чувство, которое он не решается назвать. К чему умножать сожаление и грусть, да и сознание своей вины тоже? Что же до фактов, то, пожалуйста, вот они. Их первая – в сущности, чисто деловая, чисто техническая – встреча так и осталась самой длительной из всех. Да и вообще, все началось не так уж давно, в самом начале зимы, ну, может, в конце осени, после того, как она перешла в его смену. Нет, она перешла по собственной просьбе – просто узнала, что за ночные часы полагается небольшая доплата.

«У меня, – говорит Мастер, – есть одно непререкаемое правило: лично знакомить каждого новичка с правилами безопасности». Причем с уборщиками он соблюдает это правило особенно строго. Не только потому, что они обычно не так образованны и внимательны, как другие, – просто по роду работы им приходится заглядывать в самые разные углы и закоулки здания, вот и приходится предостерегать их от всего на свете. И от раскаленных печей, и от обманчивой безопасности огромных тесторезок и тестомешалок с их грозными ножами и лопастями, скрытыми в белой толще вязкого теста, не говоря уж о всевозможных каверзах, что подстерегают неопытных людей возле главного конвейера с его сложным, неравномерным ритмом!

Ну вот, а в ту ночь он освободился лишь после полуночи. И хотя ему сказали, что новая уборщица уже знакома с пекарней, обычая своего менять все равно не стал. Конечно, если бы он тогда знал, что эта симпатичная женщина, которую он повел в свой обычный обход, – инженер по образованию, он, возможно, и не стал бы так подробно объяснять ей элементарные правила безопасности, но самого обхода все равно бы не отменил. И именно во время этого обхода в его сердце как раз и вспыхнула первая искра.

Да, у него под началом много женщин, но он уже привык держаться от них на расстоянии, возводить такую невидимую ограду, чтобы избежать нежелательных осложнений. А, кроме того, новая уборщица, которая послушно шла за ним следом и с легкой улыбкой слушала его разъяснения, поначалу показалась ему такой же, как все. Тем более что она была не так уж молода, а к тому же перепоясанный синий халат и огромный белый колпак на голове придавали ей бесформенный и неуклюжий вид. Но он уже тогда ощутил, что ему почему-то не хочется заканчивать обход и отсылать ее обратно на рабочее место. Как будто в его душу сразу же закралась странная уверенность, что в этой женщине таится что-то такое, что он уже никогда не надеялся встретить, хоть и знал о его существовании. Потому что, когда они проходили особенно темными местами, его сердце вдруг сжималось, словно ему было больно даже на миг потерять из виду эту ее рассеянную, беспричинную улыбку и эти прекрасные, сияющие глаза, над которыми так нежно тянулись какие-то удивительные, не то татарские, не то монгольские складки.

«Татарские? Монгольские?» – удивляется про себя Кадровик, услышав

такое четкое определение той странности, которую он и сам заметил на фотографии погибшей. Но пожилой Мастер, никогда в жизни не видевший ни татар, ни монголов, да и ничего не знающий о них толком, тем не менее настаивает на своем определении. Да, татарские. Как будто не улыбка, не сердечность и даже не женское обаяние новой работницы пленили его, а именно это необычное, неожиданное сочетание в ее лице европейского и восточного. «И вот тогда-то, – говорит он, – глядя на нее, я вдруг ощутил тоскливое чувство безнадежной влюбленности. Да – совершенно бессмысленной, нелепой, безнадежной, но именно *влюбленности*. Вот правильное слово!»

Сейчас он попытается объяснить своему молодому коллеге, который, право, подкупил его своим терпеливым вниманием, как развивалось это его неясное, запутанное чувство. Может быть, он и сумел бы тогда же подавить ту первую, слабую искорку, но его подчиненные – техники, кладовщики и пекари его смены – попросту не дали ему этого сделать. За годы совместной работы они научились читать на лице своего Мастера не только его намерения, но и чувства, и теперь молчаливо давали ему понять, что угадывают, какое необычное волнение его охватило. Они подчеркнуто держались на почтительном расстоянии от него и новой работницы и старались не отвлекать его деловыми вопросами, предоставляя ему возможность самому справиться с тем возбуждением, которое вызывала в нем эта улыбающаяся женщина, мягко шедшая рядом с ним вдоль конвейера. А сам он... что ж, на следующий день он проснулся с ощущением сладкой боли и страха перед предстоящей ему этой ночью новой встречей. Но вдумайтесь в положение. Ведь у мастера ночной смены нет особых причин встречаться с уборщиками – все свои указания и просьбы он передает им через бригадира. И потому любой его контакт с новой работницей наверняка не укрылся бы от любопытствующих посторонних глаз. По цеху снуют десятки людей, и многие из них явно не прочь, чтобы их Мастер посильнее увлекся новой работницей. Может быть, это смягчит его обычную суровую и жесткую требовательность к подчиненным. Поэтому он не мог напрямую смотреть на нее. Но он придумал, как ему быть. Он создал у себя в воображении ее потайной, мысленный облик и, то и дело обращая к милому лицу свой внутренний взгляд, тихо ласкал его незримыми прикосновениями.

Да, его все время тянуло к ней, а она, словно почувствовав это, старалась то и дело оказаться поблизости к нему и...

Кадровик украдкой бросает взгляд на часы. Пожилой мастер слишком уж увлекается деталями. Вообще говоря, это совершенно излишне для целей расследования. С другой стороны, что ни говори, речь идет о смерти, какой бы случайной и безымянной она ни была. Поэтому прерывать его исповедь явно не стоит. Ведь только с помощью таких вот деталей и можно нащупать, в какой именно момент произошло это их пресловутое «расставание», а значит – когда конкретно возникла та ее «причастность и одновременно непричастность» к пекарне, из-за которой, в конечном счете, Статика обвинили в равнодушии и бесчеловечности.

«У них, в ночную смену, – продолжает Мастер, – выпадают порой свободные минуты», и именно в такие минуты подчиненные то и дело сообщали ему какие-то новые подробности, связанные с этой странной женщиной. Оказывается, несмотря на всю свою привлекательность и обаяние, она одинока. Ее пожилой муж, приехавший с нею в Страну, не нашел в Иерусалиме подходящей работы и вернулся на родину. А вслед за ним ее покинул единственный сын-подросток, отец которого, ее первый муж, категорически потребовал, чтобы мальчик больше не оставался в этом опасном городе. И только она почему-то все еще пытается зацепиться в Иерусалиме, хотя непонятно, что ее здесь держит...

Кадровику хочется прервать его и сказать этому пожилому человеку, что все, что его подчиненные по крупице собирали и докладывали ему, давно рассказано и записано его, Кадровика, собственной рукой в ее личном деле. И вместо того чтобы питаться слухами, Мастер мог бы воспользоваться своим правом ознакомиться с личным делом любого работника своей смены. А впрочем, есть ли у мастеров такое право? Надо бы поручить Секретарше это выяснить. А может, лучше спросить об этом у самого Старика? Интересно, где он сейчас? Наверняка, слушает свой концерт и даже не представляет себе, какие усилия прилагают его подчиненные, чтобы защитить репутацию пекарни.

И вот это одиночество Юлии – тянет свою ниточку Мастер – как раз и соблазняло его взять ее под свое покровительство. Конечно, пока она не найдет себе место в новой жизни. Ведь достаточно было порой бросить на нее случайный взгляд, чтобы понять, несмотря на все ее старания улыбаться, что работать в ночную смену ей трудно. И, тем не менее, она не позволяла себе присесть ни на минуту – лишь обопрется ненадолго на свою метлу да склонит на миг голову, но и тогда тихая улыбка продолжает витать на ее лице. Улыбка, совершенно чистая в своих истоках и намерениях, ибо не обращенная ни к кому конкретно. Да, такой женщине необходимо его покровительство! Но как же поговорить с ней об этом?

Опытный человек, он знал, что ночь способна расслаблять даже тех, кто считает себя ее давним и опытным подданным. И потому поближе к рассвету даже в самой что ни на есть ночной душе настаивается та мутная, одуряющая беспросветность, которая делает сознание путанным и вязким и может привести к ошибкам, а то и, не дай Бог, к серьезному несчастью. Вот почему он давно уже завел и другой обычай – время от времени отправлять подчиненных попить, сполоснуть лицо холодной водой, а то даже ненадолго выйти на свежий воздух проветриться. С теми же советами он начал теперь обращаться и к новой работнице, и благодаря этому они стали, наконец, раз от разу обмениваться короткими фразами, которые всякий раз вонзались в его сердце, как тоненькие стрелки, а чтобы эти их мимолетные разговоры не так бросались в глаза, он начал, вопреки своим правилам, болтать и с другими работницами смены. И так тянулось какое-то время. Но вскоре он почувствовал, что она уже поняла, что с ним происходит, и,

более того, относится к этому вполне благосклонно, может быть, именно потому, что он старше ее и годами, и по службе, имеет семью и даже трех внуков. Ибо ей не нужен был ни новый муж – он у нее уже был, ни новый любовник – она от него только что отказалась, ни даже ребенок; нет, она искала лишь простого человеческого участия, надежного и дружеского покровительства местного человека, в обмен на которое готова была, если потребуется, отдавать свое тело, но отдавать совершенно бескорыстно, не требуя от мужчины, чтобы он ради нее разрушил ту семейную крепость, которую строил годами. Она нуждалась в таком покровительстве – ведь, будучи одинокой и чужой в этом городе, она неизбежно рисковала стать беззащитным объектом любых, самых необузданных мужских фантазий и даже прямых посягательств.

И вот тогда, окончательно поняв, что подчиненные уже распознали его состояние и всячески подталкивают его реализовать на склоне лет те желания, в которых он даже самому себе не смел признаться – а ведь смутные времена, наступившие в стране в последние годы, сделали соблазнительно-доступными и такие отношения, которые раньше повсеместно считались предосудительными, – пожилой Мастер осознал, что увлекся слишком серьезно, и принял трудное, но показавшееся ему единственно верным решение – поскорее отдалить эту женщину от себя, расстаться с ней, но расстаться так, чтобы при этом не отказываться от нее окончательно, чтобы кто-то другой не занял его место, причинив ему этим нестерпимую боль. И он стал убеждать ее бросить работу уборщицы в его цеху и подыскать себе что-нибудь более подходящее, более соответствующее ее образованию, но при этом про себя решил сохранить за ней место в своем штатном расписании – чтобы она могла вернуться, если не найдет другую работу или его тоска станет по ней совсем уж невыносимой...

– Вот оно! – Кадровик, наконец, прерывает свое длительное молчание. Он говорит деловым, суховатым и жестким тоном, несколько не соответствующим взволнованной исповеди пожилого Мастера. – Вы решили сохранить за собой эту незанятую штатную единицу, тогда как, согласно правилам, обязаны были немедленно вернуть ее в кадры, едва лишь она освободилась.

Глава двенадцатая

И он встает из-за стола, намного превысив то время, которое предполагал отвести для доверительного разговора, но и при этом едва лишь краешком задев предстоящую им обоим долгую ночь. Все это время он помнил, что впереди у него – собственная ночная смена, и поэтому сейчас он спешит к своей машине, довольный тем, что все детали головоломки теперь у него в руках; но на этот раз уже Мастер неотступно следует за ним, зябко подняв воротник куртки. Видимо, он не прочь продолжить свою исповедь, и, понимая это, Кадровик торопливо открывает дверцу машины, быстро от-

ключает сигнализацию, сметает с ветрового стекла налипшие бумажки и листья и решительно заявляет:

– Ну, все, теперь я смогу, наконец, освободить Начальницу канцелярии, а то ведь Старик приказал ей пасти мою дочь вместо меня.

Мастер мгновенно напрягается. Он никак не представлял, что в его тайную любовную историю вовлечено такое множество людей.

– Что, она тоже будет все знать?

– Нет, ей это ни к чему. Я постараюсь, чтобы и сам Старик тоже вникал поменьше... – И Кадровик указывает на прошитый огненными искрами дымный столб, поднимающийся над трубами пекарни, как будто именно там находится сейчас их хозяин. – Так что не беспокойтесь – эта история останется только в вашем личном деле...

Но Мастер все еще не хочет расстаться со своим исповедником, как будто его бывшая работница тоже оказалась сейчас во власти отдела кадров:

– Если вам понадобится... – неловко бормочет он. – Для опознания тела... Я всегда готов...

Кадровик вздрагивает и отстраняется с чувством легкого отвращения:

– Нет, тут все уже ясно, и что касается отдела кадров, это дело можно считать закрытым. Что же до пекарни в целом, то я буду рекомендовать Старик у решительно устранившись от этой истории. Нам совершенно незачем раздувать ее своими объяснениями. Мы к ней, по существу, непричастны.

В дверях квартиры его встречает яркий свет и душноватое тепло. В коридоре на полу стоят распаленные зонты, на вешалке висят плащи, все наполнено сырым запахом дождя, а из гостиной доносится аромат пищи. Дом, который весь последний год не знал особой радости, излучает веселую деловитость. Его 12-летняя дочь сидит на диване, на подложенных подушках, во главе большого обеденного стола, оживленная и раскрасневшаяся, а между кусками пиццы, остатками печенья, бутылками колы и чашками из-под кофе разложены ее циркули, линейки и школьные тетради. Видно, что она энергично черпает из источника познаний, который широко распахнула перед ней временная опекуна, успевшая, кстати, за это время неожиданно удвоиться в числе за счет прибывшего ей на помощь мужа. Вот он – сидит рядом с ней, помогая их общей подопечной благополучно пробраться по лабиринтам арифметических упражнений и насмешливо следя за ее мучениями.

Девочка встречает отца слегка разочарованно:

– Ты уже? А мы еще не сделали все уроки...

Он смеется, чуть ли впервые со времени разговора со Стариком:

– Теперь вы сами видите, кто тут на самом деле управляет человеческими ресурсами! Извините, что так поздно... Мастер ночной смены очень задержал своим рассказом ...

Но Начальница канцелярии, кажется, получает удовольствие от обязанностей, возложенных на нее хозяином. Если Кадровику нужно еще немно-

го поработать над своим докладом, они с мужем готовы остаться с девочкой, они никуда не спешат...

– Нет, спасибо. Дело закончено, просто у меня нет сил сейчас все объяснять...

– Да, да, конечно! – говорит его заместительница с легкой обидой в голосе. – Расскажешь завтра, не к спеху. Мы уже идем, вот только муж кончит с ее арифметикой, а я проверю упражнения по английскому... Ты можешь пока немного согреться. Все, что на столе, – для тебя тоже. Человеку позволено иногда быть гостем в собственном доме.

– В бывшем собственном доме, – с хмурой усмешкой говорит он, выходя в прихожую. Там он вешает на вешалку свой мокрый плащ, снимает промокшие туфли и включает электрический подогрев водяного бака.

Пока снятая им квартира еще не освобождена, бывшая жена разрешила ему приходить к девочке и даже оставаться с ней на ночь. Разумеется, когда она сама не будет ночевать дома. Ведь кто-то должен быть с ребенком ночью. Не таскать же ее каждый раз в крохотную квартирку его матери! Но пусть он не думает, что будет спать в их бывшей двуспальной кровати. С него достаточно дивана или кресла в гостиной. Она даже согласна временно сохранить за ним две полки в ванной, он может держать там принадлежности для бритья, пижаму, смену белья и пару рубашек с брюками.

Он входит в ванную, снимает измятую за день одежду и пробует рукой воду в кране. Холодная, как лед. Исповедь старого Мастера не выходит у него из головы. Надо решить, что рассказать Старика, что утаить, а что и самому постараться забыть, чтобы сохранить тайну этой молчаливой, насильственно прерванной влюбленности. Ему немного жаль, что он никогда больше не увидит эту женщину. Сейчас, наверно, ему достаточно было бы разок взглянуть на нее, даже издалека, чтобы понять, действительно ли она красива. Интересно, что она подумала, увидев, что зарплата ей продолжает поступать и после ухода с работы? Поняла, что это робкая, тайная попытка стареющего мужчины сохранить свою любовь, не реализуя ее, или решила, что это простая канцелярская ошибка, и не сообщила о ней только по своей бедности? Теперь уже никогда не узнать...

Возбужденный голос дочери прерывает его размышления:

– Папа, – кричит она из-за двери, – если ты еще не начал мыться, не начинай, – мама звонила, что она возвращается, потому что у тебя проблемы на работе, и теперь ты должен сейчас же освободить ей стоянку. Пожалуйста, папа, если ты еще не начинал мыться, так выходи быстрее, а то не успеешь!

Он знает, как мучительно для дочери то глухое, тягостное молчание, которое сопровождает его редкие встречи с бывшей женой. Нет, он ни за что не станет причинять ей лишних страданий. Он снова с отвращением натягивает на себя мятую, сырую одежду и выходит в прихожую, где двое «подменяющих» уже стоят, закутавшись в свои плащи, с приготовленными зонтами. Муж в шапке чулком, какие носили во времена Войны за незави-

симость. Вот, пожалуйста, – двое людей, вполне довольных собой и тем добром, которое они дарят другим людям.

– Не обязательно было с нами прощаться, – говорит Начальница канцелярии. – Ведь мы завтра увидимся.

– С тобой, может быть, но не с твоим мужем. – Кадровик энергично трясет руку подтянутого пожилого мужчины и качает головой в знак согласия с его негромким назиданием: «Ты должен больше заниматься с ней математикой...» Потом прижимает руку к сердцу в знак своей глубокой признательности и поворачивается к Начальнице канцелярии – спросить, когда примерно кончится сегодняшний концерт.

– Ты все-таки хочешь позвонить ему еще сегодня?

– А почему бы нет? Если он впал в такую панику, не грех его, наконец, успокоить.

– Но ты уже действительно во всем разобрался? До конца?

– Так мне кажется.

– Если так, – она дружелюбно оглядывает молодого мужчину, – то можешь позвонить ему даже после полуночи. Если ты его разбудишь, не обращай внимания – он легко просыпается и так же легко опять засыпает. Наоборот, может, тебе удастся его успокоить, и он будет лучше спать...

Он так тепло прощается с гостями, словно неожиданно заполучил двух новых родственников. Выходит следом, отгоняет машину со стоянки возле дома, ставит ее прямо на тротуаре и, вернувшись в дом, торопливо доедает остатки пиццы, в промежутках пытаясь рассказать дочери, в самых простых, доступных ее пониманию словах, историю погибшей уборщицы. Но девочка слушает невнимательно и вдруг, схватив его за руку, умоляющим голосом просит:

– Папа, мама вот-вот вернется, вы оба устали, зачем вам снова ссориться?..

Он целует ее, мысленно проклиная старого хозяина, который испортил ему долгожданный вечер, снова натягивает свой мокрый плащ, берет зонт и выходит на улицу. Но уезжает не сразу. Сначала он должен убедиться, что жена действительно вернулась и дочь не останется одна. Вокруг сеется дождь, тонкий, как кружево, непонятно даже, падает он с неба или поднимается с земли. На горизонте, за гигантской антенной, горит какое-то багровое пятно, то ли естественного, то ли искусственного происхождения. Его знобит от холода и усталости. Но вот, наконец, на узкую улицу врывается большая белая машина (все еще записанная на его имя) и на угрожающей скорости влетает на освободившееся место на стоянке. Похоже, решительная водительница тоже не очень верит в своевременный уход ненавистного человека – она оставляет зажженные фары, выходит из машины и внимательно разглядывает окна квартиры, словно проверяя, не расхаживает ли там ее бывший супруг. По длине ее тени он угадывает, что, несмотря на дождь, она вышла сегодня в туфлях на высоких каблуках. Его пронизывает мгновенная жалость. Что-то не получается у нее завести себе нового

мужчину. Вот и сегодня кто-то очередной не пришел на обещанное свидание. Впрочем, ему-то какое дело? Уж он-то не бросится снова в эту бездну злобы и раздражения...

Кажется, женщина удовлетворена результатом проверки. Она гасит фары, закрывает дверцу машины, включает сигнализацию и снова поднимает глаза. Между ними считанные метры, но бывшего мужа надежно скрывает темнота. Впрочем, уже ступив на лестницу, она вдруг останавливается и настороженно, долго глядится в ночную тьму. Неужто она все еще помнит его запах?

Глава тринадцатая

Хотя времени только девять, но на улице уже совершенно темно. Мать, наверно, уже легла. Она знает, что сегодня он будет ночевать с дочкой, и могла пойти спать раньше обычного. Он вообще в последнее время стал замечать, что она очень много спит. А первый сон у нее самый лучший, во всяком случае, так она уверяет. Хорошо бы, конечно, войти в дом как можно тише, чтобы ее не разбудить. Но, оставаясь одна, она всегда запирает дверь на цепочку. Никуда не денешься – придется звонить ей по телефону, объяснять, почему он появился на ночлег в неурочное время.

Мать, однако, не торопится открывать. Он довольно долго ждет под дверью. Потом она, наконец, снимает цепочку и впускает его в дом, не проявляя при этом особой радости. Словно ее единственный сын – просто временный постоялец, использующий материнскую квартиру как перевалочную станцию, пока не подрастет новое жилье. И он вдруг впервые видит, что мать избегает смотреть ему в глаза, даже когда обращается к нему.

Она всегда была против их развода и сейчас воспринимает его неожиданный приход как очередное свидетельство своего поражения. Она недовольна, ее тянет обратно в прерванный сон и, бросив на кухонный стол утреннюю газету, видимо, читанную перед сном, она торопится было в теплую постель, но сын задерживает ее с некоторой обидой. Что за спешка, ведь ночь еще, по сути, даже не началась? Он как раз хотел рассказать ей одну необычную историю, которой ему пришлось сегодня заниматься на работе. Ему интересно, что она скажет. Он хотел бы услышать ее мнение.

Он не оставляет ей выхода. Она нехотя остается в кухне и молча выслушивает всю историю погибшей женщины, из-за которой в эту пятницу в газете должна появиться статья, где будет также его фотография с упоминанием о разводе. Что поделать? Такова нынешняя журналистика. Сплетни и слухи прежде всего. Он с гордостью рассказывает, как ему удалось за считанные часы добраться до сути дела. С многозначительной улыбкой излагает запутанную историю тайной влюбленности мастера ночной смены. И под конец, не ограничиваясь словами, выкладывает на стол личное дело погибшей с ее фотографией. Что, ей тоже кажется, что эта женщина была красивой? Даже обаятельной?

Мать продолжает сидеть молча, опустив голову. Поначалу она даже не хочет смотреть на снимок. Потом с досадой ворчит: «Что тебе приспичило? Посреди ночи выяснять такие вопросы!»

Ну как же! Ему интересно понять, что тут на самом деле было – реальное обаяние или самообман? Потому что он сам, например, ничего особенного в этой женщине не увидел, хотя лично беседовал с ней, когда принимал на работу.

Он принимал ее на работу?

Конечно. Каждый вновь поступающий проходит через отдел кадров.

Если он сам видел эту женщину, почему его интересует ее мнение?

Просто так. Интересно.

Интерес разведенного сына к фотографии какой-то незнакомой, к тому же погибшей женщины кажется матери вздорным и раздражающим. Но он настаивает. Тогда она посылает его принести ей из спальни очки и сигареты, потом медленно берет папку, сначала читает статью, потом переходит к биографии погибшей, возвращается к анкете и лишь под конец бросает беглый взгляд на портрет светловолосой женщины, но и тут не сразу высказывает свое мнение, а делает сначала глубокую затяжку и спрашивает, сколько ей было лет.

– Почти сорок восемь.

– Ты уже сообщил ее данные в больницу?

– Пока нет.

– Почему?

– Пока это только наше внутреннее расследование...

– Но в больнице по-прежнему не знают, кто она...

– Ну и что? Я не хочу, чтобы тот журналист узнал о ней прежде времени. Это может причинить вред мастеру ночной смены. И потом, мне нужно время, чтобы обдумать, как ответить в газету. Я еще даже Старика не рассказал. Ты подумай только – он гонял меня весь вечер, а сам отправился в филармонию, на концерт...

Мать недовольно молчит, закутавшись в клубы сигаретного дыма. Нет, ей не нравится медлительность ее сына. Может быть, эту женщину уже ищут ее родственники или друзья...

– Насколько я знаю, никто ее не ищет. Впрочем, что я знаю...

– Вот именно – что ты вообще знаешь...

Она говорит саркастически и даже немного раздраженно.

– Послушай, я хочу тебя предупредить – с той минуты, как ты ее опознал, она на твоей ответственности. Если ты будешь еще тянуть с ее опознанием, ты не просто оскорбишь ее память – это будет прямое преступление.

И вдруг кричит на него, как, бывало, в детстве:

– Ты что – маленький?! Тебе трудно поднять трубку и позвонить в больницу? Чего ты боишься?

Он понимает, что ее внезапный гнев вызван вовсе не историей погибшей женщины. Это все его развод, его вещи, разбросанные по всей кварти-

ре, его скомканное свидание с дочерью, его поздний приход. Он встает, собирает посуду и относит ее в раковину.

– Но сейчас ночь, – говорит он сдержанно. – И мертвецкая – это не приемный покой. Меня там никто не ждет. Если она уже пролежала там неделю, может полежать еще ночь, никакой трагедии не произойдет.

Мать молча возвращается в спальню. Он идет в ванную, но и тут, оказывается, вода в кране совершенно ледяная. Он включает подогрев и в ожидании, пока бак согреется, идет в кухню и открывает газету в поисках спортивного раздела. Потом, не выдержав, отбрасывает газету и нерешительно спрашивает через дверь:

– И все-таки – что ты скажешь о ней?

– Трудно сказать, – негромко, задумчиво отвечает мать из спальни. – Снимок такой маленький... Но твоя секретарша, пожалуй, права. Есть в ней что-то. Особенно в глазах. Эта ее улыбка – как будто солнце восходит...

Этот ответ почему-то выводит его из себя.

– Оставить тебе свет в коридоре? – вдруг спрашивает он.

– Зачем? Разве ты собираешься выйти?

– Да. Вода в баке все равно холодная.

– Кто мог знать, что ты не будешь ночевать там...

– Я тебя не обвиняю... Просто я хочу подскочить в больницу. Пока вода согреется... Может, все-таки найду кого-нибудь...

– Но сейчас уже поздно!

– Ты же мне сама вбила в голову, что я за нее отвечаю, – раздраженно цедит он и щелкает выключателем, направляясь к двери.

Глава четырнадцатая

Десяти еще не было, когда мы увидели, что в проходную входит невысокий, крепкого сложения мужчина с тяжелым, усталым лицом. Ливень давно уже кончился, но он был одет так, будто ждал, что дождь вот-вот начнется снова – плотный зимний плащ, толстый желтый шарф вокруг горла и перчатки на руках, только голова открыта. Не успел он заговорить, как мы отвели его в сторону и для начала осторожно проверили, нет ли у него оружия или ножа. Потом он объяснил, что ему нужно в патологическое отделение. Именно туда? В такое позднее время? Да, ему нужен ответственный за умерших, если у нас есть такая должность. Мы немного испугались – неужели случился какой-то теракт, о котором мы еще не слышали? Нет, он, оказывается, имеет в виду прошлый теракт, который был неделю назад, о нем уже и думать забыли. Но он сказал, что всего лишь несколько часов назад ему удалось установить личность одной из убитых. И в доказательство показал нам тоненькую бежевую папку. Мы сказали ему, что сейчас уже поздно для визитов, а просто так в больницу ночью без специального пропуска не пускают. Тогда он сказал, что он ответственный за кадры в большой пекарне, которая печет хлеб чуть

не для половины страны. Мы сказали, что, мол, честь и хвала человеку, который отвечает за сотни людей и, тем не менее, не чинится лично приехать в больницу в такой поздний час ради временной уборщицы, да к тому же бывшей. Кажется, наши слова прилились ему по душе, и он попросил нас объяснить, как ему пройти в то место, которое он ищет. Но как мы могли объяснить ответственному за живых людей, который разыскивает ответственного за мертвых, куда ему идти, если мы сами там ни разу не бывали, хотя стоим на охране уже не первый год? Поэтому мы просто позвонили в приемный покой, чтобы ему указали хотя бы общее направление...

Глава пятнадцатая

Дежурная сестра нашла, наконец, сотрудника патанатомической лаборатории, который сможет объяснить посетителю из пекарни, о ком у них в мертвецкой недостает сведений и каких. Это кругленький человечек лет пятидесяти, в щегольски надвинутом на голову берете, – то ли по причине некоторой религиозности, то ли по причине некой богемности, то ли по обоим причинам сразу. В его глазах светится живой интерес, и он явно оборудуем желанием поговорить. Уже в коридоре, в полутьме, он хватается Кадровика за рукав и тут же обрушивает на него поток торопливых слов. Хорошо, что вы пришли именно сегодня, – завтра ее уже не было бы в Иерусалиме, вам пришлось бы искать ее на побережье, под Тель-Авивом, в институте судебной медицины в Абу-Кабире, потому что только там знают, что делать с трупами, которые никто не опознал. Вам повезло, мы немного задержали ее отправление, всё надеялись, что появится хоть кто-то из родственников или знакомых, захочет узнать, как мы тут боролись за ее жизнь и как пытались ее спасти, и почему это, в конце концов, не удалось. Вообще-то в нашу больницу не направляют тяжелораненых, наверно, в полиции считают, что она для этого слишком мала или плохо оборудована, даже обидно, а вот эту женщину почему-то послали именно сюда – возможно, потому, что сначала трудно было определить, насколько тяжело она ранена: она хоть и была без сознания, но не имела видимых телесных повреждений, только несколько маленьких отверстий в ладонях и в ступнях и голова рассечена, но не глубоко, на вид совсем не смертельно, только потом выяснилось, что как раз в эту рану проникла инфекция – может быть, еще там, на рынке, – ну, а когда уже заражение охватило мозг...

– Мозг? – удивляется Кадровик. – Разве мозг тоже может заразиться?

– Конечно. Почему бы и нет? Каких-нибудь два дня, и все было конечно. Она тут всем запомнилась, потому что ни разу не пришла в сознание и так и осталась никем не опознанной. Ну, хоть бы на миг пришла в себя – может, тогда нам удалось бы узнать, кто она такая. И поэтому мы решили не отсылать ее тело сразу в Абу-Кабир – может, кто-нибудь еще отзовется... Чтобы не все было забыто... Очень хорошо, что вы не стали ждать до утра.

Хоть вы ей и не родственник, и не друг, а всего лишь из отдела кадров, но вы, наверно, сможете нам что-нибудь рассказать о ней, когда опознаете. Только сначала я хочу заполнить с ваших слов небольшую анкетку, для Службы национального страхования, потому что там уже удивляются, как это никто до сих пор не заметил такого долгого отсутствия человека.

Он вытаскивает связку ключей и открывает какую-то дверь, вводит Кадровика в комнату – видимо, преддверие мертвецкой, – усаживает возле пустых носилок, вытаскивает из металлического шкафа истрепанную сумку и достает из нее голубую папку с уже подготовленными к отправке документами – медицинским заключением и свидетельством о смерти, не хватая только имени. Потом снова сует руку в сумку, извлекает оттуда первопричину всей путаницы – рваную и окровавленную платежку и, не довольствуясь этим, привычным движением переворачивает сумку и сильно встряхивает ее. Оттуда выпадают два связанных веревочкой ключа.

– Вот, – произносит кругленький человек. – Это всё. Всё, что от нее осталось, если не считать нескольких овощей и засохшего сыра, которые через несколько дней придется, разумеется, выбросить. А теперь давайте мне ваши данные, я заполню анкету, и мы займемся опознанием. Надеюсь, вы не слишком чувствительны? Короткое опознание сумеете пережить? Впрочем, если это вас беспокоит, то могу заранее сказать, что вам повезло – ее не разорвало на части, она уцелела. И вообще, вид у нее – как у заснувшего ангела.

Лицо Кадровика багровеет. Он враждебно смотрит на лаборанта, явно довольного только что придуманным сравнением. Сомневаться не приходится – это тот самый патологоанатом, что информировал журналиста, тот его приятель, из-за которого ему пришлось весь вечер возиться с этой историей. Сухим, отчужденным тоном он извещает толстячка в берете – нет, он не неженка, он готов, если в этом есть необходимость, опознать труп, как бы тот ни выглядел, но вообще-то он пришел сюда только затем, чтобы сообщить необходимые для захоронения данные – имя, адрес и номер удостоверения личности получательницы той платежки, которую кто-то из лаборатории почему-то весьма бесцеремонно передал в газету, какому-то сомнительному журналисту, а не прямо ему, в отдел кадров пекарни, как это полагалось. Вот и все. Правда, сегодня он, к некоторому своему удивлению, убедился, что несколько месяцев назад он сам, лично, принимал эту женщину на работу и даже своей собственной рукой записал ее биографию, но это никак не меняет его полной неспособности опознать ее тело. У них в пекарне работает почти триста человек, в три смены, не считая административного персонала – а, кстати, и самого хозяина, который тоже числится на зарплате, – ну, и что, разве он, Кадровик, сможет опознать любого из них, если тот погибнет?

Он открывает свою тоненькую папочку, вынимает оттуда первый лист и кладет его на пустые носилки. Вот, это все, что им о ней известно. И он отнюдь не намерен опознавать ее, даже если она, на ваш взгляд, похожа на

спящего ангела. Если уж вы позволили себе так непристойно разглядывать мертвую женщину, то можете сами и подписать протокол ее опознания, вот, кстати, и фотография – может быть, это вам поможет.

Удивленный и уязвленный лаборант растерянно берет листок в руки и погружается в его изучение. «Очень неясная фотография», – замечает он с каким-то странным упреком. Но, скорее всего, это действительно она. Что тут за имя? Юлия? Да, это очень соответствует. Мы тоже полагали, что она откуда-то издалека. Неужели ей уже сорок восемь?! Вы уверены? Мы все думали, что она куда моложе. Да, это она. Даже на этой фотографии можно узнать эти складки над глазами... что-то азиатское, восточное... Татарское? Где она родилась? Где это место? Да, это она, вне всякого сомнения. Так что же вас, собственно, так затрудняет ее опознать? Давайте пойдем вместе, вы глянете на минутку, и делу конец. А?! Ей и самой, наверно, хочется уже выбраться отсюда. Как только мы подпишем, бумаги уйдут в Службу национального страхования, и уже завтра будет известно, где ее следует хоронить – здесь, у нас, или там, за морем.

– Подпишите сами.

– Нам запрещено. А вы... она же все равно была ваша работница... И потом, если вы не подпишете, завтра может отыскаться еще кто-нибудь, кто ее знал, и захочет опознать, а она уже будет в Абу-Кабире... снова волокита, бюрократия, газеты...

– Ага, газеты! – вспыхивает Кадровик.

– А как же! – усмехается лаборант. – Смерть – самый лакомый кусочек для журналистов. Газета не случайно заинтересовалась вашей погибшей...

– Признайтесь, это ведь именно вы информировали этого журналиста, эту змею подколодную?! – взрывается Кадровик. – И не вздумайте меня уверять, будто это законно!

– Когда нет иного выхода, все законно... – хладнокровно говорит лаборант. – Мы очень хотели установить ее личность, а для этого нужно было немного разрекламировать этот случай. Но я только передал ему информацию, а что он там написал, я понятия не имею, это все на его совести. Как вы его назвали? Змея подколодная? Так и сказали ему прямо в глаза?

– Ну, зачем же... – смущается Кадровик.

– Ага, значит, вы сказали это секретарше редакции, а уж от нее это дошло до него? Да вы не стесняйтесь. «Змея» – это для него еще лестно. Я слышал, что ему это уже не раз говорили, но с него всё, как с гуся вода. И все же, я вам скажу, – это полезная змея. Знающий человек, профессионал, большая умница...

– Я вижу, он уже успел вам все рассказать?

– Сразу же после того, как ему позвонила секретарша редакции. Я потону и не ушел с работы – был уверен, что вы еще сегодня появитесь у нас...

– Значит, вы меня ждали? – удивляется Кадровик.

– А вы удивлены? Нам ведь тоже хочется побыстрее отправить тело в Абу-Кабир. Думаете, оттого, что мы привыкли к мертвым, у нас не болит за

них сердце? Тяжело видеть, как такая женщина лежит здесь, никем не опознанная, всем чужая... Ну, так что, подпишете вы нам опознание или нет?

Болтливая откровенность этого осведомителя еще больше укрепляет Кадровика в его мнении. Только этого ему не хватает – очередной статьи, в которой будет сказано, что начальник отдела кадров явился в морг опознать человека, которого даже не запомнил в лицо! Нет, он не подпишет этот их документ об опознании! Ни за что!

И вдруг сам удивляется своему упрямству. Кого он, собственно, хочет этим наказать? Мастера ночной смены? Журналиста? Или лаборанта-доносчика? Что станется, если он действительно на секунду глянет на нее? Неужто он боится, что ее пресловутое обаяние оборочит и его? Что за безумие! Как будто можно влюбиться в мертвую!

Он осторожно берет в руки связанные веревочкой ключи и спрашивает лаборанта:

– Это её?

Тот пожимает плечами. Кто может поручиться? В том хаосе, что царил тогда... Но эти ключи были у нее в сумке. Рядом с вашей прославленной платежкой. Так что, скорее всего, это ключи от ее квартиры.

«Тогда зачем вам личное опознание?» – с тонкой улыбкой говорит Кадровик. Он готов взять эти ключи и отправиться к ней на квартиру, благо в отделе кадров сохранился ее адрес. Если эти ключи подойдут к ее двери, значит, это действительно та женщина, которая работала у них, Юлия Рогаева. Верно, это косвенное опознание, но куда более надежное, чем то, которое будет основано на крайне беглом и во многом уже стершемся впечатлении, что сохранилось в его памяти. Если ключи подойдут к ее двери, он подпишет им этот их документ.

Лаборант задумчиво чешет голову под беретом. Религиозный он или из богемы, но в любом случае лысый, с удовлетворением отмечает Кадровик.

– И вы действительно готовы отправиться к ней домой? – с сомнением в голосе спрашивает лаборант.

– Почему бы и нет? Конечно, при условии, что вы не донесете об этом вашему журналисту. Который сейчас час? Ну вот, даже десяти еще нет. Это недалеко и добраться несложно. В Иерусалиме я ориентируюсь. В самом деле, почему бы мне не отправиться к ней? Если вы согласны, я дам вам расписку, что взял у вас на время эти ключи, чтобы косвенным путем подтвердить ее личность. Как видите, я не уваливаю от своих обязанностей! Вот об этом обстоятельстве я вам разрешаю, так и быть, донести вашему журналисту. Хоть сейчас!

Глава шестнадцатая

Он снова садится в машину, включает обогрев и пускается в путь по пустынным мокрым улицам восточного Иерусалима. Освещение здесь не в пример слабее, чем в западной части города. Он медленно пробирается по

узким арабским улочкам, и вдруг у него – уже в третий раз за вечер – рождается желание сейчас же, немедленно, дозвониться до Старика и сообщить ему о предварительных результатах своего расследования. И хоть он не уверен, что концерт уже кончился, он, тем не менее, включает укрепленный перед ним мобильник и набирает знакомый номер. Увы, Старика нет. Ему отвечает домоправительница. Он называет себя, и она говорит – на хорошем английском, но с незнакомым акцентом, – что хозяин еще не вернулся и вряд ли будет дома раньше полуночи. Если Кадровик хочет оставить сообщение, она готова его записать.

Он решает не оставлять никаких сообщений. Он передумал. Он не станет сообщать Старика, что расследование приближается к концу. Пусть себе еще немного поволнуется. Но, пересекая незримую, хотя и вполне ощутимую границу между восточной и западной частями города, он решает вдруг включить радио, чтобы поймать прямую передачу из филармонии. Ага, вот она. Нет, это не Малер. Музыку Малера он всегда узнает. Но что-то очень похожее, тоже вызывающее неудержимое желание дирижировать самому. Энергично размахивая одной рукой, он разгоняет машину по подъему к площади Независимости, потом проносится мимо дома матери и под резким углом сворачивает к школе, где когда-то учился. Может, он и припомнил бы имя композитора, но, увы, – Иерусалим не так велик, чтобы его хватило на целую симфонию. Вот он уже в районе Нахлат-Ахим, тут за углом начинается тот самый рынок, где она погибла. Переулок под названием Уша, который указан в ее анкете, должен быть где-то здесь – наверно, на спуске. Ему не хочется плутать по незнакомым переулкам, и он решает припарковаться на главной улице. Сует мобильник в карман плаща и устало выходит из машины.

Глава семнадцатая

Когда мы услышали стук в дверь, мы, все пять младших сестричек, были уже в ночных рубашечках, только старшая еще не сняла платья. Мама и папа уехали на вторую свадьбу нашего адмора, который овдовел год назад, а перед уходом наказали нам, Боже упаси, никому не открывать дверь после девяти вечера, даже бабушке, но этот стук нас так напугал, что мы тут же бросились открывать, потому что подумали, что это бабушка пришла нас оберегать, пока мы спим одни. Но мы почему-то даже не спросили у нее из-за двери: это ты, бабушка? ты пришла с нами ночевать? – а вместо этого, ничего не спрашивая, открыли цепочку, и у нас прямо душа ушла в пятки, потому что это была не бабушка, а какой-то чужой мужчина и даже не из наших, а совсем*

* Адмор (иврит) – аббревиатура ивритских слов *адонейну*, *морейну* *ве-раббейну* – «наш господин, учитель и раввин» – наряду с «ребем» («рабби») и «цадик» используется как титул лидера того или иного хасидского течения (*двора*).

без бороды*, такой большой и сильный, и голова такая же бритая, как у нашей мамы перед тем, как она идет спать. Но он нам ничего не сделал, только спросил, знаем ли мы, где живет женщина по имени Юлия Рогаев, потому что он уже искал ее по всему дому, вверху и внизу, и нигде не нашел таблички с ее именем. И тут мы вместо того, чтобы закрыть дверь на цепочку и отвечать ему только через щелку, как учил папа, ответили этому мужчине все хором, что она уже не живет в этом доме, ни вверху, ни внизу, потому что она переехала во двор, в сарай, где раньше у соседа был склад, и теперь она живет там. Но старшая сестра прикрикнула, чтобы мы все замолчали, и сказала ему, что сейчас он не сможет застать эту Юлию, потому что она работает по ночам в большой пекарне, она даже иногда приносит нам оттуда на субботу сладкие булки. А наша средняя, которая всегда все знает, закричала: неправильно, неправильно, ее уже уволили с работы, а папа думает, что она вообще уехала из Иерусалима, потому что он сам несколько дней ее искал, но не нашел. И тогда этот чужой мужчина улыбнулся и сказал тихим голосом, что он главный начальник над людьми в этой пекарне, и это неправда, будто ее уволили, но, если мы помним, неделю назад тут был взрыв, недалеко отсюда, на рынке, и ее там сильно поранило, и теперь она в больнице, он как раз пришел оттуда с ее ключами, чтобы взять для нее кое-что, и показал нам ключи. Тут мы уже совсем не могли молчать, потому что у нас в доме все дети знают эту Юлию, она очень хорошая и тихая, хотя совсем не верующая, и мы все закричали: ой-вэй, ой-вэй! Боже сохрани! что с ней случилось, Господи! где она лежит? – потому что мама и папа наверно захотят выполнить заповедь посещения больных. Но чужой мужчина сказал, что она очень больна, и сейчас ее не разрешают навещать, но скажите, может быть, кто-нибудь искал ее в последние дни? Но мы все ответили, что нет, к ней никто не приходил, потому что иначе мы бы видели, мы тут все видим, и он покачал головой и спросил нас, где тут у нас зажигают свет и как ему выйти во двор, к этому сараю.

Глава восемнадцатая

«Так, первый ключ уже подошел», – думает Кадровик, открывая висящий на двери замок. Второй, надо думать, подойдет к чему-нибудь внутри. Как на его взгляд, расследование, начатое сегодня после полудня, успешно приближается к концу. Это та самая женщина. И пока, приходится, к сожалению, признать, она все еще работница пекарни. Хотя и погибшая.

Он входит в холодное темное помещение, в котором, похоже, еще сохра-

* «Мужчина не из наших» – еврейские религиозные мужчины не бреют голову и лицо. Напротив, религиозные еврейские женщины бреют голову, после чего покрывают ее головным убором или париком.

нился запах ее последнего сна, тотчас зажигает свет, видит, что лампочка под потолком едва освещает комнату, и включает настольную лампу. Света все равно недостаточно. Он подходит к постели и видит, что она смята и разворочена, как будто какое-то страшное видение вытолкнуло ее хозяйку в то последнее утро прямо к смерти. Только теперь, сдвинув подушку, он может зажечь настенную лампу и толком разглядеть, что представляет собой ее жилье.

На мгновение он застывает в нерешительности – по какому праву он вообще здесь находится? Но тут же успокаивается, вспоминая, сколько чужих рук уже копались в этой истории. Чем заниматься поисками самооправдания, не лучше ли побыстрее и на деле доказать, что в пекарне тоже работают чуткие люди, способные на жалость, заботу и сочувствие? Опознав ее, они смогут, например, поискать ее бывших родственников, позаботиться о наследстве, даже, может быть, подумать о компенсации. Да-да, о компенсации, почему бы и нет?

В ногах кровати он видит маленькую деревянную статуэтку, изображающую босоногого монаха в коричневом плаще с капюшоном. Черная борода делает его лицо печальным. Он ставит статуэтку на полку и видит там маленький транзистор, который вызывает у него воспоминание о концерте в филармонии. Он снимает перчатки и медленно крутит ручку настройки. Торжественные и медленные звуки заполняют маленькую комнату.

Неловко усмехавшись, он перекладывает на кровать женскую кофточку, висящую на шатком соломенном кресле, осторожно усаживается в него, берет транзистор в руки и прикрывает глаза. В былые времена, часто бывая в разъездах и ночуя в гостиницах, он, как правило, не ложился раньше полуночи. Но теперь, переселившись к матери, завел себе привычку подремать несколько минут перед вечером, как раз во время последних известий, чтобы потом, на свежую голову, отправиться в центр города, в какой-нибудь паб, в поисках какого-нибудь нового знакомства. Однако в этот вечер работа неотступно тащится за ним следом, и всё, что он может себе позволить, – вот такую символическую передышку в доме погибшей женщины.

Дверь, что за его спиной, и окно впереди закрыты, и сам он все еще в плаще и шарфе, но его почему-то пробирает озноб. Он встает, осматривается и видит, что окошко в крохотном туалете осталось открытым и к его раме привязана бельевая веревка, уходящая во двор, к недалекому забору. При свете луны, преследуемой облаками, он различает развевающееся на ветру женское белье. Если никакой знакомый так и не найдется, придется послать сюда Секретаршу, пусть наведет здесь порядок, в этой нарушенной интимности. Она наверняка обрадуется любой возможности оторваться от своего компьютера... Но пока, чтобы не оставлять окошко открытым, он натягивает перчатки, выходит во двор, огибает маленький сарай, который в этот поздний час, при свете луны, напоминает ему зачарованную хижину из детской сказки, пробирается между обломками старой посуды и какими-то досками, отвязывает веревку, собирает промокшее, покрытое налипши-

ми листьями и потеками грязи белье, вносит его в дом, складывает в раковину в туалете и, мгновение поколебавшись – входит ли и это в его полномочия? – открывает кран и споласкивает эту грязную жалкую кучку в воде, которая, к его удивлению, постепенно согревается. Оказывается, тот, кто сдал эту хижину под жилье, все-таки позаботился подсоединить ее к центральному отоплению. Был бы сейчас на моем месте пожилой Мастер – с какой бы готовностью он, наверно, постирал это белье! Но нет, его нельзя даже близко сюда подпускать. Достаточно он уже напугал с этой своей «обвороченностью»...

Сквозь тонкую перегородку он слышит звуки симфонии, неуклонно приближающейся к заключительной коде, и торопливо оставляет белье в раковине, только посильнее закручивает кран. Он уже раскаивается, что вообще снял это белье с веревки, и сурово наказывает себе больше ни к чему тут не прикасаться – ни к ящикам, ни к документам, ни к фотографиям. Не хватает еще, чтобы появился какой-нибудь ее знакомый и обвинил его в исчезновении чего-то такого, чего здесь никогда и не было. И что он тогда ответит?

Он снова усаживается в соломенное кресло. Душою он сейчас там, в зале филармонии, вместе с симфонией, которая постепенно поднимается к величественному концу, а взгляд его тем временем скользит по окружающим предметам, пытаясь ухватить все те интимные детали, что остались от погибшей. Постель оставлена в полном беспорядке – может быть, в то судьбоносное утро она рассчитывала вернуться с рынка и еще ненадолго прилечь? – но все вокруг прибрано с той подчеркнутой аккуратностью, которая часто отличает бедных людей. На столе чистая тарелка, возле нее сложенная вдвое салфетка, как символ предстоящей трапезы, которая так и не удостоилась быть последней. Два цветка на тонких стебельках стоят в стеклянной банке – свежие, будто только что сорваны, хотя вода в банке высохла совсем. Ни одной фотографии на стенах, даже тех людей, что упоминались в биографии, записанной с ее слов. Ни сына, которого его отец позаботился отсюда увезти, ни пожилого сожителя, который бросил ее, ни даже старой матери, которая как будто хотела присоединиться к ней здесь, – никого. Лишь один-единственный рисунок – простой набросок углем, без рамки, произведение явного любителя, может быть, это она же и рисовала. Маленький безлюдный переулок – такие бывают в Старом городе – мягким поворотом ведет к тени каменного здания, увенчанного полусферой купола и небольшой башенкой на углу.

Торжественная музыка вторгается в тишину мощным и неразрешенным диссонансом, и маленький транзистор, напрягаясь из последних сил, пытается передать громовую мощь завершающих пассажей. Кадровика вдруг озаряет – он узнает композитора. Это он, нет сомнения. Только этот набожный и сухой немец мог позволить себе так утомить своих слушателей.

Он доволен, что узнал автора. Теперь он сможет сегодня же ночью удивить Старика не только успешным завершением порученного ему расследования, но и тем, что вместе с ним слушал симфонию этого немца, и да-

же при случае небрежно вернуть, что жаль только, не сумел определить, седьмая это была симфония или восьмая.

Этот невзрачный, убогий сарай, приютившийся на заднем дворе жилого дома в полурелигиозном районе в самом центре города, почему-то начинает ему нравиться. Интересно, сколько они просят за такую дыру? Ну что ж, теперь опознание завершено – завершено последним остроумным ударом. «Юлия Рогаева! Юлия Рогаева!» – неожиданно и отчетливо произносит он в пустоту. «Эх, Юлия Рогаева...» И ему вдруг становится невыносимо жаль эту очаровательную немолодую женщину, которая прошла мимо него так незаметно, что он даже не обратил внимания на обаяние ее улыбки.

Но тут в громовой финал симфонии внезапно врывается веселенький мотивчик, который он недавно запрограммировал на своем мобильнике. Хорошо, что звонящий настойчив, потому что найти маленькую коробочку мобильного в недрах тяжелого, мокрого плаща удастся не сразу. Но прежде, чем на другом конце успевают что-то сказать, Кадровик торопливо перебивает: «Минуточку!» – кладет мобильник, подходит к транзистору и приглушает его, не выключая, однако, совсем. Снова поднес к уху мобильник, он слышит голос матери. Оказывается, рассказ сына растревожил ее настолько, что она так и не смогла заснуть и теперь хочет узнать, добрался ли он до больницы и нашел ли там кого-нибудь, кто освободил бы его от дальнейшей возни с этим делом. «Да, – вздыхает он. – И доехал благополучно, и даже добрался до мертвецкой, и все документы им передал, но им оказалось недостаточно, они потребовали, чтобы я опознал эту женщину в мертвецкой...» «И ты согласился?» – испуганно спрашивает мать. «Ну, что ты! Я же не маленький. Сама подумай, как я могу опознать человека, если я даже его лица не помню?!» На этот раз мать, наконец, довольна: «Хорошо, что сообразил. Это не входит в твои обязанности. Ты поступил разумно. Где же ты теперь? Уже в своем пабе?»

Поколебавшись, он решается рассказать.

– Там? У нее? Зачем?

Он коротко объясняет ей свою хитроумную идею с косвенным опознанием.

– И дверь действительно открылась?

– Конечно.

– Так зачем ты там торчишь?

– Просто так. Сiju. Смотрю. Размышляю. Может, нам все-таки придется проявить немного щедрости, позаботиться о ее вещах, послать семье...

– Будь осторожен, не трогай там ничего...

– Зачем мне трогать? Да и что тут трогать? Минуточку, мама...

Он прижимает к уху транзистор и прислушивается к аплодисментам, ожидая, пока они окончательно затихнут и ведущий объявит название симфонии...

– Что случилось? Кто там с тобой?

– Никто. Кто тут может быть? Просто я хотел услышать название музыки, которую только что исполняли по радио.

– Так что тебе еще от меня нужно?

– Мне? – удивляется он. – От тебя? Ничего.

– Ну, тогда пока. Не задерживайся там.

– Я постараюсь прийти пораньше.

– Когда придешь, тогда придешь, я сегодня все равно уже не засну...

Трансляция из филармонии обрывается на полужвуке, сменяясь программой новостей, которые ему давно безразличны. Он выключает транзистор и слышит, что дождь опять барабанит по крыше. На него вдруг наваливается усталость. «Ну нет, – утешает он себя, – если уж я так лез из кожи, чтобы успокоить Старика, ему сегодня от меня не улизнуть. Его там, у филармонии, ждет машина с личным шофером, пара минут – и он дома. Какой-нибудь псих на моем месте, может, решил бы пока вздремнуть на ее кровати, но я-то ей никто – не любовник, не влюбленный, не любимый, я, слава богу, всего лишь тот, кто я есть, и потому обойдусь без этого сомнительного удовольствия, а застелю-ка лучше эту постель, чтобы она не торчала у меня перед глазами...»

Глава девятнадцатая

Полчаса спустя он звонит Старiku и узнает, что тот уже дома. «У вас найдутся силы выслушать меня после Восьмой симфонии Брукнера?» – «Почему Восьмой? – удивляется Старик. – В программе было написано, что это Девятая». «Ах, да, конечно, – торопится исправить свою ошибку Кадровик. – Та, неоконченная...» – «Неоконченная? – опять удивляется Старик, видимо не дочитавший программку. – В каком смысле неоконченная, ведь она длилась больше часа?» – «Ну как же! – внушительно говорит Кадровик. – Вспомните, в ней было три части, а не четыре, как полагается во всех симфониях. Ваше счастье, что этот упрямый и набожный немец со всеми его сомнениями и страхами так и не сумел закончить ее до самой смерти, иначе сидеть бы вам еще час, не меньше... Так что, у вас хватит терпения выслушать отчет, на котором вы так настаивали? Или уже поздно?»

– Вздремнуть я успел на концерте, – смеется Старик. – И вообще, я уже не так нуждаюсь в сне. Наоборот – если ты еще на ногах, подъезжай ко мне, только не сразу же, дай мне немного времени собраться. А пока ответь коротко: да или нет? Мы виноваты?

– Ответственны, вот самое подходящее слово.

– В каком смысле?

– Потом, – сухо прерывает Кадровик.

Около часу ночи он входит в огромную, богатую квартиру, в которой был всего один раз, несколько лет назад, по случаю смерти жены Старика. В тот раз громадная гостиная была заполнена негромким гулом разговоров пришедших с соболезнованием людей, и Кадровик, пробормотав несколь-

ко сочувственных слов, забился в дальний угол и простоял там с четверть часа, разглядывая большой стеклянный шкаф, на полках которого красовались разноцветные глиняные и гипсовые муляжи всевозможных буханок, батонов и прочих хлебобулочных изделий, которые большая пекарня выпускала со времени своего основания. Сейчас он был в этой гостиной один. Стеклянный шкаф был на месте, подсвеченный изнутри светом ночника.

Домоправительница, чернокожая маленькая седая индуска, взяла у него плащ и шарф и попросила подождать. Видно, Старика уже не волнует его тело, если он выбрал в хозяйки дома такую женщину. И действительно, когда хозяин, наконец, выходит к нему, он вдруг видит, насколько тот стар. Душ не освежил Старика ни на йоту, он сутулится, элегантный кок смят и растрепан, лицо бледно и глаза обведены темными полукружиями. Голые ноги в старых комнатных туфлях – жилистые и сухие. Не чувствуется, чтобы сегодняшний концерт улучшил его настроение. Напротив, кажется, что религиозная музыка его утомила и даже измучила. Пожалуй, не одно только любопытство побудило его пригласить Кадровика в такой поздний час, но и желание немного взбодриться в общении с молодым и здоровым мужчиной. Не спрашивая согласия гостя, он достает бутылку и наливает себе и ему по бокалу вина.

– Ну как, все уже ясно? Ты ее опознал? – говорит он, поднимая свой бокал. – Она действительно работала у нас? Как же ты ее забыл?

Кадровик жадно выпивает свой бокал, молча протягивает ему тоненькую бежевую папку, уже растрепавшуюся за этот долгий вечер, и говорит:

– Прежде, чем я начну докладывать, посмотрите сами, о ком идет речь.

Старик открывает папку, в очередной раз с замкнутым, окаменевшим лицом перечитывает гранки злополучной газетной статьи, потом переворачивает страницу и длинным морщинистым пальцем скользит по строчкам личного дела, переворачивает следующую страницу и читает биографию, записанную рукой сидящего против него человека, возвращается к предыдущей странице, потом встает, включает сильную напольную лампу, придвигает изображение погибшей женщины к своим слабым глазам и долго смотрит.

Тем временем Кадровик сам наливает себе второй бокал.

– Как на ваш взгляд, в ней есть какое-то особое обаяние? – спрашивает он, видя, что Старик уже собирается вернуть ему личное дело погибшей.

Озадаченный вопросом, хозяин снова открывает папку, как будто этот вопрос требует дополнительного разглядывания.

– Обаяние? Трудно сказать, но... может быть... А что? Во всяком случае, в ней есть какое-то благородство, тебе не кажется?

У Кадровика опять щемит сердце, как будто у него похитили что-то важное и теперь оно навеки исчезло.

– Благородство? – Что-то в нем восстает против этого неожиданного эпитета, который вдруг добавился к облику уборщицы. – В каком смысле? Что вы в ней видите?

– В каком смысле? – усмехается Старик в ответ на нелегкий вопрос. – Трудно определить. Вообще-то она мне кажется очень чужой... я бы сказал, скорее азиаткой, несмотря на светлое лицо...

Кадровик не может сдержаться.

– Вы не поверите, – вырывается у него, – но сегодня вечером я из-за нее добрался до университетской больницы и даже побывал в тамошней мертвецкой. В сущности, я сейчас почти сразу от них. Но они там, в больнице, не удовлетворились теми данными, которые я принес, и потребовали от меня опознания трупа. Я, конечно, отказался. Сами скажите, разве я могу взять на себя ответственность за человека, которого, на самом-то деле, всего лишь однажды видел? Я предложил им другой путь, сейчас расскажу...

Старик глубже уходит в свое кресло и, протянув руку, кладет ладонь на колено молодого человека, как будто хочет его успокоить.

– Уже поздно. Давай начнем по порядку.

И Кадровик действительно успокаивается. Он только хотел бы сначала выпить еще один бокал этого прекрасного вина, если разрешите. Он наливает себе в третий раз и принимается рассказывать о своих приключениях, начиная с того момента, когда Старик бросил ему в кабинете свое «У нас нет иного выхода», – и кончая тем, как он несколько минут назад погасил свет в убогом жилище погибшей работницы. И ему кажется, что он сумел удачно представить всю эту историю как небольшой, но напряженный детектив – с завязкой, кульминацией и развязкой, все, как положено.

Он уже понимает, что придется – никуда не денешься – выдать Старику те побудительные мотивы, которые руководили Мастером ночной смены, но хочет подойти к этой эмоциональной путанице постепенно и осторожно, а не выкладывать ее одним махом, а поскольку он чувствует, что прекрасное вино все больше опьяняет его, то все больше боится, как бы не упростить и в то же время излишне не запутать все дело. И потому, дойдя до самой сути, до безнадежной влюбленности пожилого Мастера в немолодую уборщицу и до вызванного этим их «расставания», так рьяно спешит на его защиту, как будто это не Мастер, а он сам был в нее безнадежно влюблен.

Старик слушает с терпеливым доброжелательным молчанием, и это позволяет Кадровику излагать историю своих поисков, как ему заблагорассудится. Ободренный вниманием, он подробно передает свой разговор с лаборантом, описывает посещение сарая, где жила погибшая уборщица, и когда, наконец, доходит до развороченной постели и с неловкой усмешкой признается, что не выдержал и все-таки застелил ее – просто так, ни с того ни с сего, – Старик поднимает на него сочувственный взгляд и говорит: «Молодец! Поработал на славу. Себя не пожалел и сделал даже больше, чем я ожидал. Видно, я тебя здорово напугал сегодня днем, в кабинете...»

– Не только меня, – обиженно говорит Кадровик.

– Кажется, тебя больше всего тревожит, как бы в тебе не разочаровались, а?

– Пожалуй, – говорит Кадровик, польщенный таким точным попаданием. – Я, действительно, не люблю разочаровывать. Именно поэтому я так не хотел разочаровать сегодня вечером свою дочь. Достаточно с меня разочарований ее матери...

– Но твоя девочка вовсе не была разочарована! – торжествующе восклицает Старик. – Ей понравилась заместительница, которую я ей послал. Начальница канцелярии звонила мне еще до концерта, чтобы рассказать, как они с мужем занимаются с твоей малышкой.

– Так она вам уже всё рассказала?

Теперь разочарован сам Кадровик.

– Ну, не всё, конечно. Я сам тоже немного следил за твоими действиями, даже позвонил в перерыве концерта в больницу, но там никто не помнил, приходил ли такой.

– Но зачем вы за мной следили?

– Чтобы знать, как продвигается дело. Ты, кажется, не до конца понимаешь, каково мне слышать, что меня обвиняют в бесчеловечности. В конце концов, что мне еще осталось в этой жизни?

– И кто вам звонил кроме Начальницы?

– Мастер ночной смены.

– И он тоже? – поражен Кадровик. – Когда он успел?! Еще во время концерта?

– Нет. Сейчас. Перед самым твоим приходом. Поэтому я и задержал тебя немного. Видишь ли, разговор с тобой не давал ему покоя, ему хотелось исповедаться еще и передо мной. По-моему, он не был уверен, что ты мне правильно все передашь.

– Но почему? Разве я поступил нечестно по отношению к нему?

– Наоборот, очень даже честно. И вполне уважительно. Сам он обвинял себя куда сильнее. Но я-то его знаю чуть не с первого дня, что он у нас. Мне он не запудрит мозги своими разговорами. Он в пекарне уже сорок лет, его еще мой отец принимал на работу. Сверхсрочник, красавец-парень – к нему тогда не только молодые работницы липли, но и замужние женщины, все время приходилось вытягивать его из скандалов, и даже после женитьбы у него еще были неприятности, много лет прошло, прежде чем он, наконец, успокоился. Мы потому и отправили его в ночную смену – там все-таки потише, да и люди больше устают, им не до сложных переживаний. Ну, а несколько лет назад он стал дедом, я даже держал одного из его внуков на обрезании. И вдруг он, видите ли, опять «увлекся». И кем? Несчастной татаркой, да еще настолько, что сам решил расстаться с ней, чтобы снова не запутаться. А нам, видите ли, предоставил все это время платить ей зарплату.

Кадровик вдруг чувствует, как безумно он устал. Сейчас ему больше всего хочется побыстрее покончить с докладом или хотя бы прервать разговор до утра и наконец-то вернуться домой, к матери, помыться, поспать...

– Так что же мы напишем, какое объяснение? – спрашивает он, усиленно стряхивая с себя усталость.

– Мы ничего не будем объяснять. Мы просто полностью признаем свою вину. Извинимся и объявим о компенсации.

– Понимаю, компенсации, но за что именно?

– За причиненную обиду. За то, что у нас увольняют без всякой причины. За то, что мой ответственный за человеческие ресурсы должен был знать об этом и не знал. Вот так я хочу закончить это дело. Без всяких разъяснений – они только подстегнут скотину-журналиста еще глубже ковыряться в наших делах и в этих... как их... влюбленностях. Нет, я не хочу ничего объяснять. Я хочу просто заявить: да, мы виноваты. Да, мы просим прощения. Да, мы готовы искупить свою вину.

– Искупить?

– Да, полностью. Именно так. Я полагаю, что мы должны доставить тело на родину или привезти ее родственников на похороны сюда. Наверно, нужно позаботиться и об оставшемся сыне. И распорядиться ее вещами. А главное – дать щедрую компенсацию.

– Но почему вы считаете, что все это – наше с вами дело? – с искренним удивлением спрашивает Кадровик. – Разве не государство должно этим заниматься? Мы же не виноваты в теракте!

– Ту часть, которую обязано дать государство, оно даст. Мы требуем с него всё до последнего гроша. Уж за этим мы проследим. Но этот журналист... Да, ты прав, он написал злобно, несправедливо, но, понимаешь, даже в этой несправедливости есть толика правды. Человека потрясло, когда он узнал, что раненная женщина боролась в одиночестве за свою жизнь, и никто о ней не вспомнил, а потом ее труп чуть не неделю лежит в мертвецкой, никем не опознанный, потому что наш ответственный за человеческие ресурсы, видите ли, не замечает отсутствия своего человека. Пойми, я не извиняться хочу за все это, а искупить! Мне 87 лет, и у меня нет времени для пустых препирательств. Я не могу себе позволить, чтобы газеты пятнали мое собственное доброе имя и доброе имя всех моих предков.

– Даже так?!

– Именно так! – Старик гневно повышает голос. И, кажется, он доволен, что его крик заставляет маленькую индуску в испуге заглянуть в гостиную.

– Но почему? – Кадровик тщетно пытается бороться с чем-то, чего он никак не может понять. – Ведь она продолжала получать у нас зарплату только по ошибке. Это же простая оплошность с нашей стороны. А вы делаете из этого какой-то первородный грех, требующий чуть ли не религиозного искупления.

– А если даже религиозного? Почему бы и нет? Что в этом плохого?

– Наверно, это музыка Брукнера так на вас повлияла... – пытается пошутить Кадровик.

– Не беспокойся, я в основном ее проспал.

– Ну, говорят же, что как раз во сне людям легче промывать мозги...

Старик сует руку под халат и кладет ее на голую грудь. Похоже, ему нравится этот новый поворот разговора.

– Если уж дело дошло до моего подсознания, тогда все твои старания меня переубедить заранее обречены. Да, ты прав, я хочу искупить грех. И у меня есть для этого все возможности – и финансовые, и все прочие. У меня даже есть на примете человек, который сможет все это для меня сделать.

– И это, конечно, я?

– Вот именно. Ты. А почему бы и нет? Ты же сам когда-то просил меня изменить название твоей должности так, чтобы ты отвечал не за «рабочую силу», а за «человеческие ресурсы». Не за силу, а за людей! Вот и отвечай! Ты уже обещал мне – там, в кабинете, – что возьмешь все это дело с погибшей на себя. Как ее зовут?

– Юлия Рогаева, – бессильно шепчет Кадровик, уже догадываясь, к чему идет дело.

– Да. Так вот – тебе придется еще немного заниматься этой Юлией Рогаевой, пока ее не похоронят со всеми положенными почестями и достоинством. Ты уже показал свои способности в этом деле, и у меня нет причин отказываться от твоей помощи. Только так мы сможем доказать всему Иерусалиму, что нисколько не пытаемся скрыть свою вину и что нам причитается прощение даже от этого журналиста. Запомни мои слова. И наберись терпения, потому что у нас нет иного выхода, кроме как идти до конца. Не стесняйся в средствах, не экономь, денег у меня достаточно, и сам я тоже в твоём распоряжении, днем и ночью, как сейчас...

Выйдя на пустынную ночную улицу, Кадровик с удивлением видит, что всё вокруг – и земля, и воздух – стало белым, размытым и смутным. Он не решает сразу садиться за руль в такую погоду, и потому не включает двигатель, а лишь устраивается поудобней на сиденье, открывает окно и подставляет лицо холоду ночного мира. Потом долго шарит по всему диапазону радиоволн в поисках какой-нибудь хорошей музыки, под которую можно было бы не спеша добраться до дома матери. Но после полуночи на всех волнах передают одну лишь грохочущую бессмыслицу, которая никаких возвышенных чувств в человеке заведомо пробудить не способна. Он опускает голову на руль и застывает в ожидании. Если бы не снежные хлопья, что время от времени залетают в открытое окно и ложатся на лицо, впору было бы подумать, что все окружающее – лишь плод его усталого воображения. Но над Иерусалимом и вправду порошит легкий снег, и это белое кружение снежинок снова пьянит и волнует его, как, бывало, в далеком детстве.

Перевод с иврита – Рафаил Нудельман и Алла Фурман



выпускник Ленинградской консерватории, скрипач, прозаик – автор романов «Обмененные головы» (1992), «Бременские музыканты» (1998), «Прайс» (1999, шорт-лист Букеровской премии), «Суббота навсегда» (2000), «Вий» (2005). Живет в Германии.

«НАТАША»

В отличие от немецких славистов, живших по ту сторону Стены, Изольда Эйхлеб (настоящая фамилия Эхлепп) не занималась загадками русской души, равно как и не бредила русским революционным авангардом, этой путеводной звездой западной культурологии. Собственно, даже не славистка – просто учительница русского языка, который изучала в «глубинке», в Казанском университете, Изольда Эйхлеб была плоть от плоти гедеэровской служилой интеллигенции: 1-го мая в синей блузке дефилировала со своим классом перед трибунами, размахивая красной гвоздикой; произносила в положенное время положенные фразы; казалось, не замечала той Германии – как в хорошем обществе не замечают совершенной кем-то оплошности. А режим время от времени подкидывал ей дармовые путевки на Черное море и закрывал глаза на шуточки по адресу хонеккеровского «максимус-ленинус» (аналог брежневского «сиськи-масиськи»). Впрочем, ей была близка господствующая эстетика, каковая могла наполняться любым политическим содержанием. Если в СССР смена курса означала смену стиля, то искусство ГДР на протяжении всей своей сорокалетней истории питалось исключительно «пролетарским» экспрессионизмом 20-х годов да ротфронтскими маршами вкуче с «испанскими мотивами». Через брехтовский театр, озвученный Куртом Вайлем, это обретало фундаментальность, способную вынести идеологическое бремя тоталитаризма.

С концом ГДР прекратилось и преподавание русского языка в большинстве школ Лейпцига, где проживала Изольда Эйхлеб. Она – на сильнейшем социальном сквозняке. Все, что представлялось замурованным раз и навсегда, оказалось лишь временно заколоченным – и, наоборот, жизненный уклад, еще вчера поражавший воображение своей стабильностью, рухнул в одночасье. Не знаю, скандировала ли Изольда Эйхлеб вместе со всеми «Мы – народ! Мы – народ!» на знаменитых лейп-

цигских манифестациях напротив Николаускирхе, непосредственно предшествовавших падению хонеккеровского правительства. Рубить сук, на котором сидишь, – любимое занятие интеллектуалов всего мира.

Изольда Эйхлеб ударилась не сильно. Семьи у нее не было – причем не было никогда: двухлетним ребенком спасенная из дымящихся руин, Изольда выросла в евангелическом приюте, позднее преобразованном в школу-интернат. Жизнь сделала ее жесткой, самонадеянной, предприимчивой. На Западе такой тип женщины иронически называют «эманса». И вот эманса пытается выкарабкаться из той униженной ситуации, в которую попала вместе с сотнями тысяч других гедезровских гуманитариев, лишившихся страны, профессии, работы. Ничтоже сумняшеся она пускается во все тяжкие мелкого предпринимательства. Тут и просуществовавший менее полугода модный бутик, тут и бюро путешествий, специализирующееся на экскурсиях по Волге, – но новые бундес-граждане предпочитают экскурсиям по Волге дешевые автобусные туры в замки Луары. Тогда Изольда Эйхлеб переселяется в ту часть Германии, где замками Луары никого не удивишь.

В начале 90-х мода на Россию еще себя не исчерпала, хотя и на излете: одежда и сумки со стилизованным кириллическим алфавитом снабжены, как правило, табличкой «уценено». В это время Изольда Эйхлеб пишет пьесу, а точнее – мюзикл, полагая, что русская тематика в соединении с русским же музыкальным извозом (композитор – русская немка) обеспечит ему успех. Этого не произошло, мюзикл «Наташа» затерялся в потоке третьеразрядных музыкальных спектаклей, которыми изобилует провинциальная немецкая сцена. Многие, очень многим лавры Ллойда Вебера не дают покоя, но секрет успеха на то и секрет, чтобы большинство охотников возвращалось с пустыми ягдташами. В значительной мере драматург сама же была виновата: полагаясь на сделанные ею музыкальные ремарки, доверилась какой-то студентке, берущей уроки композиции.

Первое мое впечатление от мюзикла «Наташа», которому, волею обстоятельств, я подпиликивал, сидя в оркестровой яме Ганноверш-Миндена, естественно, было: «Ну, клюква! Ну, кегелеголовые немцы!» Ни малейшей симпатии не вызвала и страшно худая долговязая женщина, вышедшая на аплодисменты в джинсах и T-shirt. Разумеется, я не мог знать, что Изольда Эйхлеб была уже смертельно больна. Одно это удержало бы меня от публикации заметки, назначение которой исключительно в том, чтобы позабавить читателя*. Но возможно и другое: даже по первому впечатлению водевиль «неводевильно» обжигал, раз уж я так на него отреагировал – хотя в этой своей реакции и не удосужился разобраться, пускай по какой-то душевной лениности... Чтобы ее преодолеть, понадобились весть о смерти автора и – чего греха таить – признаки пробивающегося интереса к сочинениям Изольды Эйхлеб (пьеса эта не единственный ее опус). И, надо сказать, что по прочтении авторской машинописи – на которую до сих пор никто не посягал, – понимаешь: пред тобою нечто в высшей степени оригинальное, а вовсе не нахальная вампука с наляпанными как попало русскими именами. Подлинная «Наташа» не аутентична тому, что звучало со сцены в Ганноверш-Миндене.

* Итоги. 2006.18.4.

Взять даже такую мелочь, как запомнившаяся мне Катя Ивановна – вместо Катеньки Измайловны.

При инсценировке совершенно пропадал – тонул в бессмысленной попсе – второй, более сложный интертекстуальный ряд, на поверхности оставалась лишь банальная пародия на экранизацию Голливудом русской классики. В действительности же переводчика постоянно подстерегает опасность обратного перевода: «Был Кочубей богат и знатен». А то, допустим, я читаю: «Und nun stosse an auf Wirtin woll!» И вдруг меня осеняет: да ведь это не что иное, как пушкинское «выпьем чарочку за шинкарочку». Проверяю – прав. Отдельные пассажи, а главное тексты песен переводить не имело смысла. Лучше было сочинить все самому – как, например, «Балладу об оторванной ноге». Здесь моя задача состояла в том, чтобы как можно дальше уйти от музыкальной сатиры Пауля Дессау «Швейк в денщиках у Гитлера» и песен Рольфа Бирмана (гедезровского Галича – но только по жанровому определению). Пришлось имитировать вагонных нищих первых послевоенных лет с их актуализацией жестокого романа, в котором перемешались голоса деревни, лагеря и рабочего поселка.

И еще. Поскольку в немецком обиходе иностранные слова и целые фразы на чужом языке используются гораздо шире, чем в повседневной русской речи, то я счел необходимым их все перевести – порой не без сожалений. Так, в первой картине в уста графине Мироновой вложены слова Аррии, жены заговорщика Кекины Пэта, давным-давно ставшие самопародией и превращенные гимназистами в непристойную двусмысленность: «Non dolet, Paete» («Не больно, Пэт»), что в переводе начисто теряет соль.

Изольда Эйхлеб умерла от заболевания, с которым ассоциируется представление о «группе риска». Однако эта успокоительная ассоциация обманчива: относительно Изольды Эйхлеб к данной группе нет никаких причин – тем не менее в ее кровь проникла роковая инфекция (по вине персонала косметической клиники). За несколько дней до смерти она позвонила одной своей знакомой – израильтянке, отягощенной российским прошлым, – это было курортное знакомство, из тех, что завершаются беззаботным обменом телефонами: «Будете – звоните».

– Наташа, это Изольда – помните? Молитесь обо мне. Вы там ближе к Богу.

«НАТАША», или ВЗГЛЯД ИЗ ОРКЕСТРОВОЙ ЯМЫ

Помимо постоянной службы в оркестре Государственного ганноверского театра, мне нередко приходится играть халтуры в самых разных местах, от гамбургской оперы до крохотного городского театрлика в Ганноверши-Миндене, на сцене которого и был показан мюзикл «Наташа». Мюзикл этот – продукт сугубо женского творчества, причем композитор – выпускница Ленинградской консерватории, впоследствии учившаяся в Дрездене у известного Х.-Ю. Венцеля. Об авторе текста я знаю

только то, что ее зовут Изольда Эйхлеб, что она хорошо сложена, коротко подстрижена и считает возможным выходить на аплодисменты публики в джинсах.

Я попытаюсь пересказать содержание мюзикла «Наташа», взяв за образец имеющийся у меня под рукой оперный путеводитель.

Россия, 1919 год, город Злодейск (Slodejsk). Большевики свирепствуют, идет облава на бывших царских офицеров и аристократов. Однако кавалергарда Андрея Бронского удерживает в Злодейске интрижка с легкомысленной Катей Ивановной.

За Бронским следят. Заметив слежку, он первым нападает на крадущегося за ним по пятам агента, тщедушного человечка в непомерно огромной одежде. Борьба длилась недолго. Выясняется, что нелепый агент – не кто иной, как юная графиня Наташа, которую Бронский помнит еще ребенком. Теперь Наташа сирота. Старый граф Миронов и старая графиня казнены – ведь они отказались присягнуть на верность Троцкому и поцеловать красное знамя. Наташа призывает Бронского уехать из Злодейска в город ее мечты Париж. Бронский отвечает, что это невозможно, у них нет пропусков.

А между тем легкомысленная Катя Ивановна выходит замуж за выжигу-трактирщика. Свадебная процессия направилась в церковь, где поп Сергей могучим басом совершает обряд венчания. По лицу Бронского Наташа обо всем догадывается. Бедная! Еще девочкой была она влюблена в этого человека. Любовь овладевает ею с новой силой. В своих мечтах она видит себя на балу – кружащейся в вихре вальса с блестящим кавалергардом. Бронский ничего не замечает, для него Наташа все еще ребенок.

Перед церковью митинг. Красные матросы, опоясанные пулеметными лентами, размахивают наганами и шашками. Они слушают выступление своего комиссара – толстой женщины в кожанке и фуражке, которая, стоя на броневику, возвещает скорое наступление коммунизма. При коммунизме люди всем будут владеть сообща, исчезнут богатые, а любая собственность будет считаться кражей. Матросы одобрительно машут шашками и стреляют в воздух. Ораторша не скрывает своих симпатий к Потемкину, моряку с гармонью, и, кажется, не прочь сделать Потемкина своим фаворитом.

Наташа, украдкой подмигнув себе, прикидывается больной. Бронскому она говорит, что помочь ей может только народное средство: надо растолочь десять головок чеснока и этим натереться. Бронский, не раздумывая, бросается на поиски «лекарства», а Наташа в его отсутствие берет перо, бумагу и за подписью Ленина-Троцкого пишет декрет такого содержания: «Отныне кражей объявляется любая собственность, включая жен. Каждый гражданин обязан по первому же требованию рабоче-крестьянской власти предоставлять свою благоверную в общественное пользование. Инвалиды Красной армии обслуживаются вне очереди. Лиц эксплуататорских классов, духовенство и царских офицеров просят не беспокоиться». Наташа

спешит распространить этот подложный декрет, она надеется с его помощью положить конец донжуанским похождениям Бронского.

На рыночной площади обнищавший люд продает последнее, что у него осталось. Здесь же и Бронский, обвешанный гирляндами чеснока. Наташа прячется от него. Она незаметно расклеивает декрет об обобществлении женщин, ей удастся привлечь к нему внимание горожан. Отдельные скабрезные реплики и непристойные шутки тонут в общем гуле народного возмущения. Комиссарша, при появлении которой прилавки мгновенно пустеют, встречает новость с энтузиазмом и готова лично подать пример.

В трактире свадебное застолье, но вскоре слух о предстоящем обобществлении женщин нарушает царящее веселье. Наташа первая, кто сообщает об этом. Однако черноокая Катя Ивановна только раздражается веселым хохотом. Вот она уже кокетничает с пригожим пареньком, не догадываясь, что перед ней переодетая девушка. Катя Ивановна даже предлагает Наташе, не медля, подать на нее заявку, а то от таких заявок скоро отбою не будет. Наташе не остается ничего другого, как согласиться. А число желающих и впрямь начинает расти. Не устояв перед соблазном, слагает с себя сан отец Сергей. Матрос Потемкин, счастливо избежавший домогательств комиссарши, настолько пленен красавицей-невестой, что умоляет пригожего паренька уступить ему очередь – пригожий паренек согласен, но взамен хочет два пропуска на выезд из захваченного большевиками Злодейска. К тому времени, когда Бронский, сбившийся с ног в поисках Наташи, появляется в трактире – с огромной банкой чесночного зелья, – Катя Ивановна расписана по дням и по часам на целый год вперед. Два инвалида спорят, чьи заслуги перед революцией больше; трактирщика вполне примирила с происходящим коммерческая выгода, а у ветреной красавицы новое увлечение: моряк с гармонью. И когда Бронский пытается вернуть ее благосклонность, то в ответ слышит: «Ну и чеснок!» Тут же хор поклонников Кати Ивановны восклицает: «Декрет читал? В очередь!» На предположение, уж не офицер ли это, Наташа со смехом замечает: «С каких это пор царские офицеры чесноком воняют вместо французских-то духов?»

А в городе восстание. Отцы, мужья, братья предпочитают умереть, чем примириться с декретом. По слухам, на подавление бунта сам Троцкий двинулся во главе войска. Слышна канонада. Распахивается дверь трактира, и на пороге в клубах порохового дыма появляется Троцкий. Он приказывает арестовать комиссаршу. Это она вызвала контрреволюцию в Злодейске тем, что подхватила белогвардейскую байку. То же вменяется в вину и саморасстригшемуся отцу Сергию. Один инвалид вспоминает, что именно у Наташи в руках видел он листовки с мнимым декретом. Наташу хватают, из-под крестьянской шапки выбиваются длинные девичьи волосы. Раздаются возгласы: «Молодая графиня Миронова! Дочь старого графа!» Бронский кидается ей на выручку, обезоружив одного из матросов. Сброшен с плеч тяжелый крестьянский полушубок, теперь на Бронском белый офицерский мундир с золотым шитьем, в руках сабля и револьвер.

«Ах, кавалергард...» – вырывается у всех вздох изумления. «Взять их!» – визгливо командует Троцкий. Но Бронский, ловко расшвырвав бросившихся на него моряков, приставляет револьвер к груди Троцкого.

Воспользовавшись общим замешательством, Бронский и графиня Наташа бегут. Перед ними броневик.

– Скорей в него! – кричит Наташа. – У меня есть пропуска.

– Зачем ты все это сделала? – спрашивает, с трудом переводя дыхание, Бронский.

– Катя Ивановна... была слишком хороша для вас одного... Я решила ее немножко обобществить...

– Наташа...

Их глаза встретились.

– Андрэ! Мы убежим далеко-далеко, в Париж. Там мы будем счастливы.

– Постойте! – доносятся крики. – Подождите!

Это разочаровавшийся в революции матрос Потемкин со своей верной гармонью и с Катей Ивановной в придачу. Трактирщица сделала свой выбор, уже навсегда.

И еще одна пара присоединяется к беглецам – отец Сергей и комиссарша. На ходу втискиваются они в уже тронувшийся броневик, башня которого вдруг начинает бешено вертеться, обдавая преследователей пулеметным огнем. Курс – Эйфелева башня.

Как говорят немцы, keine Kommentar.*

Изоolda Эйхлеб

НАТАША, или КАК ОБОБЩЕСТВЛЯЛИ НАШИХ ЖЕН

Пролог

(в пудреном парике, взбитом по последней моде; камзол, жилет, панталоны, чулки, туфли – все белое; в левой руке трость слоновой кости, в правой – кружевной платок)

Почтенный публикум, прошу внимания. Прежде, чем будет разыграна эта пьеса, мне бы хотелось поделиться с тобою следующим соображением. Натурально, нет и не может быть ни дурного, ни хорошего вкуса. То, что во времена оны считалось прекрасным, во времена нын объявляется верхом дурновкусия. Потому-то и не спорят о вкусах – в сущности, это был бы

* Без комментариев (нем.).

спор о времени, в коем нам выпал жребий жить. Итак, мы начинаем. Маэстро, урежьте свет.

Текст на экране

«Много веков назад одна шестая часть суши на Земле была объята пламенем гражданской войны».

Электронный голос

(По слогам, звуковысотность соответствует четырехтакту «Коль славен»; и так же в дальнейшем.)

Что значит «гражданская»?

Текст на экране

«Имеющая отношение только к жителям одной административной единицы, как то: посада, губернии, державы и подобных сим».

Электронный голос

А «война»?

Текст на экране

«Война есть раздор среди людей в виде ратного боя».

Электронный голос

То есть они водились на суше? Сомнительная гипотеза.

Текст на экране

«Это полет фантазии художника».

Электронный голос

Он что, специально запустил ее на Землю?

Текст на экране

«Не специально. Фантазия стартует, когда хочет и куда хочет. Эта улете-ла в направлении Солнечной системы».

Электронный голос

Ясненько. Ну все, приступаем. Закрытый просмотр под открытым небом.

Текст на экране

(другим шрифтом)

гОрОд злОдейск, гОд Одна тысяча 919

Картина первая

(Броневи́к, на броневи́ке Троцкий с лицом эйзенштейновского царя Ивана, но при этом в пенсне. Революционные солдаты, матросы, народ, Наташа в рабоче-крестьянской одежде, няня. Здесь же Андрей Бронский в крестьянском полушубке. К Троцкому приводят пленных, среди них гр. и граф Мироновы.)

Солдат

(пленному)

Целуй красное знамя на верность товарищу Троцкому. *(Тот целует.)*
Отлично. Кто следующий? А вы чего олухами стали?

Граф и графиня Мироновы

(поют на мотив «Боже царя», он женским голосом, она мужским)

Троцкий убийца
И кровопийца.
Вор, проклятый от века,
Чтоб ты сдох.

(Нисходящий тетрахорд медных.)

Собака презренная
И непогребенная,
Будешь ты гнить в веках...

Солдат

Товарищ Троцкий, это старый граф Миронов со своею старухою.

Наташа

Батюшка! Матушка!

Няня

(обнимает ее)

Таись, таись, дитятко...

Троцкий

А, комендант крепости? Пала твоя цитаделька? Ну-ка, чмокни мой флажок. *(Солдату.)* Угости-ка их, дружок. *(Солдат срывает с себя пулеметную ленту и несколько раз ударяет графиню пониже спины.)* Ну как, ваша светлость, стал поговорчивей?

Графиня Миронова

(мужу)

Это совсем не больно.

Граф Миронов

Пес!.. Гнилой нос!.. Адская ты морда!..

Троцкий

(в ужасе хватаясь за нос)

Расстрелять! Повесить! Изрубить на мелкие кусочки! *(Солдаты волокут прочь графа и графиню. Барабанная дробь. Звучит «Боже царя», исполняемое хором без слов, «смеженными устами».)* И так будет с каждым, кому не любя рабоче-крестьянская власть. За победу мирового пролетариата! *(Революционный кравчий в комбинезоне «Shel» опускает в кубок шланг, отходящий от цистерны с надписью «Ритуальный напиток».* Троцкий одним духом осушает кубок и пускается в поганый пляс.)

Любо-любо-любомир!
Чиви-чиви-чевенгур!
Возведем большой сортир,
Чтоб мочить там разных шкур.

Хор

Любо-любо-любомир!
Чиви-чиви-чевенгур!
Возведем большой сортир,
Чтоб мочить там разных шкур.

Обыватель

Манюня, я не ослышался, шкурки теперь в сортире будут мочить? Это же революция – в скорняжном деле.

Троцкий

Дойдем до Красного моря
На страх и ужас буржуйам,
Огонь революций раздуем.

Хор

О горе, о горе, о горе!

Троцкий

Рыдают буржуйские жены,
В одеждах своих невесомых.
Штыком их, штыком их, штыком их!

Хор

Штыком их, штыком их, штыком их!

Троцкий

Рыдают буржуйские сестры,
Подошвы лизать небрезгливы.
Язык сапогом отдави ей!

Хор

Язык сапогом отдави ей!

Троцкий

Рыдает буржуйская дочка,
Красива она, пролетарий.
Покажь ей свой трихомонарий!

Хор

Покажь ей свой трихомонарий!

Троцкий

Рыдают их дедки и бабки,
Рыдают их сучки и внуки.
Им горе, а нам пир горою.

Хор

(речевое восклицание)

Коммуна – не за горою!

Троцкий

(сойдя с броневика, комиссару)

Товарищ, мы выступаем сей же час. До южных морей путь далек, а наша революционная пассионарность не терпит проволочек. Вас, товарищ, назначаю комиссаром города Злодейска, корчуйте гидру, пока горячо. С вами остаются моряки-кронштадтцы. *(Обращаясь ко всем.)* На бой, товарищи! *(Броневик трогается.)*

Хор

Мы смело в бой пойдем
За власть Советов
И как один умрем
В борьбе за это.

*(Уходят маршем с развевающимся красным знаменем.
Одновременно с другой стороны маршем выходят на сцену солдаты
с развевающимся российским триколором.)*

Хор

Мы смело в бой пойдем
За Русь святую
И как один прольем
Кровь молодую.

*(Хоры чередуются, возникает модуляционная секвенция.
Все уходят, кроме Наташи и няни. Наташа плачет.)*

Няня

Ах, дитяtko мое болезное, да все же глазки свои распрекрасные выпла-
чешь, сиротка моя невинная. Нет у тебя ни батюшки, ни матушки, ни за-
ступника, друга сердешного. Кабы я могла сама твои слезы выплакать и всю
муку твою на себя взять... Отдай, отдай старухе страдания немерные...

Наташа

Нет, няня, нет, добрая старушка, свой крест я понесу сама.

Няня

Хорошо, неси, дитяtko. Своя ноша не тянет.

Наташа

(поет «Коль славен» в миноре, в характере баркароты)

Нет, смерти нету, небо сияет,
Слезы на солнце высохнут вмиг.
Только сиянье слепит до боли.
Солнышко, скройся, сил больше нет.

Небо, ты любишь Наташу, я знаю,
Жестокон любовью!.. Люби же сильней...
Крест подарило, в гору несчастий
С ним подымаюсь: слава тебе!

Нет, смерти нету, небо лазурно.
В этой лазури мы встретимся вновь.
Обнимем друг друга, пригубим из чаши,
Слезы на солнце высохнут вмиг...

Няня

Тише, дитяtko! Еще, глядишь, голосок твой ангельский узнают. То не лю-
тые звери по лесу рыщут, то большевики по домам ходят: нет ли юнкеров да
офицеров. А дочь графа Миронова для них, поди, роты стоит. Тихо... Чегой-то?
(Слышен смех. Входят Бронский и Катерина Измайловна.)

Бронский

Катерина Измайловна, душа души моей... Один поцелуй!

Катерина Измайловна

Один: поцелуй его, другой: поцелуй его, третий тож: поцелуй его... Сколько тут вас? А у меня губки не казенные. Свои вишенки, из своего сада. От поцелуев распухают... и дуются... Ах, какой вы проказник, господин офицер! Вот сюда можете... и сюда... Ха-ха-ха! И в мизинчик... и в попончик... ах-ха-ха! А я ведь и выдать могу. Крикну: эй, хватайте его, офицера моего. Ваша жизнь в моих руках.

Бронский

Моя жизнь и без того в ваших руках... Катенька Измайловна!.. Когда истомленный у ног твоих дивных... в восторге безмолвном...

Катерина Измайловна

Ах-ха-ха! Я-то думала, ваша жизнь в моих руках, а она в моих ногах.

(Поет.)

Ваше благородие, господин поручик,
У меня бывали и господа покруче.
Купчик был с пудовым задом,
Барин был с вишневым садом,
Генерал с лампасами – попробуй всех уважь.

Бронский

Катенька Измайловна, «нет» не говорите.
«Красное» и «белое» не произносите.
Губки бантиком сложите,
Поцелуй мне подарите,
На часах стоит-тоскует одинокий страж.

Катерина Измайловна

Ваше благородие, глупости оставьте,
Стражников-печальников, мой совет, отставьте.
Раз один король червонный
Разорвал мне все препоны,
Зашивала ниткою суровой я корсаж.

Катерина Измайловна и Бронский

(вместе)

Но как трудно, милый друг, малым обходиться,
Губками касаться, телом сторониться.
Жизнь нас учит осмотренью,

Страсть не терпит промедленья,
Вот ведь лажа, в революцию нашла такая блажь.

(Скрываются в зарослях.)

Няня

Во бесстыдники-то, во срамники-то! Россия кровью умывается, реки багряные текут. Последние времена наступают. А они прыг-скок да под ракитовый кусток. А он, чай, из благородных будет. Офицер, небось.

Наташа

А ты, няня, не узнала его?

Няня

Я нынче стала бестолкова... тупеет разум.

Наташа

Да это же Бронский, Андрей Бронский. Он у нас в доме бывал. С папенькой играл в вист, с маменькой в четыре руки, со мной в горелки. А потом... я с ним мазурку танцевала на своем первом балу. *(Видение бала. Мазурка. Мазурку сменяет медленный вальс.)* Конечно, я была для него ребенком, а любовь к детям – не по его части. *(Угрожающе, в сторону кустов.)* Ну, Катенька Измайловна... Слушай, няня, простимся. Я выросла, ты постарела. Я летать хочу, а тебе ходить невмочь. Перекрести меня, няня, да и ступай в родную деревню к Варваре-куме. *(Няня, которая на глазах стареет, крестит Наташу дрожащею рукой и собирается уйти – «Русью уходящей».)* Нет, постой! Вот тебе. *(Снимает с себя медальон.)* Выменяешь на картошку. *(Няня уходит, унося медальон. Оставшись одна, Наташа поет.)*

Я не сержусь, но в сердце острый нож.
О если б я могла его возненавидеть!
За царство грез, за сладостную ложь, *(два раза)*
За сны любви – их больше мне не видеть...

Их не увидеть больше никогда,
Как не увидеть больше мирные селенья.
Стоит высоко в небе та звезда, *(два раза)*
Которая казнит без сожаленья.

Она – убийца звезд, звезда убийц,
Она чернеет в небе раною сквозною.
Его лицо из миллиона лиц...
Она найдет из миллиона лиц!
По жару сердца моего, по зною...

Я не сержусь, но в сердце острый нож.
О если б я могла его возненавидеть!
За царство грез, за сладостную ложь, (два раза)
За сны любви – их больше мне не видеть...

(Голоса, смех Катерины Измайловны. Из зарослей выходят Катерина Измайловна и Бронский.)

Бронский

Только один поцелуй...

Катерина Измайловна

Ха-ха-ха!.. Опять! Опять поцелуй его. Да у меня ж губы не железные. А что мой кабанчик скажет? Поди заждался крошечку-хаврошечку свою.

Бронский

Катюша...

Катерина Измайловна

Да я уж двадцать лет как Катюша, ваше благородие. И на маслобойке – Катюша, и господам в номерах прислуживать – Катюша. Теперь буду Катериной Измайловной. Эвона Зиновий Борисович какой трактир держит. Пять самоваров в высоту, десять в ширину. Полы струганы, квасом вымыты. Подошвы липнут – не оторвать. Сам ходит в высоких сапогах, галоши новые сверкают. В них завтра поведет меня к аналою, кабанчик мой.

Бронский

Катиш!

Катерина Измайловна

Прощайте, мусью. Трактир велик, может, и свидимся.

(Вырывается и убегает.)

Бронский

Проклятье! *(Подбирает фуражку, надвигает ее на самые глаза, проверяет пистолет, поднимает воротник полушубка. Крадется. Наташа за ним. Заметив слежку, Бронский прибавляет шаг. Наташа, пугаясь в долгополых одеждах, не отстает. Тогда Бронский резко поворачивается к ней лицом. Полусхватка-полубуги-вуги, завершающиеся победой Бронского.)* С русским офицером сразиться – это тебе не расстреливать несчастных по темницам... Шпионить за мной! Да я большевицких агентов... *(Замахивается. Наташа вскрикивает. Бронский в недоумении смотрит на нее.)* Кто вы... такая?

Наташа

Андрэ, вы не узнаете меня? *(Бронский напряженно всматривается в ее лицо. Кажется, он вот-вот что-то вспомнит.)* Я – Наташа... Наташа Миронова.

Бронский

Боже... *(Заключает ее в объятия. Наташа беззвучно рыдает на его груди.)* Я там был, я все видел... Я должен был разделить судьбу ваших родителей.

Наташа

О нет! Тогда бы у меня совсем никого не осталось.

Бронский

Честный сын России, граф Миронов остался верен Богу, царю и отечеству. *(Звучит «Боже царя».)* Имя святое: русский офицер. Да спишься тебе, как в большом оренбургском платке.

Картина вторая

(Церковь. Под звон колоколов Зиновий Борисович ведет к алтарю свою невесту, Катерину Измайловну, в окружении празднично одетых горожжан. Позади алтаря в ризнице о. Сергей считает деньги, складывая монеты стопками. Перед ним штоф водки, к которому он порою прикладывается. Входит причетник.)

Причетник

Отче благий, народ ждет.

Отец Сергей

Подождут. В долготерпении обретается благодать. Соври им чего-нибудь. *(Причетник уходит.)* Прости нам, Господи, прегрешения наши. *(Сгребают деньги в мешочек, кладет его за пазуху, облачается в шитую серебром ризу, хлебнув при этом многократно.)*

Причетник

(выйдя к собравшимся)

Отец Сергей зван к умирающему. Сейчас воротится.

Отец Сергей

(появляясь в алтаре)

Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...

Причетник

Отче благий, нонче не отпевание, нонче венчаются.

Отец Сергей

Мм... Что ж ты молчал, иудина твоя душа? Венчается раб Божий... как звать-то?

Причетник

Да Зиновий с Катериною, батюшка.

Отец Сергей

Венчается раб Божий Зиновий рабе Божией Екатерине, о еже ниспослаться им любви совершенной, мирней и помощи Господу помолимся.

(Молятся. Извне доносятся звуки: шум, пальба, пение. Дверь с грохотом распахивается. Вместе с ярким светом церковь наполняется революционными матросами с женщиной-комиссаром во главе. Слышится гармошка, звучат богохульные речи. «Кто Марию-деву, батя, обрюхатил? – Да вестимо, кто, голубок». «О Господи Иисусе, возьми меня за уси...» Другой голос: «А я тебя за бороду, пойдем гулять по городу». «Дорогу архангелу Гавриилу, мать твою за ногу!..» И т. п. Все, бывшие в церкви, включая о. Сергия, прячутся кто куда. Молодые в страхе смотрят на бесчинствующих матросов. Зиновий Борисович затискивается под свадебное платье невесты.)

Комиссар

(смерив Катерину Измайловну насмешливым и одновременно ревнивым взглядом)

Ну что, очи черные – платье белое, обвенчаться захотелось? *(Наступая на Катерину Измайловну.)* А без ентова не тово? *(Катерина Измайловна пятится, из-под подола появляется голова Зиновия Борисовича.)* Так вас еще и двое?! *(Матросу с гармонью.)* Эй, Потемкин!

Потемкин

(Поет.)

Фаворит ее терзал,
Царь им свечечку держал,
Опосля сам Гришке дал.
Эх, эх, елы-пал!
Там три трупа поутру...

Что, товарищ комиссар?

Комиссар

Вот жених, а вот невеста. Хотели повенчаться, да поп сбежал. Не заменишь?

Потемкин

Попа аль жениха?

(Все смеются.)

Комиссар

*(смотрит на Катерину Измайловну, потом на Потемкина,
потом снова на Катерину Измайловну)*

На кого глаз положила, контра ползучая? На революционный флот?
(Подходит к Потемкину.) Отвечай, а ты ни с кем не венчался? А со мной
хотел бы? Только не по-поповскому обряду, по-нашему, по-революцион-
ному.

(Поет.)

Морду от меня не смей воротить!
А иль тебе меня не удовлетворить?
Поп, обвенчай меня с орангутангом,
Станцюю с ним я и фокстрот, и танго-манго.

Я тебя, козел, скручу в бараний рог,
Будет у тебя все задом наперед!
Геморрой с мигренью спутаешь на раз,
Со мною в бой вступить не больно ты горазд.

В детском доме с сухофруктами компот.
И с той поры я не беру их в рот.
Свежий плод, в нем витаминов до фи́га.
С такой начинкой хочу я куска пирога.

Ты еще не знаешь, что в дугу
Я согнуть любого могу.
Как нашла я сифилис и эйде,
Ройял мэджести оф юнайтед стэйтс!

(Выходит на авансцену – наперть – и обращается к зрительному залу.)

Товарищи революционные матросы! Разорваны цепи самовластья.
Дворцы сметены вихрем революции. Близится эра коммунизма, когда рабо-
чим не надо будет работать, крестьянам – гнуть спину в поле, солдатам –
воевать, а матросам – служить на флоте. Товарищи матросы! Можете на-
всегда позабыть о море.

Возгласы

Ура! Век моря не видать!

Комиссар

Никогда больше вы не услышите офицерских свистков. Пусть ржавеют
ваши корабли, их ждет участь динозавров и мамонтов.

Моряк
(Потемкину)

Слышь, Потемкин? Кто такие эти мамонты?

Потемкин

Слоны. Каждый величиной с крейсер. Их сожрали с голодухи. Дикари. На Северном полюсе.

Комиссар

Они бегут! *(О. Сергей, причетник и гости обращаются в бегство. Катерина Измайловна и Зиновий Борисович присоединяются к ним. Появляются Наташа и Бронский.)* Ха-ха-ха! Жених и невеста – тили-тили-тесто!

Наташа

(заметив порыв Бронского броситься следом за Катериной Измайловной, удерживает его)

Андрэ...

Комиссар

(подставляет ножку отцу Сергею и, когда тот падает, наступает ему сапогом на бороду)

Ничего, ничего, отче святой. Господь терпел и нам велел. Не вы ли, попы, учите, что в долготерпении да в страдании обретается благодать господня? Сейчас обрящешь искомое. По законам революции тебя следует немедленно р-р-рас... *(моряки наставляют винтовки и наганы на о. Сергея) ...стричь. (Достает маникюрный набор и вынимает из него маленькие ножницы.)* На, батюшка. А то бороденка встать не дает. *(О. Сергей состригает себе бороду и встает.)* Сразу на тридцать лет помолодел. Не мужик, а ягодка. *(Игриво толкает его локтем.)*

Наташа

(Бронскому, который по-прежнему смотрит с тоскою вслед Катерине Измайловне)

Андрэ, уедем отсюда, эмигрируем в Париж. Будем как птицы в парижском небе. Совьем гнездо на Эйфелевой башне.

Бронский

Это невозможно. У нас нет транзит-виз.

Наташа

Андрэ, признайтесь, что вы не хотите уезжать, что вы слишком любите... родину. Ах, что со мною? Ах, это опять начинается!.. *(Комически дергается,*

изображая припадок.) У меня аллергия на здешний климат с детства. В Париже это быстро проходит, а здесь помочь мне может только одно средство. Это няня умела. Нужна чесночная мазь. Берется десять головок чесноку...

Бронский

Пойдемте, я отведу вас в безопасное место. *(Идут.)* Вот здесь подождите меня, я скоро вернусь. Десять головок чесноку, вы говорите...

(Уходит.)

Наташа

Теперь перо-бумагу, и за дело. *(Пишет. Речитатив.)* «К гражданам Злодейска. Отныне кражей объявляется любая собственность, включая собственных жен. Оные жены немедленно переходят в общественное пользование. Инвалиды Красной армии обслуживаются ими вне очереди. Лиц эксплуататорских классов и духовенство просят не беспокоиться. Подпись: Троцкий». *(Говорит.)* Ну, теперь держись, Катерина Измайловна!

Картина третья

Рынок. Среди прочих о. Сергей, продающий ризу и крест; няня, продающая медальон. Тут же, под транспарантом с надписью «Клоун тоже хочет жить», странствующие комедианты разыгрывают сцены в стиле революционной графики.

Отец Сергей

Риза и крест! Риза и крест! Риза настоящая! Крест наперсный, украшенный полудрагоценными камнями! Подходи, покупай, люд православный!

Няня

Господский медальон, милые, не нужен?

Манюня

Ложечка серебряная, на первый зубок!

Обыватель

Манюня, вот я тебе покупательницу привел. Говорит, у нее есть взамен солонка, полная соли. Засолим чего...

(Меняются.)

Баба

Картошечка кругленькая! Навались, робята!

Няня

Женщина, за медальончик господский сколько дадите картошки?

Баба

Да бери всю, вот, их у меня всего-то три штучки.

(Меняются. Входит Бронский.)

Бронский

(бабе)

Чесноку у вас нету? Мне десять головок нужно.

Баба

А что дашь? Часы дашь золотые?

Бронский

Дам.

Баба

Жди. *(Идет к бабе напротив.)* Сергевна, дай чесночку.

Сергевна

А ты чего дашь?

Баба

Да вот, медальончик господский. *(Возвращается.)* Давай свои часы сюды.

(Слышна иностранная речь. Мужчина в дорожном костюме, в кепи с фотографическим аппаратом через плечо говорит что-то своей спутнице, указывая на о. Сергия.)

Отец Сергей

Крест наперсный! Риза! Люд православный!

Иностранец

Хау мач?

Отец Сергей

Тен долларс... Тен долларс все вместе... И еще иконка в придачу...

(Иностранец многозначительно смотрит на свою даму, быстро расплачивается, после чего они исчезают со своими покупками. Входит Наташа, незаметно наклеивает лжедекрет на театральную тумбу. Вокруг тумбы начинает собираться народ.)

Голоса

Ну, вот еще... Эй, Свиридыч, баба-то твоя общей станет... Пусть сунут-

ся, я их кашей из топора угошу... Правильно, каши из топора им, нехристям, захотелось...

Инвалид (инвалиду-кукле)

А инвалидам-то лафа. Бывало баба нос от тебя воротит, а таперича – первый кавалер. *(Бронскому, который, будучи увешан гирляндами чеснока, останавливается при виде толпы, осаждающей театральную тумбу.)* Ступай, ступай, тута не про тебя писано. Бывшим велено не утруждаться.

(Бронский повсюду ищет Наташу. Между тем ропот растет.)

Голоса

Костыми ляжем!.. Не отдадим наших жен и дочерей вам, злодеям, на потеху!.. Топоры, мужики, востри!..

Обыватель

Манюня, не знаю, что и подумать. Нужно подготовиться к этому морально.

(Входит комиссар с матросами. Торговцы быстро прячут товар.)

Комиссар

Ну! Что за шум, а драки нет? Что прищурились, контрики? Что там написано?

(Народ расступается в мертвой тишине. Комиссар подходит к афишному столбу. Звучит песня, Потемкин поет на два голоса с кем-то, беззвучно подыгрывая на гармонии. – Прилагаются ноты.)



Жди ме-ня, ми- ла-я, жди не-на-гляд-на-я, жар своих рук для меня сбере-ги. Во-и-ну-



рат- ни-ку мыслью от- рад-но-ю - тем, что вер-на-, - по- бе- дить помо-ги. Шел я до-



ли- на-ми, гор-ны- ми тро-па- ми на Пе- ре- коп, счет врагам поте- ряв. За пе-ре



ва- лом в бой с белы- ми ро- та- ми, как та- лис- ман, чер-ный ло- кон твой взяв.

Потемкин

Жди меня, милая, жди ненаглядная,
Жар своих рук для меня сбереги.
Воину-ратнику мыслью отрадною –
Тем, что верна, – победить помоги.

Шел я долинами, горными тропами
На Перекоп, счет врагам потеряв.
За перевалом в бой с белыми ротами,
Как талисман, черный локон твой взяв.

(Резкий выдох гармонии.)

Комиссар

Положим конец мелкособственническим инстинктам в сфере брака.
Мой долг комиссара заразить вас личным примером.

Обыватель

Манюня, чем она сказала будет меня заражать?

Комиссар

(о. Сергию)

Вот ты, как тебя зовут?

Отец Сергей

Отцом Сергием, матушка.

Комиссар

Ну, отцом при этом становиться необязательно. Что скажешь о новом декрете?

Отец Сергей

(неуверенно)

Хорошее дело... отчего ж не побороться с инстинктами...

Комиссар

Отлично, товарищи. Наша первоочередная задача – наглядная агитация масс. *(О. Сергею.)* Серёня, значит... Товарищи матросы! Идейно разоружим контрреволюционный инстинкт! В коммуне все должно быть общим – уда-
рим по мелкособственническому институту брака!

(Уходят.)

Обыватель

Ну вот, Манюня, начали с продрозверстки, кончили похищением саби-
нянок. *(Вдруг в исступлении.)* Граждане Злодейска! Опомнимся, восстанем
на супостатов! Что делают!.. Что творят!.. Граждане Злодейска!

Причетник

Люд христианский! Люд честной злодейский! Да что ж это враг за-
мыслил? Сколько терпеть еще будем? Берись за топоры!

(«Коль славен» в ритме марша.)

Вставай, подымайся, христианский народ,
Последние дни наступают.
И всяк скоро в царство Господне войдет,
Кто с бесами в битву вступает.

Вкруг Божьего трона собирается рать
Отмстить неразумным хазарам,
Подвалы «чека» поскорее предать
Мечу, топору и пожару.

Себя опозорить врагу не дадим.
Хоть ужас внушает порою,
За все преступления ему воздадим,
Движимые верой святою.

*(Отыгрыш: четыре такта «Родина слышит, Родина знает...»,
соответствующая вариация Рахманинова «На тему Паганини».)*

Картина четвертая

(В трактире. Зиновий Борисович с сачком для ловли бабочек, Катерина Измайловна томится.)

Катерина Измайловна

Скучно, как на вечере квартетной музыки.

Зиновий Борисович

Ась?

Катерина Измайловна

Так культурные люди говорят. Вам, Зиновий Борисович, не понять.

Зиновий Борисович

Чего, Катюша?

Катерина Измайловна

А Катюшей будете звать, буду звать вас Зямой. *(Зиновий Борисович в ужасе отшатывается, крестится.)* Устраивает – пожалуйста. Катюши выходят на берег... на высокой... на крутой. Чтобы с него потом – бултых! Не дож-детесь.

Зиновий Борисович

(в очередной раз бьет сачком)

Не понимаю, что за берег?

Катерина Измайловна

Темный вы, Зиновий Борисович, вот и не понимаете. Я думала, у вас народ, веселье. А у вас-то всех посетителей-то – вон, тараканы одни. *(Указывает на сачок.)*

Зиновий Борисович

Да времечко худое, Катюш... Катерина Измайловна. Бывало вино рекой лилось, закусей – что твоих гусей. Угроздило ж нас вляпаться в такую историю, как революция. Никакому народу не пожелаю, даже китайцам. Вот вы темным браните, а не будь я темный, стоял бы я сейчас на базаре да меня шило на швайку. Только боюсь, пойдет дальше так – не минует и меня чаша сия *(крестится)*, пронеси, Господи... *(Входит инвалид с инвалидом-куклой.)* Вас только не хватало. Нету прибыли, не с чего подавать.

Инвалид

А мы не за милостыней. Сударушка нам ваша того... больно пригляну-лась.

Зиновий Борисович

Что?! Рехнулись, что ли? *(Берет ухват.)* Я вам живо мозги вправлю. Чешите отсюда.

Инвалид

Потише, дяденька. Таперича не те порядки. Таперича твое-мое отменяется. Эвона, блин какой – женка твоя... Румяный. Сдоба. Таперича про всякого она будет, не только тебе одному. А который инвалид да за народное счастье с культей гуляет, тому почетное членство. Билет первый номер. Манифест батюшки Троцкого читал?

Катерина Измайловна

Ну-ка ты, петушок на палочке, что ты выдумал? Тебе и смотреть-то на меня только в щелочку можно.

Инвалид

Эк сказанула! Не в бровь, а в глаз. *(В приоткрытую дверь.)* Эй, малец! Скажи его трактирному степенству, какой порядок таперича будет заведен. Да заходи, не конфузься.

(Входит Наташа.)

Наташа

(грубым голосом)

Было б перед кем конфузиться.

Инвалид

Скажи, скажи им про манифест.

Наташа

Ах это... *(Решительно.)* Да, господа, полная национализация частной собственности. Причем не только на средства производства, но и на средства воспроизводства.

Зиновий Борисович

Ась?

Наташа

(доходчиво)

Ну, кто тебя воспроизводит в потомстве? Твоя жена. И заметь, только тебя, больше никого. С этим покончено. Теперь она будет воспроизводить и других.

Катерина Измайловна

(брезгливо показывая на инвалида-куклу)

Этого, например?

Наташа

Почему бы и нет?

Инвалид

Кто инвалид за революцию, тем без очереди отпускают. *(Наташе.)* Скажи, скажи им.

Зиновий Борисович

Скучно вам было, Катерина Измайловна, вот теперь зато весело. *(Инвалиду, топая ногой.)* Вон!

Наташа

Это, между прочим, контрреволюционный саботаж.

(Зиновий Борисович страшно пугается.)

Катерина Измайловна

А где написано, что ты за революцию, инвалид? А может, за что другое. Где у тебя справка?

Инвалид

Справка? *(Обращается к залу.)* Какая справка? Люди добрые, опомнитесь...

(Поет.)

Когда возвращались герои,
В почетный увольась запас,
То был среди их один воин,
О ем поведу свой рассказ.

Михалка красавец был парень.
Когда уходил воевать,
Ен крепко обнял свою Варю,
Себя приказав долго ждать.

Поля и дома пролетали,
В Каховку летел эшелон.
Винтовки герои сжимали,
Сроднился с винтовкой и ен.

Настала пора Михаилу
Геройство свое проявить.
Явился боец к командиру:
В разведку приказ был сходить.

Отправились трое робят
В глубокий во вражеский тыл.
Старшой был Володька Поддатов,
По кличке Вован Нашатырь.

Дорогой поймали двух панов,
Вован только сплюнул: ништяк.
Стрельнули в них, гадов, с наганов,
Тут видим – неужто большак?

Одних сорок штук енералов,
Насупившись, харч свой едят.
Стреляем. Патронов не стало.
Поддатов гранатов – звездяк!

Врагов полегло тут несметно,
Харчом все окрест залило.
Вован награжден был посмертно,
Мне но-о-гу оторвало.

Не помню, как полз я безногий.
«Ты ждешь меня, Варя, аль нет?»
В ответ только месяц двурогий
Средь звезд рисовал мой портрет...

Катерина Измайловна

Слушай, Маресьев. Без справки твоя нога все равно недействительна.

(Шум, входят люди. Трактир заполняется.)

Вошедший

Эй, шалманщик!

Зиновий Борисович

(строго)

Чем расплачиваемся?

Вошедший

Продуктом. *(Показывает бутыль.)* Полведра.

Зиновий Борисович

(принимая бутылку к уплате)

Чего желаем-с?

Вошедший

Водочки.

Зиновий Борисович

Слушаю-с.

(Уходит.)

Вошедший

(вслед)

Жена твоя пусть обслужит! *(Многозначительно.)* Про декрет знаешь?

(Прочие тоже достают, кто штуку материи, кто пару сапог, кто связку вяленой рыбы.)

Голоса

Хозяйка пускай обслужит!

(Входит о. Сергей, за ним комиссар.)

Отец Сергей

А у меня копеечка есть. *(Достает десять долларов и протягивает Зиновию Борисовичу.)* Выпьем чарочку за шинкарочку!

Комиссар

Ах ты, валютчик!

Отец Сергей

Да я, матушка...

Комиссар

Молчать! Что в декрете про лиц духовного звания сказано? *(Зиновию Борисовичу.)* Я сама его обслужу!

Голоса

Где здесь с Восьмым мартом проздравляют? Один поцелуй!..

Катерина Измайловна

И этого поцелуй, и того поцелуй... Сколько тут вас? А у меня губки не казенные. Свои вишенки, из своего садика. А ну-кось, в очередь!

Голоса

Правильно, в очередь!

Активист

Товарищи, отпускать только по спискам. У кого какой номер?

(Выстраивается очередь с протянутыми руками. Активист что-то пишет каждому на ладони.)

Отец Сергей

(с досадой)

Не было печали, черти накачали.

Зиновий Борисович

(поглядывая на сваленную в кучу выручку)

Не было счастья, да несчастье помогло.

(Входит комиссар с подносом, ставит перед о. Сергием, сама усаживается рядом и, подперев ладонью щеку, смотрит, как он ест.)

Комиссар

(мечтательно)

Серёня...

Зиновий Борисович

(разглядывая на свет десятидолларовую купюру)

Ах ты, моя зеленая ящерка... ах ты, лучшая в мире денежка... полезай к тятеньке. Уж он тебя никому в обиду не даст... *(Сует за пазуху.)* Никому не дам, и не просите...

Активист

В первую среду месяца отмечаться. А первый номерок у кого?

Катерина Измайловна

Да у него.

(Показывает на Наташу.)

Наташа

(в ужасе)

У меня?

Катерина Измайловна

Коль рядом сядем, то мы поладим. *(Подсаживается к Наташе.)* Чего ты так испугался? Я не кушаю маленьких детей. Пора уж в школу... Ой, этот еще на мою голову!

(Входит Бронский с огромной ступой, в которой вертит пестиком.)

Бронский

Катерина Измайловна! Катерина Измайловна! Катиш!

Катерина Измайловна

Катиш уехал в Париж, чего и вам желаю... Фу, чеснок!..

(Со всех сторон Бронскому кричат: «В очередь! Куда без очереди прешь!»)

Потемкин

(подходит к Наташе)

Послушай, друг... *(Наташа испуганно отодвигается.)* Выручи!.. Будь человеком!.. Прикипела у меня душа к ней крепко. Не могу я! Не могу я!

Наташа

Чего вы не можете?

Потемкин

Сто шестьдесят шестым быть. *(Показывает ладонь.)* Уступи мне свою очередь. *(Наташа задумывается.)* Я тебе за это все, что хочешь, сделаю.

Наташа

Все, что захочу?

Потемкин

Вот тебе крест. *(Крестится – но спохватывается, оглядывается.)*

Наташа

Хорошо. Мне нужны две транзит-визы.

Потемкин

(после некоторого колебания)

Ладно.

(Звучит песня «Жди меня милая, жди, ненаглядная...» В продолжение этого времени в Потемкине как бы происходит внутренняя борьба. Наконец он достает из полевой сумки визы. Между тем Бронский не оставляет попыток вернуть себе расположение Катерины Измайловны, которая лихо отплясывает цыганочку на буфетной стойке. Все взоры устремлены на нее.)

Инвалид

(с подозрением оглядывает Бронского)

Стойте, ребята. А не офицер ли это? *(Музыка смолкает, все внимание на Бронского. Во взгляде Катерины Измайловны насмешка и сочувствие одновременно.)* Сдается мне, что это офицер.

Наташа

(выступая вперед)

Этот, что ли? С каких пор от офицеров вместо французских духов чесноком разит?

Катерина Измайловна
Офицер-чеснок!.. Ха-ха-ха!..

(Все начинают покатываться со смеху, держась за бока: «Офицер-чеснок!..»)

Бронский
(Наташе)
Где вы были? Я сбился с ног, вас разыскивая.

Наташа
Меня? Вот кого вы разыскивали – ее! Катеньку Измайловну.

Бронский
Помилуйте...

Наташа
Да-да, ступайте к своей прекрасной кабатчице. Только не забудьте при этом с ног до головы чесноком натереться.

Бронский
Погодите же, выслушайте... Вам нельзя больше ни минуты здесь находиться. Большевики постановили, что отныне все женщины – наложницы мирового пролетариата.

Наташа
И вы этому поверили? Поверили этой шутке?

Бронский
Я своими глазами видел декрет.

Наташа
А я своей рукой его написала.

Бронский
Что?!

(Вбегает матрос с перевязанной головой.)

Матрос
Братва, полундра! Из-за этих чертовых баб в городе контрреволюционный мятеж! Буржуи дерутся как бешеные, нам с ними не справиться... Революции хана...

(Падает.)

Бронский

Зачем ты все это сделала?

Наташа

Катенька Измайловна... была слишком хороша для вас одного... Я решила ее немножко обобществить...

Бронский

Натали!

Наташа

Андрэ! Мы убежим далеко-далеко, в Париж. Там мы будем счастливы!

Бронский

Это невозможно, у нас нет виз.

Наташа

Вот! Две транзит-визы...

(Оглушительный грохот, в помещение врываются клубы порохового дыма.)

Картина последняя

(Уличные бои. Баррикада, над пушкой образца 1812 года реет российский триколор. Повсюду тела убитых в картинных позах. Вот сраженный падает бомбардир.)

Обыватель

(прочищая дымящееся жерло пушки)

Манюня, боеприпасы, быстрее! *(Манюня тщетно пытается сдвинуть с места ядро, подступаясь к нему и так и эдак.)* Манюня, вспомни, к чему принуждают нас большевики!

(Манюня начинает кидать ядра как мячики. Из жерла пушки с грохотом вырывается пламя, перед баррикадой растет гора тел. Двое моряков, пригнувшись, выкатывают пулемет «максим».)

Причетник

(скинув кожан, хватает огромную оглоблю)

А ну, подходи, кому жить надоело!

(Побивает ею несметное количество врагов. С криками «Ура! Да здравствует учредительное собрание! Многая лета!» защитники баррикады преследуют отступающих, завязываются схватки. Под звуки морзянки на заднике проецируется телеграфная лента с текстом: «Председателю реввоенсовета товарищу Троцкому. Революция в опасности. В городе белый мятеж». В сполохах взрывов мечутся тени.)

Обыватель

Манюня! Троцкий идет – бежим!

Причетник

Эх! Плетью обуха не перешибешь!

(Бросает оглоблю.)

Голоса

Троцкий! Троцкий подходит во главе огромного войска!

*(Выезжает броневик с ярко зажженными фарами.
Разом оживают все павшие моряки.)*

Моряки

Ура Троцкому!

Троцкий

*(выходит из кабины, осушает кубок, наполненный из цистерны с надписью
«Ритуальный напиток»)*

Любо-любо-любомир!
Чиви-чиви-чивичок!
Возведем большой сортир,
А покедова – молчок.

Хор

Любо-любо-любомир!
Чиви-чиви-чивичок!
Возведем большой сортир,
А покедова – молчок.

Троцкий

Что все это значит? Что происходит? Комиссар, вам поручена зачистка города Злодейска. Почему не была своевременно обезглавлена гидра контрреволюции?

Комиссар

Товарищ председатель реввоенсовета, согласно вашему декрету, мы производили экспроприацию женского населения города...

Троцкий

Экспроприацию чего?

Комиссар

Женского населения города Злодейска, с тем чтобы злодейки не обслуживали впредь собственнические инстинкты своих мужей, а стали достоянием всего трудового народа.

(Подает Троцкому листовку.)

Троцкий

(читает)

«Отныне кражей является любая собственность, включая жен». Кто это написал?

Комиссар

Вы, товарищ Троцкий.

Троцкий

Это провокация белых! Где ваша революционная бдительность? Проявив преступное легкоеверие, вы оказали неоценимую услугу капиталистам всего мира. Из-за вас я отменил бросок к южному морю. Вы ответите за это перед революционным трибуналом! Приговор будет приведен в исполнение в двадцать четыре секунды. Я лично позабочусь об этом. *(Комиссара берут под стражу.)* Приказываю во что бы то ни стало найти авторов фальшивки.

Инвалид

(показывает на Наташу)

Да ефтог... Он клеил, я сам видел.

Троцкий

(визгливо)

Взять!

(Наташу хватают. Из-под крестьянской шапки выбиваются длинные девичьи волосы.)

Возгласы

Молодая графиня Миронова! Дочь старого графа!

(Бронский кидается ей на выручку, обезоружив одного из матросов. Сброшен с плеч крестьянский полушубок, теперь на нем белый офицерский мундир с золотым шитьем, в руках сабля и пистолет. Вздых изумления: «Ах, кавалергард...» С легкостью расшвыряв бросившихся на него моряков, Бронский приставляет пистолет к груди Троцкого. Воспользовавшись общим замешательством, Наташа садится за руль броневика.)

Наташа
(Бронскому)

Скорее сюда!

(Бронский отступает к броневiku, угрожая Троцкому пистолетом.)

Потемкин

Куда вы?

Наташа
Туда, где вечная весна, в Париж!

Потемкин

Мы с вами!

(Вслед за Бронским впрыгивает в броневик – со своей верной гармонью и Катериной Измайловной в придачу.)

Отец Сергей и Комиссар
(вместе)

Подождите! Нас забыли!

(Уже на ходу втискиваются в броневик, башня которого вдруг начинает бешено вращаться, обдавая преследователей пулеметной очередью. Прямо по курсу – Эйфелева башня. На ней сверкает огнями надпись: «Фантазия». Из основания Эйфелевой башни забил протуберанец: превратившись в ракету, она взмывает в синюю ночь. Фейерверк. Музыка играет «Коль славен».)





библиограф, автор книги «О странностях этой жизни» (Иерусалим, 2004). Рассказы публиковались в русскоязычной периодике Израиля и США. Живет в Израиле.

ЦФАТ

«Жизнь промелькнула, как белый жеребенок в дверном проеме», – прочитал я в книге Нидзе, когда автобус начал подниматься к Цфату. «Непрощеную повесть», серую книжку в потертой мягкой обложке, подарил мне когда-то Виля. Десять дней тому назад он умер, и я не успел ни на похороны, ни на шиву. Сейчас я спешил в Цфат, в его дом, и мысли мои были перепутаны – от смены часовых поясов, бессонного ночного полета над океаном. Несколько раз я засыпал, но короткие и рваные черно-белые сны заканчивались одним и тем же – резким телефонным звонком. Твоего друга больше нет. И никогда уже не будет.

Сколько лет мы были знакомы? Кажется, всю жизнь. Сначала это был просто «мальчик из третьей квартиры». Потом Батама́ – так он называл автомат, – и это слово было ключевым в наших детских играх. Родители дали нам имена в честь одного и того же человека, который смотрел в те дни с каждой стены. Моему другу это очень не нравилось. Только в английской школе, где вместе с нами учились Дэн, Юджин и Пит (такие же англосаксы, как и мы), Вилен стал Виллом («дабл ю» – губы трубочкой), а потом Виллисом – как легендарный Виллис Конновер, ведущий джазовой программы «Голоса Америки». И в седьмом классе – когда мы прочли Ремарка – он надолго взял себе имя Вилли. Давно все это было...

Мне пришлось отыскивать дорогу к дому – за те четыре года, которые Виля прожил в Израиле, я был здесь только однажды. Пару раз он гостил у меня в Иерусалиме, как-то передал книгу Нидзе через знакомых.

Темную фигурку я увидел издалека. Галка – черные волосы, вдовье платье – все как будто вырезано из агата. Только лицо – из дымчатого оникса. Я даже не смог ее поцеловать при встрече.

– Вот оно как вышло, – сказала она просто. – Заходи в дом.
– Только прилетел. Прости.
– Да, – ответила, думая о чем-то своем.
– Скажи, как это случилось? Он говорил мне, что сердце болит – не отпускает.

– Сердце тут не при чем. Погнался за паршивой тварью. Кошка побежала на дорогу, он бросился за ней и поскользнулся. Упал с высоты прямо на ящик.

Я посмотрел вниз и увидел здоровенный металлический ящик для керосина, который стоял здесь, наверное, еще со времен британского мандата.

– Виском.

Мы вошли в дом. В комнатах царил необыкновенный порядок – все было убрано, вычищено, спрятано на свои места – будто и не жил здесь никогда художник. На стенах осталось всего несколько Вилиных картин. Мой любимый вечерний пейзаж, написанный на Владимирской горке, Аскольдова могила, Каменец-Подольский. Я остановился у незнакомого мне автопортрета. Вили написал себя пятнадцатилетним – удивленный мальчик с виноватой улыбкой и наклоненной большой головой.

– Это Валерка, – сказала Галя откуда-то из-за спины, – приезжал недавно. Одного роста с ним. Белая есть – будешь пить? Возьми на столе.

Я взял бутылку со стола – и поставил ее назад. Только очень одинокий человек мог вот так отпить пятьдесят граммов – и бросить, потому что не помогает. В дом тихо вошла дымчатая кошка, посмотрела на нас лукаво – и отправилась напрямик к миске в углу. Обнюхала еду и начала брезгливо загребать ее лапой.

– Гадость такая, где ты ходишь? – крикнула Галя. – Не хочешь есть, так и скажи.

– В доме теперь пусто и тихо. Люди рассказывают, что они слышат голоса и видят сны, когда случается такое. Я ничего не вижу и не слышу. Может, еще время не настало? Вовка, – сказала она. – Что с нами будет, когда нас не будет?

– Помнишь, у Вили была картина, которая так и называлась: «Что знает часовщик о времени?» Когда пойдем к нему?

– Завтра утром. Ты знаешь, он что-то оставил для тебя. Забуду потом.

– Как это оставил для меня? Когда?

– Долго писал на компьютере, говорил: «Надо Вовке показать». Возьми посмотри.

– У вас там пароль какой-то стоит? Пароль на входе? Слово такое секретное.

– Не знаю никакого слова. Пойду прилягу – может, усну.

Дымчатая кошка мягко прыгнула с полутемного подоконника на Галину шею. Хозяйка поцеловала ее – и прямо так, с кошкой на плечах, вышла из комнаты.

Потянуло холодом, темный и колющий горный воздух начал осторожно

втекать в раскрытое окно. Впереди была долгая ночь – и я поначалу не решился включить Вилин компьютер и посмотреть то, что он написал. Как-то бесцеремонно все выходило. Даже притом, что Вилия хотел показать мне написанное – надо ли было так спешить? Но мне важно было услышать его голос именно сейчас. Казалось, что рассказ – единственная реальная вещь в этом дурном сне. И я, зажмурив, как в детстве, глаза, ткнул пальцем в круглую серую кнопку.

В компьютерной памяти не оказалось ничего, даже отдаленно похожего на рассказ или заметки. Куда же исчез этот текст? Может быть, Вилия посчитал его неудачным – но почему решил уничтожить? Или не думал о том, что это навсегда?

Так или иначе – никакого рассказа я не нашел. Впереди была долгая ночь – и, чтобы как-то скоротать время, я открыл интернет, проверил свою почту, посмотрел новости. И потом, совершенно уже наугад, набрал в поисковом окне фамилию и имя моего друга. Результат были неожиданным: сразу же я наткнулся на Вилин сайт – простой, построенный явно самостоятельно и наспех. На первой странице – фамилия, имя, портрет, на второй – три ссылки: *rasskaz1*, *rasskaz2* и *text3*. Что-то вроде считалки: Иванов, Петров, Сидоров. Ссылки приводили к трем небольшим рассказам. Первые два были очень похожи друг на друга – во всяком случае, начало было совершенно одинаковым, третий отличался – он вообще состоял из отрывочных заметок. Я стал читать вразброс первый и второй рассказы – или, может быть, две разные версии одного и того же. Назывались они «Там, где течет река» – как фильм Редфорда. Оба рассказа открывались чудесной импрессионистской зарисовкой – река, одинокое путешествие тонкого луча, преломленного дымом костра над водой, малиновыми пятнами заката, неслышным течением. Звуковая дорожка, едва различимая, – скрип уключин, музыка на дебаркадере, тихие разговоры. Двое друзей о чем-то беседуют у костра и смотрят вдаль. Потом повествование разделялось. В первом рассказе ощущалось какое-то ожидание, слова будто бы висели в воздухе, но не достигали слуха. Во второй версии появлялись нотки беспокойства – ничего особенного, несколько быстрых мазков здесь и там, которые меняли цвет неба и ветра. Что это было? Забросил Вилия первый рассказ – и просто перешел ко второму, исправленному и дополненному, или двинулся по расходящимся борхесовским тропкам? Спросить было уже не у кого.

Быстро темнело, и две человека, сидящих у костра, были едва различимы. И тут треснула головешка и взметнулся огненный хвост. Я узнал себя и Вилю и вспомнил тот день.

Перед самым моим отъездом, когда был отправлен багаж и я метался в разоренной квартире, позвонил Вилия и сказал вот что: «Уехали шмотки? Надо нам прощаться. Потом ищи-свищи». Я объяснил, что будет еще время, попрощаемся. «Картошку захвати». – «Какую еще картошку?» – «Печь». Это была его обычная манера изъясняться – проговорить пару ча-

сов с самим собой и выдать собеседнику последнюю фразу. Он, наверное, привык к этому еще в детстве, когда месяцами сидел взаперти из-за больного сердца. Да и знали мы друг друга так давно, что и говорить ничего не надо было. «Ну не сейчас же!» – «Сейчас».

Минут через двадцать Виля подрулil на «Запорожце» своего тестя-отставника. Посадка в это транспортное средство напоминала злоключения Алисы в Стране чудес – сначала Виля, согнувшись в три погибели, проникал на водительское место, потом раскачивали спинку кресла, которая скрипела и трещала, и надо было, сжавшись, воровато прошмыгнуть на заднее сиденье.

– Жалеет тебя старый вояка, – заметил Виля. – Говорит: с кем он теперь картошку будет печь? Одному-то не с руки.

Мы ехали на наше место и всю дорогу говорили о каких-то пустяках – даже удивительно было, сколько их накопилось в жизни. И сейчас, и потом, на реке, только два вопроса мы не могли задать друг другу: как ты там будешь жить? как ты здесь останешься? Это было бы, как говаривал Виля, «не по-офицерски».

Я продолжил чтение. Странно было узнать себя в маленькой фигурке у костра и слушать свои же слова. Разговор наш был совершенно ни о чем. Тревожный, как всякий разговор в сумерках, – но не более того. Мы вспоминали каких-то ребят, давно уехавших из нашего дома. Носились в воздухе старые шутки, которые кроме нас никто и не понял бы. Виля рассказал, что приходил врач и наговорил всяких страхов. Больше ничего он не добавил – и мы молчали и любовались полной луной. Костер догорал, постреливая красными огоньками. Палатку ставить не хотелось – и мы разложили ее на земле и просто втащили спальники внутрь. Зеленоватая лунная дорожка, почти неподвижная, подходила к нашим ногам. Первый рассказ на этом заканчивался, второй – продолжался. Ощущение беспокойства нарастало. Виля теперь действовал проверенными художническими методами – то тут, то там стали возникать тревожные скопления птиц, наполненные криком. Появился ветер, написанный быстрыми, злыми мазками едких тонов, и люминесцентная луна меж облаков. Предчувствие осени стало вытеснять все другие ощущения. Казалось, что какие-то слова будут наконец сказаны – но тут и второй рассказ начал выдыхаться. Ничего так и не произошло. Одинокaя фигурка была видна на берегу до самого рассвета. Я перечитал концовку рассказа – и только тогда обнаружил скромную единичку. Гиперссылка привела меня к третьему тексту – заметкам без всякого названия, которые привожу полностью.

«В дни моего детства даже самых дорогих гостей привозили с вокзала на трамвае – на тридцатке, которой давно уже нет. Такси брали, если ехали на свадьбу или похороны. Мне страшно нравились эти черные старомодные ЗИМы с откидным сиденьем, которое я обычно и занимал. Машину с оплатой "в два конца" посылали только за профессором Фридманом – он

приезжал к больным, когда дела были уже совсем плохи. Как правило, человек видел его один раз в жизни. И мне стало совсем не по себе, когда Галка, как бы между прочим, сообщила, что сегодня нас посетит это светило, и старый пентагоновец уже отправился за ним. Я недавно вышел из больницы, мне было худо, врачи вдобавок к моим старым болезням нашли еще аневризму аорты – но зачем же было звать Фридмана?

– А что, он согласился позировать? – спросил я невинно. Надо было как-то сохранить лицо.

– Это скорее ты ему будешь позировать.

И, когда он сидел за столом и перебирал мою коллекцию – рентгеновские снимки, гармошки кардиограмм, я подумал, что надо было бы написать его похожим на античную статую с пустыми глазами – было в нем что-то от невозмутимого воина.

– Почему вы не в больнице? – спросил он без всяких околичностей.

– На той неделе выписался. Это что, так серьезно?

Он помолчал, выудил из вороха бумаг какую-то кардиограмму, пропустил ее между пальцами и покачал головой.

– Вы знаете, я врач, – пришлось мне соврать от отчаяния. – Только не лечебник.

– Тогда вы должны сами все понять, – сказал он и придвинул ко мне сложенную гармошку. Понять, однако, ничего нельзя было – я видел одинаковые зубцы, будто бы вычерченные каким-то начинающим кубистом.

– То есть это может произойти в любую минуту? – спросил я для верности.

– Я бы не стал так ставить вопрос, – ответил профессор. – Нельзя об этом думать.

В прихожей я попытался вложить конверт с деньгами в карман его пиджака – и никак не мог попасть в этот карман, а он отстранялся от меня – пока вовсе не отвел мою руку.

– Еще чего не хватало – брать у коллеги.

Я вернулся в комнату, снял с полки толстенный том энциклопедии и вытащил свою заначку – нетронутую пачку "Примы". Уже на улице затаился так, что перед глазами поплыли цветные пятна. Что, собственно говоря, случилось? – подумал я. – Он только напомнил мне, что я смертен – как любое живое существо. Солдата или зэка – кто предупреждает? И тут вспомнилось, как мама вкладывала конверт в карман его пиджака, когда он приходил к бабушке и дедушке. Один раз к бабушке и один раз к дедушке. Почему так нелепо? – подумал я. – Жестоко. Несуразно. И выругался так громко и забористо, что сам удивился. Совсем это было не по-офицерски.

Вечер у реки. Странно все получилось: мы пытались вспоминать то, что никак не вспоминалось. Хотел рассказать про визит Айболита – и тоже не вышло. Может, просто духу не хватило. Просидел на берегу до утра и думал совсем о других вещах.

Плакучие ивы опускали свои ветви прямо на мои плечи, и я отводил их руками. Мы всегда стремимся очеловечить пейзаж, внести в него что-то свое – и всегда с медвежьей грацией. Зеркало и зеркало, что с него взять. Спешим, оттого что смертны. Что там говорить – природа почти всегда человечнее, чем мы. Жаль, что уже, наверное, не напишу эту реку в разное время дня, как Моне писал свой собор. Сделал бы, что хотел, а там – бакеншиком, паромщиком...

"Жизнь промелькнула, как белый жеребенок в дверном проеме", – написала Нидзе накануне своего восемнадцатилетия. Вернее, просто вспомнила образ, созданный Чжуан-цзы – тем самым, которому приснилась бабочка, и он не понимал, снится ли она ему, или это бабочке снится Чжуан-цзы. Как я бился, сочиняя эти нехитрые рассказы, – и насколько проще было бы взять в руки кисть или уголь и сделать то, чему учили. Но теперь я, по крайней мере, знаю, как пишутся рассказы. Ты идешь по невидимой линии – и справа стоит белый день, а слева – твои сны. И можно идти по своему пути, хотя и нельзя оступиться. И все бы ничего – только и вправду жизнь промелькнула, как белый жеребенок в дверном проеме...»

На этом обрывались Вилины записки.

Что же ты наделал, Батама! – подумал я в первую минуту. – Выслушивал всякую хрень – и не мог просто сказать мне: оставь это все. Заткнись на хер. Я не знаю, буду жить или нет, вот о чем разговор. И я ничего не почувствовал – радостно пек картошку, а потом спал в палатке. Надо же было знать этого человека, которому всегда все было неудобно.

Виля приехал в Израиль через несколько лет. Дэн, чистая душа, сделал то, чего делать никак нельзя было, – показал ему Цфат. Виля потолкался среди художников и каббалистов, увидел голубую улицу – и остался там. Позвонил мне из автомата – и сообщил массу ценной информации. Дом стоит на горе – и почти ручные облака подходят к самым окнам. Хозяин квартиры, которую он снял, оказался вылитым слугой, сошедшим с картины Хаима Сутина. Только уши на месте, сообщил он с энтузиазмом. Завтра планируется первый выход на пленэр.

– Где ты будешь работать? – спросил я. – В Цфате никакой работы отродясь не было.

На что он заметил, что если есть в Израиле такие места, где работы полным-полно, то мы завтра же туда поедem – и он даже отменит выход на пленэр. И добавил, что, кажется, краски и кисти здесь недорогие. Водка есть по десять шекелей.

– А больница?

– Да ну ее.

Несколько писем он прислал мне из Цфата – настоящих, бумажных, а не компьютерных – и это в Израиле, где обычные письма пишут только адвокаты. Одно из них особенно запомнилось. «Вчера мне довелось наблюдать редкое атмосферное явление. Показалось вначале, что со всех сторон наступает туман – и скрывает дом за домом, улицу за улицей. У тумана здесь

очень редкая, неповторимая фактура. Приближался шабат – и я понял вдруг, что город стремится вознестись – весь! – легко и необратимо! Как будто бы вернулся в этот мир Аризаль – и сделал то, о чем он всегда мечтал. Только маленькая темная полоска связывала город с землей – и тут все разрушилось. Промчалась мимо машина, отчаянно сигналила. Как ему удалось объехать меня в таком тумане – и куда я при этом смотрел, – уму непостижимо. Мог вознестись в индивидуальном порядке. Но и он тоже хорошо: ездить в Цфате на машине – жлобство какое-то».

Я задремал за компьютером – и проснулся от громкого, отчаянного мяуканья. Кошка сидела на столике – и что-то сбивчиво рассказывала. Видно, и у нее была своя версия событий. «Сваляли мы дурака – и ты, и я», – сказал я ей, и она утихла. Сейчас я почувствовал, какая тяжесть навалилась на меня.

– Виля, – сказал я, – завтра приду к тебе – и обо всем поговорим. Утро вечера мудренее.

И потом, уже засыпая, вспомнил: «Вовка, что с нами будет, когда нас не будет?»

Новый альбом Ларисы Герштейн

36 романсов и песен бардов
на русском и иврите



В Израиле – ₪50
В США и России – \$25
В Европе – €20

Справки по телефону:
(Иерусалим) 02-5325931
или по электронной почте:
omegag@bezeqint.net

2 диска

ЛАРИСА
ГЕРШТЕЙН
Песни бардов

לָרִיסָה
גֶרְשְׁטַיִן
שירי הַבָּרְדִּים

לָרִיסָה
גֶרְשְׁטַיִן
שירי הַבָּרְדִּים





ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ «МАСТЕРА» И «МАРГАРИТЫ»

Книга Альфреда Баркова («Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита": альтернативное прочтение»*) вызывает острый интерес с первой же страницы. Да что там с первой страницы – сенсационно уже само ее название. В самом деле: какое еще «альтернативное прочтение» мыслимо предложить для романа, о котором уже столько написано, который изучен, что называется, вдоль и поперек и в котором чуть не каждая запятая так же вдоль и поперек откомментирована тем или иным булгаковедом? Естественно, кто бы ни услышал об «альтернативном прочтении», немедленно заявляет: «Ну-ка, ну-ка, дайте посмотреть!» Увы, в книге более трехсот страниц, около сотни глав, и к тому же каждая глава сопровождается обширными примечаниями. Как быть?

Поэтому я решил рискнуть пересказать основные тезисы этой необычной книги в надежде, что даже в пересказе они заинтересуют читателя. Не случайно же сказал один весьма квалифицированный читатель – Игорь Губерман: «Барков каждый свой тезис подтверждает цитатами из текста – читаешь, и прямо холодок по коже: всё переворачивает».

Итак, первое же предложение на первой странице – дерзкий вызов: «Содержание романа Булгакова "Мастер и Маргарита", несмотря на большое количество посвященных ему исследований, до сих пор остается загадкой для булгаковедов». Немедленно возникает удивление: а в чем, собственно, загадка? Разве не все понятно? Нет, говорит Барков. Ибо чуть ли не единственное положение, на котором сходятся большинство исследователей, – это отождествление Мастера с автором романа, а Маргариты – с его треть-

* Харьков: Изд-во «Фолио», 2005.

ей женой, Еленой Сергеевной. Так? Так! – вынуждены согласиться мы. А на самом деле, провозглашает Барков, это общепринятое толкование неверно. Это, продолжает он, просто стереотип, который игнорирует совершенно очевидные факты. Каковые, в свою очередь, решительно противоречат такому толкованию. Булгаков вовсе не с себя писал своего героя и не со своей жены – его возлюбленную. Их прототипами были совершенно иные люди. Не верите? Хорошо, обратимся к тексту.

Вот что пишет весьма уважаемый булгаковед (В. Я. Лакшин, если интересно): «Торжественный, необыденный смысл, каким насыщено у Булгакова слово "Мастер"...» Обратите внимание – Лакшин и все прочие булгаковеды уверены, что Мастер у Булгакова с большой буквы. А в действительности имеет место весьма удивительная загадка: в романе «Мастер и Маргарита» первое слово на самом деле всюду пишется со строчной буквы – мастер! И никто этого почему-то не замечает, а если замечает, то игнорирует этот факт. Вероятно, потому, что это не соответствует принятому толкованию текста. А стоило бы присмотреться к нему повнимательней. Это ведь не случайное написание.

Скорее всего, Булгаков этим явно на что-то хотел намекнуть. И даже более того – намекнул-таки, нужно только заметить намек. А его не замечают.

Намек этот, говорит Барков, содержится в главе 13-й (той самой, в которой мастер, собственно, и появляется впервые). Дело, напомним, происходит в психиатрической лечебнице профессора Стравинского, ночью, при лунном свете, в палате насильно помещенного в психушку поэта Ивана Бездомного. Поэт спрашивает появившегося перед ним героя: «Вы писатель?» А тот отвечает: «Я – мастер». И при этом почему-то «потемнел лицом», «сделался суров» и даже «погрозил Ивану кулаком». То есть разозлился на слово «писатель». С чего бы это? Если вдуматься, объяснение может быть только одно: для мастера эти два понятия далеко отстоят друг от друга.

Почему? Ответ подсказывают обстоятельства того времени, когда писался роман. Нужно только припомнить эти обстоятельства, освежить в памяти общественную атмосферу, официальные лозунги, газетные клише тех лет (тридцатых годов двадцатого века) – и все недоумения рассеиваются. Ибо если заглянуть в то далекое советское прошлое, то выясняются два интересных факта. Во-первых, слово «мастер», оказывается, имело тогда весьма широкое хождение в советской печати. А во-вторых, в те времена в него вкладывалось весьма специфическое содержание. В этой связи Барков приводит многочисленные примеры, но нам достаточно перейти прямо к выводу. Потому что вывод оказывается весьма интересным и сразу разъясняет загадочную реакцию булгаковского героя на слово «писатель». В те времена куда меньше говорили о писателях (которых именовали, если помните, «инженерами человеческих душ») и куда больше – о «мастерах культуры». А то расхожее определение «мастера культуры», которое широко циркулировало в тогдашней официальной советской печати, подразуме-

вало не столько писателей-творцов, сколько, прежде всего, писателей, готовых, «наступив на горло собственной песне», создавать угодные власти тексты, мастеровито используя для этого наработанные приемы. Или, если мягче, – способных с ходу, по приказу, хорошо выполнить актуальный «социальный заказ». Недаром, как вспоминает Надежда Яковлевна Мандельштам, когда ее муж мучался в попытках написать, ради спасения жизни, хвалебную оду Сталину, он кричал ей: «Вот Асеев – мастер, он бы не задумался и сразу написал». (И, возможно, именно в духе такого понимания этого расхожего слова сам Сталин, удивленный своеволием Мандельштама, написавшего «антисоветское» стихотворение о «кремлевском горце», всё допытывался у Пастернака: «Но ведь он же мастер, мастер?» – как бы не понимая, как это мастер мог позволить себе такое.)

Не менее показательно, что в дореволюционной русской литературе (в духе которой был как раз воспитан Булгаков) слово «мастер» противопоставлялось слову «писатель», как обозначение ремесленника, изготовителя массовой продукции (хотя и вполне высокого качества) – обозначению подлинного творца, создателя уникальных и неповторимых произведений. Бунин, например, писал в свое время: «Количество *профессионалов*, а не *прирожденных художников*, всё растет, и читатель питается уже **мастеровщиной**». А, говоря конкретно о кружке таких авторов, сложившемся вокруг Горького, именовал их не иначе как «подмаксимками», явно образовав это слово по аналогии с «подмастерьями». Булгаков, надо думать, разделял такое понимание – не случайно же в критической статье об одном из современных ему «инженеров человеческих душ» он иронически охарактеризовал его манеру письма как «безупречно мастерская».

Коли так, коли на самом деле в слово «мастер» вкладывался **такой** смысл, то напрашивается совершенно крамольная мысль, что для Булгакова мастер – человек с некой серьезной червоточиной. И, возможно, называя его мастером, он вообще – страшно подумать! – хочет отмежеваться от него. Поначалу эта мысль кажется не только крамольной, но и попросту несусветной. Уж слишком много, вроде бы, в судьбе мастера общего с булгаковской судьбой. Но тогда откуда все эти странные и подозрительные неувязки, нестыковки между судьбами героя романа и его автором? Вот Булгаков, который в знаменитом своем письме Сталину просит «отпустить его в свет» (и, кстати, в конце романа «отпускает в свет», на «волю», самого Понтия Пилата), а вот мастер, которому тот же Булгаков отказывает в том, чтобы отпустить его в «свет», потому что он «света» не заслуживает, а только – «покою». (Маргарита так и говорит ему в конце романа: «Слушай беззвучие и наслаждайся покоем».) Но почему же не заслужил он света, в чем его провинность? Булгаковеды об этом опять-таки не говорят, потому что это вроде бы опять необъяснимо, но попробуем снова всмотреться в текст, и он сам снова подскажет нам разгадку.

Эту подсказка таится в двух, внешне, казалось бы, не связанных эпизодах: разговоре мастера с Бездомным в 13-й главе и разговоре Воланда с ма-

стером в главе 24-й. Не случайно главе, в которой герой романа появляется впервые (она так и названа – «Явление героя»), Булгаков, дает «инфернальный» – 13-й – номер, откровенно связанный с нечистой силой. А для тех, кому этот намек останется непонятен, автор добавляет еще, что мастер явился Бездомному во «всегда обманчивом лунном свете». То есть в том самом лунном свете, в котором тому же Бездомному в начале книги явился сам Воланд. И исчезает мастер в конце этой 13-й главы тоже, как положено нечистой силе, после полуночи (вспомним его слова: «Мне пора. Ночь валится за полночь»). Мало того, мастер признается Ивану, что стал в этой психушке (т. е. в учреждении, которое, как прекрасно понимал тогдашний читатель, было составной частью системы НКВД) как бы «своим» – во всяком случае, заполучил здесь связку ключей, что позволяет ему свободно входить и выходить из «камер» (именно так, «камерой», Булгаков многозначительно и разъясняюще называет палату Ивана на одной из последующих страниц). А если к тому же вспомнить, что сам Иван Бездомный у Булгакова – герой, несомненно, положительный (талантливый поэт и честный, порывающийся к «свету» человек, загубленный «системой»)*, то просто нельзя не заподозрить нечто недоброе в том «явлении героя», которому посвящена вся 13-я глава, – ведь именно после этого «явления» психушка Стравинского («система») окончательно ломает Ивана, превращая его в слабоумного.

А что если рискнуть, говорит в этом месте Барков, что если рискнуть и предположить, что это «недоброе», эта загадочная провинность мастера, за которую Булгаков лишает его «света», состоит как раз в том, что мастер действительно участвует, по мере своих слабых сил, в этом оболванивании «системой» своей жертвы? Что его самого «система» сломала уже раньше, и теперь он посильно (и подневольно) помогает ломать других?! Мысль жутковатая, но стоит впустить ее в сознание, и многое в романе вдруг проступает в ином, более понятном и логически непротиворечивом свете. Например, та же глава 24-я становится теперь не просто разговором мастера с Воландом, а его общением с той силой, которой он сдался и пошел в услужение. И тогда совсем иначе читается сцена, где Воланд с явной насмешкой спрашивает: «Так, стало быть, в арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение?» И мастер отвечает: «Мне ненавистен этот роман», – как будто бы заверяя «хозяина», что он устал, что больше он бун-

* Барков: «В первой главе перед читателем предстает молодой, многообещающий поэт, в изображении которого Иисус получился "ну прямо как живой" – не правда ли, неплохая характеристика талантливости? Признанием его таланта служит не только публикация стихов с его портретом на первой полосе "Литературной газеты" и даже не отношение к нему со стороны собратьев по перу в литературном ресторане, где все увидели, "что это – никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный – известнейший поэт"; главным, пожалуй, является то, что в качестве такового его вынужден признать даже приспособленец от литературы Рюхин, с которым у Бездомного мало чего общего».

товать не будет, пусть ему только «дадут покой». И иначе читаются слова Маргариты в главе 32-й, последней перед эпилогом: «Вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду». «Дали в награду» – за что? Из предыдущего просто напрашивается: именно за согласие отступить от принципов свободы творчества, за эту измену своим идеалам (т. е. за «сдачу и гибель советского интеллигента», как писал Аркадий Белинков в статье об Олеше).

Теперь становится понятным, что автор «Мастера и Маргариты» и на самом деле отмежевывается от своего героя, а не отождествляется с ним, как это хором утверждают все булгаковеды. Разумеется, Булгаков вложил в душу мастера очень много от своей муки и от горечи своей собственной усталости – усталости писателя, которому закрыли все пути, – но внимательного читателя не может не поразить в этом финале романа глубокое, принципиальное отличие жизненного пути и идеалов Булгакова от таковых мастера. В середине романа мы видим глухой намек на сотрудничество мастера с нечистой силой, а в конце он уже напрямую отказывается от своего призвания и главного творения своей жизни, ссылаясь на болезнь и усталость, чтобы оправдать свое неодолимое желание укрыться от мира и обрести покой. И получает этот покой (и «вечный дом») от той силы, которой служит. Не случайно ведь он до конца так и остается рядом с этой силой. Не случайно, в отличие от Пилата, получившего «свет» и «волю» от преданного им Христа, мастер получает свой покой от Воланда. И мы еще больше убеждаемся в том, что они неразрывно связаны друг с другом, когда узнаём (из работ М. Чудаковой), что в ранней редакции романа Мастером, оказывается, именовался сам Воланд, иными словами, титул мастера (в окончательной редакции) перешел к герою от сатаны.

Между тем сам Булгаков – тоже, как и его герой, невыносимо уставший от противостояния «системе», – от своих идеалов не отказался. Он не просил «покоя», а, напротив, ушел в оппозицию режиму, во «внутреннюю эмиграцию», и в этом оказался больше сродни Мандельштаму – или впоследствии Зощенко, – чем своему мастеру. Отец Мень тонко почувствовал это принципиальное различие, когда в одном из своих интервью, перед самой смертью, назвал булгаковского мастера отступником. Следовательно, есть все основания думать, что в сознании Булгакова сдавшийся, отрекшийся от «света», разочаровавшийся в «свете» писатель, как бы талантлив он раньше ни был, перестает быть настоящим писателем (хотя может и оставаться мастером), потому что такое отречение неминуемо делает его не только жертвой, но и орудием системы, сознательно или бессознательно помогающим уродовать и калечить других, себе подобных. И уже совершенно ясно, что Булгаков никак не мог отождествлять себя с таким мастером, потому что для него такая капитуляция была немыслима. Даже если они и были в чем-то похожи, с какого-то решающего момента их судьбы пошли разными путями. Можно сказать, что в истории своего мастера Булгаков как бы примерил на себя чей-то иной жизненный выбор. Иными сло-

вами, создавая образ мастера, он, вопреки мнению всех его комментаторов, имел в виду не себя, а какого-то другого человека.

Таково альтернативное прочтение Барковым образа мастера. Ну, а что с Маргаритой? Судя по этому зачину, она тоже списана с кого-то другого? – спросит догадливый читатель. И не ошибется. И в данном случае, может быть, даже не будет так уж удивлен. В этом плане хорошую (или, может, напротив, плохую?) службу сослужил Маргарите недавний беспомощный телесериал по роману Булгакова, который – в силу особенностей кинематографа – неизбежно совлек с булгаковской героини весь тот романтический флер, которым окружил ее замечательный авторский текст, и в результате обнажил ее – в переносном, и в буквальном смысле этого слова. И эта добрый час торчащая на сцене голая женщина вдруг сделала особенно очевидным то, что и раньше, впрочем, наверняка вызывало мучительные недоумения у вдумчивого читателя. Ведь, сознаемся, Маргарита в романе, если пробиться сквозь текст к ее реальному поведению, – личность, на самом деле весьма непривлекательная, малоинтересная, во многом картонная и уж совсем не «романтическая», не «возвышенная». Булгаковеды, правда, не перестают твердить: «Маргарита остается идеалом вечной, непреходящей любви» (Б. Соколов); «Основной чертой булгаковской Маргариты является чувство высокой всепоглощающей любви» (И. Бэлза); «Образ Маргариты продолжает славную плеяду русских женщин, изображенных Пушкиным, Тургеневым, Толстым» (Петелин). Но, пишет Барков, признайтесь честно, разве вам не казались весьма насмешливыми, чуть ли не нарочито примитивными и даже почти пародийными те характеристики, которые то и дело прорываются у самого Булгакова: «Маргарита Николаевна никогда не нуждалась в деньгах... Маргарита Николаевна могла купить всё, что ей понравится... Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу... Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире». (Может, поэтому ее и не испортил «жилищный вопрос»?)

Или вот это: «Кто сказал, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? За мной, читатель, и я покажу тебе такую любовь!» После чего вскоре нам сообщается, что, когда мастера арестовали, Маргарита Николаевна не попыталась разузнать что-то о его судьбе, а преспокойно «вернулась в особняк» и как ни в чем не бывало «зажила на прежнем месте». На женщин, стоявших вместе с Ахматовой в очереди к тюремному окошку, чтобы передать жалкую передачку своим арестованным мужьям и сыновьям, она явно не похожа. Освободить своего «возлюбленного» она пытается немыслимым для той же, скажем, Ахматовой способом – путем услужения нечистой силе, путем активного участия в ее разгуле. И здесь она – «голая», то есть настоящая, без модных нарядов и светских условностей. Впрочем, поведение и моральные принципы Маргариты Николаевны и до того выглядели как-то уж слишком... расчетливыми, что ли. Эта скукающая жена состоятельного и высокопоставленного советского чиновника (с которым она продолжает, кстати, жить, даже уже сойдясь с мастером) говорит о

любви пошлым, почти газетным языком: «Почему, собственно, я прогнала этого мужчину (это о мастере)... Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного... Почему я сижу, как сова, под стеной одна. Почему я выключилась из жизни?» Но и ее последующие заверения в вечной любви выглядят так же безжизненно, вымученно и неубедительно. Странное, загадочное впечатление производит вся дешевая театральщина ее романа с мастером.

Зато как же она преображается в сценах на балу у Сатаны и после него! Тут она изображена так, словно только тут и именно тут она и есть настоящая Маргарита. «Пошел ты к чертовой матери. Какая я тебе Клодина? Ты смотри, с кем разговариваешь, – и, подумав мгновение, она прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство. – Ой!.. Простите великодушно, светлая королева Марго! Я обознался... – Ты бы брюки надел, сукин сын, – сказала, смягчаясь, Маргарита». Сама она, впрочем, одеваться не спешит («Мне нравится быстрота и нагота») и даже после бала принимает Азazelло в арбатском переулке все еще голой («Ты хоть запахнись», – говорит ей мастер. «Плевала я на это», – отвечает она). А в ранней редакции романа ее «распутные глаза» сверкают еще ярче и откровенней, вот как в таком отрывке: «Гроздья винограда появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась – ножкой вазы служил золотой фаллос. Хоча, Маргарита тронула его, и он ожил в ее руке. Заливаясь хохотом и отплевываясь*, Маргарита отдернула руку. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый, с горящими глазами, прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности, другой – фрачник – привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию. Девчонка уселась на корточки перед Маргаритой, начала целовать ее колени. – Ах, весело! Ах, весело! – кричала Маргарита, – и все забудешь. Молчит, болван, – говорила она тому, который шептал, и зажимала ему горячий рот, но в то же время сама подставляла уху».

Наши булгаковеды, отравленные лицемерным ханжеством советской эпохи, торопятся пройти мимо этих описаний, видимо опасаясь «снизить светлый образ» Маргариты. В действительности, однако, ничего унижительного для нее тут нет – при одном условии: что это не тургеневская девушка («мне нравится быстрота и нагота»), не Наташа Ростова («длинное непечатное ругательство»), не пушкинская Татьяна («пошел к черту, сукин сын»), и не – добавим уже от себя – Елена Сергеевна Булгакова, а кто-то другой. Другая, то есть списанная с иного прототипа, кому Булгаков, все в том же своем духе, придал многие черты своей третьей жены, но кто в целом, то есть в своем сквозном романном развитии, принципиально отличен от нее не меньше, чем мастер отличен от Булгакова. Ибо в ее образе и ее истории, если внимательно читать роман, тоже есть такие детали, которые

* Барков: «Хочется надеяться, что апологеты "светлых образов" улавливают смысловую разницу между просто "плеваться" и "отплевываться"? Или их целомудрие не позволяет вникать в такие вопросы?...»

ми Булгаков, наверняка, ни за что не наделил бы свою Маргариту, будь она списана с его жены.

Вот Маргарита садится на лошадь: «Та шарахнулась, но Маргарита вцепилась в гриву и, оскалив зубы, засмеялась». И шараханье лошади, и «оскаленные зубы», и весь вид вцепившейся в лошадиную гриву хохочущей голый женщины – всё это приметы ведьмы, нечистой силы. А вот странная особенность первой встречи Маргариты и мастера – она происходит на загадочно безлюдной улице (эта безлюдность с буквалистской выразительностью воспроизведена в телесериале), и это сразу же напоминает о столь же безлюдной (это в Москве-то!) обстановке встречи Воланда с Берлиозом. Уж не та же ли нечистая сила и здесь обеспечила (Маргарите и мастеру) такую безлюдность? А «нож», а выскочивший в переулке «убийца», с которыми мастер сравнивает поразившую его и Маргариту любовь и которые в других произведениях Булгакова (например, в «Театральном романе») связаны у него неизменно с подлым, предательским ударом в спину? А поцелуй, которым Маргарита в конце романа, точно вампир, награждает Ивана Бездомного, после чего он окончательно забывает то светлое и значительное, что из него выбили в психушке – не без помощи (тоже своего рода «поцелуя») мастера? А загадочные уходы Маргариты и какие-то «люди», которые за ней приходят и с которыми она общается тайком от всех, – все эти глухие намеки, порождающие мучительное ощущение какого-то двойничества, чуть ли не тайного участия ее в плетущейся вокруг мастера скрытой сети наблюдения и сыска?!

Недоверчивый читатель (почитатель) может тут воскликнуть: «Ну, уж этого совсем не может быть, потому что не может быть никогда!» – но если он честно проследует за Барковым по вехам всех этих намеков, щедро расставленным Булгаковым на страницах романа, он, пожалуй, вынужден будет признать – пусть сквозь зубы, но признать, что тут, пожалуй, действительно что-то есть, не без того... И, возможно, добавит: «Черт возьми, как же я раньше этого не заметил...» Булгаковеды не случайно опасаются анализировать все эти загадки – они боятся, что это взорвет их изначально принятые схемы, ибо понимают, что здесь скрыты такие же не прямые намеки на некое тайное сотрудничество Маргариты с «системой», как и в случае самого мастера. А если автор так настойчиво намекает на двурушничество обоих своих главных героев – это уж никак не совместишь с тезисом о том, что их прототипами были он сам и его любимая и преданная жена.

До сих пор Барков предъявлял нам одно за другим многочисленные и во многом убедительные (а уж задуматься заставляющие нас наверняка) доказательства того, что принятое в булгаковедении толкование главных образов романа, вероятно, ошибочно, и роман можно (а то и должно) прочесть радикально иначе. Есть, однако, продолжает Барков, вопрос, по которому мнения булгаковедов не так единодушны. Точнее, они были единодушны ранее, но вот в последнее время появились критики, которые на-

стаивают на ином толковании романа в этом частном вопросе. Это можно было бы приветствовать как свежую струю в булгаковедении, когда бы в таком «новом толковании» не ощущался некий давний и смрадный душок, а главное – если бы оно, это «новое толкование», разливаясь все шире и шире в современном булгаковедении, не угрожало стать очередным еди-нодушным мнением.

Речь идет о так называемом «антисемитизме» Булгакова. В последнее время появляется все больше работ, авторы которых доказывают, что роман «Мастер и Маргарита» пронизан антиеврейскими мотивами и тенденция-ми и что в этом можно-де видеть кульминацию якобы всегда органично присущей Булгакову и отчетливо проявляющейся в более ранних его про-изведениях юдофобии. Доказывают это разными способами. Начинают обычно с перечня еврейских (неизменно «отрицательных») персонажей в ранних повестях (Кальсонер, Рокк, Швондер, Шполянский) и завершают это именем Воланда. Затем указывают, что именно в «Мастере и Маргари-те» Булгаков шире всего развернул эти мотивы, посвятив почти половину романа истории Иешуа (Иисуса Христа) и его распятия, а также роли в этом историческом событии евреев во главе с их первосвященником Каи-фой, предателя Иуды и прокуратора Понтия Пилата. Особенно подробно анализируется беседа Пилата с Каифой (в главе 2-й), где Пилат трижды предлагает первосвященнику помиловать Иешуа, а тот трижды отвергает предложение, так что под конец Пилат многозначительно говорит: «Не бу-дет тебе отныне покоя, ни тебе, ни народу твоему... Ты еще пожалеешь, что послал на смерть юного философа с мирной проповедью».

При этом любопытно, что критики, усматривающие в этих фактах сви-детельство антисемитизма Булгакова, четко разделяются на два лагеря. Одни, как Михаил Золотоносов, осуждают писателя за это и утверждают, что здесь он показал, что принадлежит к некой «субкультуре русского ан-тисемитизма», издавна присутствующей в русской культуре и затронув-шей практически всех великих русских авторов от Пушкина до Достоев-ского. Напротив, другие – из лагеря русских националистов и «государст-венников» – горячо поддерживают Булгакова в этих пассажах и даже ви-дят в Пилате своего рода выразителя взглядов самого автора. Так, В. Ло-сев считает, что острое булгаковского романа «направлено главным обра-зом против Каббалы (?), а уже во вторую очередь – против властелина», а некто В. Петелин, проводя многозначительную линию Пилат – Петр I – Сталин, пишет: «В отечественной и мировой истории порой находят такие поступки и действия крупных личностей, которые с точки зрения морали называют злом. Но это "зло" способствует благу жизни, раскрывает доб-рые перспективы общеисторической судьбы. Отдельные люди могут стра-дать при этом, но общее дело зато выигрывает (иными словами: лес рубят – щепки летят. – З. С.) В качестве государственного деятеля Пилат посылает Иешуа на смерть. Иного выхода у него не было. Он оказался в трагиче-ском положении, когда должен утверждать приговор вопреки своим лич-

ным желаниям. Так поступал Петр Великий, подписывая смертный приговор собственному сыну, так поступил Сталин, когда отказался спасти сына Якова в обмен на Паулюса. Интересы государства стоят здесь выше личных желаний. На этом стоит и будет стоять государственность. Булгаков прощает Пилата, отводя ему такую же роль в философской концепции, как и Мастеру».

И что же на это отвечает Барков? Еще один пример поверхностного прочтения, говорит он. Золотоносов пытается искусственно притянуть к теме «антисемитизма Булгакова» такие детали, как номер главы «Явление героя» (13-й, который в еврейском алфавите соответствует букве «мем», якобы вышитой на шапочке, подаренной мастеру Маргаритой) или число писательских дач в Переделкино (22, что якобы указывает на число букв еврейского алфавита). Но в действительности за русской буквой «м» («мыслете») издавна закреплено число 40, а не 13 (сорок лет странствий евреев в пустыне, сорок дней искушения Христа в пустыне и его вознесение на сороковой день после смерти и т. д.). Что же до числа 22, то Булгаков вряд ли намекал читателю на еврейский алфавит, хотя бы потому, что тогдашний его читатель совсем ничего не знал о еврейском алфавите, не те были времена. Куда внятнее булгаковскому читателю был другой намек, содержащийся в этом числе и связанный никак не с евреями, а с определенной, важной для замысла романа и укрытой в его тексте датой, о которой речь пойдет позже, при разговоре о дате конца романа.

Что же до Пилата, то Булгаков (как показывает внимательное прочтение его текста) нисколько не прощает Пилата и тем более не возвеличивает его, как представляет дело Петелин. В разговоре Пилата с Каифой Булгаков попросту воспроизводит (как и положено по сюжету) евангельскую легенду, а вот свое мнение о поступке Пилата и о самом прокураторе он оставляет для сцен с самим Пилатом. Вот прокуратор говорит узнику: «Мы теперь будем всегда вместе. Раз один – то, значит, тут же и другой! Помянут меня – сейчас же помянут и тебя». Эти слова выдают сознание своей ответственности за казнь Иисуса. В сущности, ту же мысль выражает Левий Матвей, когда объясняет, почему не хочет служить Пилату: «Ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил». То есть, с точки зрения ближайшего ученика Иешуа, казнь учителя – прямая вина Пилата, и именно его. И Пилат на это не возражает гневно, а говорит: «Молчи... Возьми денег». То же чувство вины заставляет булгаковского Пилата организовать убийство Иуды. (Барков замечает даже определенные текстуальные переклички между описанием того, как Низа завлекла Иуду в пустынное место, и некоторыми деталями поведения Маргариты в отношении мастера!)

И чтобы совсем уж поставить точки над «и» и завершить обсуждение «булгаковского антисемитизма», Барков привлекает одно пропущенное всеми булгаковедами соображение, один важный намек самого Булгакова. Когда мастер рассказывает в психушке Бездомному о своих мытарствах и

о том, как на него одна за другой сыпались погромные журналистские критические статьи, обвинявшие его в «пилатчине», он говорит, что ему «все казалось, что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызвана именно этим». Что же это за тема такая, о которой открыто говорить нельзя, но сильно хочется, и из-за которой критики вынуждены изливать свой гнев на «пилатчину»? – спрашивает Барков. И отвечает: «Эту тему долго искать не надо, в условиях России она достаточно известна. Описанная здесь ситуация содержит прямое указание Булгакова на то обстоятельство, что в произведении мастера (то есть, на самом деле, во вставном "романе в романе" самого Булгакова, в его "ершалаимских" главах) имелись не понравившиеся критикам *анти-юдофобские* моменты. О том, какие это моменты и как убедительно они опровергают мысль о том, будто в романе содержится апология Пилата, как раз и шла речь выше.

Теперь, разделившись таким образом с новейшими домыслами о «пилатчине» и «юдофобии» Булгакова, Барков возвращается к прерванному – в самый напряженный момент – разговору об истинных прототипах романа. Он действительно прервал его на полуслове: сказал, что этими прототипами не были ни Булгаков, ни его третья жена Елена Сергеевна, а были совсем иные люди, пусть в чем-то похожие, из того же круга и того же «замеса», но избравшие иную, «отступническую» судьбу – и тут же ушел в сторону, так и не сказав, кто же были, по его мнению, эти люди. Теперь пришла пора их назвать. Вы волнуетесь? Мы тоже.

К своему неожиданному ответу Барков подходит со столь же неожиданной стороны – астрономической. Он задается вопросом: когда происходит финал романа? Широко принято считать, говорит он, что последние события в романе относятся к концу 20-х годов. Это толкование возникло в результате высказанного К. Симоновым авторитетного мнения, что «Мастер и Маргарита» описывает литературную и околосреду конца тех же 20-х годов, к которым относятся и другие прозаические произведения Булгакова («Собачье сердце», «Роковые яйца» и т. д.). Но можно ли согласиться с этим мнением? Барков с ним категорически не согласен. Уже в первой главе романа, замечает он (в прямом смысле «замечает», ибо это то, что все другие до него не заметили), в руках Воланда оказывается экземпляр «Литературной газеты» со стихами Бездомного, а «Литературная газета» начала издаваться лишь в 1929 году. Стало быть, самый нижний возможный предел даты смерти мастера – это 1929 год. Этим сразу снимаются все разговоры о «двадцатых годах» как возможной дате начала романа, и остается лишь один вопрос: каков же возможный верхний предел? Неужто, можно указать и его? Можно, уверенно отвечает Барков.

Можно указать, говорит он, нужно только, как и во всех прочих подобных случаях, внимательно отнестись ко всем, самым мельчайшим деталям текста. И тогда сразу обнаружится, что таким верхним возможным пределом даты финала является 1936 год. Почему? Да потому, что во время сеанса черной магии в театре «Варьете» (глава 12-я) в публику падали белые

червонцы, а белые червонцы имели хождение только до денежной реформы, а денежная реформа была проведена в январе 1937 года. Просто, как бумага, на которой все это написано. Тут мы уже входим в раж. А более точную дату финала вы тоже можете назвать? – спрашиваем мы фокусника. Извольте, задорно отвечает он. На более точную дату финала указывает фраза романа «Нас в Массолите три тысячи сто одиннадцать человек». А если взять и перечесть статью Горького «О формализме», опубликованную в «Литгазете» 10 апреля 1936 года, то мы увидим, что он говорит там о «трех тысячах членов союза писателей», тогда как при создании ССП (т. е. в 1934 году) их было 2,5 тысячи. Значит, финал романа происходит где-то между 1934 и 1936 годами. А еще точнее?! – разойдись, настаиваем мы. Пожалуйста, говорит Барков, и напоминает еще одну тонко подмеченную деталь – в сцене перед балом Воланд показывает глобус и говорит: «Видите этот кусок земли, бок которого моет океан. Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война». Здесь явно речь идет об Испании, где в 1936 году началась гражданская война. Значит, рамки поиска сужаются до одного года – 1936-го. А далее Барков на наших глазах проделывает еще более потрясающий «фокус», вытащив из текста, как кролика из шляпы, точную дату финала! Анализ тут настолько изящный и тонкий, что достоин внимательного прочтения.

В тех же «московских» главах романа, говорит Барков, фигурируют упоминания об «аромате лип» и «клубнике», которые появляются в Москве во второй половине июня. Но самую точную дату, продолжает он, Булгаков зашифровал «астрологически» – в словах Воланда, содержащих предсказание смерти Берлиоза.

На первый взгляд, слова эти – просто пародия на типичные астрологические прогнозы. Воланд бормочет: «Раз, два... Меркурий во втором доме... Луна ушла». Но что, если, в отличие от всех прочих булгаковедов, принять их всерьез и поискать их зашифрованный смысл? Барков предпринимает именно такую попытку, и приходится признать, что результат получается ошеломительный. «Во "втором доме" зодиакальных планет, в зодиакальном созвездии Тельца, – пишет он, – в 1936 году Меркурий находился с середины мая до третьей декады июня. В этот период было два новолуния ("Луна ушла"), но Булгаков устами Воланда ("Раз, два...") подсказывает, что речь идет о втором. А второе новолуние произошло в точности 19 июня 1936 года». Такова искомая дата финала «Мастера и Маргариты». Но теперь возникает еще более важный вопрос: а что такое знаменательное произошло в этот день, что Булгаков выбрал именно в качестве дня смерти своего мастера, да еще так многосторонне его зашифровал?

«19 июня 1936 года, – не без некоторой торжественности напоминает нам, все это забывшим, Барков голосом диктора Левитана, – вся советская страна прощалась с ушедшим из жизни Алексеем Максимовичем Горьким. Тем самым, кого официальная советская печать чаще других именвала "мастером литературы"! И в этот же день имело место также «первое со-

ветское», то есть первое виденное в СССР со времени его образования, полное солнечное затмение, во время которого советские люди могли невооруженным глазом видеть планету Меркурий. Ту самую, о которой упоминает Воланд. Об этом редчайшем астрономическом явлении тоже писали тогда все советские газеты, так что смерть Горького вполне могла устойчиво связаться в памяти булгаковских читателей со словом «Меркурий», и «бормотание» Воланда («Меркурий во втором доме...»), столь непонятное и «пустое» для нас сегодня, современники Булгакова могли воспринимать как вполне понятный намек». «Но мало этого, – невозмутимо продолжает наращивать аргументы Барков, – затмение 19 июня сопровождалось понижением температуры и ветром, что практически соответствует описанию булгаковской "тьмы", пришедшей в финале романа с запада и накрывшей Москву». А что касается того, что в других главах романа о той же «тьме» говорится, что она «пришла со Средиземного моря и накрыла ненавистный прокуратору город», то, действительно, говорит Барков, затмение 19 июня 1936 года вступило в полную фазу над Средиземным морем и проследовало в таком виде широкой полосой от Туапсе до тихоокеанского побережья СССР. В этом месте Барков делает своего рода «лирическое отступление», рассказывая, как высмеивали критики эти его астрономические расчеты, не замечая, что буквально то же самое уже давным-давно, еще в тот же день 19 июня 1936 года, запечатлел поэт Михаил Светлов в стихотворении на смерть Горького (опубликованном тогда же в «Известиях»). Светлов написал буквально следующее: «Гроб несут на руках, боевого салюта раскаты, и *затмению солнца сопутствует сумрак* утраты».

Так вот она, наконец, радикальная «альтернатива Баркова»: не Булгаков, а Горький – вот истинный прототип булгаковского мастера. Эта гипотеза необыкновенно плодотворна. В первую очередь, разумеется, она позволяет, наконец, понять причины двойственного отношения Булгакова к своему герою и намеки на его связи с «темной силой», на отступничество и предательство идеалов, даже на мастерство в противовес подлинному творчеству. Вспомним, что после возвращения в СССР Горький практически ничего значительного не написал, зато из-под его пера непрерывно выходили одна за другой громовые статьи, прославлявшие советскую власть и ее «героические» деяния, вроде строительства Беломоро-Балтийского канала. Плюс к тому, гипотеза Баркова позволяет также искать свое конкретное подтверждение (или опровержение) в тех деталях романа, на которые раньше никто не обращал внимания. А сверх всего этого, она еще дает ключи к поиску прототипов других персонажей романа, начиная, естественно, с Маргариты. И Барков, действительно, находит их одного за другим, вплоть до таких, как Станиславский и Немирович-Данченко (враждующие между собой «финдиректор» и «администратор» театра «Варьете» Варенуха и Римский), и даже мало кому, кроме специалистов, сегодня известная Ольга Бокшанская, родная сестра Елены Сергеевны Булгаковой, машинистка МХАТа (голая рыжая ведьма Гелла, печатающая под диктовку Бегемота).

Мы не сможем, к сожалению, за неимением места и времени, пересказать все эти увлекательные, поистине детективной напряженности поиски, но, может, это и хорошо – нужно же быть справедливым к автору и оставить читателям возможность получить удовольствие, самим прочитав (если, конечно, достанут) оставшиеся двести с лишним страниц его труда (в прямом и переносном смысле слова). Завершим наш пересказ лишь некоторыми особенно «вкусными» пассажами из этого беспримерного литературного расследования.

Как на одно из косвенных доказательств своей гипотезы Барков указывает на слова Азазелло о «фалернском вине», бутылку которого Воланд дарит мастеру. Это вино производилось в тех областях Италии (Неаполь, Капри, Сорренто, Салерно), с которыми связана значительная часть биографии Горького (в письме Ленину от 15.12.1908 Горький писал: «Закатимся пить белое каприйское вино и болтать с Вами...»). Но еще более любопытно, что в другом месте романа Булгаков повторяет слово «фалернское», но в совершенно противоположном контексте: «Превосходная лоза, прокуратор, – говорит Афраний, – но это не "Фалерно". – "Цекуба", тридцатилетнее, – отзывается Понтий Пилат». «Цекуба» – это аббревиатура созданной Горьким в 1921 году «Центральной комиссии по улучшению быта ученых». (Критики Баркова замечают в этом месте, что в Италии когда-то существовало и вино «Цекуба», но он парирует это возражение убедительным филологическим аргументом: подобные латинские названия перешли в русский язык с начальной буквой «к», что, кстати, Булгаков знает, поскольку везде пишет «кесарь», «кентурион», но именно для «Цекубы» делает незаконное исключение, сохраняя в начале слова букву «ц», словно хочет, чтобы читатель услышал очередной намек на Горького.)

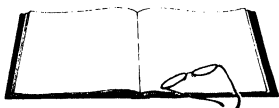
Уже упомянутая выше М. Чудакова, продолжает Барков, выдвинула гипотезу, что в ранних редакциях романа роль, аналогичную последующей роли мастера, мог играть появившийся там некий «энциклопедист Феся» (кстати, тоже похожий на Горького своей книжной образованностью). Но можно, говорит он, выдвинуть куда более убедительную – хотя и более «дерзкую» – гипотезу, что «в окончательной редакции роль, в чем-то аналогичную роли мастера, играет... Берлиоз. Эта аналогия состоит в том, что Берлиозу отданы все негативные черты реального Горького, тогда как мастеру – более симпатичные (или, во всяком случае, вызывающие определенное сочувствие) его черты. Иными словами, утверждает Барков, «Горький присутствует в романе сразу в двух ипостасях – как мастера, так и Берлиоза». В самом деле, Берлиоз в романе – руководитель писательской организации, редактор литературных журналов; но точно так же и Горький был руководителем ССП и редактировал более полутора десятков журналов сразу. И если в первых редакциях (написанных до смерти Горького) маршрут похорон Берлиоза проходил мимо памятника Тимирязеву (рядом с которым жил Горький), то в окончательной редакции романа (написанной после этой смерти) труп Берлиоза выставляют для прощания в Колонном

зале Массолита – явный намек на Колонный зал Дома Союзов, в котором был выставлен лишь один-единственный из всех умерших советских писателей того времени – разумеется, Горький.

Этих совпадений Барков находит так много, что пересказать их здесь практически невозможно, а потому ограничимся беглым перечислением лишь нескольких. У Булгакова мастер, объяснив Бездомному что он мастер, тут же достает и надевает ту самую шапочку, на которой Маргарита вышила букву «М», – а Горький пишет Амфитеатрову (в 1910 году с Капри): «Я никогда не подписывал своих вещей именем Максима, а всегда – М. Горький». В той же беседе «мастер вдруг вытер неожиданную слезу», а слезливость Горького (странно уживавшаяся в нем с внутренней жесткостью и даже жестокостью) общеизвестна. У мастера зеленые глаза, у Горького – тоже. Наконец, Воланд соблазняет мастера в финале романа возможностью стать «новым Фаустом» и «вылепить нового гомункула», а Горький и всегда носился в мыслях создать «нового человека», а в последние годы жизни безумно увлекся работами профессора Сперанского по «диалектике человеческого развития». К слову сказать, профессор Сперанский был направлен к Горькому Сталиным, после чего Горький максимально способствовал созданию – под руководством Сперанского – Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ). Если вспомнить, что ВИЭМ обвиняли в вивисекции, в ответ на что Сперанский публично защищал целесообразность проведения опытов на людях, то можно согласиться с Барковым, что именно ВИЭМ профессора Сперанского мог быть прототипом сращенной с «Системой» психиатрической клиники профессора Стравинского, где проводилась промывка мозгов, и здоровые люди превращались в слабоумных. Не случайно Мережковский прозорливо писал Уэллсу, считавшему Горького праведником, спасающим русскую культуру: «Знаете ли, мистер Уэллс, какую ценою "спасает" Горький? Ценою оподления». А в другом месте (запись К. Чуковского в 1919 году): «Горький двурушник, он азефствует искренне. Когда он с нами, он наш. Когда он с ними – он ихний». «Великим поклонником возвышающего обмана» назвал его проницательнейший и умнейший Ходасевич. А уж факт не просто сотрудничества, а прямого служения Горького советской власти (именно с помощью этого «возвышающего обмана» – например, хвалебные статьи о Беломор-Балтийском канале) и доказывать не приходится.

Да, Горький, а не Булгаков, был прототипом мастера в романе «Мастер и Маргарита», заключает Барков, и это сразу же позволяет предположить, что Маргарита списана с жены Горького – понятно, с его второй жены, знаменитой актрисы МХАТа Марии Федоровны Андреевой, – такой же «кудрявой, черноволосой», как Маргарита, «женщины непомерной красоты». Занятно, что эта вторая гипотеза Баркова тоже немедленно находит подтверждение даже в такой мелочи, как упоминание (в романе) о выигрыше мастером ста тысяч рублей. Тут – как в известном анекдоте: выиграть-то выиграл, только не сто тысяч, а всего пятьдесят, и не Горький, а Андреева:

Савва Морозов перед самоубийством завещал ей 10 тысяч рублей, которые она тут же передала Горькому для погашения его долгов. Все, все сходится у Андреевой и Маргариты – и роман с мастером-Горьким при наличии высокопоставленного и состоятельного мужа (действительный статский советник Желябужский), и тайное сотрудничество с большевиками (о ней говорили, что она крада деньги у Саввы Морозова на нужды ленинской партии), и даже «длинное непечатное ругательство» (каковыми, по свидетельству современников, Андреева не брезговала). Перечислив все эти, конечно же, не случайные (судя хотя бы по их количеству) совпадения, Барков устремляется дальше – на поиски никак не находимого булгаковедом дома Маргариты, «готического особняка», как он именуется в романе, чтобы показать, что это просто известный всем дом Андреевой в Москве, и пока он идет, по своему обыкновению следуя не общепринятому маршруту, а глухим (но куда более точным) намекам Булгакова, – пока он идет, увлеченный и ничего кругом не замечая, воспользуемся этим и тихонько покинем его на этой дороге. Можете не сомневаться, он найдет. И докажет. Но изменится ли от этого булгаковедение? Признают ли его выводы? Или хотя бы обсудят всерьез? Ведь очень уж убедительно многое, не так ли? Увы, думается, не потрясет его книга основ – уж очень огромно и устойчиво многие годы и многими возводившееся здание, слишком много людей, заинтересованных в его сохранении, слишком «обмраморен», как, наверное, сказал бы Маяковский, великий роман, чтобы допустить такое «покушение на святых». Хотя, как знать?..



журналист, публицист, редактор, телепродюсер, участник Ливанской кампании, автор более 200 публикаций на русском, иврите, английском и французском языках. Живет в США.

ПУРИМ В НОВОМ СВЕТЕ

В детстве я любил праздник Пурим. Веселый детский праздник, подарки. Мы жили в советские времена, и у нас не было карнавала с переодеванием, не было театральных представлений. Мама пекла сладкие треугольные *ументаш* – уши Амана – с маковой начинкой, а папа рассказывал пуримскую историю. При Советах гнобили не только евреев. Власти недолюбливали, когда наши христианские соседи выражались и ходили колядовать. Зато папа рассказывал нам с сестрой, как это было до Советов, как собиралась вся родня, сидели за столом, веселились, пили вино. Как дети бегали из дома в дом, как приходили ряженные артисты и представляли древнюю историю, запечатленную в Свитке Эсфирь. Историю о том, как злодей Аман вознамерился извести еврейский народ и как двое совершенно ассимилированных евреев «повернули жребий» в другую сторону. Библию мы не читали, и последние, страшные главы веселой истории нам были неведомы. Их и сегодня в России вряд ли многие знают.

Рассказывая древнюю историю, наш папа пропускал ту часть, где говорилось о том, что злодея Амана повесили вместе с десятью его малолетними детьми. И уж тем более не рассказывали нам, что этого показалось недостаточно, и ликовавшие евреи учинили погром над своими врагами. «И все евреи, что в стране царя, собрались и побили своих врагов числом пятьсот и семьдесят тысяч... и никто не встал перед ними, потому что пал страх на все народы». Не знали мы и про кровожадную Эсфирь, кокетливо просившую царя разрешить евреям столицы еще один день погрома, еще один день «делать по царскому желанию». Прочел я Книгу уже в подростковом возрасте. Мрачное ликование погрома было абсолютно чуждо всему, чему нас учили дома. Я решил, что все это неправда, фантазии. Я тогда чи-

тал «Давида Реувени» Макса Брода и запомнил оттуда фразу: «Сладки мечты бессильного сердца».

Я был не одинок в своем неприятии мрачной концовки Книги Эсфирь. Еще в XIX веке в еврейских кругах Великобритании раздавались призывы пересмотреть отношение к празднику Пурим. Клод Готлиб Монтефиоре открыл большую дискуссию на страницах газеты «Джуиш кроникл» относительно необходимости изменить отношение к празднику. В традициях британского парламентаризма отпрыск древнего еврейского рода писал: «Я бы не пожалел, если бы Пурим постепенно утратил свое значение и исчез из еврейского календаря». В 1877 году раввинат Британии выпустил «Библейскую хрестоматию для семейного чтения и еврейских школ», в которой были опущены значительные отрывки из последней главы Книги Эсфирь.

В кругах набожных евреев Пурим празднуется в полную силу. В этих кругах цитируют талмудические авторитеты, считавшие, что некоторые праздники отменяются после пришествия Мессии, но Пурим будут отмечать всегда. В этих кругах, правда, тоже находят проблемные аспекты в Книге Эсфирь. Там не могут смириться с тем, что Эсфирь – образец праведной еврейской женщины, племянница, а то и жена влиятельного и благочестивого Мордехая, вставшего на защиту еврейского народа, вступила в связь с гоем. Там цитируют других талмудических авторитетов, объяснявших, что царица находилась под прямым божественным покровительством и, когда царь подступал к ней, то Бог окутывал ее покрывалом и скрывал от глаз сладострастца. От этого пошло имя Эстер, что якобы значит «покрывало». Другие авторитеты понимали, что Эсфирь (Эстер) происходит от имени языческой богини Астарты, как и Мордехай – от имени бога Мардука, поэтому нашли в тексте, что царицу по-еврейски звали Хадасса – что-то вроде груши.

Такого рода дискуссии в еврейских кругах продолжаются и по сей день. Да еще многие антисемиты, вслед за Мартином Лютером, тоже ссылаются на Пурим как на пример еврейской кровожадности. В печально известном труде «О евреях и их лжи» в 1543 году Лютер восклицал: «Как любят евреи Свиток Эсфирь, столь подходящий к их страсти к убийству, мстительности и кровожадности!» Только, в отличие от современных антисемитских авторов, очень довольных наличием такого доказательства их фобий, Лютер, подобно Монтефиоре, считал, что Книги Эсфирь «лучше бы не было» в библейском каноне. Были и такие авторы, еврейские, нееврейские и антиеврейские, которые вообще отрицали наличие традиций ритуального насилия в иудаизме, изображая евреев как извечно мирных, покорных, лишенных страсти и мужества. Согласно вполне доброжелательному, даже слегка сусальному определению Ж.-П. Сартра, евреи «страстно враждебны насилию».

Книга профессора еврейской истории религиозного израильского университета Бар-Илан Эллиота Горвица «Безжалостные ритуалы: Пурим и

наследие иудейского насилия»*) необходима всем сторонам дискуссии, чтобы понять, о чем речь, поставить точки над *i*, ввести, наконец, в современную историографию еврейства факты, которые историки раньше обходили. Необходима потому, что безоглядная апологетика вредит еврейству больше, чем наскоки антисемитов, загнанных на задворки научного сообщества, а то и вовсе изгнанных из него. То ли из страха перед действительными или мнимыми антисемитами, то ли из желания приукрасить и идеализировать собственный образ в многочисленных трудах по истории еврейского народа феномен присущего иудаизму насилия, особенно его антихристианские аспекты, тщательно обходился.

Книга «Безжалостные ритуалы» дает широкий исторический обзор феноменов насилия в иудаизме – от поздней античности до нынешних дней. Интереснее всего мне показалось исследование тенденций насилия в современном иудаизме, которые при определенных условиях могут питать фундаменталистские настроения и мощно влиять на текущую политику. Интересно и исследование христианского отношения к Пуриму, использование пуримского сказания в церковной антииудейской полемике. В 408 году декрет римского императора Теодоруса II запретил традиционный ритуал сжигания чучела Амана, усмотрев в нем «осквернение святыни, поскольку образ Амана представляется так, что напоминает святое распятие, а тем самым оскорбляет вера христианская».

Во второй части книги есть и раздел о насилии во время пуримских празднеств – о казнях христиан и еретиков. Примеров немного, но они впечатляют. Взять хотя бы резню, устроенную еврейским населением Иерусалима после взятия города персидскими войсками в 614 году. Тогда, по свидетельству летописи под названием «Дамасский аноним», убивали не только на улицах, но и специально выкупали рабов-иудео-христиан, чтобы убить их. В книге Горвица интересны не только сами факты, которых не встретишь в еврейской историографии, но еще больше исследование причин тщательного их замалчивания. Дело не только и не столько в боязни, что антисемиты могут использовать эти факты для разжигания погромных настроений. Корень проблемы – в еврейском самосознании, стремившемся, подобно другим европейским народам, очиститься от всякой, как казалось, дикости и пережитков прошлого. Не только упоминания о насилии, но и все мистическое, эзотерическое и трансцендентальное последовательно изгонялось из основного направления иудаизма, объявлялось нееврейским. Даже такой авторитетный источник иудаизма, как Каббала, рассматривался как пережиток темного прошлого. Сейчас все стремительно меняется. Хасидизм (где Каббала составляет центральную часть учения) из преследуемой секты уверенно выдвинулся в самый центр современного иудаизма. И таившиеся на задворках иудаизма потворствующие насилию факторы тоже проявляются в современной жизни, особенно в Израиле.

* Elliott Horowitz. *Reckless Rites: Purim and the Legacy of Jewish Violence*. Princeton University Press, 2006. 340 p.

Книга Горвица помогает осознать, что речь идет не о современных уклонах, а о тенденциях, укорененных в истории и традиции. Например, подоплека действий доктора Баруха Гольдштейна, расстрелявшего в 1994 году несколько десятков арабов в Пещере патриархов в Хевроне, становится понятней, если помнить, что дело было в Пурим. В этом контексте становится понятным и культ Гольдштейна, поклонение ему как святому, паломничество на его могилу.

Эллиот Горвиц исследует многочисленные примеры ритуального надругательства над христианскими символами, богохульными, с точки зрения христиан, но героическими, по понятиям тогдашних евреев. Соединение пуримского мотива божественного наказания врагов с карнавальным действием порождало виды поведения, которые трудно назвать типично еврейскими. Крест оплевывали, сжигали, даже мочились на него. Зачастую на это шли, зная о неизбежном наказании, восходя на костер в экстатическом состоянии уверенности, что содеянное ими сделано «во славу Божию», а то и с затаенной надеждой, что страшные пытки и казни верных завету Божьему побудят Его поскорей покарать мучителей и ускорить приход Мессии. Часто христианские власти жестоко наказывали не только самих святотатцев, но и всю еврейскую общину.

Помню, еще в студенческие времена в старой немецкой церковной истории я нашел рассказ об иудейских фанатиках XIV века, публично оплевывавших распятие и мочившихся на крест во время празднования Пурима. Их приволокли на суд к князю-епископу, слывшему защитником евреев. Но и он ничем не мог облегчить их участи, поскольку они не только не выражали раскаяния, но и заявляли, что близится приход Мессии и Бог скоро накажет всех христиан. На следствии они оговорили не только раввинов и богатых евреев своей общины, но и собственных жен и детей. И даже на эшафоте они все ждали, что жребий – «пур» (от него название Пурима) – «перевернется», и они поменяются ролями со своими палачами. Я показал этот текст своему профессору, видному израильскому историку, но он сказал, что «нам такая традиция не нужна».

Подобного рода материалы фактически игнорируются современной еврейской историографией, хотя они представляют далеко не только академический интерес. К примеру, в 2004 году студент религиозной иерусалимской семинарии «Йешива Хар Амор» Цви Розенталь плюнул в лицо армянскому архиепископу, несшему крест во время традиционной процессии в Старом городе. Согласно Горвицу, это не отдельный случайный инцидент, а реализация устойчивой тенденции, укорененной в определенных традициях. Инцидент неслучаен еще и потому, что с X века в иудаизме считается, что армяне – потомки Амалека (злодей Аман из пуримской истории тоже был «из семени Агага» – из племени амалекитов).

Интересна эволюция понятия извечного еврейского врага Амалека, которого надлежит беспощадно уничтожать вместе с женщинами, детьми и даже скотом. Горвиц исследует, как родовое имя переносилось сначала на

Римскую империю, а позже на ее христианских наследников. А в наше время некоторые считают Амалеком арабов и даже евреев-еретиков. Понятие «Амалек» все чаще и чаще мелькает в современном религиозном, а особенно религиозно-националистическом контексте. «Палестинцы – это амалекы, – заявил корреспонденту "НьюЙоркера" председатель Совета поселений Иудеи и Самарии Бенци Либерман. – Всех их мы не убьем, однако мы разрушим их способность осознавать себя как народ». Моше Фейглин, видный деятель партии Ликуд, заявил в том же репортаже: «Арабы ведут себя, как типичный Амалек. Я не могу доказать генетически, но это поведение Амалека». «Заповедь относительно Амалека, – пишет Горвиц, – самая неисполняемая из всех иудейских заповедей», однако люди религиозные воспринимают такую риторику буквально, в библейском смысле.

Прав израильский поэт Леон Визелтир, написавший в отзыве на книгу Горвица: «Умная, гуманная и увлекательная книга Эллиота Горвица развеет много серости, растревожит толпу ханжей. Пурим уже никогда не будет таким, как прежде. Сложность, которую книга вносит в картину представлений евреев о самих себе, многие встретят в штыки. Явное отсутствие у Горвица назидательности поучительно само по себе, его любовь к правде есть выражение его любви к еврейской традиции. "Безжалостные ритуалы" – великолепный пример забытого искусства научной дискуссии, будоражащей умы».

Несомненно, что книга профессора Горвица вызовет ожесточенные споры. Ведь даже куда менее «ниспровергательское» исследование израильского историка Исраэля Юваля, пытавшееся выявить связь между кровавым наветом и ритуальными массовыми самоубийствами евреев во времена первых крестовых походов, вызвало бурные дебаты, далеко выплеснувшиеся за рамки корректной научной полемики и заставившее многих по-новому взглянуть на некоторые аспекты истории.

ПОСИДЕЛКИ С ТАЛМУДОМ

Талмуд рассказывает о том, как рабби Гамлиэль и рабби Йехошуа посрамили античного философа. В ответ на каверзный вопрос по зоологии рабби сразу дали правильный ответ стихом из Торы. Философ, потративший на поиски ответа семь лет, так расстроился, что пошел биться головой о стенку. Это первое в истории упоминание присловья «биться головой о стенку».

«За просмотр денег не берут», – говорим мы, не подозревая, что пословица эта пришла из еврейского языка (*фар кукен золт мен нит кеин гелт*). Большинство пословиц в идише взято из талмудических историй. В одной из них рассказывается о еврее, затеявшем тяжбу с соседом, построившим дом, из которого можно смотреть на его поле и заглядывать ему в окна. «Молчание – знак согласия» (*гешвиген из ойх геред*) тоже из Талмуда, где молчание в суде рассматривалось как согласие. Даже «стены имеют уши» прямоком из того же Талмуда. «Глухой, как стенка» – говорят евреи там, где русские скажут «глухой, как пень». Даже усвоенное в последнее время русским языком американское выражение «все решает итоговая строка» в английский язык пришло не из мира бизнеса, а из идиша (*ди ундершите шурэ*). Идиш же взял это выражение из Талмуда. По древним еврейским правилам делопроизводства, сумма проставлялась в начале и в конце документа. Если они не совпадали, то решающую силу имела сумма, указанная в конце.



Разумеется, Талмуд не только сборник анекдотов и афоризмов. Мудрецы наши, блаженна их память, сидели, толковали, учили, записывали. Следующие поколения пытались понять их, сохранить каждую крупицу информации. Так слой за слоем веками создавался замечательный корпус еврейского закона, да и сборник всего на свете, о чем толковали наши мудрецы. Будучи необыкновенно творческими людьми, они, не стесняясь, резали, кроили, комбинировали и изменяли текст Писаний, а когда не хватало аргументов, то не боялись дописать соответствующий текст, называемый мидраш. В иудаизме их тексты считаются боговдохновенными, и они не просто канонизированы наряду с Торой, но и Тора в иудаизме непредставима без Талмуда. Длинные ряды талмудических сочинений на непонятном языке, еще менее понятная для непосвященного система преподавания, огромные трудности, которые приходится преодолеть взрослому сформировавшемуся человеку, чтобы войти в так называемый «мир Торы», – все это отпугивает. Да и «мир Торы» сегодня неблагосклонно относится к попыткам понять иудаизм извне. Считается, «чтобы понять, надо стать», т. е. быть внутри процесса понимания, а всякая возможность другого по-

стижения отвергается. В прошлых поколениях было много евреев, впитавших традиционные ценности и при этом порвавших со своей средой. Они отреклись от иудаизма, от ортодоксального образа жизни и мысли, однако понимали жизнь еврейской общины и могли на равных толковать с религиозными евреями. Сегодня этого нет, и в религиозных кругах господствует мнение, что лучше полный неуч, чем тот, кто пытается понять иудаизм, не став набожным. В чем-то они правы. Еврейская ученость – действительно, целый мир, и постижению секретов Талмуда отдают всю жизнь. Мудрость Талмуда, в самом деле, заслуживает этого.



Вероятно, самый известный отрывок из Талмуда мы услышали еще в пионерском детстве. В популярной исторической книжке рассказывалось о палестинском мудреце, сказавшем: «Если я не сам для себя, то кто для меня? Если я только сам для себя, то кто для меня? И если не сейчас, то когда?» Слово «палестинский» тогда еще не воспринималось в штыки – как антиссионистская вылазка. Наоборот, тогда еще сионистов по старинке кое-где называли палестинофилами. Позже мы узнали, что и знаменитое «не желай другим то, что не желаешь себе» тоже принадлежит этому «палестинскому мудрецу», и звать его Старый Гилель. Со временем оказалось, что история несколько сложнее. Пришел к Гилелю чужеземец и попросил рассказать о смысле еврейства, пока он простоит на одной ноге – гласила популярная сионистская брошюра. «Не желай другим того, чего не желаешь себе. Вот и вся Тора», – сказал мудрец. На этом все и заканчивалось в той брошюре. Позже оказалось, что Гилель добавил: «Все остальное – толкования». Оказалось еще, что чужеземец побывал до того у другого великого учителя – с той же просьбой, и тот прогнал его в гневе. Мы не удивлялись, потому что полагали, что все известные нам учителя иудаизма тоже прогнали бы наглеца. Позже оказалось, что в каноне есть еще одна фраза: «Иди и учись» – именно это и было главным во всем деле. Так и жил бы я в уверенности, что знаю самый известный отрывок полностью, но что-то мешало. Ведь все, что я знал об иудаизме, подсказывало, что не стал бы Старый Гилель вот так запросто толковать с чужеземцем-гоем о сокровенных вещах. Не стал бы даже ради удовольствия дать наглецу банальный совет «учиться, учиться и учиться». И я открыл соответствующий том Талмуда¹. Сквозь дебри трудностей арамейского текста добрался до интересующего меня отрывка. Все было верно. И «не желай другому...», и всегда актуальный совет *вэ'идах зиль у'гмор* («а дальше, иди и учись»). Сюрприз ожидал меня не в конце, как водится, а в начале. Потому что чужеземец-то оказался и не чужеземцем вовсе. Пока он стоял на одной ноге, Гилель не только объяснил ему сокровенный смысл Торы, но сначала принял его в ев-

¹ Масехет Шабат 31а.

рейство. Без очереди, без унижительного допроса в раввинатской комиссии, без нудного курса по гиюру, без длящейся годами бюрократической волокиты, без подарка, а то и откровенной взятки раввину. Принял без требований, чтобы жена разделила холодильник на мясной и молочный отделы, носила чулки и парик, чтобы русская теща зажигала свечи в канун субботы. Без всего того, через что надо пройти в современном Израиле, чтобы вступить в иудейскую общность. Оказалось, все эти освященные многочисленными гербовыми печатями правила не обязательны, а то и вовсе не имеют к иудейскому закону и Талмуду никакого отношения.



משל למטרונה שהיתה מהלכת, ה'ין מכאן וה'ין מכאן, והיא באמצע, כך התורה ד'ין מלפניה וד'ין מאחוריה והיא באמצע.

Приведенный выше текст почти любой израильский школьник определенно прочтет «Притча о подгулявшей матроне. Член у нее спереди, и член сзади, а она посередине. Так и Тора – обычай у нее спереди, обычай у нее сзади, а она посередине». Фраза эта из Талмуда, из трактата «Шмот Раба», толкующего Книгу Имена (по-русски – Книга Исхода). Трудно представить, чтобы такое было произнесено в синагоге, в школьном классе или на ученом диспуте в йешиве. Очевидно, рабби произнес это в кругу друзей за накрытым столом в тени виноградника, сопровождая философствование обильным возлиянием доброго палестинского вина. Кстати, мудреное слово *йешива* происходит от простого еврейского слова «сидеть» и лучше всего перевести его словом «посиделки».

Мы немного слукавили, потому что слово *зайн* стало означать мужской член сравнительно недавно, а в старину значило «меч». И традиционное религиозное толкование аллегории про подгулявшую матрону – меч у нее спереди, и меч сзади, и так и Тора – закон у нее спереди и закон сзади. Тем более что «зайн» (*зин*) не только рифмуется со словом «суд» (*дин*), но и для говоривших по-арамейски талмудических мудрецов-рабби слова эти звучали одинаково². Религиозные толковники традиционно приводят эту фразу как аллгорию еврейского закона и неизбежного суда. Однако они тоже лукавят. Что это за матрона, разгуливающая с двумя мечами, словно самурай какой? В самом древнем значении *зайн* – подвеска или вообще что-то болтающееся, будь то меч или что другое. И это значение тоже сохранилось в современном иврите, когда речь идет об особом стиле письма «с подвесками» – *ктив мезуян*, – как на приведенной выше иллюстрации. Шрифт этот применяется писцами для священных текстов и амулетов. Ведь по древнему еврейскому поверью, Бог дал еврейским буквам короны – *тагим*, или *ктарим*.



² Древнееврейский «д» (*далет*) соответствует арамейскому «з» (*зайн*). Оба они в начале слова произносились как украинский звук «дз».

У евреев день начинается с вечера. Тогда в Стране Израиля спадает дневная жара над холмами, и народ высыпает в дворики – приносят разную снедь, разводят огонь в жаровнях, кладут на угли мясо и овощи, достают вино и пиво, рассаживаются за столами и, главное, заводят беседы обо всем на свете. Мы не сильно погрешим против истины, если скажем, что начинался Талмуд на посиделках. Если что и изменилось за тысячелетия, то лишь в деталях. В старину за столами не сидели, а возлежали, иногда собирались не во дворах, а на плоских крышах, как это и теперь кое-где еще заведено у палестинских крестьян. Деревни и городки стояли близко друг от друга, и запахи жарящегося мяса далеко разносились повсюду. Язычники верили, что убаглотворяют богов запахом жаркого, а себе оставляли мясо. Евреи, христиане и мусульмане, хоть и монотеисты, а все же мелких духов продолжают убагловать запахами и всякими угощениями. Как тогда, так и сегодня по вечерам легкие дымки из мангалов далеко разносятся над городами и весями Земли Израиля.

Так было в библейские времена, когда у евреев были свои царства, так было и во времена Талмуда, когда евреи жили под римским владычеством. Театр военных действий тогда разворачивался на узкой полосе в 10–12 километров, войны и нашествия затрагивали в основном города. Те, кто жил вдалеке от Дороги народов из Египта в Малую Азию и обратно, мог и не заметить мировых катаклизмов. Талмуд ничего не рассказывает о том, как в те времена происходили посиделки мудрецов и их учеников, как выглядела йешива.

Мудрецов и учителей Талмуда зовут рабби. Рабби – это скорее мастер, как японский сэнсэй. Сегодня раввин, рав – просто знаток еврейского закона. Ребе – хасидский лидер, а еще учитель в начальной школе. Светские евреи тоже свели роль рабби к роли служителя культа, предоставляющего ритуальные услуги. Вероятно, лишь в идише сохранилось гордое *рэб ид* – «Господин Еврей» – знак высшей формы уважения, которое могли оказать человеку. Титул «рабби» появился задолго до Талмуда. Знаем мы об этом из Нового Завета. «Рабби, рабби!» – кричал народ Иисусу Назаретянину³.

Кем они были, наши мудрецы? Как правило, простолюдинами. Правда, о себе они любили рассказывать как о потомках и прямых наследниках духовных лидеров еврейства, по крайней мере, влиятельной партии фарисеев. На самом деле фарисеями во времена Иерусалимского храма руководили жрецы-*козны* и чиновники-*софрим*. И почти никто из мудрецов не был из жреческого рода. Интересно, что как раз Иисус или Павел – несомненные фарисеи, с гневом, а то и ненавистью критиковавшие фарисейство. Хотя и не отрицали достоинств самих фарисеев: «Истинно говорю я вам. Если своей праведностью не превзойдете книжников и фарисеев, не войдете в Царство небесное»⁴. Зато родившиеся через 100–200 лет после

³ Например, Матф. 23:7.

⁴ Матф. 5:20.

краха Иудейского царства рабби, в глаза не видевшие живых фарисеев, считали за честь быть наследниками фарисейства.

Некоторые рабби вели свой род от царя Давида. Так ли это на самом деле, трудно сказать. Все документы и родословные сгорели в огне катастроф, причиной которых зачастую были иудейские войны и восстания. Памятуя о многолюдных гаремах и любвеобилии иудейских царей, потомки царя Давида должны были составлять значительную часть населения тогдашней Иудеи и встречались во всех слоях общества. В страстной полемике против христианства никто из талмудических мудрецов, однако, не усомнился, что сын простого плотника Иосифа из Назарета мог быть из дома Давидова. Есть мишна, где рабби Абей прямо говорит, что Иисус *мекурав ле малхут* («царского рода»).

Время составления Талмуда наступило позже, после войн и катастроф, когда настал мир и относительное благополучие. Старые сословия теряли значение, и, как в детской считалке, «на одном крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...» Однако когда выбирали главу мудрецов в Явне, то все же отдали предпочтение рабби Элизеру из знатного рода, а не самому великому мудрецу и герою рабби Акиве, простому пастуху в прошлом. «Сидел рабби Акива, горевал и говорил: "Не потому, что он сын Торы больше, чем я, а потому, что он сын людей, более знатных, чем я"»⁵. Хотя в другом месте мудрецы задались вопросом: а почему был создан всего один человек? «А потому, – отвечают они, – чтобы мир поддержать между людьми, чтобы не смогли сказать друг другу, что мой отец был лучше твоего»⁶.

Первые мудрецы (называемые *танаи*), заложившие основы Талмуда, жили в маленьких местечках – Явне, Бейт-Джибрин, Уша, Бейт-Шеарим – вдали от тогдашних больших городов. Мудрецы наши любили представлять себя как лидеров общин. На самом деле первые знатоки Талмуда были ремесленниками, крестьянами, плотниками, кузнецами, пастухами, угольщиками, рыбаками. Многие из них были прозелитами-герами, занимавшими самую низкую ступень в тогдашнем еврейском обществе. Относятся к пришельцам в Талмуде по-разному. Как и в жизни. Иногда опускают на самый низ – «Даже в десятом поколении не войти прозелиту в состав Израиля... Почему Тора 36 раз предупреждает против прозелита? Потому, что сущность его зла и есть основание подозревать, что он может вернуться к прежним привычкам»⁷. И в то же время рабби Йоси учил, что прозелит подобен новорожденному⁸. Многие самые видные мудрецы наши были прозелитами – как рабби Шмайя и Авталион – и пользовались большим уважением, чем первосвященник Иерусалимского храма. Мудре-

⁵ Иерусал. Брахот 1:7d.

⁶ Мишн. Санхедрин 4е.

⁷ Баба Батра 59b.

⁸ Йебамот, 48b.

цы охотно принимали прозелитов в свою среду, однако при этом им, очевидно, и в голову не приходило протестовать против неравенства в обществе. Величайшие герои первых поколений Мишны рабби Акива и рабби Меир были потомками прозелитов⁹. Зато, пресытившись излишним пылом скороспелых прозелитов, считающих, как и сегодня, что чем более ты крайний, чем более экстремистский, тем более еврейский, уверенных в том, что обладают единственно правильным пониманием всей сложности мира, и спешащих учить прежде, чем выучились сами, мудрецы изрекали: «Прозелит, словно парша на голове Израиля»¹⁰.

Рабби не имел никакой реальной власти за пределами своей школы, своего двора. Да и трудно себе представить, чтобы люди, будучи при власти, поучали бы: «Люби труд и ненавидь власть»¹¹. Еврейскими общинами в то время заправляли не рабби, а наследственные аристократы-*парнасы*. «Закон для всех парнасов, что им наследуют дети»¹², и в Талмуде ничего не говорится о том, что кто-нибудь из танаев-мудрецов был при власти. В синагогах было свое руководство – старосты-габаи и хазаны¹³, архонты¹⁴, архисинагоги и пресвитеры, даже архисинагогессы и пресвитерессы. Все эти титулы археологи нашли на стенах древних синагог в Стране Израиля. Тогда, как и теперь, еврейские жертвователи любили увековечивать свои имена на стенах синагог. Вот только имя рабби там если и встречается, то в списке прихожан-жертвователей, но никогда в качестве руководителей. Богачами рабби тоже не были. Рассказами о потрясающей бедности некоторых рабби полон Талмуд. Слова рабби Йоханана бен Закая «Если Израиль выполняет волю Творца, то работают за него другие» для большинства из них оставались прекрасной мечтой. «Каждый день вещает Глас с горы Синайской, говоря: "Весь мир кормится благодаря моему сыну [рабби] Ханине, который от одной субботы до другой ест лишь пригоршни стручков харуба"»¹⁵. Ниже мы расскажем, что у великого рабби Ханины часто не находилось средств, чтобы справить субботу. Плодами харуба (рожкового дерева) и тогда, и сегодня кормят скот. Стручками харуба, диким медом и саранчой питался и другой знаменитый рабби – Иоанн Креститель.

Рабби Йегошуа бен Ханания говорил, что лишь богатый может быть судьей, потому что ему не надо заботиться о пропитании. Сам рабби Йегошуа зарабатывал на жизнь изготовлением швейных иголок. В Талмуде много рассказывается о том, как судили да ряздили наши мудрецы. Только все их судейство сводилось к мелкому арбитражу. Большинство судебных дел

⁹ Гитин, 57б.

¹⁰ Кидушин 84 и Йебамот 47б.

¹¹ Масех. Авот 1:10.

¹² Сифре эль Сефер Дварим.

¹³ Канторы, ведущие службу.

¹⁴ Старейшины (*греч.*).

¹⁵ Брахот.

в Талмуде касается брака, ритуальной чистоты, кошерной пищи. Очень редко там встречаются сведения о решении имущественных конфликтов, улаживании споров между соседями, а тем более об уголовных делах. Мнения мудрецов, вероятно, были авторитетными, но вовсе не обязательными к исполнению. Лишь позже мудрецы (их уже зовут амораями) достигли политической и судебной власти и сами стали наследственной аристократией со своей челядью, охраной и прислужниками, с репрессивным аппаратом и системой принуждения. «Реш-Лахиш сказал: "Если *Наси*¹⁶ согрешил, то бить его палками в суде по приговору трех [рабби]". "Вернуть к выполнению обязанностей?" – сказал рабби Хагай: "Не вернем его"». Тут бы, казалось, следует привести цитату из Торы с мудрым аргументом, однако у рабби Хагая более жизненное объяснение: «Не вернем, потому, что убьет их [своих судей]». Как говорится: «таки да»... Власть, богатство не только развратили наследников *Наси*, но, в конце концов, положили конец и талмудической мудрости в Земле Израиля. Мудрость редко передается по наследству.



Далекость мудрецов от разлагающего влияния политики и власти, денег и богатства, даже от мировой истории не помешала, а как раз помогла им создать замечательный свод, определивший пассионарность и мудрость еврейского народа на тысячелетия, самую суть еврейства – Талмуд. Больше всего наши рабби эпохи Мишны со своими учениками напоминают современные им эллинские философские школы. Такие же неформальные, далекие от политических побуждений, а потому свободные в полете мысли и фантазии. Большую часть времени мудрецы Талмуда посвящали обсуждению дел и правил, которые уже в их время утратили актуальность – например, богослужения в Иерусалимском храме, разрушенном за 100 лет до рождения самого старого из них. Много времени мудрецы посвящали обсуждению обязанностей еврейского царя, хотя никакого царства давно уже не существовало. Разумеется, все они верили в неизбежный приход Мессии, который восстановит во всей своей красе Храм и царство во главе с наследником дома Давидова. Однако все они еще помнили безумное восстание под водительством лжемессии Бар-Кохбы, поставившее под угрозу само существование еврейского народа. Сначала рабби поддерживали мессианское движение, но быстро поняли, что «это не то», и Бар-Кохбу переименовали в Бар-Козива – сына лжи. Помнили рабби сгоревшее в огне Иудейское царство, страшные грехи zelotствующих военных вождей, осквернение Храма Бар-Гиорой, помнили террор на улицах Иерусалима, когда сектанты-бирьоним убивали всех неугодных. Мудрецы уже знали,

¹⁶ Князь, патриарх – титул, который носил редактор окончательной версии Мишны рабби Йегуда а-Наси, а позже его потомки.

что еврейские войны – это гражданские войны, а мессианские войны кончаются битвой всех против всех. Наученные опытом, мудрецы Талмуда искренне верили, что Мессия придет, однако Йоханан бен Закай учил: «Если у тебя в руке росток, а ты услышишь о приходе Мессии, сперва посади росток, а потом иди за Мессией». Рабби Йоханан бен Тотта говорил рабби Акиве, восторженно поддерживавшему восстание Бар-Кохбы: «Трава прорастет меж твоими костями, а Мессия еще не придет»¹⁷. Хотя, как всегда, в Талмуде есть и диаметрально противоположные мнения.

Цель рассуждений мудрецов заключалась прежде всего в любви к рассуждению, в философии, что буквально значит любомудрие. Хотя слово это они страшно не любили, как и все эллинское, считая поганым, мерзким, развратным и непопозволенным еврею. Чтобы отличаться от эллинов и христиан, мудрецы Талмуда старались представить свои рассуждения как решение конкретных вопросов. Они всей душой отрицали «что нет ни эллина, ни иудея» и хорошо понимали, что эллины, как и иудеи, будут всегда, и надо строго разделять между евреями и другими народами. На деле же даже в самом Талмуде, особенно в Иерусалимском, много греческих слов – что около 2500 только из литературного греческого, а еще огромное количество слов из греческих диалектов Восточного Средиземноморья. О степени распространения эллинской культуры среди евреев можно судить хотя бы по тому, что из обнаруженных в Яффо еврейских надписей 60 написаны на древнегреческом, и лишь шесть на арамейском или древнееврейском языке. Из греческого языка пришли в древнееврейский, а затем и в иврит наиболее распространенные слова – такие, как «воздух», «население», «гостиница», «опекун», «база», «портрет», «жарить», «вежливость», «знак», «впитать» или «умиротворить», «пара». В Иерусалимском Талмуде встречаются даже целые тексты, написанные по-гречески. Например, известное положение о том, что *базилиос ономус аграфус* («закон царю не писан»), и даже фрагменты молитвы о дожде. Основные предметы быта, пища, одежда часто называются греческими словами. В Талмуде полно свидетельств широкого распространения греческого языка среди евреев. «В Стране Израиля повседневные языки – святой язык (древнееврейский) и греческий»¹⁸. В Бейт-Шеарим, где похоронен сам рабби Йегуда а-Наси и его семья, найдено большое количество греческих надписей, в том числе в синагоге. В расположенной неподалеку Кейсарии евреи читали по-гречески даже молитву *Шма* («Слушай Израиль»). Такое не принято даже в наиболее американизированных реформистских синагогах.

Однако анализ талмудических эллинизмов показывает, что мудрецы если и знали греческий язык, то поверхностно, греческой литературы они не читали. В талмудических эллинизмах полно ошибок, а то и вовсе некоторые слова используются без понимания их смысла.

¹⁷ Таанит 4:8, 68d.

¹⁸ Баба Кама, 83a.

Про язык Талмуда написаны целые тома. Талмуд отличает удивительное разноречие – Мишна и барайты¹⁹ написаны на особом древнееврейском языке, очень отличающемся от библейского, на котором, вероятно, в то время еще разговаривали в Иудее, несмотря на повсеместное распространение арамейского и греческого. Цитаты из Торы – на «высоком» классическом древнееврейском. Диспуты и диалоги – по-арамейски. Язык построения доводов – тоже арамейский, но совсем особый, абстрактный, сугубо терминологический, больше напоминающий язык древнегреческих логиков. Хотя логические методы и система аргументации в Талмуде совсем иные, чем у эллинов. Вместе с тем, Талмуд полон живого народного остроумия, шуток, парадоксов, питающих еврейский гений веками.



Талмуд разбит на трактаты, главы и листы, сложностью своей пугающие непосвященного. Современные толковники любят представлять его как непротиворечивый свод единого еврейского закона, полученного еще Моисеем на горе Синай вместе с Писанием – Торой. По сути же, Талмуд состоит из двух неравных частей: самой древней и меньшей Мишны – записи бесед первых мудрецов-танаев, считающихся боговдохновенными и не подлежащими критике, и огромному компендиуму комментариев Гмары – толкований и разъяснений, написанных позднее и по большей части за пределами Земли Израиля. Талмуд, в широком понимании слова, – это весь комплекс еврейской учености, накопленный за два тысячелетия и в принципе не законченный до сих пор. Это открытый канон, допускающий огромный полет фантазии в рамках канона, зато накладывающий жесточайшие ограничения в комментариях. В отличие от закрытого христианского канона, разрешающего большую свободу комментария, иудейский канон – открытый, и каждый комментатор понимал, какая на нем ответственность. Ведь его труду предстояло либо попасть в канон, либо исчезнуть. Основой всего этого стали беседы наших мудрецов – где-то начиная с 180 года н. э.

В современных йешивах с гордостью заявляют: «Мы интересуемся тем, что говорили наши мудрецы, а так называемая наука интересуется, как они были одеты, что ели и пили». Так что вольно нам предположить, что тогдашние мудрецы собирались за столом и во время обильного и вкусного ужина толковали обо всем на свете – о жизни, о делах, о вечности, о Боге, о Его учении – Торе. Тору мудрецы воспринимали особым образом – не как нечто, написанное про прошлые времена, а данное им как наставление в повседневной жизни. Они читали Тору, как газету²⁰, так же как газету, толковали ее, кроили и перекраивали, кромсали и обрезали. Мудрецы отлично сознавали, что делают. Рабби Ишмаэль говорит рабби Элиэзеру: «Ты

¹⁹ Истории, не вошедшие по каким-то причинам в свод Талмуда.

²⁰ Высказывание р. Дж. Нюснера.

[смеешь] говорить Торе: "Молчи, пока я тебе растолкую?"»²¹ Из 523 глав Мишны лишь в одной нет дискуссии по жизненно важным *галахот*. Слово *Галаха* сегодня чаще переводят, как еврейское каноническое законодательство, буквально же оно значит прямой путь, единственный для решения вопроса. В Талмуде, как в многомерной жизни, путей-*галахот* много. Они часто ведут в разные стороны, причудливо переплетаются, а порой изобилуют парадоксами. Нельзя сказать, что «Талмуд говорит» или «Талмуд велит». Перефразируя известную пословицу, можно утверждать: «Скажи, что ты берешь из Талмуда, и я скажу, кто ты». Если есть классический образец деконструкции, так это именно еврейский способ толкования Торы.

Тору принято называть «святой». Считается, что нельзя вносить в Тору изменения, нельзя делать заметки, подчеркивать в тексте, сворачивать и даже водить пальцем по строчкам. Шкаф с Торой называется святым. Его открывают с особым благословением, и даже работа писца (*софер стам*) считается священнодействием. Вместе с тем весь Талмуд – это удивительное перекраивание Торы вдоль и поперек, замечательный пример того, как уберечь традицию от окостенения, а народ от фундаментализма²². В Талмуде есть замечательный ответ рабби, застигнутого за изучением Гмары во время публичного чтения Торы: «Мы занимаемся своим делом, а они занимаются своим».

Мудрецов не интересовала история. Они были заняты вечностью²³. Если же они брали примеры из прошлого, то лишь для подтверждения своих взглядов и заключений. Если они не останавливались перед переделкой Торы, то вольно им было перекраивать и историю. Все это создало совершенно особую концепцию еврейского временного континуума, где не говорят, что «царь Давид делал», а «рабби Акива говорил», а всегда пользуются настоящим временем, подчеркивающим непрерывный диалог сквозь тысячелетия еврейской истории. Без понимания этого невозможно постичь еврейское самоощущение, еврейский образ мыслей, еврейские заботы, даже анекдотическое свойство в каждом споре вместо аргументов заводить рассказ обо всей длинной истории еврейского изгнания.

В отличие от современных толковников, мудрецы Талмуда как раз весьма интересовались, как были одеты их герои. Книга Бытия рассказывает, как праотец Яков сделал цветные одежды для своего любимца Иосифа, а завистливые братья отобрали эти одежды. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем»²⁴. Мудрецам интересно все. «Сняли с Иосифа что? *Пинес*? Его одежда – это *халук*? Полосатое платье – это *паргод*? Которая на нем – это *палманай*?»²⁵ Все это предметы старинного эллинского туалета: накидка с

²¹ Сифра, Цриа Негаим, 13.

²² Фраза проф. Джуды Голдина.

²³ Фраза р. Дж. Ньюснера.

²⁴ Бытие 37:23.

²⁵ Берешит Раба.

капюшоном, вроде *талита*, называемая *панэмон*, *хитон* или *туника*, короткий полосатый плащ *парагуда* и, наконец, *феминариа* – короткие штаны, тоже с полосками. Вряд ли мудрецы намерено рядили Иосифа в греческие вещи. Скорее всего, они сами это носили, мало отличаясь от соседей – эллинов. Иосиф Прекрасный присутствует, впрочем, не только в ученых диспутах. Рабби Йоханан любил наблюдать, как женщины выходили из купальни. «Когда женщины выходят, – говаривал он, – то пускай смотрят на меня и родят сыновей, таких же умных и красивых, как я». Спросили его мудрецы, не боится ли он соблазна. – «Я потомок Иосифа, и соблазны меня не берут».

Мудрецы толковали обо всем: о том, что некогда ели и пили, как спали, как занимались любовью, даже о том, как здорово вовремя опорожнять желудок. Удивительно цельное восприятие мира и жизни в нем, понимание, что у каждого своя правда, а истина лишь на небесах, тысячелетиями питали огромный творческий потенциал еврейства, создали не миф и не сказку, а цельную программу действий, на века определившую судьбу еврейского народа. «И те, другие – живые, слова Бога», – подвели как-то мудрецы итог ожесточенной мировоззренческой дискуссии и, решая парадокс расширением рамок определения, спокойно свели воедино противоположные явления. И совсем уже нестрогий и «негалахический» закон, о котором не любят вспоминать современные иудейские авторитеты: «Запрет не может налагаться, если большинство в общине не может его выполнить»²⁶.



За накрытым столом компромисс достигается легче, чем в жаркой дискуссии, где стоят стенка на стенку. В отличие от греческих философов, порой пытавшихся решать мировоззренческие проблемы кулаками, палками и ножами. Как и вообще в жизни.

За чашей вина решались самые разные вопросы. Вот, например, о лингвистике. «Спросил рабби Аси у рабби Йоханана: "Вино, которое сделал звездопоклонник²⁷, аки сие возлить?" Отвечал рабби Йоханан: "Спроси обычным языком: "Налить". И сказал ему [р. Аси]: "Я говорю, как в Писании"²⁸. И сказал ему рабби Йоханан: "Так говорит Писание, язык Торы сам по себе, а язык мудрецов – сам по себе. И нельзя смешивать"»²⁹. В то же время весь Талмуд – смешение всего на свете, телесного и духовного, материального и божественного, небесного и земного, серьезного и юмористического. «Ой человеку, столкнувшемуся с ослом. И ой ослу, столкнувшемуся с рабби Ханина бен Доса»³⁰.

²⁶ Баба Кама 79b.

²⁷ Нееврей, гой.

²⁸ Притчи 9:2

²⁹ Авода зара 58b.

³⁰ Брахот 33, 1.

О чем они толковали? О жизни, о вечности, о законе. Вот известное из всех хрестоматий выражение: «Три вещи расширяют душу человека, и вот они – хорошее жилье, хорошая жена и хорошие инструменты». Однако идет оно в обрамлении других афоризмов-«троек». Изрекли мудрецы, что три вещи входят в тело, но тело не наслаждается – вишня, плохой инжир и инжир незрелый. Ладно, хотя и не совсем понятно, зачем это, если верить современным толковникам, что каждое слово в Талмуде исключительно важно для постижения еврейского закона. Дальше о том, что не входит в тело, но доставляет наслаждение – омовение, умащивание (благовонным маслом) и *ташмиш* – «нужда, пользование», а в данном случае «семязвержение». Действительно, не входят в тело ни омовение, ни благовонные масла, ни сперма (в тело мужчины, разумеется). И дальше, несомненно, застольное: «Три вещи напоминают о грядущем мире [рае]. И вот они: *шабат*, *шемеш* и *ташмиш* – суббота, солнце и ...опять *ташмиш*». А здесь что? Ладно – суббота, Господен день – понятно. Солнце – тоже можно понять, а семязвержение, половой акт да еще в корневую рифму со всем остальным – *шемеш-ташмиш*? Исходя из современного религиозного опыта, даже разговоры о сексе ведут к греху. Секс и рай несовместимы. В раю якобы исключительно учат Тору и поют осанну. Мудрецов разговоры о сексе не смущают. Поздних комментаторов больше волнует, что они не могут понять, что имели в виду их предшественники. *Ташмиш д'маи*? *Илмала ташмиш мита а-макхэи кхиш* («Если это "пользование постели" [половой акт], то это [человека] ослабляет»). Именно слабость, а не секс кажется мудрецам несвойственной раю. И поздние мудрецы разрешают проблему: *ташмиш неквим*, буквально «нужда из дырок», то есть облегчение желудка и мочевого пузыря. Вот что вместе с солнцем и шабатом и есть лучшее напоминание о чудесах грядущего мира. Такое удивительное смешение будничного, житейского с вышним, божественным пронизывает всю Мишну.

«Сказал рабби Йегуда: "Три вещи продлевают дни и годы человека: кто не спешит заканчивать молитву, кто не спешит вставать из-за стола и кто не спешит, сидя... в "доме со стулом" (так называет Талмуд туалет)». Лишь затем идет знаменитая фраза: «Три вещи удовлетворяют душу человеческую, и вот они: голос, вид и запах»³¹. Или вот еще одна известная «тройка»: «Три вещи, которые человек делает в этом мире, а пользуется ими в мире будущем: почитание отца и матери, забота о близких и установление мира между людьми»³².

Несмотря на известную склонность наших мудрецов выстраивать вещи по три, есть в Талмуде и четверки, и пятерки: «Эти четыре все равно, что мертвые: бедняк, прокаженный, слепой и бездетный»³³. Отсюда еврейская поговорка *Они хойшув ке мейс* («Бедняк так же важен, как труп») – *бейде*

³¹ Брахот 57, 72.

³² Мас. Пеа 1:1.

³³ Недорим 64b.

лоц мен ин штуб он а шоймер («оба никуда не уходят, потому что их дом никто не будет сторожить»).



Вот так, на посиделках вокруг стола в домах учения (*бейт а-мидраш*³⁴), по всей Стране Израиля сидели и толковали рабби и их ученики, ели, пили пиво или вино, рассказывали друг другу удивительные истории обо всем на свете, не боялись задавать самые острые вопросы, даже обсуждать мотивы поведения самого Господа. Удивителен мир, в котором они жили. За столом мог запросто оказаться «известный старик», под которым подразумевали Илью-пророка, Божьего посланца. Иногда он подтверждал сказанное, иногда участвовал в дискуссиях, иногда творил чудеса, иногда приходил неузнанным. Так грозный языческий бог-громовик Илья, или по-еврейски Элияху а-Нави, постепенно превращался в сказочного коробейника, кочующего с товаром из местечка в местечко, помогающего евреям в ожидании своего часа, чтобы провозгласить приход Мессии.

«Известный старик» иногда показывает и другое лицо. В трактате «Баба Меция» рассказывается о том, как однажды, во время поста, объявленного, чтобы просить Бога о дожде, явился в синагогу рабби Хия, слышший известным чудотворцем. Он взялся провозгласить ритуальные «восемнадцать благословений». «Он заставляет ветры дуть, – начал рабби, и тут же поднялся сильный ветер. – И Он заставляет дождь лить», – прогремел рабби, и тут же в подтверждение его слов разразился сильнейший ливень. Дальше по тексту шло: «И Он воскрешает из мертвых», и на небесах пришли в тихое замешательство, потому что мертвые могли бы восстать раньше времени, до запланированного прихода Мессии. Сам Господь пожелал знать, кто сообщил человечеству такие великие мистические тайны. «Пророк Илия (или по-еврейски Элияху а-Нави)», – тут же доложили испуганные ангелы. И вот тогда-то Господь напустил на своего любимого пророка, взятого живьем на небеса, шестьдесят огненных бичей – *тульса де нура*. И пророк Илья мигом скатился на землю и побежал. По словам Талмуда, он выглядел «как обгоревший медведь». В самую последнюю минуту пророк Илья таки успел выгнать рабби Хия из синагоги, чтобы не допустить нарушения Божественного плана. Вот отсюда и ведет начало легендарное проклятие, которое какие-то zelotствующиe³⁵ шуты в последнее время повадились насыпать на израильских политиков.



Иногда к столу мудрецов подсаживались самые неожиданные пришельцы. Мидраш рассказывает, как подошел к столу сам пророк Моисей. Впро-

³⁴ Букв. «дом толкований» (*арам.*).

³⁵ Зелоты – ревностные экстремистские секты времен Иудейских войн I–II в. н. э.

чем, началось все, когда мудрецы задались вопросом, а почему Моисей задержался на горе Синайской, куда отправился за Торой? Почему провел там так много времени, что народ отступил от Бога и решил даже воздвигнуть себе идола – Золотого тельца? Что делал Моисей на горе? Не находя ответа в Торе, они спокойно дописывали недостающие сюжеты. Этот жанр называется мидраш и существует до сего дня.

Говорил рабби Йегуда со слов Рава, что поднялся Моисей на Синай. «И нашел Господа, благословенно Имя Его, навязывающего короны на буквы [Торы]. И сказал ему Моисей: "Владыка Мира, кто задерживает твою руку [кому ты это делаешь]?" И сказал ему: "Есть человек один, которому суждено это в конце нескольких поколений. Имя его Акива бен Йосеф. И ему суждено истолковать все галахот, букву в букву, точку в точку". И сказал [Моисей]: "Владыка Мира, покажи мне". И сказал ему: "Обернись вокруг себя". И пошел и сел в конце, в восьмом ряду [в доме, где учил рабби Акива]. И не понимал, о чем говорят. Оставили силы его [устал от усилий понять, о чем там толкуют, и не понял ни слова]. Учил [Акива], а ученики спросили его: "Рабби, откуда это?" И ответил: "Галаха от Моисея из Синая". И успокоился Моисей, услышав, что [рабби Акива] ссылается на его слова. Оборотился он и вновь явился перед Господом, Благословенно Имя Его. И сказал: "Владыка Мира, есть у тебя такой человек, а ты даешь Тору мне?" И сказал ему: "Молчи! Так пришло в мои мысли". И сказал: "Владыка Мира, ты показал мне его учение [Тору], покажи мне его вознаграждение". И сказал ему: "Обернись". И обернулся Моисей вокруг себя и увидел, как взвешивают мясо на бойне. И сказал: "Владыка Мира, это ли учение, это ли вознаграждение?" И сказал ему: "Молчи! Так пришло в мои мысли"»³⁶.

В этом мидраше заключена сложная символика. Здесь и объяснение отказа Моисея возглавить народ, потому, что есть лучшие, чем он, и формы букв, у которых по традиции есть короны (*ктив мезуян*). Дальше речь пойдет о шипах на буквах, по традиции называемых *коцим*. Великий средневековый раввин Рабейну Там объяснил, что шип – это кончик, похожий на букву *юд*, самую маленькую в еврейском алфавите. Здесь и уверенность мудрецов, что, даже приди Моисей, он не узнает своего учения, полученного на Синае. Это совершенно в духе современной фантастики, здесь есть путешествие во времени, причем Моисей идет назад, чтобы встретить Акиву, живущего в будущем. Здесь и убеждение, что Тора – это не автоматическая зубрежка учения из поколения в поколение, а творческий процесс, и каждый имеет шанс понять и заново истолковать эти самые точки и буквы, каждый может определить *галахот*. Все это сильно отличается от созданного для собственного употребления современного иудейского мифа о неизменности учения в веках, с самого Синайского откровения. Акива говорит вещи, которых нет в «Торе с Синая», которые Моисей не понимает. И тут ученик спрашивает: «Откуда все это?» И Акива отвечает: «Из Торы Моисея с Си-

³⁶ Мидр. Бабли Менухот 109, 72.

ная», – то есть не записанные, а переданные из поколения в поколения слова Моисея, о которых сам Моисей не имеет представления. Как такое может быть, если Моисей получил учение, а не понимает, о чем речь? Почему-то Моисей не возмущается, не сомневается, а, наоборот, успокаивается, услышав свое имя. И позже, еще более странный ответ Бога, как будто взятый из учения гностиков. Как будто над богом-Демидургом, богом-Творцом есть еще высшая сила. И в конце, когда Моисей спрашивает о вознаграждении праведного и великого, то Бог показывает ему разрезанное мясо. Слушателям рабби Йегуды была хорошо известна мученическая смерть рабби Акивы. Римляне поймали его, пытали и казнили, а позже расчленили его тело. И здесь уже Бог выявляется не в коронах, как увидел его Моисей, а в шипах, в муках. Здесь присутствует мироощущение, разбивающее привычные схемы современного нормативного иудаизма о личной ответственности, о награде за хорошие поступки и наказании за дурные. Впрочем, евреи, вероятно, из-за ассоциации с христианством, тщательно избегают слова «мученик», заменяя его «погибший за освящение Имени Божьего».

Мудрецы знали, что даже тогда, когда идешь на жертвенную смерть, когда отдаешь Богу самое дорогое, надо слушать Бога в себе. Однажды толкуя о жертвоприношении Исаака, они добавили туда, что Бог велел Аврааму остановиться. Авраам не услышал, продолжает мидраш, и тогда Бог снова позвал Авраама. Но, оглушенный горем и чувством долга, Авраам опять не услышал. Лишь тогда пришлось заменить его сына овном. И это урок тем, кто свято уверен, что исполняет волю самого Господа. Даже следуя Его воле, нельзя терять здравого рассудка и умения слышать.



Одна из историй³⁷ рассказывает о том, что до сорока лет без одного года рабби Акива вовсе не учился. Однажды, стоя над источником, он увидел камень и спросил себя, откуда взялись трещины на камне. И ответил, что это вода, льющаяся здесь все время. И подумал Акива: «А разве мое сердце тверже камня? Если вода смогла выщербить камень, усеяв его трещинами, то Тора обязательно оставит следы на моем сердце». Так и сделал. Взял своего сына, и вместе они пошли учиться. Так начался жизненный подвиг величайшего мудреца первой эпохи Мишны. Сегодня в Израиле есть даже школа по изучению иврита, названная в его честь – «Ульпан Акива».

Рабби Акива – великий герой Мишны. Однако и с ним мудрецы не соглашались, спорят, подвергают сомнению его слова и дела. Известно постановление Акивы, что можно развестись с женой, если найдешь себе более приятную и подходящую. Это постановление – объект постоянной критики³⁸. Сам рабби Акива имел нескольких жен, внебрачные связи, среди них с рим-

³⁷ Сефер авот ди рабби Натан, ч. 7.

³⁸ Мишна, конец Мас. Гитин.

ляжкой Руфиной, отбитой у императорского наместника³⁹. Ей влюбленный Акива обещал Золотой Иерусалим. Именно отсюда название знаменитой песни Наоми Шемер, ставшей неофициальным гимном израильской столицы. Рабби Акива был известен не только как великий законник, но и как заядлый бабник. Есть история о том, как небеса решили предупредить его. Рассказывают, что однажды Акива узрел красивую женщину, сидящую на дереве. Не задумываясь, он вскарабкался к ней, однако вместо красавицы он нашел там беса. Бес заявил рабби, что, не будь на небесах повеления обращаться бережно с великим Акивой, он бы не дал и двух грошей за его жизнь⁴⁰.

При этом, как часто бывает с такими мужчинами, Акива был суров в вопросах супружеской верности. Он требовал сожжения на костре не только замужней женщины, уличенной в неверности, но и обрученной невесты, согрешившей до свадьбы. Рабби Ишмаэль, известный своим гуманным толкованием законов, спорил с Акивой. «Тора говорит языком людей», – учил рабби Ишмаэль. Он не постеснялся выступить против строгости Акивы: «Лишь потому, как ты толкуешь лишний [союз] и в библейском стихе, мы казним дочь сожжением?» Впрочем, в Талмуде есть и про то, как сжигали заподозренных в ведовстве и неверных жен.



Как водится на посиделках, здесь из всего старались вывести правило для всего в жизни. Талмуд тем и замечателен, что раскрывает всю полноту жизни. Мужская компания, даже если это была компания бородатых рабби, не могла обойтись без разговоров о женщинах и о сексе. «Рабби Йоханан бен Дахабай сказал: "Ангел-хранитель сказал мне четыре вещи: "Почему дети [рождаются] хромыми? Потому, что их родители переворачивают стол [занимаются сексом, когда женщина сверху]. Почему немыми? Потому, что человек целует то место. Почему глухими? Потому, что разговаривают, когда делают это. Почему слепыми? Потому, что человек рассматривает *то место*»". Здесь следует отметить еще, что *то место* (*ойсе маком*) – нормативное в Талмуде слово, хотя *ойсе* – «то» употребляется там еще по отношению к «тому человеку», имя которого избегают упоминать, и если упоминают, то лишь с добавлением «да сотрется память его» – Иисусу.

Если же вернуться к сексу, то далеко не все рабби такие строгие. «Рабби Йоханан (тезка строгого рабби. – М. Д.) говорит: "Рабби Йоханан бен Дахабай так сказал. Однако мудрецы учат, что закон не следует воззрениям рабби Йоханана бен Дахабая. Человек может делать все, что хочет со своей женой. Секс с женой – это как мясо от мясника. Если хочешь соленое – соли, жареное – жарь, вареное – вари, печеное – пеки его. И как рыба от рыбака"»⁴¹.

³⁹ Впервые эту тайну открыл каббалист Ари.

⁴⁰ Кидушин 81a.

⁴¹ Недорин 20a-b.

Самый сильный аргумент, конечно, о рыбе, однако вот следующий отрывок: «Сколько времени занимает сексуальный акт? Рабби Ишмаэль сказал: "Столько, сколько надо, чтобы обойти пальмовое дерево". Рабби Элиэзер сказал: "Столько, сколько надо, чтобы смешать воду с чашей вина". Рабби Йегошуа сказал: "Столько, сколько надо, чтобы выпить чашу вина". Рабби Азай сказал: "Столько, сколько надо, чтобы поджарить яйцо". Рабби Акива сказал: "Столько, сколько надо, чтобы проглотить яйцо". Рабби Йегошуа бен Бесейра сказал: "Столько, сколько надо, чтобы проглотить три яйца подряд". Рабби Элазар бен Йирмие сказал: "Столько, сколько надо, чтобы завязать узел". Ханина бен Пинхас сказал: "Столько, сколько надо женщине, чтобы вынуть зубочистку изо рта". Племо сказал: "Столько, сколько надо женщине, чтобы протянуть руку и достать хлеб из корзинки"»⁴². Здесь трудно удержаться, чтобы не вспомнить полузабытую сегодня большевичку и сторонницу свободной любви Александру Коллонтай, заявлявшую, что совершить половой акт – это все равно, что выпить стакан воды. Однако женщин тогда не спрашивали насчет продолжительности сексуального акта, но и в закон не возводили таких высказываний мудрецов. Средневековый комментатор Раши флегматически записал по этому поводу: «Каждый сообщил, сколько времени берет у него». Такую беседу и сегодня можно запросто услышать на посиделках в мужской компании возле бочки с пивом или за столом под водочку.

Рабби Йоханан защищал «миссионерскую позицию» не просто так, а как водится – он опирался на поучения своих наставников. Рабби Элиэзер учил, что сначала (а у евреев любую дискуссию издавна любят вводить к началу всех вещей – от Адама)... так вот, сначала Господь сотворил Адама из земли и запретил ему шесть вещей, а скотоложства не запретил. Адам совокуплялся со всем зверьём, которым он давал имена. Однако не нравилось ему, и Господь создал из его ребра женщину, и она полюбила Адама. Поэтому, повествует мидраш, когда мужчина и женщина занимаются любовью, то мужчина должен обратить взор к земле, так как он создан из земли, а жена – к мужчине, так как создана из ребра его. Рабби Элиэзер отнюдь не чуждался проституток⁴³. Прослышав о том, что какая-нибудь женщина, живущая за тридевять земель, готова продать себя, он, не задумываясь, отправлялся в трудное путешествие. Праведность рабби от этого никак не пострадала, и после смерти его Глас Божий вещал, что Элиэзер удостоился жизни вечной. Это тот самый Элиэзер, что в сексе защищал «миссионерскую позицию». А что делать, если все от Бога? Учил рабби Достай бен Янай, что женщина не волочитя за мужчиной, а мужчина волочитя за женщиной, потому что ищет ребро, которого лишился.

Бывает и более откровенное. «Рабби Йонатан говорил: "Член рабби Ишмаэля – как винный бурдюк объемом в девять кав". Рабби Папа говорил:

⁴² Йебамот 63b.

⁴³ Авода зара 17a.

"Член рабби Йонатана – винный бурдюк объемом в пять кав". А некоторые говорят, что он всего лишь в три кав. "А что с самим рабби Папа?" – спросили мудрецы. – "Его член как огромная амфора"⁴⁴. Как водится, поздние комментаторы знали лучше, чем сами мудрецы, о чем те толковали. Они пытались объяснить, что на самом деле речь тут якобы идет лишь о бицепсах. Однако очень авторитетный богослов XVI века Махарал все же постановил, что речь идет именно «о том самом», однако «несмотря на свою страстность, мудрецы наши, блаженна их память, всегда полностью управляли своими порывами»⁴⁵.

Впрочем, как и всегда в Талмуде, существуют и противоположные мнения. Рабби Йоси говорил, что ни разу в жизни не посмотрел на свой член. Или совсем трогательная история о тучном рабби и его не менее полной жене. На вопрос жены, как же им исполнить заповедь «плодитесь и размножайтесь», рабби воздержался от мудреной цитаты. Он просто сказал жене: «любовь превозможет плоть»⁴⁶, и дальше о том, что полнота – это красиво.

Трактат Таанит⁴⁷ рассказывает, как жена просила рабби Ханину достать поесть накануне субботы. Знаменитый рабби, тот самый, что питался стручками харуба, жил чрезвычайно скудно. Рабби умел лишь молиться и рассуждать о Писании. Он сделал, что умел: помолился, и случилось чудо – ножка стола в его доме стала золотой. Испугался рабби и решил, что золотая ножка стола в этом мире взята от трапезного стола, приготовленного ему в мире грядущем. Взяв ее в этом мире, он лишит себя и свою семью блаженства в мире грядущем. Как и всякий хороший еврей, рабби Ханина посоветовался с женой. Ведь это она просила добыть пропитание. По совету жены рабби попросил Бога забрать золотую ножку и обеспечить тем самым устойчивый, полный трапезный стол в мире грядущем. Учитывая, что стол в Талмуде – символ сексуальной связи мужа с женой, а грядущий мир не совсем рай, а скорее «тот мир», который настанет на свете после прихода Мессии, то рабби с женой понимали жизнь вечную куда шире, чем современные им отцы церкви.

Тот же рабби Ханина считал евреев божественным народом, а поэтому гой, ударивший еврея, обязан умереть: «Ударить еврея равносильно ударить Бога»⁴⁸. Частное мнение прославленного рабби, похоже, не убившего в своей жизни не только ни одного гоя, но и мухи не обидевшего, по понятным причинам никогда не смогло стать законом, зато всегда находило многочисленных сторонников во всех поколениях евреев. Впрочем, взгляд на неевреев как на низших, несовершенных существ никогда не пользовался широкой поддержкой. Не из любви к неевреям. Интеллектуальная чест-

⁴⁴ Баба Меция 84а.

⁴⁵ Цит. по: Баба Меция (Изд-е А. Штейнзальца).

⁴⁶ Баба Меция 84а.

⁴⁷ Таанит 25а.

⁴⁸ Санхедрин 58б.

ность, никогда не изменявшая большинству наших мудрецов, требовала бы признать невообразимое – что Бог мог создать что-то несовершенное.



Дом и семья играли огромную роль в учении мудрецов. Рабби Йоси, тот самый, что никогда не разглядывал свой срам, учил: «Я не зову свою жену женой, а моим домом, и не зову своего вола волом, а своим полем»⁴⁹.

В Талмуде⁵⁰ есть история о том, как сидел рабби Меир и проповедовал в канун субботы. «И была там женщина, которая слушала его. Рабби несколько затянул проповедь, и женщина осталась послушать до конца. Придя домой, она нашла потухшую свечу на пустом столе. Спросил ее муж: "Где ты была?" – "Я сидела и слушала проповедника". И сказал муж: "Так и так [в Талмуде это вроде клятвы, как сегодня бы сказали "клянусь матерью" или "не будь я"], ты не войдешь сюда, пока не пойдешь и не наплюешь в лицо проповеднику!" И закрыл дверь. Сидели они один шабат, и второй, и третий [порознь]. Сказали ей соседки: "Вы сейчас поругались, давай сходим к проповеднику". Увидел их рабби Меир, которому Святой Дух поведал всю правду, и говорит: "Есть среди вас женщина, которая лечит заговором. Пускай заговорит мне сглаз"». Заговор в древности сопровождался плевыми не только у евреев. Интересно, что в другом месте Талмуда сказано, что врачующий заговорами, в частности, лишается места в грядущем мире. Однако продолжим. «Соседки сказали женщине: "Поди, наплюй ему, и будешь снова с мужем". Заклебалась женщина и говорит: "Рабби, не умею я заговаривать сглаз". Отвечал рабби: "Плюнь мне в лицо семь раз, и я выздоровею". Плюнула она, и сказал ей рабби: "Иди и скажи мужу, что ты сказал мне сделать один раз, а я плюнула семь раз"».

История здесь не заканчивается, однако следует пояснить сексуальную символику, скрытую в тексте. Потухшая свеча на столе – будто из песни Аллы Пугачевой, значит, что женщина не зажгла субботних свечей. В Талмуде, вероятнее всего, речь идет о масляном светильнике. Женщина же и есть свеча для еврея. В поздних каббалистических текстах так прямо и сказано. Каббалист рабби Меир Папуш учил: «Каждая женщина – светильник, в который вливается масло мужчины, привлеченного ею». Светильник времен Талмуда – это маленький глиняный сосуд листовидной формы с двумя круглыми отверстиями. В то, что посредине и побольше, заливали масло, а в меньшем, на острой части светильника, горел фитилек. Такие плошки до сих пор можно задешево купить на любом арабском базаре. Известный еврейский мотив «зажги во мне свечу» воспринимался не только в духовном смысле – как обращение к Творцу, но и чисто сексуально. Потухшая свеча, кстати, символ разлуки и в древнегреческой поэзии тоже.

⁴⁹ Шабат 118b.

⁵⁰ Веикра Раба, 9,9.

Пустой стол в шабат значил, что жена не накрыла его, – символ неблагополучия в доме. Более того, стол еще и символ сексуального акта, как в замечании рабби Йоханана бен Дахабай о перевернутом столе. Вавилонский Талмуд⁵¹ прямо трактует фразу «разделять с ним субботнюю трапезу» как сексуальный акт после субботнего обеда. Да и без секса раздражение мужа тоже понять нетрудно, если вспомнить, что зажигать огонь в субботнюю ночь запрещается, и придется накрывать стол в темноте. В наказание он выгоняет жену во тьму. Запертая дверь здесь тоже сексуальный символ, например: «Женщины поколения пустыни слынут праведницами. Уяснив, что запрещены [для секса], они заперли свои двери»⁵². А сюда еще примешана и обычная ревность к учителю, знакомая многим, у кого жены пропадают в синагоге или в кружках йоги, каббалы или бальных танцев. Впрочем, здесь муж явно поспешил поклясться и выгнать жену. Такое было вопреки еврейскому закону. Раввинский суд вправе был осудить мужа и принудить его вернуть женщину домой⁵³.

Благородный поступок рабби Меира, пожелавшего решить дело миром, вызывает, однако, возмущение его учеников. Они решили, что их великий учитель унизился. И не только сам. «Сказали ученики: "Рабби, не так ли позорят Тору? Не лучше ли тебе было попросить заговорить сглаз кого-нибудь из нас?" Ответал им рабби: "...мир так важен, что даже святое имя Господа, благословенно Имя Его, окунается в воду для установления мира между мужем и женой"».

Здесь речь идет о древнем, тоже описанном в Талмуде, обычае испытания женщины, подозреваемой в супружеской измене. Жрец-коэн писал на куске пергамента имя Бога и окунал пергамент в воду. Женщине предлагали выпить эту воду. Предполагалось, что блудная женщина, не в пример Александре Коллонтай, убоится, и воду, освященную Божьим именем, пить не сможет. Имя Бога с древности было окружено у евреев тайной, его произносил первосвященник лишь раз в году. Хотя, с другой стороны, многие колдовали при помощи Божьего имени, и до сих пор на иврите колдун (добрый или злой) зовется *баалшем*, буквально – «владелец Имени». Интересно отметить, что в приведенном выше рассказе женщина сказала, что не умеет ворожить, а потому не может плюнуть в лицо рабби, но тот разрешил ей плюнуть ему в лицо, проявив понимание сердечных забот своих прихожан, а то и искупив собственную невольную вину перед ревнивым мужем женщины, который, вероятно, чувствовал себя униженным и оскорбленным великим соперником. Рабби решил, что если по его вине мог потухнуть в доме светильник, то ему надо зажечь снова духовный светильник от своего света. Ведь *Меир* по-еврейски значит «свет».

⁵¹ Ктувот, 64, 72.

⁵² Ваикра Раба 2,1.

⁵³ Иерус. Сота, 1,4.

Смешение высокого и низкого, смешного и грустного пронизывает Талмуд, как и весь еврейский народный фольклор. Корни знаменитых еврейских анекдотов и даже отборной еврейской брани лежат в Талмуде. Оттуда веками черпались вдохновение, сюжеты, поговорки и пословицы, а самое главное – жизнелюбивый и парадоксальный, беспощадный и самокритичный еврейский юмор, составляющий саму душу еврейского народа. «Нет счастья Израилю» (*эйн мазал ле Исроэл*) тоже из Талмуда, только там счастье – созвездие и означает, что у Израиля нет своего знака Зодиака, как у других народов, и его судьбу определяет сам Господь. Даже Ангел смерти появляется в Талмуде во время обсуждения вопроса о том... как избежать эрекции в общественном месте. Мужчине запрещалось разглядывать женщину, одетую в цветное платье («...и также осла и ослицу, и кабана, и свинью, и даже птиц, когда они совокупляются, даже если у него столько глаз, как у Ангела Смерти. Об Ангеле Смерти говорят, что весь он полон глаз. И когда приходит час больного, [Ангел] стоит над его головой, его меч в протянутой руке, и капля желчи висит на кончике меча. И когда недужный видит его, он дрожит и открывает рот свой [чтобы закричать от страха], и Ангел роняет каплю в его рот. Вот откуда смерть, вот откуда начинается смрад, вот почему лицо набухает»⁵⁴. Из смешения эрекции и смерти приходит образ «всего полного глаз» Ангела Смерти из далекой древности, задолго до того, как евреи появились на сцене истории. Отсюда же еврейское название водки – «горькая капля». Поскольку фразу «капля желчи» (*типа шел мара*) часто произносят, как *типа мара* («горькая капля»). А дальше – пьяница, словно у трупа – раскрытый рот, откинута набок голова, набухшее багровое лицо. Из духа противоречия, чтобы не было, как у гоев, зовущих водку *аква вита* – живой водой, евреи обязательно назовут ее мертвой горькой каплей Ангела Смерти. Что не мешает им прикладываться к рюмке.

И под конец – о зазнайстве. В Торе сказано: «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему»⁵⁵. «Если так, – задаются вопросом наши мудрецы, – то почему же сказано, что человек создан из праха? А потому, – отвечают они, – чтобы никто не смог сказать, что он создан из высшей материи. Спрашивают мудрецы: а почему был создан всего один человек? А потому, – отвечают они, – чтобы поддержать мир между людьми, чтобы не смогли сказать друг другу, что мой отец был лучше твоего». И еще одно, отсюда же. «Задались вопросом наши мудрецы: а почему Господь сотворил человека лишь на шестой день? И решили, что сделано это потому, что если кто-нибудь возгордится и зазнается, то можно будет ему сказать, что даже вошь Господь создал раньше тебя»⁵⁶.

⁵⁴ Авода Зара 20b.

⁵⁵ Кн. Бытия 1:26.

⁵⁶ Мишн. Санхедрин 4е.

**ТОЧКА
ЗРЕНИЯ**



профессор истории Иерусалимского университета, автор книг «Воюющие силы», «Командование в войне», «Защищая Израиль» и «Трансформация войны», оказавших большое влияние на современную военную теорию. Живет в Израиле.

ВОЙНА БЫЛА НЕОБХОДИМА

– Наш последний разговор, весной этого года, вы закончили словами: «Что касается окружающих Израиль стран, то ситуация явно улучшилась. Мы имеем спокойную ливанскую границу...»* Пять месяцев спустя четыре тысячи ракет «Хизбаллы» пересекли эту «спокойную границу». И мой первый вопрос к вам – как это случилось? Почему? На первый взгляд видятся три возможных ответа: то была преднамеренная акция «Хизбаллы», предпринятая ею ради каких-то своих интересов; это было сделано по приказу третьей стороны – например, Ирана; и это явилось незапланированным результатом той стратегии, которую выбрало правительство Израиля, – иными словами, как говорят некоторые, Израиль сам спровоцировал большую войну, ответив на похищение двух солдат всей мощью своей авиации. Каково ваше мнение?

– Что ж, мой ответ таков: это было решение Израиля.

– Иными словами, Израиль сам сделал этот выбор?

– Да, но, несмотря на все порожденные этим выбором последствия, я считаю, что этот выбор был продиктован необходимостью, а потому был совершенно оправдан. Начну с того, что, на мой взгляд, принятое шесть лет назад решение уйти из Ливана тоже было и остается правильным. Я не изменил этого мнения. Это было верное решение. Мы уже тогда знали, что «Хизбалла» имеет несколько тысяч ракет, нацеленных на Израиль. И мы знали также, что она по-прежнему недовольна контурами израильско-

* См.: NB. № 14.

ливанской границы. А, кроме того, в наших тюрьмах находились несколько тысяч ливанских военнопленных, и было понятно, что «Хизбалла» будет то и дело предпринимать попытки захвата наших граждан в заложники. И, тем не менее, уйдя из Ливана, мы получили шесть лет относительного спокойствия.

На этот раз они преуспели в своей попытке, и Израиль оказался перед необходимостью жестко отреагировать на этот акт агрессии. Я думаю, что если бы Израиль воздержался от такого рода реакции, правительство, а возможно, вся политическая система страны могли бы рухнуть. Так что эта война была неизбежной. А неизбежная война – это справедливая война. В этом отношении у меня нет никаких претензий к израильскому правительству, и я даже думаю, что я оказался первым, кто об этом заявил. Более того, я первым заявил, что Израиль выиграл эту войну. И я не удивлюсь, если это окажется последней нашей войной в Ливане.

– Я сейчас вернусь к этому утверждению, но прежде хотелось бы уточнить: стало быть, по вашему мнению, действия «Хизбаллы» не были продиктованы Ираном?

– В действительности, мы не знаем, каковы отношения между «Хизбаллой» и Ираном. И всякий, кто скажет вам иное, просто солжет. На месте руководителей «Хизбаллы» я был бы весьма разочарован поведением Ирана в недавнем конфликте. Как это так – в течение целого месяца израильская авиация бомбит Ливан, но ни Иран, ни Сирия не оказывают «Хизбалле» никакой помощи, если не считать попыток восполнить запас ее ракет? Что называется, пальцем не пошевелили! Повторяю, мы не знаем, каковы на самом деле их отношения, но, будь я на месте Насраллы, я бы пришел к выводу, что рассчитывать на поддержку Ирана или Сирии нужно с большой оглядкой.

– Можно было бы предложить и еще одно объяснение – некую «конспиративную» гипотезу: скажем, «большая война» с ее бомбежками, разрушениями, жертвами среди гражданского населения и криками Си-Эн-Эн об израильских зверствах была выгодна «Хизбалле», Сирии и Ирану, поскольку позволяла им разжечь ярость мусульманских масс и сплотить эти массы вокруг себя. Вы отвергаете и такую возможность?

– Нет, не отвергаю. Это вполне возможно, но такое утверждение нельзя доказать. Чтобы проверить его истинность, нужно знать, в каком соподчинении и сотрудничестве находятся эти три действующих фактора, а как раз этого-то никто и не знает. Здравый смысл говорит, однако, что потери «Хизбаллы» в результате этой войны – как чисто военные, так и политические – оказались слишком большими, а выигрыш – слишком малым, чтобы оправдать бездействие ее ближайших союзников. Нет, на месте Насраллы я бы все же был весьма недоволен поведением Ирана. А кроме всего, замечу еще, что хотя Сирия и Иран поддерживают «Хизбаллу», из этого еще не следует, что она является их послушной марионеткой и координирует каж-

дый свой шаг с этими двумя странами. Ведь «Хизбалла» и раньше – и притом весьма регулярно, каждые несколько недель – предпринимала попытки похитить израильских солдат. Просто на этот раз ей это случайно удалось. Так что война вполне могла вспыхнуть намного раньше, без всякого «иранского приказа». Кстати, многие комментаторы склонны думать, что и сейчас эта война, с точки зрения Ирана, была преждевременной. Логика подсказывает, что для Ирана было бы намного выгоднее использовать эту карту для предотвращения любой возможной военной акции со стороны Соединенных Штатов. А до такой акции дело пока не дошло.

Но все это – спекуляции. Я не думаю, что кто-то знает правильный ответ, и поэтому смею рассчитывать, что мое мнение может оказаться столь же верным, как и любое другое. А может, и более верным.

Возвращаясь к сказанному вначале, я хочу повторить это свое мнение: я полагаю, что эта война была необходимой. Никакое израильское правительство не могло бы уцелеть, если бы оставило без последствий похищение своих солдат. И не только правительство. Что-то должно было быть сделано немедленно, и все разговоры о том, насколько оправданным было то или иное решение, попросту нерелевантны. Ольмерт сделал то, что должен был сделать, и, на мой взгляд, это было правильно.

– Я хотел бы теперь обратиться к военным аспектам этой войны. Ваша репутация в военной науке связана, как известно нашим читателям, с выдвинутой вами идеей превращения прежней тринитарной войны (в которой с обеих сторон участвуют три фактора – государство, армия и народ) в современную нонтринитарную (в которой против государства выступают так называемые партизанские силы, не представляющие собой государство, не имеющие регулярной армии и не опирающиеся на мобилизацию всего народа). Вы образно называете такую войну «войной сильного против слабого», или «войной танков против ножей». Но какого рода войну мы имели здесь? С одной стороны, это действительно была война государства против партизан – но это партизаны не с ножами, а с ракетами. И это даже не совсем партизаны, а своего рода квазигосударство. Они располагали собственной территорией – Южным Ливаном – и опирались там на поддержку широких масс.

– Нет, я не соглашусь с тем, будто они имели собственную территорию, но главное даже не в этом. Главное, с моей точки зрения, что боевики «Хизбаллы» не представляли собой государство, а с другой стороны, их было очень трудно отличить от гражданского населения, как это всегда у партизан, хотя в данном случае эта маскировка под гражданских лиц была сознательной и преднамеренной. Так называемая нонтринитарная война может иметь множество вариантов, и война с «Хизбаллой» продемонстрировала один из них. Но по сути своей она тоже была нонтринитарной. Мы не воевали с государством, мы не имели дела с каким-либо правительством. Если уж говорить о ливанском правительстве, то оно уже через 24 часа после

начала конфликта стало умолять о прекращении огня. Так что ливанское правительство в этой войне практически не участвовало. Конечно, «Хизбалла» входит в это правительство, и этот факт придает всей картине определенную странность, даже некую абсурдность. Но, тем не менее, главное в том, что в этой войне мы не имели дело с государством. Если бы всё зависело от господина Сениоры, войны не было бы вообще.

– Каковы же, на ваш взгляд, итоги этой войны? В мире до сих пор идут яростные споры на сей счет. Скажем, ведущий комментатор газеты «Вашингтон пост» Чарльз Краутхаммер полагает, что «в результате этой войны "Хизбалла" оказалась чрезвычайно ослабленной», а известный журналист из «Нью-Йорк таймс» Томас Фридман говорит, что в ходе войны «Хизбалла» была «полностью раздавлена». С другой стороны, арабская печать единодушно трубит о победе «Хизбаллы». Наконец, есть и такие комментаторы – вроде Мартина Крамера из Института им. Вудро Вильсона, – которые заявляют, что «окончательный вердикт все еще не оглашен». Примерно то же утверждает фактически и Джошуа Муравчик в пространной статье, опубликованной в недавнем выпуске авторитетного американского журнала «Комментарии», где он пишет, что суммарный итог войны сегодня подвести еще трудно, поскольку свои достижения есть у каждой из сторон: Израиль нанес тяжелые потери «Хизбалле», но «Хизбалла» сумела сплотить вокруг себя и воспламенить арабо-мусульманский мир. Каково ваше мнение? Я хотел бы сначала услышать вашу оценку военных аспектов войны, а затем отдельно – ее политических результатов.

– Хорошо, давайте начнем с военных аспектов, потому что они менее важны. С точки зрения наземных операций, эта война была полным провалом Израиля, можно даже сказать – катастрофой. И мне совершенно ясно, кто повинен в этой катастрофе. Это, прежде всего, военное командование, которое совершенно не представляло себе, чего оно добивается. Вначале наши генералы рассчитывали достичь всех своих целей с помощью одной лишь авиации, а когда им это не удалось, мобилизовали наземные силы. Они понимали, что наземные операции повлекут за собой большие потери, и потому долго колебались, то приказывая войскам войти в Ливан, то приказывая им выйти оттуда, то снова войти, то снова выйти. Тылового обеспечения не было, логистика не работала, взаимодействие воинских частей отсутствовало, вся военная машина разваливалась на ходу. И это не удивительно. Я уже двадцать лет подряд твержу, что если вы все время воюете только со слабыми, вы неизбежно сами становитесь слабыми. На протяжении всех последних двадцати лет наши наземные силы вели «войну» с практически безоружными женщинами и подростками. Наши солдаты привыкли думать, что проверка документов на пропускном пункте – это и есть война. И вдруг они внезапно столкнулись с настоящими боевиками – пусть не с регулярной армией, но с хорошо обученными боевиками. Чего же иного можно было ожидать?

В общем, в плане наземных операций это был полный провал, катастрофа на всех уровнях, от солдат до генералов...

– **Некоторые полагают иначе. Мой друг, например, сформулировал это таким образом: солдаты войну выиграли, а генералы и политики ее проиграли. Но вы, как будто, полагаете, что и солдаты были плохо подготовлены к этой войне?**

– Я думаю, что они были совершенно неподготовлены. Но и командная система тоже не была готова к настоящей войне. Ничего не было готово. Что поделаешь – мы стали слабы. Мы потеряли чувство пропорции. Мы уже не представляли себе, что такое настоящая война. Мы не воевали по-настоящему как минимум с 1982 года. А если говорить точнее, то и с 1973 года. В результате, во всей нашей армии едва ли сыщешь сегодня офицера, который когда-либо командовал – я имею в виду, командовал в ходе настоящей военной операции – воинским соединением крупнее батальона. Как же они могли управлять сейчас действиями трех дивизий сразу?! Они совершенно не представляли себе, как это делается. И к тому же следует вспомнить обо всех этих бесконечных экспериментах по «перестройке» армии, которыми солдатам и офицерам забивали головы последние 20 с лишним лет! Чего же удивляться, что мы плюхнулись в лужу?!

С точки зрения эффективности наших ВВС, итоги войны выглядят иначе. Конечно, наши воздушные силы последние 20 лет тоже «воевали», в основном, с палестинцами, но они от этого пострадали меньше. В результате, они действовали в Ливане гораздо лучше, чем наземные силы. Верно, они не сумели уничтожить все пусковые установки малой дальности, так называемые «катюши». Но нужно иметь в виду, что это очень примитивные установки. И невозможно посылать истребитель Ф-16 стоимостью 60 млн долларов на охоту за одиночным мотоциклистом с ракетой за спиной. Это попросту невыгодно. Тем не менее, авиации удалось уничтожить и многие такие установки. Но, разумеется, далеко не все. В этом смысле можно сказать, что концепция возможности одержать полной победу только силами ВВС провалилась тоже. Потому-то и пришлось, в конце концов, ввести в действие наземные силы.

Но есть и другая сторона. Действительно, «катюши» почти беспрепятственно обрушивались на северные районы Израиля – в среднем по 150–200 ракет каждый день. Но какой реальный ущерб они нанесли? В среднем погибали два человека в день. И все. Не такой уж большой успех «Хизбаллы». Наверняка найдутся люди, которые скажут, что это была не война, а перестрелка.

Зато наша авиация оказалась в высшей степени эффективной в борьбе с пусковыми установками ракет среднего радиуса действия, 100–200 км. Такие ракеты нуждаются в рельсовых направляющих, и пусковые установки для них имеют те же размеры, что и артиллерийские орудия. Насколько я понимаю – хотя проверить, сразу оговорюсь, не могу, – нашей авиации удалось уничтожить все такие установки, где бы они ни высовывали свой нос.

И именно поэтому ни одна ракета не упала южнее линии Хайфа–Афула. Ни одна! Это был огромный успех – как в плане эффективности разведки, так и в плане стремительности реагирования.

Таковы, на мой взгляд, чисто военные результаты войны – и они весьма неоднозначны. Частично провал, частично – попытка совершить невозможное, частично – весьма ощутимый успех. Но следует иметь в виду, что это война. Это не боксерский поединок, где победу можно присудить по очкам. Исход войны не решается числом ударов, которые каждой стороне удалось нанести. Эта арифметика не работает. Самое существенное в данном случае – какое воздействие ваши удары оказали на противника? Удалось ли вам подавить или сокрушить его волю к продолжению борьбы? Только это решает так называемый исход войны. И в этом плане я согласен с Крамером, который говорит, что еще рано делать окончательные выводы. Я согласен с ним, но с одной оговоркой. На мой взгляд, имеются достаточные основания думать, что Израиль все же выиграл эту войну.

Разрешите мне объяснить, почему я так думаю. В войнах такого рода, в войнах с партизанами, с герильей, самое трудное – сохранить перемирие. В таких случаях соглашения о перемирии, как правило, подписываются и нарушаются постоянно. Вспомните начало второй интифады – каждые несколько часов стороны соглашались на перемирие, и каждые несколько часов оно нарушалось. То же самое было в первой ливанской войне. 10 июня 1982 года было подписано соглашение о прекращении огня – и ровно через час оно было нарушено. Есть вполне понятные причины, почему в такого рода войнах так трудно соблюдать соглашения о прекращении огня. Во-первых, партизаны здесь перемешаны с гражданскими лицами, и потому очень велика вероятность всякого рода недоразумений и ошибок. Во-вторых, в партизанской «армии» система командования зачастую весьма слаба. Такому командованию многие попросту не подчиняются. Абу-Мазен может сколько угодно приказывать прекратить обстрел «касамами» израильской территории – кто его слушает? В общем, не удивительно, что перемирия в такого рода войнах так часто нарушаются. Скорее, следует удивляться, если они соблюдаются.

И в нашем случае перемирие с «Хизбаллой» держится уже более двух месяцев. И, на мой взгляд, это крайне удивительно. Это заставляет задуматься – почему? И самый правдоподобный ответ звучит так: потому что мы преподали «Хизбалле» суровый урок. Судя по всему – включая заявления самих руководителей «Хизбаллы», – наш противник был совершенно ошарашен силой израильского ответа. Я вполне могу себе представить, что перед этим Насралла заверял Сениору, что опасаться нечего – израильтяне пошумят, постреляют три-четыре дня, и потом все затихнет. Но случилось неожиданное – эти безумцы-израильтяне затеяли настоящую войну. Они бросили в бой всю свою авиацию. Они мобилизовали целые три дивизии. Они готовы пожертвовать жизнями сотен своих солдат. Они явно обезумели, с ними лучше не связываться! В следующий раз мы должны быть с ни-

ми поосторожней. Я процитирую Насраллу: «Мы перевооружимся, но со следующей атакой не станем спешить». Это его слова.

Повторяю: я полагаю, что есть серьезные основания думать, что Израиль выиграл эту войну. Что это означает? Означает ли это, что «Хизбалла» уничтожена? Нет. Означает ли это, что она не сумеет перевооружиться? Нет. Но я помню выступление Ольмерта на второй день войны. Он перечислил тогда ее основные цели – нанести тяжелый удар «Хизбалле», отодвинуть ее от наших границ, добиться создания эффективных международных сил размежевания и освободить похищенных солдат. Три из этих четырех целей достигнуты. Поэтому повторяю: я согласен с тем, что окончательный вердикт еще не вынесен. Но уже появились основания предполагать, каким он будет. В 1972 году, когда Соединенные Штаты подписали соглашение с Северным Вьетнамом, Киссинджер сказал, что это соглашение обеспечит «подобающий интервал» между выводом американских войск и крахом Южного Ливана. Один месяц устойчивого перемирия с «Хизбаллой» – это, возможно, еще нельзя считать «подобающим интервалом». Может быть, и два месяца это тоже мало. Год? Трудно сказать. Пять лет? Возможно. Я утверждаю, что если в результате этой войны мы получим «интервал» длиной в пять лет до следующего нападения «Хизбаллы», это будет означать, что Израиль одержал победу. Пять лет спокойствия на ливанской границе оправдают эту войну точно так же, как предыдущие шесть лет спокойствия на ней уже оправдали наш уход из Ливана.

Но я склонен думать, что мы добились большего. Я хочу напомнить вам, что происходило в 1973 году, сразу после окончания войны Судного дня. Тогда тоже шли яростные споры о том, кто победил, кто проиграл и почему. И тоже были демонстрации резервистов, и комиссии по расследованию, и Садат провозглашал себя победителем – провозглашал год за годом, пока на восьмой год его не убили. И весь арабский мир был возбужден победой великого Садата над Израилем. И мы все знаем, что случилось затем. Мы получили не год, не пять, а тридцать три года спокойствия на южной границе. Более того, мы получили мир с Египтом. Как бы ни оценивать «температуру» этого мира, но, когда начался нынешний конфликт между Израилем и «Хизбаллой», Мубарак сказал: «Мы не пойдем воевать за этих людей в Ливане. Если мы когда-либо будем воевать, то за египетские интересы».

Что это означает? Это означает, что в 1973 году мы сломили волю Египта к новой войне против Израиля. И я не удивлюсь, если в будущем окажется, что в 2006 году мы сломили волю «Хизбаллы» к новой войне против нас.

– Я не могу поверить своим ушам. Я разговариваю с человеком, который прославился концепцией, утверждающей, что никакое государство не может победить в нонтринитарной войне и сильная регулярная армия всегда проиграет в войне со слабой партизанской, – и вдруг он заявляет, что нашлись такое государство и такая армия, которые

это правило опровергли. Как же так, профессор Кревельд? Что, ваша теория допускает исключения? Или это только для Израиля?

– Я готов обсудить и этот вопрос. Последние полтора года я размышляю как раз над ним. И вот что я могу сказать на данный момент. Если посмотреть на все войны, шедшие на протяжении последних шестидесяти лет, после конца Второй мировой войны, то окажется, что в подавляющем большинстве случаев регулярная армия, действительно, проигрывала их. И мы еще увидим, что после президентских выборов в США все заверения Буша, что он не уйдет из Ирака, тоже сведутся к сотрясению воздуха: американская политика будет кардинально пересмотрена, и подтверждением тому является нынешнее усиление позиций Джеймса Бейкера – человека, которого всегда призывают именно на такие роли. Итак, подавляющее большинство нонтринитарных войн, действительно, кончались в пользу «слабого». Но там и сям можно увидеть примеры противоположного толка, и мне чрезвычайно хочется понять, что в них особенного.

Один пример такого рода – победа британцев в Северной Ирландии. Это не идеальная, не окончательная победа, вспышки насилия там еще случаются, но эти вспышки, напомним, происходили с самого момента завоевания Ирландии англичанами. Означает ли это, что война уже никогда не возобновится? Разумеется, нет. Но победа англичан несомненна. Есть, однако, и еще два примера победы регулярных армий – покойного сирийского президента Асада над исламистами в Сирии и покойного иорданского короля Хусейна при столкновении с боевиками Арафата во время «Черного сентября» 1970 года...

– К этому можно добавить победу российской армии в Чечне.

– Я не вполне уверен, что это уже победа, но если окажется, что это так, я готов добавить и ее к моему коротенькому списку. Так вот, изучая эти случаи, я пришел к выводу, что они представляют собой два противоположных метода действий. Англичане победили потому, что не давали себя спровоцировать и уклонялись от применения военной силы. В результате католическое население Северной Ирландии перестало относиться к англичанам как к врагам. Насколько последовательно они не позволяли ирландским повстанцам-католикам себя спровоцировать, видно из поразительного соотношения потерь: за все время конфликта ирландцы потеряли 300 человек, а англичане – 1000. Во всех прочих войнах регулярной армии с повстанцами или партизанами – в Афганистане, во Вьетнаме, в Малайзии – соотношение потерь было 1 к 10, 1 к 20, порой даже 1 к 100, как в Кении, в пользу так называемых «сил порядка». В этом смысле случай Северной Ирландии уникален. Примеры Асада и Хусейна – совершенно иного рода. Это метод однократного удара, но нанесенного внезапно, без каких-либо экивоков, со страшной силой.

– Выходит, наш случай ближе к этому варианту?

– Да, если, конечно, он достигнет такого же результата. К сожалению, мы не знаем, как организована и как функционирует «Хизбалла», как там

принимаются решения стратегического уровня. Но то, что мы застигли их врасплох, – это несомненно. И то, что наш удар был, с их точки зрения, неожиданно силен – тоже несомненно. Можно спорить, достаточно ли силен, но то, что его сила была для «Хизбаллы» неожиданной, это бесспорно. И вполне возможно – сейчас еще трудно сказать, потому что прошло мало времени, но вполне возможно, что мы победили – победили тем же методом, что когда-то Асад и Хуссейн.

– Теперь разрешите спросить, какие, на ваш взгляд, геополитические изменения эта война вызвала в нашем регионе?

– Ну, одно из самых очевидных изменений состоит в том, что Сирия снова запросила мира. Она просит его раз за разом, а мы раз за разом отказываемся вести с ней переговоры об этом, хотя я не совсем понимаю почему. О да, мы не доверяем Асаду. Но мы точно так же не доверяли Садату. Когда он прибыл в Израиль, тогдашний начальник нашего генштаба Мота Гур сказал, что это хитрый маневр, что он хочет нас обмануть.

– Некоторые западные комментаторы утверждают, что недавняя война привела к новой консолидации мусульманского мира, как это было после войны 1973 года. Более того, возникло и новое малоприятное явление – определенное сближение шиитов и суннитов, для которых длительное противостояние «Хизбаллы» могучему Израилю было свидетельством силы мусульманского мира в целом, «уммы», к которой они в равной мере принадлежат. Тот же Муравчик, например, приводит ряд примеров того, как эта «победа "Хизбаллы"» буквально перевернула взгляды многих умеренных египетских интеллектуалов. В мусульманском мире возродилось ощущение, что близится некий апокалиптический момент, что совместными шиитско-суннитскими усилиями, усилиями всей уммы – и на этот раз с помощью иранской атомной бомбы – они смогут, наконец, ликвидировать Израиль. Создается впечатление, что оценка результатов этой войны в значительной мере зависит от того, что произойдет в будущем – в частности, от того, заполучит ли Иран атомную бомбу, станет ли он силой, способной организовать и возглавить противостояние американскому влиянию в регионе. Если ему это удастся, придется признать, что война сослужила нам скорее дурную службу.

– Ну что ж, придется подождать. Однако все, сказанное вами, весьма подозрительно повторяет то, что происходило в том же 1973 году. И мы все знаем, что произошло на самом деле.

– Но тогда не было Ирана...

– Но Египет играл ту же роль, и точно так же на нем были сосредоточены все надежды.

– Но без атомной бомбы.

– Это верно. В 1970-е годы египтяне рассматривали возможность обзавестись атомным оружием – и отказались от него. Мы до сих пор не знаем почему. Они называли всевозможные причины: это слишком дорого, это

слишком опасно, это слишком трудно – но я уверен, что все это несерьезно. Если бы они захотели, у них была бы атомная бомба, уже 20 лет назад. Я могу высказать некое предположение, почему они отказались от этой идеи. Египтяне опасались, что в один прекрасный день им придется снова воевать с нами. Не потому, что они этого захотят, а потому, что им придется, как это случилось в 1948 году. В один прекрасный день израильтяне совершат нечто непредвиденное и «безумное», как они это сделали (с египетской точки зрения) в 1948 году, и им придется воевать с Израилем. Но если вы хотите атаковать Израиль, который, как всем известно, имеет атомные бомбы, то вам лучше это сделать, не имея атомного оружия. Потому что атаковать Израиль, не имея своей атомной бомбы, – это безумие. Но атаковать Израиль, имея ограниченный арсенал атомного оружия, – это самоубийство. Я не знаю, так ли они рассуждали, но я изучал этот вопрос и пришел к такому выводу.

– Я вижу, что вы здесь исходите из своего постоянного убеждения, что атомная бомба – это оружие устрашения и сдерживания, а не оружие войны.

– Верно, но следует помнить высказывание Хельмута Шмидта: «Чтобы устрашать, нужно быть способным воевать».

– И в этом плане вы сказали во время нашей весенней беседы, что иранская бомба не опасна для Израиля. Если Иран сбросит бомбу на Израиль, Израиль тотчас превратит в пустыню Тегеран. Я размышлял над этим вашим рассуждением, и оно вызвало у меня недоумение. Что, собственно, утешительного – в военном, в политическом, наконец, в экзистенциальном плане – в том, что Израиль превратит в радиоактивную пустыню Тегеран, если он сам весь превратится в такую пустыню? Подобно Египту, Израиль сконцентрирован на очень узкой полоске земли, и двух-трех атомных бомб достаточно, чтобы с ним покончить, не так ли?

– Я знаю этот аргумент. Об этом много спорили. Давайте я сначала расскажу вам историю. Давным-давно, в 1941 году, немцы планировали вторжение в Египет. В принципе, они могли за 2–3 недели захватить Александрию и Каир, но у них были сомнения. Они опасались, что англичане, отступая, взорвут старую Асуанскую плотину, построенную в 1909 году. Я изучал немецкую военную переписку и нашел среди прочего обращение немецкого генштаба к специалистам в тогдашнем берлинском Университете обороны: что произойдет, если англичане взорвут Асуанскую плотину? Специалисты, как и подобает специалистам, ответили, что это зависит от ряда факторов, но если взрыв будет произведен в соответствующее время и соответствующим образом, то на Египет обрушится волна высотой 40–50 метров, и он весь будет затоплен. Я поинтересовался, сколько воды удерживала тогдашняя Асуанская плотина. Оказалось – 5 млн кубических метров. А сколько удерживает нынешняя? 150 миллионов. Одна бомба на Асуанскую плотину – и Египта как не бывало.

Согласен – Иран большая страна. Значит, чтобы уничтожить Иран как государство, недостаточно одной бомбы. Нужно, как минимум, пять – по одной на каждый крупный город. Что это для страны, которая, если верить шпиону Вануну, уже 20 лет назад имела две сотни атомных бомб? О, конечно, где-нибудь в иранских горах и после этого еще какие-то пастухи будут ходить за своими козами, как они ходили во времена праотца Авраама, но Ирана уже не будет.

Это и есть мой ответ на ваш вопрос. В этом и состоит замечательная особенность ядерного оружия.

– Разъясните мне тогда еще одно недоумение. Что побудило сенатора МакКэйна (которого считают наиболее вероятным республиканским кандидатом в президенты) заявить, что «есть только одна вещь, которая страшнее иранской атомной бомбы, – это наш отказ от превентивного удара по Ирану»? Что это – просто паранойя? Он ведь тоже, подобно вам, может сосчитать, сколько понадобится бомб, чтобы уничтожить Иран «потом», «в случае чего»?

– Я не исключаю, что он думает не столько об иранской бомбе, сколько о своих шансах на выборах. С моей точки зрения, его фраза – нонсенс. Вот только что Северная Корея взорвала свою бомбу. И что? И ничего. И я могу вас заверить – и через 20 лет ничего ужасного в этом плане не произойдет. Как и во всех других случаях.

– Продолжая эти свои рассуждения, вы приходите к выводу, что иранская бомба будет угрожать, главным образом, не Израилю, а Саудовской Аравии и странам Персидского залива. Обладая бомбой, Иран сможет оказывать на них большее давление? А собственно – почему? Эти страны находятся под защитой американского ядерного зонтика. И, если следовать вашей логике, этот факт как будто бы полностью исключает применение Ираном своей бомбы. А в таком случае, кого устрашит его шантаж?

– Ближайшая аналогия, которая приходит мне в голову, – это Европа времен холодной войны. С одной стороны – находился Советский Союз, который имел атомное оружие, с другой стороны – была Европа, которая такого оружия практически не имела, но могла рассчитывать на американский ядерный зонтик. И эта ситуация продолжалась много лет. Всегда оставалась какая-то вероятность, что это оружие все же будет применено. Конечно, его наличие у обеих сторон, прежде всего, стабилизировало ситуацию. Наличие ядерного оружия у Сталина стабилизировало ситуацию в Европе точно так же, как появление его у Китая стабилизировало отношения между Китаем и СССР, и как появление его у Индии стабилизировало отношения между Индией и Китаем, и появление его у Пакистана стабилизировало отношения между Пакистаном и Индией. И появление его у Ирана, можно думать, стабилизирует ситуацию в нашем регионе. Но вы никогда не можете быть уверенными на все сто процентов. Потому что при наличии абсолютной уверенности, что это ядерное оружие не будет

применено, оно ничего не было бы способно стабилизировать – в этом его парадокс. Для стабилизации всегда должна оставаться некая доля страха, неуверенности, нестабильности. Все покоится на страхе, что кто-то окажется безумцем.

– **Иными словами, если бы атомная бомба оказалась в руках у Гитлера?..**

– Очень трудно предсказать... Тут все зависит от конкретных обстоятельств. Разумеется, если бы атомная бомба была у него уже в 1939 году, он, скорее всего, я думаю, соблазнился бы возможностью сбросить ее на Англию. Шпеер рассказывает о фильме, который он сделал для Гитлера, – этот фильм кончался тем, что Англия взлетает на воздух, разлетается на кусочки. Но, с другой стороны, представьте себе, что мир уже в 1939 году был бы ядерным, и Польша имела бы атомное оружие. Решился бы Гитлер на вторжение в Польшу?

– **Да, это хороший вопрос...**

– Я изучал психологию и деяния Гитлера многие годы, но я не берусь ответить на этот вопрос. Мой ответ: «Не знаю...»

– **Стало быть, в рамках вашей гипотезы «взаимной ядерной стабилизации» не имеет смысла спрашивать, скажем, об опасности передачи северокорейского ядерного оружия Ирану?**

– Я не выдвигаю гипотез. Я анализирую прошлое и вижу, что происходило на самом деле. Апокалиптические предостережения об опасности распространения атомного оружия имеют долгую традицию. В 1945–49 годах США делали всё возможное, чтобы предотвратить появление этого оружия у СССР, предостерегая, что это повлечет за собой самые ужасные последствия. То же самое повторилось, когда атомным оружием захотели обзавестись их собственные союзники, Англия и Франция, а затем Китай и Израиль, Индия и Пакистан. Все они благополучно обзавелись атомными бомбами, и ни в одном – я подчеркиваю, ни в одном – случае эти предсказания не сбылись. И точно так же не сбылись многочисленные предостережения об опасности «утечки» ядерной технологии. Советская ядерная технология «просочилась» в Китай, французская – в Израиль, израильская – в Южную Африку, голландская и китайская – в Пакистан, а пакистанская – в Северную Корею и в Иран. И что же – имело это какие-нибудь ужасные последствия? Ни в одном случае. Что и позволяет думать, что так будет и впредь. Замечу, кстати, что для передачи своей ядерной технологии Ирану Северной Корее вовсе не нужно было проводить нынешние испытания – она могла давно сделать это тайком.

Раньше США оправдывали свою борьбу с распространением ядерного оружия опасностью войны. Теперь они оправдывают ее, главным образом, разговорами об опасности попадания этого оружия в руки террористов. Но и это очевидный нонсенс. Во-первых, ни одно государство не станет помогать террористам создать атомную бомбу, хотя бы из страха оказаться потом жертвами любого их шантажа. Во-вторых, малым странам их несколь-

ко атомных бомб куда важнее, чем большим странам, так что они куда надежнее будут охранять их от террористов. В действительности, самая большая опасность такого рода исходит от больших стран с большим ядерным арсеналом, но именно они больше всего рискуют стать жертвами шантажа. Что же до малых стран, вроде Северной Кореи или того же Ирана, то как ни парадоксально или даже вызывающе это не звучит, приходится сказать, что весь наш прошлый опыт показывает, что обретение каждой из них своего атомного оружия означает, на самом деле, очередной скромный вклад в приближение всеобщего мира.

– Иран не такая уж малая страна. У него и сейчас есть региональные претензии, а с ядерной бомбой он и вообще может претендовать на звание супердержавы, возглавляющей весь мусульманский мир, не так ли?

– Здесь опять сильно помогает опыт прошлого. «Исламская бомба» уже есть. Организатор ее создания, а потом премьер-министр Пакистана покойный Бхутто еще 20 лет назад говорил, что пакистанская атомная бомба это, прежде всего, «исламская бомба». Как видите, Пакистан не стал сверхдержавой даже и после этого.

– Но 20 лет назад и ситуация в мире была иной. Тогда еще не было, так сказать, «потребности» в такой исламской сверхдержаве. А сегодня многие говорят, что налицо явный сдвиг «геополитических тектонических плит», восточной и западной, некое новое наступление Востока как целого на Запад.

– Я не вижу Иран в качестве фокуса такого рода «наступления», даже если оно является реальным, в чем я весьма сомневаюсь. Иран не может стать объединяющим центром мусульманского мира. Во-первых, Иран – это шиитская страна, а во-вторых, существует историческая вражда между арабами и персами. Нет, если что и беспокоит сегодня Европу всерьез, так это не иранская угроза или «наступление Востока», а опасность, грозящая ей со стороны иммигрантов-мусульман. Вот о чем думают сегодня голландцы, датчане, англичане, французы. И не только думают, но, к счастью, уже начинают принимать реальные меры.

– Вернемся к политическим результатам войны и, прежде всего, к ее влиянию на наши отношения с палестинцами. Одни комментаторы говорят, что война будет способствовать союзу ХАМАСа с Ираном и «Хизбаллой», вплоть до образования некой оси «Газа–Дамаск–Тегеран», другие, напротив, полагают, что после урока, преподанного нам «Хизбаллой», окончательно прекратятся, наконец, всякие разговоры об отступлении Израиля с территорий и тому подобное. Что скажете вы?

– Прежде всего, скажу, что еще рано говорить. Для меня по-прежнему самым удивительным является отсутствие «касамов» на Западном берегу. Технически вполне легко сделать и запустить их из Шхема или Хеврона, но почему-то это не происходит даже после этой войны, так вроде бы вооду-

шевившей арабский мир. Почему? Может быть, после этой войны они тоже опасаются серьезных последствий.

– **Почему в таком случае не опасаются этих последствий в Газе?**

– Потому что оттуда вы не можете никуда никого изгнать – просто некуда. А с Западного берега это возможно. И если война в Ливане их вообще чему-то научила, то это тому, с какой легкостью можно заставить миллион людей покинуть свои дома и свою землю и бежать без оглядки. Мы преподали им этот урок. И я думаю, что это очень хорошо. Я убежден, что единственное решение здесь – это война. Только она может заставить палестинцев раз и навсегда отказаться от своих надежд изменить границы и так далее. Я надеюсь, что эта война разразится в Газе, а не на Западном берегу, потому что Газа уже не оккупированная территория, мы оттуда ушли, а они продолжают обстреливать нас «касамами»... Но даже если война разразится в наших границах, это будет лучше, чем отсутствие войны вообще, и я очень надеюсь, что рано или поздно Израиль обретет здравый смысл и выбросит их – если не всех, то многих – со своей территории.

– **А что же с Газой? Теперь там к «касамам» прибавляются «катюши», а что дальше? Вторая «Хизбалла»?**

– Ну что ж, возможно, что в один прекрасный день нам придется сделать с ХАМАСом в Газе то же, что мы сделали сейчас с «Хизбаллой» в Ливане. Что, это невозможно? Это возможно, и я надеюсь, что мы это сделаем. И мир нас не осудит, потому что мы ушли из Газы, как в свое время из Ливана, и в этом смысле я и повторяю, что этот уход был большим нашим успехом – во-первых, мы избавились от полутора миллионов арабов, а во-вторых, теперь у нас есть легитимное право на самооборону. Наша ситуация стала лучше.

– **Итак, на ваш взгляд, минувшая война не повлекла за собой никаких особенных изменений в палестинском вопросе и никак не повлияла на настроения и намерения палестинцев?**

– Я надеюсь, что те, в кого она вселила ложные надежды, быстро образумятся. В конце концов, им следует помнить, что в 2002 году, в разгар второй интифады, 44% израильтян высказались в поддержку идеи «этнических чисток». И это может произойти.

– **И вы полагаете, что после войны или такой «этнической чистки» возникнет возможность договоренности? Что на другой стороне появится партнер для переговоров о мире?**

– Именно потому, что на той стороне нет партнера для переговоров о мире, нам необходима война. Я очень надеюсь, что она будет и что мы изгоним арабов с территорий. А если нужно будет образумить ХАМАС в Газе, то нам придется повторить то, что мы сделали сейчас в Ливане.

– **Мой последний вопрос – каковы были последствия войны для израильского общества?**

– Что вам сказать? Во время этой войны я был в Германии, и одна знакомая прислала мне письмо, уверяя, что «после этой войны все изменит-

ся». Я вернулся и вижу, что все по-прежнему. Более того, это была, кажется, первая война в истории, после которой валюта воевавшей страны укрепились. Можно, конечно, назвать ряд вещей, которые война обнажила и которые следует изменить – и в армии, и, возможно, в политической системе, но если говорить по большому, историческому, счету, то эта война еще раз показала, по-моему, что Израиль остается по-прежнему одним из самых успешных государственных экспериментов XX века. 100 лет назад нас было здесь сколько? Пятьдесят тысяч. А сегодня? В 100 раз больше. 100 лет назад германский кайзер писал: «Палестина ужасная страна – ни воды, ни тени». А посмотрите на нас сегодня. Смотрите, и смотрите, и смотрите! Израиль – единственное из 100 государств, возникших после 1945 года, которое вопреки всему осталось демократическим. Так что если вы посмотрите на нас в плане экономическом, демографическом, технологическом, медицинском, вы с полным основанием сможете сказать, что это история самого большого успеха за последние 100 лет.

Что же касается разговоров о развале страны, об утрате моральных ценностей и тому подобное – что ж, я слышал их всю мою жизнь, на всех крутых поворотах. Я не исключаю, что многое нуждается в изменениях, может быть – в существенных изменениях, и я надеюсь, что кое-что будет действительно сделано, но все это нисколько не отменяет того, что я сказал о феноменальном успехе нашего государственного эксперимента. Минувшая война тоже не ничего не изменила в этом главном факте нашего существования.

Вел интервью Рафаил Нудельман



политолог-арабист, ведущий израильский ближневосточный комментатор, сотрудник вашингтонского Института ближневосточной политики, автор книг *Fatah* (Sabra Books, 1971), *Egypt's Policy Towards Israel in the Fifties* (1974), *A Guide to Egypt* (1982), *The Year of the Dove* (co-authored with Ze'ev Schiff; Bantam, 1979), *Israel's Lebanon War* (Simon and Schuster, 1984) и *Intifada* (co-authored with Ze'ev Schiff; Simon and Schuster, 1990).

НОВЫЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

– Господин Яари, ваше предыдущее интервью нашему журналу вызвало большой интерес читателей. Мы опубликовали его в № 15 «Nota Bene», незадолго до второй ливанской войны. И сегодня мы хотели бы совершить с вами некое воображаемое путешествие по карте Ближнего Востока, чтобы представить себе, как эта война повлияла на политическую ситуацию в регионе и на расстановку сил в нем. Но прежде, чем перейти к конкретным вопросам, было бы полезно, мне думается, вкратце напомнить читателям то, что вы сказали о ближневосточной ситуации в нашем предыдущем разговоре.

Вы сказали тогда, что, на ваш взгляд, в последние годы главными силами, действующими на ближневосточной сцене, являются, во-первых, мусульмане-сунниты, представленные, в частности, широко разветвленной организацией «Мусульманские братья», одним из отрядов которой является ХАМАС; во-вторых – шииты Ирана, Ливана («Хизбалла»), Южного Ирака, а также восточных районов Саудовской Аравии и Сирии; и, наконец, третьей силой являются всевозможные радикалы и экстремисты, концентрирующиеся вокруг «Аль-Каеды». Две сверхдержавы, тоже активно вовлеченные в ближневосточную политику, Соединенные Штаты и Россия, играют здесь разными картами: Соединенные Штаты сделали ставку на умеренные и либеральные круги в арабских странах, у которых, как сказали вы, в краткосрочной перспективе нет будущего; Россия же сделала ставку на Иран, поскольку шииты представляются ей меньшей угрозой (русские мусульмане –

сунниты), а, кроме того, это усиливает позиции России визави США. Вся эта ситуация, по вашему мнению, с каждым годом становится все более нестабильной и должна резко измениться, едва только оседет пыль в Ираке, или Иран обзаведется атомным оружием, или закачаются, а то и рухнут нынешние режимы в Египте или Иордании, и так далее. Поэтому ближайшие два года, по вашему заключению, могут стать судьбоносными для региона в целом и для Израиля в частности.

Сегодня можно сказать, что одно из таких нарушений стабильности уже произошло – я имею в виду, разумеется, только что закончившуюся войну с «Хизбаллой» в Ливане. Как же, по-вашему, повлияла эта война на описанную выше ситуацию?

– Давайте, я скажу вам, что я думаю. То, чему мы стали свидетелями в недавней ливанской войне, подспудно присутствовало уже давно, с начала 1980-х годов. Но сегодня, после этой войны, можно уже с полной уверенностью говорить о рождении новой исламской стратегии. Я называю эту стратегию «доктриной Мукаума». «Мукаума» по-арабски означает в буквальном переводе «сопротивление». Но это много больше, чем просто «сопротивление». Это не французское «резистанс». Это доктрина практически перманентного конфликта, нескончаемой войны. Эту доктрину уже взяли на вооружение «Хизбалла», ХАМАС, «Исламский джихад» и некоторые группы «Мусульманских братьев». Ее во всеуслышание проповедует Иран. И вот теперь, во время последней войны в Ливане, она показала свою эффективность. Почему именно теперь? Потому что эта война как раз и была испытанием «доктрины Мукаума». Это была своего рода «проверка боем» – оправдывает ли себя такая стратегия на практике, позволяет ли она выстоять в ходе всеобъемлющего военного конфликта с намного превосходящими силами такого мощного противника, как Израиль?

Оказалось, что оправдывает. И это необычайно вдохновило тех, кто и до того, теоретически, был убежден в эффективности новой стратегии, тогда как чисто логические аргументы ее противников во многом потеряли свою убедительность.

– Каковы основные характеристики этой новой исламской доктрины? Что конкретно угрожает Израилю?

– Вот что говорит «доктрина Мукаума». Во-первых, чтобы начать военную конфронтацию, не нужно стратегическое равенство с противником. Можно быть слабым в смысле вооружения, численности боевых частей и так далее, и, тем не менее, начать военные действия и выстоять. Во-вторых, конфронтация не имеет целью достижение мира. Можно согласиться, самое большее, лишь на временное перемирие, как, например, «Хизбалла» согласилась на прекращение огня на условиях, соответствующих ливано-израильскому соглашению от 1949 года, или как ХАМАС сейчас предлагает Израилю длительное, даже на несколько лет, перемирие – «худну». Третий тезис гласит: борьба идет не за территорию. Она идет не за захват территории и не за ее защиту или освобождение. Территория вообще не явля-

ется предметом конфронтации. Наконец, четвертый элемент новой доктрины, весьма отличный от всего, что мы видели и слышали в течение последних 30 с лишним лет, – это открытый призыв к ликвидации государства Израиль. После 1973 года об этом не решались говорить, теперь об этом заговорили в полный голос, это пишут и обсуждают во всех арабских странах.

И если вы спрашиваете меня, что изменилось в результате второй ливанской войны, то это, на мой взгляд, и есть ее важнейший итог.

– Меня подмывает вас перебить. Поразительно, как совпадает с вашей оценкой вывод аналитиков одного из самых серьезных журналов мира, британского «Экономиста». Они пишут: «Самый популярный сегодня на арабской улице лозунг – "сопротивление"...» Как раз то, что вы называете «Мукаума». Но еще более поразительно почти буквальное совпадение ваших выводов с тем, что пишет в недавней статье в «Нью-Йорк таймс» профессор истории Бостонского университета Эндрю Басевич: «Эпоха бесспорного военного превосходства Запада пришла к концу. Радикальные исламисты разработали некий исламский способ ведения войны – столь же изощренный, сколь и коварный. Эти группы называют свой метод "сопротивлением", и хотя этот новый метод включает в себя также терроризм, он не сводится только к террору. Сегодняшнее "сопротивление" объединяет насилие с ненасилием, оно включает похищения людей и покушения, диверсии и партизанские действия, а также мобилизацию масс и общественный протест, оно предусматривает социальную помощь своим последователям и мощную промывку их мозгов, "бутылки Молотова" на улицах и помощь бедным в мечетях, ракетные атаки и одновременно – использование легитимных способов вхождения во власть. Эта новая стратегия не позволяет конвенциональным армиям достичь решающей победы. "Сопротивление" направлено не на завоевание, а на отрицание окончательной победы противника. Оно обрекает его на бесконечную войну, а страны, вроде Соединенных Штатов и Израиля, по ряду причин неспособны бесконечно вести такую неконвенциональную войну».

– Энди Басевич – мой давний и близкий друг. Я не читал того, что вы цитируете, но я читал его недавнюю статью в журнале «Американский консерватор» «Суть "доктрины Мукаума" – это отказ противнику в окончательной победе». Он много раз бывал в Израиле, мы неоднократно обсуждали с ним эту проблему. Его формулировка абсолютно верна: новая исламская стратегия ведет к тому, что Запад может нанести исламистам самые тяжелые удары, но никогда не сможет заявить, что одержал полную, окончательную победу над ними.

– Вы охарактеризовали главный, суммарный итог войны. Давайте теперь совершим последовательный обзор ситуации в регионе. Начнем с самого Ливана. Как повлияла война на расстановку сил в этой стране? Какова реальная сила «Хизбаллы» сегодня? Некоторые говорят, что именно в Ливане, более чем во всех других арабских странах,

многие очень остро критиковали действия «Хизбаллы», выражали недовольство ими. Насколько это серьезно?

– Я думаю, что окончательный итог войны для Ливана станет ясным лишь после того, как мы увидим, кто теперь контролирует Бейрут, кто управляет в центральном ливанском правительстве. Тогда прояснится, стала «Хизбалла» ливанским «кингмейкером» или оказалась одной из политических партий, не имеющих реального влияния. Сегодня этот вопрос еще не имеет ответа, и поэтому можно высказать лишь предварительную оценку. Мне представляется, что в Ливане возникает сейчас новая политическая формула, основанная на блоке двух сил, еще недавно противостоявших друг другу, – шиитов и маронитов. По-моему, дело идет к маронитско-шиитскому сотрудничеству и союзу. Это нелегкий путь, изобилующий взаимными подозрениями, но, тем не менее, выкристаллизовывается что-то вроде союза между лидерами этих двух крупнейших политических групп – маронитским генералом Мишелем Ауном, в прошлом – большим другом Израиля, и главой «Хизбаллы» Хасаном Насраллой. Реализация этого союза будет означать, что впервые в истории Ливана сложилось маронитско-шиитское большинство, противостоящее блоку суннитов и друзов во главе с Джумбалатом, Сениорой, Харири и прочими прозападными ливанскими политиками. Я не уверен в длительной устойчивости такого союза. Это нечто новое, ни разу не опробованное в ливанской политике. Тем не менее, мне кажется, что у такого блока есть некоторые шансы на выживание.

Если этот блок действительно возникнет и утвердится, это будет означать, что главным итогом прошедшей войны для Ливана оказалось появление новой политической конструкции, не самой, мягко говоря, благоприятной для Израиля, потому что этот новый блок, скорее всего, попытается свергнуть существующий режим, представляющий антисирийские силы Ливана, так называемый «Фронт 14 марта». Насралла и Аун могут действовать по одному из двух сценариев: либо напрямую попытаться свалить нынешнее правительство, тем самым существенно ослабив нынешний нажим американцев и французов на Сирию, либо стремиться к тому, чтобы заставить это правительство включить в свой состав генерала Ауна, что лишит антисирийские силы в кабинете реальной власти, потому что по ливанской конституции треть членов кабинета может наложить вето на любой законопроект.

– Что же, дело идет к полной «хизбаллизации» Ливана?

– Я бы не формулировал это так резко, но несомненно, что если в кабинете действительно будет доминировать этот новый блок и если марониты, получив дополнительную власть, в обмен уступят требованиям «Хизбаллы» и практически отдадут под ее полный контроль Южный Ливан, то и ливанская армия, которая подчиняется центральному правительству, постепенно станет попросту вооруженным придатком «Хизбаллы». Я приведу вам пример. Командующим ливанской армией по конституции всегда должен быть маронит, так вот, нынешний командующий, маронит Мишель Су-

лейман заявил недавно своим солдатам в Южном Ливане, что они «должны учиться у "Хизбаллы" и обращаться к ней за помощью в случае конфронтации с Израилем».

Это не то, чего ожидал мистер Ольмерт. Он-то думал, что силы ЮНИФИЛ и ливанская армия вытеснят «Хизбаллу» из Южного Ливана. Но «Хизбалла» по-прежнему там. Она действует иначе, чем прежде, не так нагло, но там упорно восстанавливает свои позиции, перевооружается, тренируется и так далее, то есть делает всё, что делала раньше, только иными путями. Вы отметили верно – в Ливане и впрямь многие надеялись если не на полное поражение «Хизбаллы» – в войнах такого типа, как я уже сказал, не может быть нокаута, – то, по крайней мере, на ее серьезное ослабление, рассчитывая затем захватить освободившиеся позиции. Но этого не случилось. «Хизбалла», громогласно провозглашая, что одержала «ниспосланную Аллахом победу», движется теперь – нет, конечно, не к полному захвату Ливана, но к тому, чтобы обрести еще больше власти и влияния и мертвой хваткой держать за горло ливанское правительство.

– Иными словами, в результате войны «Хизбалла» приблизилась к своей давней цели – превращению Ливана в исламскую республику, наподобие Ирана?

– Нет, нет, лидеры «Хизбаллы» знают, что Ливан – это страна религиозных меньшинств, они не будут пытаться грубо навязывать свою волю маронитам, да они ведь и живут-то в разных районах страны, марониты и шииты, но я думаю, что они воспользуются союзом с маронитами, чтобы ослабить и подорвать позиции прозападных, антисирийских суннитских и друзских кланов. И война привела к тому, что у «Хизбаллы» теперь больше возможностей произвести такую перестановку сил. У Насраллы практически нет теперь соперников среди шиитов. Приведу вам пример. В первые дни войны Насралла был весьма подавлен. И он искал тогда помощи и поддержки у Нагиба Берри, лидера другой шиитской фракции – «Амаль». Тогда он говорил о нем так: «Берри – мой старший брат. Мы должны слушаться его мудрых советов» – и все такое прочее. А сейчас тот же Берри у него на побегушках, как мальчишка. Вот что изменилось в результате войны.

– Ну что ж, перейдем к Сирии. Выиграла она в результате войны или проиграла? Я слышал, что во время войны сирийцы построили палаточный городок для беженцев из Южного Ливана. Принесло это им популярность в стране?

– Нет, городок свой они давно снесли, да и вообще, я думаю, Сирия не могла ничего приобрести в результате этой войны, но и не могла ничего потерять. Сирия всегда будет в той или иной мере присутствовать в Ливане и влиять на ливанскую политику. В этом отношении война ничего не изменила. Но дело в том, что сама Сирия находится в нестабильном положении. И война, усилив «Хизбаллу», косвенно способствовала обострению этой нестабильности. Она резко поставила вопрос, решение которого сирийский режим все время хотел отсрочить: какой путь должна выбрать Сирия? Се-

годня перед ней есть два пути: либо превращение в иранского сателлита, в некое промежуточное звено между Ираном и усилившейся «Хизбаллой», либо поиск какого-то собственного, независимого политического курса. И в этом плане попытки Сирии начать переговоры с Израилем кажутся мне весьма знаменательными. Я думаю, Сирия действительно хочет договориться с нами.

– Почему? Чтобы противостоять шиитскому давлению с обеих сторон?

– Да, я думаю, что нынешнее сирийское руководство отнюдь не прельщает перспектива стать послушным придатком Ирана. Я думаю также, что в Дамаске всерьез обеспокоены давлением Запада в связи с убийством Харири. С этим убийством Сирия зашла слишком далеко. Далее, если говорить об итогах недавней войны, то, разумеется, с сирийской точки зрения она была удачной: Израиль посрамлен и унижен, сирийская помощь «Хизбалле» окупилась. Но в то же время Сирия оказалась перед проблемой – ее пугает чрезмерное усиление «Хизбаллы». Это уменьшает возможности ее маневрирования между Ираном и Западом. К тому же сирийская экономика в последнее время испытывает всё большие трудности, и это ведет к росту недовольства в стране. И я думаю, что сирийцы пытаются решить весь этот комплекс проблем путем переговоров с Израилем. Но им трудно вызвать интерес израильского руководства, потому что в Израиле все понимают, что цена договоренности с Сирией – возвращение Голан. Вот почему Сирия несколько изменила подход – теперь она предлагает не начинать сразу переговоры о мире, а «изучить возможности». Однако в частных разговорах сирийцы намекают, что в обмен на мир с Израилем они были бы готовы несколько «отстраниться» от Ирана.

Я знаю это, потому что разговаривал с сирийцами. Я недавно вернулся из Вашингтона, где встречался с ответственными людьми из Сирии. У меня не сложилось впечатления, что за их предложениями стоит какой-либо тайный и коварный расчет. Мне показалось, что они настроены серьезно. Иными словами, если Израиль согласится на их давнюю формулу, которую они предлагали еще Рабину, а потом Нетаниягу – «Голаны в обмен за мир», в Дамаске, скорее всего, пойдут на подписание мира. В этом я почти уверен. В чем я совсем не уверен – и в этом суть проблемы, – так это в том, что они способны действительно прервать отношения с Ираном и «Хизбаллой». Я опасаясь, что, в конечном счете, выяснится, что Асад хочет получить Голаны и при этом сохранить дружеские отношения с Ираном и «Хизбаллой». А нам это не подходит.

Повторяю – я убежден, что положение Сирии становится все более неустойчивым, она на распутье. Иран приобретает все большее влияние среди сирийских религиозных меньшинств, в особенности среди шиитов. Брожение в общине сирийских курдов все усиливается. Война в Ираке оказывает серьезное влияние на умы. Короче, ситуация неустойчива. И вот еще один результат недавней войны – наше правительство оказалось перед тя-

желым выбором: то ли попробовать ослабить фронт нового исламского «сопротивления», выдернув Сирию из «связки» с Ираном и «Хизбаллой» ценой возвращения ей Голанских высот, то ли отказаться от этого соблазна и оказаться перед фактом полного подчинения Сирии Ирану. Американцы против нашей попытки договориться с Сирией. Они говорят: не надо, это бесперспективно. А, кроме того, я не думаю, что мистер Ольмерт может позволить себе такой политический шаг – уступить Голаны. Так что сирийское предложение остается висеть перед нами, как приманка, а тем временем Сирия, добавляя к прянику что-то вроде кнута, пытается организовать на Голанах, с помощью спецов из «Хизбаллы», что-то вроде антиизраильского, просирийского «сопротивления». И «Хизбалла» охотно помогает Сирии, поскольку она заинтересована в укреплении связей с Дамаском. У Сирии есть такие виды оружия, каких пока нет у «Хизбаллы» – например, зенитные ракеты, – и она может поставить их Насралле. Все это вместе означает, что за наше бездействие в отношении Сирии нам, возможно, тоже придется со временем заплатить.

– Поговорим об Иордании.

– Что сказать об Иордании? Еще одна слабая страна, еще один неустойчивый режим, который стоит перед двумя опасностями. Одна – ее восточный сосед, Ирак. Каким он будет завтра? Это не теоретический интерес – иорданская экономика исторически очень сильно зависит от Ирака, в одном Аммане сейчас насчитывается около миллиона иракцев, беженцев и приехавших на заработки. Поэтому в Аммане имеют самые серьезные основания беспокоиться – кто будет править в Ираке? Будет ли это шиитский режим? Не случайно именно в Иордании первыми заговорили об опасности так называемого «шиитского полумесяца»: «Хизбалла» – Иран – шииты Южного Ирака – шииты восточных районов Саудовской Аравии. В этом плане усиление шиитской «Хизбаллы» – и косвенное усиление всего шиитского лагеря – очень тревожит иорданцев. С другой стороны, их не меньше тревожит вопрос о том, как отразится война на поведении ХАМАСа? Случится ли в Газе и на Западном берегу что-то вроде того, что произошло в Южном Ливане? Устоит или рухнет Палестинская автономия, и как это отразится на настроениях палестинцев самой Иордании?

И это еще не все. Иорданию весьма настораживает также и тот факт, что в последнее время «Аль-Каеда» провозгласила новую политику. Теперь, говорят ее лидеры, приоритет в выборе арены для наших действий следует отдать Леванту, поскольку это самое слабое звено в «мировой цепи западного империализма». А самое слабое звено на карте Леванта – это Иордания. В то же время это стратегически самое важное звено. Отсюда идут пути и в Сирию, и в Ливан, и в Израиль, и в Египет. Вот почему «Аль-Каеда» предпринимает очень серьезные попытки дестабилизировать прозападный иорданский режим. Об этом свидетельствуют хотя бы недавние взрывы в Аммане.

Так что Иордания – это сейчас страна, которая настороженно высматривает, откуда идет гроза, и пытается обзавестись зонтиками. Но, увы, – зон-

тиков мало и они ненадежны. Иордания слабая страна, и она очень мало может сделать для своей защиты. Разумеется, мы оказываем ей посильную помощь, но и наши возможности в этом плане не очень велики. Ведь, в конечном счете, судьба Иордании решается в Ираке, а на исход иракских событий у нас нет никакого влияния.

– Теперь, чтобы кончить с «шиитским полумесяцем»: какое влияние война оказала на Саудовскую Аравию?

– Саудовской Аравии повезло – там появился исключительно энергичный король. Он медленно, с бедуинской неторопливостью, производит в стране весьма глубокие преобразования. К примеру, он создал комиссию, которая призвана решать вопрос о престолонаследии. Он выступает с инициативами, которые направлены на блокирование иранских поползновений. Он настолько решительно настроен в этом плане, что заявляет даже, что если Израиль согласится на саудовские мирные предложения, он готов открыто встретиться с Ольмертом для их обсуждения. И, наконец, он достиг огромных успехов в борьбе с терроризмом, фактически уничтожив всю сеть «Аль-Каеды» в своей стране. Он сделал это совершенно безжалостно, но это единственный способ как-то усмирить террористов. Короче, в последнее время Саудовская Аравия превратилась в самую динамичную силу на ближневосточной политической сцене.

– Это как-то связано с прошедшей войной?

– Да, эта война еще более укрепила саудовский режим, что умеренные силы суннитского мира должны как можно скорее перейти в наступление, чтобы воспрепятствовать попыткам Ирана – с помощью «Хизбаллы» и ХАМАСа – дестабилизировать весь регион. Нельзя, однако, забывать, что это «скорее» весьма относительно – при всей саудовской активности ее темпы остаются... саудовскими, бедуинскими. Тем не менее, Риад действует. Там очень напуганы перспективой иранской атомной бомбы. Там вообще очень боятся усиления Ирана, особенно в связи с ситуацией в Ираке. Не случайно именно Саудовская Аравия стала инициатором недавней совместной встречи суннитских и шиитских клириков, на которой шла речь о сотрудничестве в целях прекращения насилия в Ираке. Риад активно действует сразу в нескольких направлениях. Израиль он всячески пытается вовлечь в обсуждение своей мирной инициативы. ХАМАСу втолковывает: образумьтесь и ведите себя как подобает. А иранцев предупреждает: если вы обзаведетесь атомной бомбой, то и мы не останемся без нее. Мы не допустим такого положения, чтобы на Ближнем Востоке были только израильская и персидская атомные бомбы – и не было бы арабской. Думается, такого же рода предупреждением Ирану являются недавние заявления египетского правительства о том, что оно намерено возобновить свою ядерную программу. Разумеется, в мирных целях, как всегда говорят в таких случаях. Так что, суммируя, я сказал бы так: Риад развернул небывалую для себя политическую активность, но вопрос в том, в какой мере он может повлиять на события? Когда-то, в 70-е годы, у Саудовской Аравии

был исключительно энергичный король, Фейсал, который действительно способен был влиять на ситуацию в региональном и даже в мировом масштабе – это он организовал в те годы знаменитый нефтяной бойкот. Я не знаю, сохранили ли саудовцы способность к такого рода эффективным действиям, но они явно обеспокоены и явно пытаются что-то сделать.

– И вот последний на очереди вопрос: Египет, наш старый добрый друг Египет?..

– У нас действительно давний мир с Египтом. Правда, Шарон сделал большую ошибку, попытавшись заново вовлечь Египет в палестинские дела. Египет не хочет больше связываться с палестинцами. Он отмежевался от Газы и теперь, когда мы снова попытались вернуть ему ее, заявил: извините, господа, я в эту игру больше не играю. Не играю, и все. Египет держится своей политики не вовлекаться больше в палестинские дела напрямую. О да, Каир готов послать в Газу своих офицеров, каких-то представителей, посредников и так далее, но всё это больше для виду. Они не хотят связываться в эту проблему. Они жаждут стабильности.

И, знаете, я верю в стабильность Египта. Я думаю, что в силу самого своего характера и истории эта страна привыкла к сильной центральной власти. Так у них было еще со времен фараонов, хотя сейчас эта власть, разумеется, много слабее, много мягче. Я думаю, что Египет может сохранить стабильность даже в том случае, если «Мусульманские братья» там получат большее представительство в парламенте и больше власти. И я полагаю, что именно в Египте эта организация может оказаться умеренней в своих требованиях и не будет пытаться подрывать стабильность государства. Конечно, «Мусульманские братья» и в Египте говорят непримиримым языком ХАМАСа, но на деле между ними и режимом сохраняется некое негласное и очень тонко сбалансированное равновесие. Они избегают конфронтации.

Конечно, это не значит, что сыну Мубарака будет легко перенять власть. Более того, я совсем не уверен, что именно он станет преемником отца. Но возможность военного переворота я исключаю. На мой взгляд, эпоха военных переворотов в арабском мире уже миновала. Это в 60-е годы XX века любой лейтенант с взводом солдат мог произвести переворот – именно так произошло в 1966 году в Дамаске. Сейчас это уже невозможно. Чем больше и сильнее становились арабские армии, тем слабее они становились политически. Арабские армии, арабские генералы утратили почти все свое политическое влияние. Кстати, тот же процесс, к сожалению, происходит и в Турции, о чем свидетельствует приход к власти Эрдагана. Впрочем, Турция – другая страна, там армия все еще пытается сохранить умеренный курс Ататюрка. В арабском же мире генералы и командующие армиями обладают сегодня куда меньшим политическим влиянием, чем главы контрразведок. И поэтому в Египте нельзя ожидать какого-нибудь генеральского путча. Армия останется в стороне, разве что произойдет что-то весьма неординарное, не по ее вкусу.

– Но не угрожает ли египетской стабильности глубокий разрыв

между массами и правителями? Один из западных корреспондентов, говоря о ситуации в Египте, очень выразительно сказал: «В этой стране правители идут по одной стороне улицы, а народ – по другой». Разве это может долго продолжаться?

– Но так было всегда! Нет, я убежден, что Египет определил свой курс, еще при Садате. Этот человек был гигантом в политике. Он мыслил стратегически. Знаете, он ведь так и не прочел текст египетско-израильского мирного договора! Ему были неинтересны эти технические детали. Его интересовала общая, я бы сказал – историческая картина, выбор направления на десятилетия.

– Я должен вас перебить. Мне кажется, что в этом отношении Садат был характерным восточным правителем. Я размышлял над этой особенностью и пришел к мысли, что ее можно сформулировать таким образом: одно из важнейших отличий Востока от Запада, и не в пользу Запада, состоит в том, что на Востоке исторически, стратегически, геополитически думают правители, а на Западе – интеллектуалы. Правителям на Западе некогда думать в крупных масштабах времени – у них всего четыре года, от выборов до выборов.

– Это хорошо. Это очень верно. Под чалмой Рафсаджани или Хаменеи скрываются семь тысяч лет дипломатии. На Западе не понимают этого. Но вернемся к Египту. Его правители знают, что их страна бедна и ей грозит стать еще беднее – в силу роста населения и ограниченности природных ресурсов. Поэтому они еще со времен Насера, когда рухнула его попытка построения «арабского социализма» и форсированной индустриализации страны на сталинский манер, задаются вопросом: куда мы идем? Куда нам идти? И я слышал от них самих, что они хотели бы взять пример с Индии. Индия тоже бедная страна, рассуждают египтяне, там тоже многие умирают от голода, и население тоже стремительно растет, но там есть сильный средний класс численностью в несколько сотен миллионов человек, есть сильная власть, большая армия, огромный флот, ядерное оружие, и ракеты, и все что хотите. И в результате Индия имеет определенную степень стабильности. Это и есть путь, которым должен идти Египет. Он имеет шансы преуспеть даже больше, чем Индия. Нужно только сконцентрироваться на создании среднего класса, который везде и всюду является основой стабильности.

– И что, они в этом преуспели?

– В общем, да. Сегодня в Египте вполне устойчивый режим. Поэтому я и думаю, что ситуация там достаточно стабильна. И это – еще одно очко в нашу пользу. Стабильный Египет не будет вмешиваться в борьбу за власть в Газе, но он не станет вмешиваться и в наши действия там.

– Мы приближаемся к Ираку. Читая о событиях в этой стране, я наткнулся среди прочего на статью Роберта Дрейфуса в «Азия таймс», где говорилось о большой вероятности переворота в Ираке. Автор намекает, что к власти там может прийти националистически настроенный генерал, который расчистит дорогу какому-нибудь новому Саддаму Хусейну.

– Но в Ираке нет армии. И милиции там заправляют всем и вся.

– **Речь шла о том, что это якобы новый план ЦРУ, цель которого – помочь американцам вывести свои войска из Ирака.**

– Нет, это сомнительная конструкция. В Ираке нет армии, которая могла бы совершить переворот. Это была одна из самых больших, глупейших ошибок американцев – они распустили иракскую армию. Я расскажу вам историю. Еще перед вторжением американцев в Ирак я много писал об опасности «фархуд» – по-арабски это слово означает «погром». Я имел в виду, что распад Ирака как государства неминуемо приведет к общинным погромам, потому что каждая община начнет сражаться с другими. Так и случилось. Американцы допустили огромную ошибку, когда расформировали иракскую армию. У Ирака была армия. Она насчитывала примерно тридцать дивизий. Верно, большинство из них были небоеспособны. Но контролировать население они были вполне способны. И первое, что сделал этот напыщенный и самоуверенный тупица Бреннер, американский наместник в Багдаде, – он расформировал эти дивизии. Расскажу вам еще одну историю. Несколько месяцев назад я был в Афинах и встретил там бывшего иракского генерала, который рассказал мне, как он скрывался от американцев, будучи совершенно уверен, что если его найдут, то тут же арестуют и бросят в тюрьму. Он скрывался несколько недель, но потом ему надоело сидеть в подземной норе, как Саддам, и он отправил письмо американским властям, в котором предлагал явиться с повинной. Ответа он не получил и решил явиться пред светлые американские очи без предварительной договоренности. Явился, с ним поговорили и – отправили на все четыре стороны. После этого он бежал из страны.

– **Это напоминает мне известный советский анекдот о шпионе, который явился в КГБ с повинной, объясняя, что готов сообщить о полученном им задании. Ему сказали: «Ах, у вас и задание есть? Так идите, выполняйте свое задание, не морочьте голову занятым людям!»**

– Да, Бреннер очень занят. И в результате его занятий иракская армия перестала существовать. Миллион людей остались без пенсий, без зарплат, без всякой надежды что-нибудь заработать. Миллион людей, которые умеют обращаться с оружием. Куда прикажете им деваться? Понятно, что часть из них подалась в разные вооруженные формирования. Основную часть нынешнего насилия в Ираке осуществляют не люди «Аль-Каеды» – его осуществляют вот эти бывшие вояки. Вся беда в том, что люди, подобные Бреннеру, глупы и самоуверенны. Они не понимают того, что понимает Энди Басевич: недостаточно выиграть сражение, нужно выиграть войну.

В результате, Ирак превратился сегодня в узел всех ближневосточных проблем. И в ключ к их решению. От того, каким будет завтрашний Ирак, зависит очень многое. Это окажет огромное влияние на Иран. Если, например, в Ираке утвердится власть шиитов под духовным руководством шейха Систани, это будет означать большую головную боль для Ирана. Но если большая часть Ирака, включая южные нефтеносные районы, окажется

под властью проиранских шиитских групп, это неизбежно создаст проблемы для Саудовской Аравии, для эмиратов Залива, для Турции. А если иракские курды попытаются заполучить нечто вроде «суверенной автономии», это пробудит энтузиазм курдов Турции и Сирии. И так далее.

Я думаю, что в последнее время в Ираке появились обнадеживающие проблески: та же конференция суннитских и шиитских лидеров в Саудовской Аравии, мобилизация племен Западного Ирака для борьбы с «Аль-Каедой», довольно ответственные заявления курдских лидеров... Но проблема во времени, хватит ли его? Если американцы уйдут из Ирака раньше времени, то эти обнадеживающие проблески угаснут. Впрочем, основные кандидаты в американские президенты, как это видится сегодня – Мак-Кэйн, Джулиани, Хиллари Клинтон и другие, – как будто бы не очень склонны к поспешному выводу войск из Ирака. Но устоят ли они под давлением американской общественности? Не знаю, не знаю...

– **Что выиграл от войны в Ливане Иран?**

– О, Иран обрел новую уверенность. В Тегеране сейчас чувствуют себя очень комфортно. Они видят, что им все сходит с рук, и это их очень ободряет. Но мне кажется, что они не торопятся с решительными шагами. Их не очень прельщает перспектива Ближнего Востока, где чуть ли не все будут располагать атомным оружием – Саудовская Аравия, Египет, Турция. Их также беспокоит слишком длительная нестабильность в соседнем Ираке, потому что они боятся распространения этой нестабильности, боятся, что она перекинется в их собственную страну. Я думаю, что они хотели бы достичь такого положения, когда они будут, вроде Японии, на расстоянии вытянутой руки от возможности обзавестись атомной бомбой, но руку свою так в эту сторону и не протягивая. Подойти к этой границе – и заключить сделку с Западом. Они многого хотят от Запада: гарантий устойчивости режима, признания их большей роли в регионе, помощи в диверсификации экономики, которая слишком опасно зависит от нефти, и так далее. Они чувствуют, что у них есть хорошие шансы для будущей сделки с Западом, а пока они укрепляют свои позиции – в Ливане через «Хизбаллу», в Газе через ХАМАС, в шиитских общинах Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна, – но все это на иранский манер: сделать шаг, остановиться, оглядеться, понять, какие последствия этот шаг вызвал. Совсем иначе, чем действуют израильские политики.

– **Ваша картина не совсем похожа на стереотип Ирана, который стремится подчинить себе весь Ближний Восток, а там и весь мир...**

– Подчинить – вряд ли, но они наверняка хотели бы стать на Ближнем Востоке тем, что по-персидски называется «Барадар Рибозол», «Старшим братом». И они не торопятся. Они знают своих суннитских соперников, с которыми уже полторы тысячи лет конкурируют. И еще, я думаю, они немного блефуют, заявляя, что близки к созданию атомной бомбы. Я думаю, Иран намного дальше от этого, чем думают на Западе. Вот почему их так устраивает «доктрина Сопротивления». Им не нужна большая война – им

нужен непрерывный военный конфликт. Против Израиля, разумеется. Хотя со временем они могут изыскать и другую цель. Сейчас удобнее всего – Израиль. Против него можно бросить ХАМАС, можно бросить «Хизбаллу», и это обойдется в каких-нибудь несколько десятков миллионов долларов. А деньги у них есть. Китай, Индия и Япония просто жаждут обеспечить себе стабильные поставки нефти. И тут возникает интересная ситуация: глядя еще дальше в будущее, Иран видит своим главным стратегическим партнером... Китай. В последнее время между Ираном и Китаем складываются очень тесные и многосторонние отношения. Любопытно и то, что такой же «пересмотр стратегии» начался в эмиратах Персидского залива. Вся эта часть Ближнего Востока поворачивается лицом к Восточной Азии, к Китаю – вплоть до того, что в эмиратах уже подумывают о том, чтобы часть своего валютного запаса держать не в долларах, а в юанях. И половина новостей в тамошних газетах – уже не о ситуации на Западе, а о положении дел в Азии. И уже в качестве анекдота: чуть не все полицейские на улицах эмиратов сегодня – это индусы, пакистанцы, афганцы... А арабы не хотят идти служить в полицию. Я бы назвал это геозкономическими сдвигами, но за ними неизбежно придут и сдвиги геополитические.

– Вы дали очень широкую картину Ближнего Востока, и я должен сказать, что в таких масштабных рамках времени и пространства мир представляется несколько иначе, чем в очередном выпуске израильских «Хадашот» – наших «Новостей». И, тем не менее, – что же все-таки происходит здесь и сейчас? Что произошло у нас, в нашем маленьком уголке Ближнего Востока, в нашей крохотной стране? Что означала эта война для нас? Каков ее исход для нас? Выиграли мы что-нибудь, в конце концов, или нет? В недавней статье Крука и Перри в той же «Азия таймс» перечисляются десять важнейших последствий победы «Хизбаллы» и делается суммарный вывод: «Победа "Хизбаллы" перечеркнула результат Шестидневной войны и повернула ход событий на Ближнем Востоке в сторону постепенного, но неуклонного уменьшения роли Соединенных Штатов и убывания силы Израиля». Авторы как бы не сомневаются в этой победе. Впрочем, следует заметить, что один из них – бывший советник Арафата, а другой – директор какого-то Центра по связям с политическим исламом. В этой связи мне вспомнился один из российских комментаторов ближневосточных событий – он точно так же не сомневался, что никакого исламского терроризма на Ближнем Востоке нет, что все теракты подстроены американской и израильской разведкой. Так вот, возвращаясь к нашей реальности, каков же результат войны для Израиля?

– Израиль вступил в войну таким образом, что даже начальник генерального штаба не знал, что он начинает войну. Он сам сказал позже, что, когда на заседании кабинета после похищения солдат было принято решение атаковать «Хизбаллу», он не думал, что это начало войны. Не думал этого и министр обороны, и премьер-министр. Израиль ввязался в огром-

ной важности испытание – не просто в очередную стычку с «Хизбаллой», но, как я уже сказал, в нечто куда более серьезное, в практическую проверку боем стратегии «Мукаума», ввязался, не понимая, во что он вляпался. Не понимая последствий своего решения и не задействовав все свои мощности, как того требует настоящая война.

Израильская армия имела план действий на случай полномасштабной конфронтации с «Хизбаллой». Но начальник генштаба, министр обороны, премьер – сейчас неважно, какова степень ответственности каждого из них, – они решили не следовать этому плану. Вместо этого они начали импровизировать. Сначала они опробовали тактику воздушных налетов, потом они стали пробовать тактику точечных наземных «уколов» возле самой границы, чтобы оттянуть на себя основные силы «Хизбаллы», а когда они, наконец, вроде бы решились на настоящую войну, они вели ее вполсилы и начали слишком поздно – в тот момент, когда Совет Безопасности ООН уже завершал в свисток, извещающий о конце матча.

А, кроме того, проблемы были и в самой армии. Конечно, проблемы есть в любой войне, но если война завершается успешно, о них забывают. Но когда нет ощутимого успеха, нет нокаута – а его не могло быть, – тогда об этом начинают кричать. Нокаута не могло быть еще и потому, что израильская армия воевала в Ливане вопреки выработанному ранее плану боевых действий.

– **Почему?**

– Потому что правительство отказалось реализовать свой план.

– **Почему?**

– Потому что оно не понимало, что это настоящая война.

– **Почему?**

– Потому что они думали, что это будет просто большой поркой для Насраллы. И надо сказать, что вначале Насралла был очень испуган. Но в какой-то момент он понял, что израильтяне не намерены действовать в полную мощь. Ну что ж, в таком случае он может попробовать держаться, сколько получится. Отсюда его тактика: мы готовы к прекращению огня в любой момент, а до тех пор будем обстреливать Израиль.

Тем не менее, я не думаю, что можно во всем обвинять нашу армию. Вот вам пример. В 1981 году мы имели такого же рода конфронтацию с ООП в Южном Ливане. ООП была много слабее «Хизбаллы», у нее не было такого запаса ракет, тем не менее ее боевики упорно продолжали обстреливать Галилею «катюшами». В течение 10 дней израильская армия пыталась прекратить этот обстрел. Она уничтожила много пусковых установок, но так и не смогла ликвидировать все. А это был 1981 год, это была ООП, жалкие шмендрики по сравнению с «Хизбаллой». И все равно мы не смогли их уничтожить. Потому что эти запуски «катюш» фактически невозможно предотвратить – во всяком случае, с воздуха. А на крупную наземную операцию, на настоящую войну, мы так и не решились.

И я думаю, что это была наша главная ошибка. Мы полагали возмож-

ным обойтись полумерами. Любопытно, что ту же самую ошибку совершают наши командиры сейчас, в конфронтации с палестинцами. Они снова повторяют эти нелепые формулы: «война низкой интенсивности», «отдельные операции», «тактика сдерживания» и тому подобную чепуху. И что в результате? Интифада продолжается. Она продолжается уже шесть лет. Конечно, она меняет формы, она то усиливается, то слабеет, но главное – она продолжается. И чем это все кончится? Я абсолютно уверен, что, в конце концов, нам придется решиться на настоящую, большую войну.

– **Вы буквально повторяете слова ван Кревельда, который сказал мне: «Я надеюсь, что мы, наконец, обрушимся на Газу по-настоящему и проучим ХАМАС так же, как проучили "Хизбаллу" в Южном Ливане. Иного способа отбить у них охоту к конфронтации с нами попросту нет».**

– Я тоже думаю, что у Израиля нет другого выхода, кроме того, чтобы в тщательно выбранный момент, хорошо подготовившись, нанести мощнейший удар по Газе. Если не по всему сектору, то хотя бы по его части. Потому что если мы этого не сделаем, если мы будем ждать, они с каждым днем будут становиться все сильнее. И дело не обойдется одними «касамами» или даже «катюшами». Сейчас в Газу уже прибывают противотанковые ракеты, с радиусом действия 2–4 километра. Это очень точно наводящиеся ракеты, и с их помощью можно полностью заблокировать многие пути сообщения на нашей стороне границы. А кроме всего прочего, ХАМАС уже начал создавать свою милицию и на Западном берегу – в Калькилии, в 500 метрах от Кфар-Сабы. С нашего попустительства.

Поэтому надежда одна – что в Израиле появится сильное правительство, что наш народ будет подготовлен к необходимости настоящей, тяжелой войны и что мы решимся на нее как можно скорее. Я готов даже организовать движение «ХАМАС сейчас!» – в противовес левому движению «Мир сейчас!» Нам следует подготовить собственное общественное мнение, нам следует подготовить Египет, нам следует объяснить свою позицию Западу. К сожалению, мы всегда делаем это очень плохо.

– **Мой последний вопрос – как повлияла война на израильское общество, его мораль, его психику?**

– Я думаю, что в целом Израиль оправился довольно быстро. Об этом говорят хотя бы цены на недвижимость в Галилее. Я думаю также, что в результате этой войны израильтяне начали более ясно представлять себе опасности, заложенные в проблеме Газы, и понимают теперь, что это не какая-то досадная помеха – терроризм, «доктрина Мукаума», – а весьма реальная и серьезная опасность, может быть, даже больше, чем обычная, конвенциональная война. И что наша стратегическая ситуация не совсем такая, какой ее рисовали наши политики. И стратегическая среда вокруг нас очень опасна. Как сказал – правда, по другому поводу – Эхуд Барак: «Израиль – это деревня в джунглях, и нам лучше не выпускать из рук винтовок».

В моем понимании, чем скорее это произойдет, тем лучше. Мы должны заставить ХАМАС понять, что у нас есть противоядие против «доктрины

Мукаума». Когда-то Арафат выдвинул лозунг: «Народная освободительная война». Мы разрушили эту доктрину. Затем пришли террористы-самоубийцы. Теперь главную опасность представляют «Хизбалла» и ХАМАС, действующие под прикрытием Ирана. И я очень удивлен, что наши политики не говорят об этом гражданам со всей определенностью. Увы, со времен Бегина наши политики все время пытаются говорить своим избирателям только приятное. Ну, в самом деле, сколько голосов получишь, внушая гражданам, что им предстоят большие жертвы? Вот вам один пример. ХАМАС предлагает нам длительное перемирие. И наши политики испытывают большой соблазн сказать: «Согласны!» А как же – несколько лет тишины и покоя! Но на самом деле принять предложение ХАМАСа было бы большой ошибкой. Нельзя давать им время консолидировать свои силы.

– А что, в число подготовительных мер не входят какие-то политические меры, например – перестройка политической системы, к которой призывают сейчас многие, и прежде всего Авигдор Либерман?

– Я не специалист в этих вопросах. Я убежден лишь, что сейчас Израилю, как никогда, нужно сильное, устойчивое правительство. Правительство, способное принимать трудные, непопулярные решения. Я говорю как гражданин. Когда я иду на выборы, я не читаю газет и опросов – я прикидываю, кто имеет больше всего шансов создать устойчивое сильное правительство. Именно поэтому я голосовал за Ольмерта, хотя считал, что его идея размежевания на Западном берегу совершенно нереальна. Я и сейчас не вижу более подходящего кандидата в премьеры, чем Ольмерт, хотя я и разочарован тем, как он руководил войной. Он способный, а главное ответственный политик, может быть, не Бен-Гурион и даже не Эшколь, но у Израиля было много премьеров среднего калибра: Рабин в первую свою каденцию, и Бегин во вторую, и Голда Меир, которая была человеком твердых убеждений, но делать ничего не умела. Повторяю: главное сейчас для Израиля, на мой взгляд, это сильное устойчивое правительство, а не спешные перестройки или война нервов. И тогда я надеюсь, все эти апокалиптические настроения, порожденные у некоторых войной, постепенно сойдут на нет. Мы ведь, евреи, вообще невротики.

– Столько веков вокруг одни враги – поневоле станешь невротиком...

– И все-таки я думаю, что нам бы не помешало помнить одно высказывание Хаима Вейцмана, первого нашего президента. «Наши евреи, – сказал он, – народ, несомненно, умный и изворотливый, но немного мозгов им бы тоже не помешало». Нам всем не помешало бы немного здравого смысла. Это ведь так просто: когда вы видите человека с ружьем в Газе, вспомните чеховское правило: «Если в первом акте на стене висит ружье, в последнем оно обязательно выстрелит».



социолог, аналитик, писатель, публицист; с 1984 по 1997 г. – главный редактор тематических программ на Би-Би-Си, ныне сотрудник российского Института русской истории (РГГУ). Живет в Англии.

ТЕРРОРИЗМ И ВОЙНА

Терроризм, кажется, окончательно утвердился как постоянный элемент глобального образа жизни. Как это понимать? Что это – война? Крайняя форма вандализма фрустрированной маргиналии всемирного города? Вариант организованной преступности? И если это война, то какая? Между кем? Кто в этой войне наступательная сторона и кто оборонительная? Что это – начальная фаза войны, которая будет разгораться всё больше? Или эта война приобрела теперь свой окончательный вид?

Это всё не праздные вопросы, потому что от ответа на них зависит стратегия тех, кто в эту практику насилия вовлечён на той или другой стороне и в той или иной роли. Даже рядовому обывателю, чья роль сводится к роли потенциальной пассивной жертвы, интересно бы знать, что происходит, потому что в зависимости от этого он будет выбирать, где ему жить, будет или не будет ездить на курорты, будет или не будет строить у себя в саду бомбоубежище. Что уж говорить об армиях, спецслужбах и полиции. Или страховых компаниях.

И общественность в целом стоит перед трудным выбором, поскольку ей в этих условиях предстоит выбрать линию политического поведения. Для индивида это сводится к нелёгким моральным решениям и чревато (в особенности для так называемых «сознательных» или «озабоченных» граждан) эмоциональным дискомфортом. Для демократического общества, где поведение правительств и администрации хотя бы минимально зависит от политических настроений и морального состояния публики (через поведение электората), это тоже имеет значение, поскольку раскол общества в этом аморфно-туманном состоянии «обыденно-чрезвычайного» положения затрудняет процесс принятия политических решений и на-

прягает саму демократию до опасного предела, за которым она может оказаться попросту разрушена.

Ответить на все эти вопросы очень нужно бы, но крайне затруднительно. Те, кто уверяет нас, что они всё понимают и сейчас нам всё объяснят, легкомысленные люди, если не шарлатаны и безумцы. Ситуация настолько многосмысленна, что впору вообще капитулировать и отказаться от суждений по её поводу, заменив их, как это делают многие эксперты, муссированием технических деталей, поисками ошибок действующих лиц или разоблачением злодеев. Но не может же разумный человек жить в постоянном густом тумане без какой-то ориентации. Поэтому попробуем нащупать если не ответы на висящие в воздухе вопросы, то хотя бы некоторую методику рационального обдумывания нынешнего положения дел.

Если терроризм это насильственный акт, начнем наши рассуждения с размышлений о насилии вообще. Физическое насилие – это способ разрешения конфликта. Конфликт никогда не удастся исключить из практики человеческих отношений. Нарастающая рационализация человеческих отношений, конечно, расширяет пространство возможных компромиссов, но пространство конфликтов расширяется ещё быстрее из-за того, что неуклонно обогащается содержательность жизни.

Соответственно, неустранимо из общественной жизни и насилие. Хотя с насилием дело обстоит несколько полегче. Насилие имеет разную энергетику и технологию. Даже при очень остром противоречии с большими ставками конфликт не обязательно разрешать физическим уничтожением или подавлением одной из сторон. Существует широкий спектр разных способов насилия – от убийства, шантажа и промывки мозгов до демагогически авторитарного убеждения.

Можно думать, что в ходе всеобщей эволюции (антропогенеза, культурогенеза, социогенеза) инстинкт насилия постепенно изживается из программы *homo sapiens*. То есть меняются условные, а то и безусловные рефлексы человека. Можно полагать, что технический прогресс позволяет постепенно вытеснять грубое физическое насилие, заменяя его более мягкими и не смертоубийственными методами. Всё чаще насильственное разрешение конфликтов происходит в условно военных действиях, в игровых процедурах. Агрессивные поглощения одних бизнесов другими, если угодно, можно считать «грабежом», но следует всё же признать, что между таким способом перехода имущества из рук в руки и вульгарным налётом или рэкетирным наездом есть большая разница, и мы её ощущаем на собственной шкуре – буквально. Крупных финансистов-рейдеров, конечно, можно считать разбойниками с большой дороги, но не все они заказывают конкурентов киллерам.

Снижение энергетики насилия в Европе после Второй мировой войны производит сильное впечатление. Прежде всего, из жизни европейских народов ушла война. За пределами Европы – главным образом, из-за гражданских войн в нестабильных (неудавшихся) государствах – энергетика на-

силія всё ещё заметно выше, но всё-таки масштаб её не увеличивается (даже с учётом таких флуктуаций, как Руанда или Ирак) и, по-видимому, остаётся намного меньшим, чем он был в Европе вплоть до Второй мировой войны, несмотря даже на то, что эффективность вооружений обычного рода продолжает возрастать.

Война до сих пор не поставлена безоговорочно вне закона, подобно терроризму. Но рационализировать (оправдать) военные действия, даже намеренно сводящие к минимуму смертоубийство, становится всё труднее. Эта культурно-специфическая форма массового насилия уходит в прошлое, и есть все основания думать, что зона мира будет неуклонно расширяться, если, конечно, эта тенденция не будет прервана какой-то непредвиденной катастрофой экзогенного происхождения.

Это рассуждение могло бы нас успокоить, поскольку позволяет нам с нашей гуманистической точки зрения оптимистически смотреть на долгосрочное будущее.

Но практика терроризма вносит некоторый беспокойный элемент в эту оптимистическую картину. Естественно подозревать, что насилие, вытесняемое из общества, возвращается обратно по принципу «гони любовь в дверь, она влезет в окно».

Энергетические масштабы терроризма не дают для таких подозрений достаточных оснований. Согласно методике, принятой в Госдепартаменте США, учету подлежат теракты, в результате которых погибли или были ранены люди, либо был нанесен ущерб собственности на сумму более \$10 000. При этом актами международного терроризма считаются вылазки, среди жертв или участников которых наличествуют граждане более чем одной страны.

На основании этой методики Госдепартамент США (в пересказе российской газеты «Ведомости» от 29.04.2005) в 2004 году насчитал 651 акт международного терроризма (из них в Ираке – 201), в которых погибли почти 2000 человек: 330 в Беслане, 191 в Мадриде, 130 на филиппинском пароме... Это в три раза больше, чем в 2003 году, но сам же Госдепартамент дезавуирует этот подсчет, указывая, что изменилась его методика.

Добавим, что эта статистика учитывает только то, что именуется «международным» терроризмом, а само разделение терроризма на «международный» и «отечественный» и критерии «международности» террористического акта кажутся несколько искусственными. Можно думать, что на самом деле энергетика терроризма в мире выше, чем учтенная Госдепартаментом. Но пусть она выше в два, пусть в три раза – всё равно это не принципиально. Гибель в результате несчастных случаев и бытовой преступности во много раз больше.

У терактов большой шоковый эффект, на что они и рассчитаны. Терроризм выглядит очень страшно, если мы считаем нормой мирное и бесконфликтное сосуществование людей. Но на самом-то деле фактическая норма – это насилие. И если оно в принципе неустранимо, то ны-

нешний его энергетический уровень и технология не должны бы нас особенно пугать.

Есть ещё одно соображение. Несмотря на то, что оно находится на грани тавтологии, очень содержательное. Дело в том, что терроризм и есть терроризм, а не война, именно потому, что его энергетика на несколько порядков ниже. Так сказать, сделали крышу, от дождя спаслись, но крыша протекает и – соответственно – в доме капает. Согласно этой логике, 600 тысяч погибших за три года в Ираке (недавняя сенсационная, но оспариваемая оценка) означает, что в Ираке идёт не террористическая кампания, а война или хаотический геноцид в условиях смуты.

Все эти рассуждения есть, в сущности, разъяснение уже заранее принятой интерпретации, а именно: теракты, как бы они ни были ужасны и трагичны сами по себе, выглядят как остаточное явление эпохи дикости и варварства. Терроризм в такой трактовке – это реликт (культурный), эрзац войны (инструментальный) и атавизм (биологический).

Но не нужно отказываться целиком от этого успокоительного представления, чтобы сделать важные пессимистические поправки к нему.

Расширение зоны мира вовсе не обязательно будет происходить мирным образом. Отнюдь не исключено, что оно будет сопровождаться весьма масштабными войнами. Во всяком случае, как будто бы до сих пор так и бывало. Та же Европа, снисходительно вззирающая на внешний мир со своих нынешних пацифистских высот и ожидающая с некоторой барской наивностью от всех остальных, что они будут вести себя столь же благовоспитанно, прежде чем стать зоной мира, довела практику войны до полного абсурда. Диалектика мира и войны сложнее, чем простое постепенное движение в сторону мира. Путь к долгому миру до сих пор роковым образом лежал через особо свирепую войну.

А если так, то нынешний терроризм отнюдь не реликт, эрзац и атавизм, а, наоборот, предвестник чего-то гораздо более серьёзного и энергетически мощного – типа мировой войны, если угодно.

Терроризм вполне может оказаться первой фазой стычек в преддверии большой войны. Стороны в этой войне обозначаются. Одна сторона имеет облик Соединённых Штатов. Другая сторона – облик Ирана. За спиной США – Европа и вообще так называемый Запад. За спиной Ирана – мусульманский Восток.

Если считать, что враждебность Вашингтона и Тегерана достигла уже такого накала, когда переход к военному столкновению становится неизбежен, то одно немаловажное обстоятельство (независимо от других) мешает этому переходу. Это обстоятельство – отсутствие у них общей границы. По иронии судьбы, США и Иран очень удалены друг от друга. Без этого классическая фронтально-армейская война невозможна. Возможна ракетная с применением ядерного оружия или без него, но пока у одной из сторон нет адекватных средств доставки такого рода оружия, об этом рано говорить.

Однако есть ещё два варианта. Во-первых, десантно-диверсионная партизанская война. Во-вторых, война чужими руками.

Для того чтобы оценить перспективы десантно-диверсионной войны, нужно обратиться к традиции городского терроризма в Европе. Это – метод индивидуального или малогруппового протеста против существующего порядка в целом или какой-то практики, санкционированной и легализованной в данном обществе и неприемлемой для какого-то морального настроя.

Террористы могут искать оправдания своим насильственным действиям в любых убеждениях – от защиты прав животных и борьбы с курением до установления шариата или (что глубоко иронично) борьбы за мир. Наклонность к терроризму вовсе не обязательный спутник какого-либо морально-мировоззренческого экстремизма. Крайние убеждения скорее даже способствуют эскейпизму, чем терроризму. К терроризму приходят те, кто одержим потребностью лично повлиять на магистральные исторические процессы, а не те, чьи моральные предпочтения экстравагантны, не эксцентричны.

К терроризму людей толкают не убеждения, а темперамент и настроение. Это продукт фрустрации. Обычно считается, что в отчаяние впадают те, чьи жизненные возможности усечены несовершенством рынка и институциональной структуры общества. Но это не всё. Другой оттенок «отчуждённости», может быть, даже важнее. В отчаяние приходят и те, кто чувствует, что их протест изолирован, что они не могут примкнуть к какому-либо массовому движению, а тем более мобилизовать его в роли лидеров.

Когда-то в Европе политическую и моральную атмосферу определяли именно массовые общественные движения и политические партии, обещавшие этому протесту успех и на самом деле достигавшие искомого результата. Организованная и цивилизованная классовая борьба абсорбировала протест и умирляла насильственные инстинкты многих жертв атакизма. Совершенно так же, как и легитимные (согласно традиционным нормам) военные действия. Массовые социальные движения, кстати, и были (вместе с генералами) главными врагами терроризма (партизанщины), а секретные органы (как, например, в России) скорее тайком поощряли террористов – надо ли объяснять почему? Фрагментация сил общественного протеста на Западе и почти полное исчезновение протестного мейнстрима в результате включения партий трудящихся в партократический истеблишмент и массовой деполитизации потребительски удовлетворённого большинства, можно думать, и есть главная структурная причина терроризма. А если это так, то у терроризма очень большое будущее. Не обязательно он вырастет до масштабов войн ушедшей эпохи, то есть, скорее всего, сам в войну не превратится. Но как-то ещё вырастет, и, главное, придётся совсем уж забыть об его окончательном искоренении.

Ещё недавно терроризм комбинировался с секулярным социальным прожектизмом, с этническим сепаратизмом, с конфессиональным (любым)

фанатизмом. Всё это остаётся и теперь. Но сейчас, конечно, его главными агентами стали маргинализированные группы мусульманского населения в больших европейских или сильно вестернизированных городах. Два его самых горячих очага располагаются в Алжире (он как будто бы сейчас подавлен) и в Израиле–Палестине–Ливане, то есть в зонах самого плотного контакта двух культур в пределах городской среды. Здесь ситуация больше всего напоминает то, что предусматривает концепция «столкновения цивилизаций». Но даже и здесь трения между двумя культурно-конфессиональными общинами скорее маскируют конфликт между более богатым и модернизированным (вестернизированным – попутно), то есть секуляризованным де-факто (хотя бы отчасти) обществом и традиционным обществом с его «культурой нищеты», то есть прежде всего повышенной религиозной экзальтацией (мусульманской – по случаю). В Леванте к этому добавляется и территориальный конфликт между Израилем и Палестиной.

Поразительно интересна картина в Ливане. Один американец (Robert Pape, University of Chicago) реконструировал анкетные данные почти 500 террористов-самоубийц. Так вот, из 38 ливанских случаев были: 8 – исламские фундаменталисты, 27 – левые политические группы (включая ливанскую компартию и арабский социалистический союз), 3 – христиане.

Роберт Пэйп делает вывод: это был протест против оккупации Ливана Израилем, и ничего больше. Конечно, оккупация побуждает к протесту, включая его крайние формы. Но это не всё. Во-первых, Ливан – многоконфессиональное государство и к тому же весьма секуляризованное. Соответственно, профиль террориста-самоубийцы и должен быть разнообразен. Во-вторых, секулярные левые там наиболее фрустрированы именно из-за их полной изоляции от общей жизни. Кто из нас раньше слышал что-нибудь о ливанской компартии? Где она вербует свои кадры? В-третьих, данные Пэйпа относятся к 80-м годам, то есть ко времени израильской оккупации части Ливана. Это слишком специфический пример.

И даже тогда анкетно-биографический профиль самих террористов-самоубийц мало что говорил о направляющих силах террора. Тем более он мало что даёт для понимания терактов в начале XXI века и в других регионах.

Разумеется, этот терроризм, как мы уже говорили, можно считать всего лишь вытесненным на периферию остаточным насилием в сбалансированном и системном потребительском обществе. Но если кто-то – как, например, Иран – морально готов к войне с Западом, то он вполне может рассчитывать на эту фрустрированную периферию как на потенциального союзника, используя его для партизанских диверсий. Война этого типа технически неотличима от терроризма.

С другой же стороны, «периферия» в нашей схеме «маргинальна» только в логическом смысле, но не в материальном. На самом деле эта «маргиналия» демографически мощнее «центральной» системы в несколько раз. И её мобилизация для противостояния «центру» сделает терроризм неотличимым – по масштабам – от войны.

Зародышевое глобально-стратегическое противостояние того же рода и того же масштаба, как противостояние двух сверхдержав в XX веке, по мере его вызревания (если оно будет вызревать) может соединиться с городским терроризмом фрустрированной мусульманской мелкой интеллигенции. А если так, то вполне позволительно предполагать, что нынешний терроризм это на самом деле компонент и предвестник мировой войны.

Очевидно, что теракты в Нью-Йорке, Мадриде и Лондоне уходят корнями в глубину исламского мира, хотя их исполнители были набраны в среде европейской городской маргиналии. Таким образом, инкубатором террористов, как и пятьдесят лет назад, оказывается межкультурная зона, насыщенная людьми, страдающими от неопределённости своего социального статуса. Сейчас в этой зоне широко представлены мусульмане. А вот те, кто мобилизует этих людей с несчастным сознанием на борьбу со «злым» и «коварным» Западом, мыслят более стратегически. Они ведут войну.

Кто же это? Виртуальный халифат? Или какая-то реально восходящая сверхдержава? Или кто-то, одержимый манией сверхдержавности?

Часть американского общественного мнения и дипломатического истеблишмента так и предпочитает думать или делать вид, что так думает. Отсюда настойчивые поиски каких-то государств за спиной уже состоявшихся терактов и квинтэссенция этих настроений – туповато-бескомпромиссная концепция «стран-негодяев».

До недавнего времени страх Вашингтона перед терроризмом, как инспирированным и технически организованным извне разведнаступлением и своего рода «лабораторией» крупномасштабной, хотя и «точечной», войны, пожалуй, был всё-таки преувеличен. Саддамовский Ирак, возможно, и готовился к этому, но определённо не занимался этим реально, во всяком случае после того, как на него сильно надавили санкциями. Ливия, если и пыталась это практиковать 25 лет назад, трансформировалась собственным путём, можно сказать, в пособника Запада. Сирия мучила воду исключительно в пределах Ливана как претендент на местную геополитическую гегемонию. Афганистан – безгосударственная зона де-факто.

Но вот на сцене появляется Иран. Хотя пока нет убедительных свидетельств того, что Иран технически причастен к терактам, имевшим место до сих пор в Европе и Южной Азии, логично подозревать, что в Иране и союзных ему центрах глобального антиамериканизма планируют большое противостояние.

В согласии с этой стратегией и был превращён в опытное поле Ливан. И здесь мы переходим к перспективам фронтальной войны чужими руками.

Спровоцировать войну чужими руками нелегко, если возможно. В эпоху холодной войны две сверхдержавы дважды воевали друг с другом чужими руками – в Корее и в Индокитае. Оба раза они не разжигали там конфликты, а использовали местные незавершившиеся гражданские войны.

Теперь фронт противостояния между потенциальными агентами военных действий проходит между Европой и Ближним Востоком, а точнее – в

зоне южного Средиземноморья. Это – зона тектонического разлома между двумя геополитическими «плитами». Поэтому последняя война Израиля с «Хизбаллой» в Ливане подозрительно похожа на такую войну чужими руками между США и Ираном. Во всяком случае, так её весьма однозначно и настойчиво интерпретировала европейская пресса. В этом была главная опасность операции против «Хизбаллы» для Израиля.

Ответив на провокацию «Хизбаллы», Израиль как будто бы не заметил, что, в отличие от прежних своих войн за существование, он втягивается в совершенно другую войну. Теперь, когда она остановлена, важно понять, в чём был её смысл, каковы оказались её итоги и что за ней может последовать, то есть, прежде всего, может ли она возобновиться?

Суждения об итогах войны либо прямо противоположны, либо полны недоумения. Приведём несколько примеров из европейской прессы.

Французская «Le Monde»: «Чего добились обе стороны в Ливане? "Хизбалла" в результате своего нападения на ЦАХАЛ только лишилась влияния в Южном Ливане. А Израиль своими разрушительными налётами на Ливан только ещё больше разогрел ненависть к еврейскому государству в мусульманском мире. В известном смысле обе стороны войну проиграли».

Итальянская «La Repubblica»: «Сейчас наступил перерыв между двумя таймами матча "Израиль–Иран". И мы не знаем, хватит ли основного времени, чтобы определить победителя. Но сегодня счёт определённо 1:0 в пользу персов, чьим представителем и вооружённым крылом в Ливане, несомненно, является "Хизбалла"... Теперь она может изображать себя как ливанскую патриотическую силу, завоевав симпатии даже суннитов, христиан и друзов».

«Financial Times» (Deutschland): «Арабский мир раздувает щёки, как победитель. Он с нетерпением ждёт, когда его унижениям со стороны маленького Израиля наступит конец. Коль скоро случилось так, что арабские войска не бегут на глазах у всего мира от наступающего противника, Рамалла и Дамаск впадают в манию величия. Разрушена якобы легенда о непобедимой израильской армии. Башар Асад пыжится. Предполагаемый успех "Хизбаллы" бросает отблеск и на его до сих пор бесплодное президентство. Но к победе над Израилем его врагов это не приблизило ни на шаг... "Хизбалла" не создала никакой угрозы еврейскому государству. И теперь арабскому миру лучше навсегда расстаться с мечтой о ликвидации Израйля. Победная поза выглядит смехотворно».

Такая разногласия объясняется не тем, что военное столкновение ЦАХАЛа и «Хизбаллы» в Ливане не привело к определённом исходу и ни одна из сторон не добилась тех целей, которые она декларировала: Израиль не вернул своих солдат и не ликвидировал окончательно «Хизбаллу», как когда-то палестинскую военную базу в Ливане, а «Хизбалла» не уничтожила Израиль и даже не подожгла ещё одну общую войну арабов с Израилем, что, строго говоря, хотя и декларировалось, но было пустой фантазией, и все это знали.

Но дело не в двусмысленности исхода этого вооружённого конфликта в терминах материальных потерь и приобретений. Разговоры о том, сможет ли «Хизбалла» вновь обстреливать Израиль ракетами или не сможет, при всей своей практической важности отвлекают нас от другой и, может быть, исторически гораздо более масштабной перспективы. Цели и итоги второй ливанской войны лежат просто в иной плоскости.

Если, как все как будто бы согласны, за спиной «Хизбаллы» в самом деле Тегеран и без него «Хизбалла» не пошла бы на провокацию, то в высшей степени важно, что произойдёт в ближайшие недели или месяцы. Если конфликт не возобновится, то это будет указанием на то, что главную скрипку тут играет Иран и что это была разведка боем. Ведь палестинская проблема остаётся, и долгое затишье на ливанском участке фронта будет означать, что Иран не берётся повлиять на её решение, а к «вьетнамизации» Ближнего Востока не готов – ещё не готов. И если Иран так в самом деле думает (правильно думает), то он не просто не заинтересован в новых провокациях «Хизбаллы». Наоборот: он теперь будет заинтересован в том, чтобы всячески удерживать «Хизбаллу». Впрочем, понадобится ли это, тоже неясно. Я думаю, что, скорее всего, не понадобится. «Хизбалла» много раз могла напасть на Израиль, если бы сама хотела впутываться в решение палестинской проблемы. Но заявила о себе только тогда, когда ей это поручил Тегеран. И Тегеран сделал это не для того, чтобы отвлечь внимание от своей ядерной программы, а для того чтобы сильнее оркестровать её.

Иран же, постепенно вырастающий в сверхдержаву, как бы он ни рычал на Израиль, в качестве сверхдержавы не может ограничивать свою миссию такой ничтожной целью, как уничтожение Израиля. Ставка для него гораздо больше. И он не может себе позволить провоцировать Запад, не решив заранее, что готов вступить с ним в большое противостояние. Он провёл разведку и сделал вывод, что его время ещё не пришло.

Его убедило в этом создание в Южном Ливане буферной зоны под контролем массивного армейского контингента ООН. Особенно важно, что решение о создании этой зоны было принято очень быстро и в результате особой договорённости между США и Францией, считавшихся двумя крайними оппонентами (внутри Запада) по многим ключевым проблемам международной дипломатии. Техническая эффективность (неэффективность) контингента ООН в разоружении «Хизбаллы» и реальной защите Израиля от её обстрелов не столь важны, как демонстрационный эффект этой меры. Контингент ООН в Южном Ливане, несмотря на свои рутинно неэффективные инструкции, на этот раз обнаруживает первые признаки схождения с контингентом ООН в Корее, а нынешняя резолюция ООН напоминает то, что произошло в этой организации под председательством Трюгве Ли. Не будем спешить: Ливан это, конечно, ещё не Корея, и будем надеяться, что аллах не допустит его окончательного превращения в Корею, но тенденция нацелилась в эту сторону, и теперь нужно будет внимательно следить за её дальнейшим развитием.

Не следует недооценивать значение этого поворота. Столкновение ЦАХАЛа с «Хизбаллой» в Ливане выявило предел разногласий между Европой и Америкой. Оно также обнаружило, что, как бы ни были раздражены политикой Израиля на Ближнем Востоке и его кознями (отчасти эгоистическими, отчасти просто бессистемными и инфантильными) в палестинском вопросе дипломатические круги Европы и значительная часть европейско-американской общественности, когда возникает реальная угроза существованию Израиля, у них нет выбора, и они даже не пытаются искать какие-то альтернативные и компромиссные варианты. Конечная и непререкаемая доктрина ближневосточной дипломатии Запада – существование Израиля.

И это отнюдь не самоцель. Это, может быть, было какое-то время раньше и для кого-то главной целью, но теперь это побочная цель, поскольку в Леванте постепенно актуализируется фронт большого геополитического конфликта, и этот фронт надо держать.

Конечно, в этой новой ситуации полная безопасность Израилю как фронтовому государству не гарантирована. Но зато ему гарантирована безусловная лояльность тех, кто этот фронт держит.

Теперь нам предстоит, однако, думать и гадать, разгорится ли на этом фронте настоящая большая война. В этом плане придётся, во-первых, реалистически оценить перспективы Ирана как сверхдержавы и, во-вторых, понять, из-за чего такая война вообще может вестись.

Пока Иран как будто бы не похож на сверхдержаву. Сам по себе Иран вроде бы невелик. Его харизматически-революционный раж как будто бы по логике трансформаций постреволюционных обществ должен был бы уже пойти на убыль. Его тыловая материальная мощь ничтожна. Атомная бомба у него то ли будет, то ли нет, и не вполне понятно, что произойдёт с Ираном, когда бомба у него будет.

Иран может превратиться в сверхдержаву, только объединив вокруг себя Ближний/Средний Восток. Роль гегемона исламского мира даётся ему с трудом, поскольку Иран – шиитское государство, а шиитов в мусульманском мире не больше 10%, и их отношения с суннитами исторически почти антагонистичны. До сих пор это считалось достаточным препятствием для превращения Ирана в харизматически-организационный центр Ближневосточной империи, которая заполнит, наконец, вакуум, оставшийся после Османской империи (по совместительству – халифата). Этого не добились ни Египет Насера, ни Ирак Саддама. Этого не могут добиться ни управляемая алавитской кликой суннитская Сирия, ни ваххабитская и безмерно богатая Саудовская Аравия. Иран культурно-конфессионально чужд этой зоне и расположен далеко на её восточной периферии.

Есть, конечно, тенденции, позволяющие подозревать, что шиитско-суннитское противостояние может, в конце концов, оказаться изжитым, как были изжиты внутренние противостояния (конфессиональные и, позднее, национальные) в Европе и – более широко – на Западе. В ходе ливанской операции Израиля, сразу после неё и до сих пор появлялись и появляются со-

общения о всякого рода жестах общемусульманской солидарности со стороны «Аль-Каеды» и других влиятельных идейных центров исламского мира.

Парадоксальным образом именно существование Израиля и его неистребимость способствуют этой консолидации, а недвусмысленная поддержка Израиля Западом в крайней ситуации тоже работает в этом направлении. Солидарно-объединительные тенденции на обеих сторонах индуцируют друг друга. Так или иначе, возможность мусульманского единства не кажется теперь такой уж абсурдной, как могло представляться ещё лет 25 назад во время ирано-иракской войны.

Это вовсе не означает, что на мир накатывается лавина, которую нельзя будет остановить и которая не угаснет по дороге сама собой. Контртенденций тоже предостаточно.

Какие тенденции или контртенденции окажутся сильнее, сейчас предсказать невозможно. Но на каждую из них можно как-то пытаться влиять. Однако если мы не хотим войны, мы должны как можно лучше представлять себе, из-за чего собственно она может разгореться.

Соблазнительно считать, что это будет столкновение двух цивилизаций, и так многие и считают. На самом деле это, скорее всего, не так, хотя в данном случае большое геополитическое противостояние, кроме всего прочего, имеет и оттенок конкуренции культур.

Ценностно-культурная риторика (как и взаимные обвинения в злой воле) – считать ли конкуренцию культур существом конфликта или не считать – всегда оркеструет обострение конфликта, разогревает его и, во всяком случае, есть симптом готовности одной из сторон (или обеих) перейти от слов к делу, а стало быть, приближает состояние войны. Но все конфликты большого масштаба, разрешаемые насилием, как бы они ни были риторически оркестрованы, есть конфликты за контроль над важным ресурсом. Если два животных дерутся, значит, им трудно что-то поделить. Что мы делим на этот раз? Нефть и нефтедоллары? Воду? Места в Ноевом ковчеге перед новым Большим потопом? Человеческий капитал? Женщин? Ближний космос? Контроль над средствами уничтожения рода человеческого? Что-то делим. Что именно, будет видно потом. Ждать, я думаю, недолго.



журналист, публицист, в недавнем прошлом – сотрудник радио «Голос Америки», где проработал 20 лет, автор множества статей, опубликованных в русскоязычной прессе Америки. Живет в США.

ДУХ ЕВРАБИИ

Едва не самым поразительным аспектом войны против терроризма является то, что Западная Европа, за редкими исключениями, фактически выступает в роли союзницы террористов. Европейская печать с нескрываемым злорадством пишет о трудностях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в Ираке, не считая нужным даже притворяться, за кого она болеет в этом матче. А об Израиле и говорить нечего – американцы не могут даже и представить себе степень остервенения просвещенной Европы против крохотного еврейского государства.

Европейское общественное мнение отлично информировано о том, что происходит на Ближнем Востоке, все факты на поверхности. И во всем виноват... Израиль! По всей Европе катится волна антисемитизма, с телевизионных экранов, газетных страниц и университетских кафедр сыплются обвинения в адрес Израйля и его патрона – Америки.

А ведь так было не всегда. До конца 60-х годов имидж Израйля среди европейцев был необычайно высоким. Маленькое государство, героически сражавшееся с враждебным окружением, вызывало восхищение. Однако Шестидневная война и война Судного дня разрушили представление об Израиле как о жертве, со всех сторон теснимой превосходящими силами противника, Израиль перекочевал в разряд «угнетателей». В какой-то степени эту трансформацию можно объяснить присущим многим западным интеллектуалам хроническим чувством вины перед униженными и оскорбленными, которое побуждает их инстинктивно защищать «слабых», в частности, брать сторону палестинского Давида в противостоянии с израильским Голиафом.

Но откуда фанатичное озлобление? Почему особенную ярость в Европе

вызывает союз Израиля с США? Почему в Европе на всех углах трубят, что опасность для мира исходит не от исламского джихада, а от Америки и Израиля? Как ни велик соблазн приписать эту политику умственной неполноценности европейских лидеров, приходится признать, что на самом деле они руководствуются вполне рациональными соображениями. В европейских столицах страшатся, что оказываемый Америкой и Израилем отпор джихаду навлечет гнев террористов на Европу, которая давно перестала им сопротивляться.

Европа без борьбы покорилась исламу, причем соответствующий инструментарий был создан свыше 30 лет назад по инициативе Франции, как заявила известная специалистка по истории ислама Бат-Йеор на прошлогоднем семинаре во французском Сенате. Действительно, уже в начале 70-х годов французы разработали в общих чертах план симбиоза Европы с арабским миром, благодаря чему Европа – и в первую очередь, конечно, Франция – рассчитывала обрести достаточный политический вес и влияние, чтобы на равных конкурировать с США и заодно заручиться бесперебойными поставками ближневосточной нефти – залога ее экономического преуспевания. Во избежание излишнего шума новая политика была оформлена в виде неформальных договоренностей в рамках невинно звучащей инициативы – «Евро-арабского диалога». В 1974 году в Париже была создана Парламентская ассоциация евро-арабского сотрудничества с задачей руководить связями между Европой и арабским миром во всех аспектах – финансовых, политических, экономических, культурных и иммиграционных. Этой организации покровительствовали главы правительств и министры иностранных дел стран Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в тесном контакте со своими коллегами из арабских стран, а также с представителями Европейской комиссии и Лиги арабских государств.

Эта стратегия, нацеленная на создание пансредиземноморского евро-арабского квазигосударственного объединения, обеспечивающего свободное движение людей и товаров в своих пределах (Бат-Йеор называет его Еврабией), также была положена в основу иммиграционной и культурно-просветительской политики Европейского сообщества (ЕС) в отношении арабов. На первом саммите «Евро-арабского диалога» в Каире в 1975 году был достигнут целый ряд соглашений о распространении и поощрении в Европе ислама, арабского языка и культуры посредством учреждения в главных европейских городах арабских культурных центров. За ними последовали другие соглашения, предназначенные укрепить евро-арабский культурный, экономический и политический симбиоз.

На протяжении последних трех десятилетий между странами Европейского экономического сообщества, а затем Евросоюза, с одной стороны, и членами Арабской лиги, с другой, было заключено значительное число неофициальных соглашений, в русло которых была пущена культурно-политическая эволюция Европы. Бат-Йеор называет лишь четыре

наиболее примечательных из них: 1. Европейских должностных лиц, имеющих дело с арабскими иммигрантами, будут в официальном порядке учить бережному и чуткому отношению к культуре, обычаям и нравам иммигрантов. 2. Арабские иммигранты останутся под контролем своих бывших стран и будут подчиняться их законам. 3. Учебники истории в Европе будут переработаны с участием арабских историков, которые, естественно, рассматривают, скажем, битвы при Пуатье и Лепанто или испанскую Реконкисту в несколько ином плане, чем до сих пор было принято в Европе. 4. Преподавание арабского языка, арабской и исламской культуры в европейских школах и университетах будет отдано на откуп арабским педагогам.

В результате на фронте культуры произошла полная ревизия истории, начавшаяся в 70-х годах в европейских университетах и ратифицированная парламентской ассамблеей Совета Европы в сентябре 1991 года на заседании, посвященном вкладу исламской цивилизации в европейскую культуру. Ее подтвердил в речи, произнесенной 8 апреля 1996 года в Каире, президент Франции Жак Ширак. Подтвердил ее и президент Европейской комиссии Романо Проди, учредивший Фонд поощрения диалога культур и цивилизаций, перед которым была поставлена задача взять под контроль все, что говорится, пишется и преподается в пределах Евросоюза в отношении нового континента Евразии в составе Европы и арабских стран.

Французы рассчитывали, опираясь на арабов, возродить свое бывшее имперское величие и вернуть Парижу роль центра мировой политики. Но они переоценили свои силы и недооценили своих новых союзников. На практике их стратегия обернулась тем, что ворота Европы, запертые с конца XVIII столетия, были широко распахнуты перед мусульманами. И те не замедлили воспользоваться открывшейся перед ними исторической возможностью.

По мнению Бат-Йеор, во всей этой политике Европы по отношению к мусульманскому миру проглядывает единая линия, которую она называет «синдромом зимми» (так назывались в мусульманском халифате подданные низшего сорта – евреи и христиане). «Зиммизация» Европы началась с подрыва ее собственных ценностей и замещения ее истории исламским вариантом, построенным на романтической мифе о земле Эль-Андалус (мавританская Испания). Евразия приняла мусульманскую концепцию истории, согласно которой ислам является освободительной и миролюбивой силой, а джихад – справедливой войной. В войне повинны не те, кто ведет джихад, а те, кто осмеливается ему сопротивляться, как, например, Америка и Израиль. Стоит ли удивляться яростным нападкам европейцев на Джорджа Буша, этого «деревенского олуха», открыто заявляющего о своей приверженности именно этой традиции?

Конечно, не следует думать, будто у проблемы исламизации Европы существует лишь одно – политико-идеологическое измерение. Погрязшая в

роскоши и лени, испуганная перспективой надвигающегося демографического коллапса, Европа всячески поощряла приток мусульманских иммигрантов, готовых выполнять черные работы, на которые среди местных получателей пособий по бедности в странах всеобщего благоденствия охотников уже не находилось. По какой-то непонятной причине европейским мыслителям и в голову не приходило, что мусульмане не будут вечно мириться с участью граждан второго сорта. Верно, само слово «ислам» означает «покорность», но покорность только воле Аллаха.

Законы политики неумолимы – по мере роста электората растет его вес и влияние, все громче звучит его голос, все жестче предъявляемые им требования. И наступает момент, когда процесс становится необратимым. Не успела Европа опомниться, как в ее сердце образовалось огромное, стремительно растущее мусульманское меньшинство – энергичное, кипящее злобой, категорически отвергающее принцип ассимиляции, вооруженное четкой целью, подстегиваемое своими оголтело радикальными духовными наставниками. А иммунная система Европы, скованной собственными законами и представлениями о веротерпимости, парализованной чувством вины перед нищим третьим миром, утратившая веру в Бога и полностью изуверившаяся во всем, ослабла настолько, что утратила сопротивляемость. Политики, задумавшие евро-арабский симбиоз, фактически лишь ратифицировали неумолимые процессы, развивавшиеся помимо них.

История учит, что великие империи и культуры обычно гибнут не под ударами извне, а вследствие собственного разложения, а варвары лишь наносят им последний удар. Во времена ганнибаловых походов Рим, казалось, был на грани гибели, враг стоял у самых его ворот, римские армии терпели поражение за поражением. Но Рим с населением 4 миллиона проявил несокрушимую силу воли и после каждого нокдауна находил в себе силы вновь подняться, выставить в поле новые легионы и продолжать борьбу. И могучий Карфаген дрогнул, Ганнибалу было приказано уходить из Италии. Но если для Карфагена война закончилась, для римлян она только началась. Они переправились вслед за отступающим Ганнибалом в Африку, разгромили его войско, сравняли Карфаген с землей, вспахали пепелище и засыпали его солью – чтобы на этом месте никогда ничего уже не могло вырасти. Решающим фактором в исходе войны была духовная стойкость, железная решимость и готовность к жертвам во имя победы любой ценой.

Прошло шесть столетий. Население Римской империи выросло в 10 раз, но императорам уже не удавалось найти добровольцев, готовых встать на защиту своего города, и пришлось нанимать варваров для защиты от них же. Результат известен.

Синдром зимми, поясняет Бат-Йеор, это не просто подчинение без борьбы, даже не капитуляция. У зимми деформируется как индивидуальная, так и коллективная психология. В индивидуальном плане для этого

синдрома характерен глубокий уровень дегуманизации. У человека, обреченного на пассивное существование, в результате отсутствия безопасности развиваются чувства бессилия и зависимости, раболепие и лживость. Угнетенный и дискриминируемый, он относится к себе подобным с презрительной, осуждающей, саморазрушительной ненавистью, интенсивность которой варьирует в соответствии со степенью его желания быть ассимилированным доминантной группой. Основные характеристики синдрома зимми связаны с психологическим процессом унижения достоинства человека. Низведенный до зависимого существования в обстоятельствах, способствующих его физической и моральной деградации, зимми рассматривает себя как обесцененное человеческое существо. Он не видит иного выбора, как только превратиться в сознательный инструмент собственного разрушения.

На практике в сегодняшней Европе это означает принятие ценностей, ведущих к собственному уничтожению. Вот откуда появились все классические симптомы синдрома зимми в современном европейском варианте: идеологические ландскнехты, предлагающие свои услуги воинам джихада; традиционная дань с иноверцев – джизья, – уплачиваемая европейскими зимми в надежде обрести ложную безопасность; предательство своего собственного народа; угодничество и лживость по отношению к мусульманам; особая ментальность и социально-политическое поведение, предназначенные обеспечить выживание людям, которые превратили себя в заложников исламизма.

Самое интересное это то, с каким упорством Европа отворачивается от реальности. Мусульман можно обвинять в чем угодно, но только не в лукавстве – они и не думают скрывать своих истинных намерений. Невскончаемый поток эмигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки – отнюдь не случайное явление, а часть продуманной стратегии завоевания Европы. Идеологи исламизма рассчитывают менее чем за столетие достигнуть того, что мусульманскими армиями не удалось за тысячу лет. В качестве примера можно привести декларацию организации «Исламская конференция» в Лахоре в 1975 году, где была поставлена задача превратить эмиграцию мусульман в Европу в орудие достижения демографического господства. А годом ранее бывший президент Алжира Хуари Бумедьен заявил не где-нибудь, а с трибуны Генеральной ассамблеи ООН: «Недалек тот день, когда миллионы людей покинут Южное полушарие и переберутся в Северное полушарие. Они придут не как друзья, а как завоеватели. Их оружием будут дети, лоно наших женщин – оружие нашей победы». Но европейцы предпочитают не слушать. Если закрыть глаза и зажать уши – может быть, опасность сама по себе рассосется? Если бы только эти проклятые американцы и израильтяне не мутили воду!

Семинар, на котором выступала Бат-Йеор, назывался «Возвращение духа Мюнхена». В 1938 году Франция и Великобритания на саммите в

Мюнхене отдали Чехословакию на съедение гитлеровской Германии в надежде избежать нового всеевропейского конфликта. Термин «дух Мюнхена» употребляется для характеристики политики государств и народов, отказывающихся противостоять угрозе и пытающихся достичь мира и безопасности путем уступок преступникам, а иногда даже активного содействия им. Но, по мнению Бат-Йеор, синдром зимми идет гораздо дальше духа Мюнхена.

Мюнхенское совещание состоялось, когда война еще не была объявлена. Сегодня же война полыхает повсюду. В Мюнхене просматривалось какое-то будущее, в том числе даже с возможностью войны, предполагался выбор. В нынешней ситуации выбора нет, ибо Европа отрицает наличие угрозы джихада и усматривает единственные источники опасности в США и Израиле. Во времена Мюнхена не исключалась возможность битв, может быть, даже победоносных. По крайней мере, Франция готова была защищаться «линией Мажино». В сегодняшней Европе ни о каких баталиях речи не идет. Европа уже сдалась без борьбы на милость победителя. Синдром зимми, который сегодня ослепляет Европу, не возник в результате ситуации, навязанной ей извне. Он стал результатом сознательной политики, добровольно выбранной и систематически проводившейся в жизнь на протяжении последних 30 лет.

В 1683 году тысячелетняя экспансия ислама в Европе была остановлена у ворот Вены, когда польский король Ян Собеский разгромил турецкую армию и спас европейскую цивилизацию. Откуда придет спасение на сей раз – и придет ли оно вообще?



кандидат физико-математических наук, прозаик, публицист и литературный критик. Член российского отделения ПЕН-клуба, зам. гл. редактора журнала «Нева». Живет в России.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – НУЖДА ИЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬ?

Дитя расчета и могущества

Слова воздействуют на нас не столько точным своим смыслом, сколько благозвучием, облаком ассоциаций, которые они порождают. И термины «толерантность», «терпимость» неизменно порождают ощущение разнужности – исключая разве что словосочетание «дом терпимости». Которое ненадолго напоминает нам, что терпимость вовсе не любовь, но лишь готовность мириться с неизбежным злом.

Впрочем, и самих «объектов терпимости» это слово временами оскорбляет. Одна моя петербургская знакомая, которую из-за ее нетрадиционного для Рязанской области разреза глаз то останавливают на улице, то, наоборот, посылают на родину (из Центрального района в Адмиралтейский), частенько возмущается: она желает не толерантности со стороны своих обидчиков, но равенства с ними. Для достижения равенства есть единственный способ – стать сильным, слабые же могут рассчитывать только на снисходительность, приходилось мне делиться горьким опытом издревле дискриминируемого меньшинства. Но меньшинствам неопытным мириться с подобной мудростью нелегко.

И, тем не менее, толерантными могут быть только сильные. Прежде всего потому, что причиной ненависти всегда бывает страх, сильным же мало кто может угрожать. А кроме того, если даже кролики начнут терпимо относиться к тиграм, над этим только посмеются. Что им еще остается,

как заметил один нецивилизованный персонаж Ницше о доброте слабых. Но если доброта не обязательно порождение слабости, то уж терпимость наверняка порождение доброты?



Один из виднейших социальных философов современности Майкл Уолцер, чье на редкость емкое исследование «О терпимости» («On Toleration») было издано и у нас в год Миллениума («Идея-Пресс», «Дом интеллектуальной книги»), думает иначе. Уроки истории привели его к выводу, весьма неожиданному для либерала и гуманиста, коим этот американский еврей безусловно является: толерантность к чужим богам и обычаям впервые возникла в могучих империях, поставленных (собственной историей) в необходимость держать в повиновении множество племен и народов, всегда готовых при ослаблении верховной узды начать непримиримую борьбу не только против поработителей, но и друг против друга. Чем они обычно и занимались до установления имперской монополии на насилие и к чему с увлечением обращались снова при исчезновении этой монополии. Относительная межплеменная толерантность возникала тогда, когда верховная власть оказывалась, так сказать, равноудаленной от подвластных ей этнических групп и, если так можно выразиться, равнобезразличной к их внутренним разборкам: молитесь, судитесь, женитесь, трудитесь и развлекайтесь, как вам нравится, только платите положенную дань деньгами или натурой и не вздумайте посягать на установившийся имперский порядок! Малейшие попытки сепаратизма или агрессии карались с неумолимой и, на сегодняшний прекраснодушный взгляд, даже бессмысленной жестокостью.

Возможно, профессиональный историк способен высмотреть в глубине веков и какие-то другие процессы, но пишущий эти строки не сумел разглядеть там иных сил, порождающих и поддерживающих толерантность, кроме прагматизма победителей, желающих спокойно наслаждаться плодами своих побед. Источники же нетерпимости, на мой взгляд, чаще всего таились и таятся в среде побежденных – вплоть до наших дней. А уж что в веке двадцатом учинили защитники униженных и оскорбленных социальных и национальных групп, до сих пор вспомнить страшно. Возможно, правда, что дело было и есть не столько в самих обделенных (хотя бы в их воображении) группах, сколько в их вождях и пророках, для воодушевления своей паствы сочинявших и сочиняющих гиперкомпенсаторные сказки об избранности каждый своего племени, о его особой миссии в мироздании...



Христианство, правда, начинало с того, что пыталось примирить людей с их социальным и национальным поражением, однако, становясь материальной силой, оно тоже повело себя как всякая сила, вооруженная выс-

шим идеалом, – развернуло бескомпромиссную борьбу за монополистическую власть над душами и телами всего обитаемого мира. Лишь ужасающая череда религиозных войн вызвала к жизни такое явление, как веротерпимость... Пожалуй, это и есть второй составной источник толерантности – упадок духа. Однако это всегда явление временное – на смену ослабевшим вселенским грезам приходят грезы групповые, неизменной, похоже, остается лишь описанная выше схема: победители склоняются к толерантности – побежденные накапливают энергию праведной мести.

Поэтому для снижения уровня нетерпимости необходимо снижать долю граждан, ощущающих себя побежденными. Что никак невозможно сделать, не увеличивая число критериев успеха, число лестниц, по которым можно подниматься, не задумываясь о том, выше или ниже тебя оказались люди, карабкающиеся по другим лестницам. Да, конечно же, ниже! Купец свысока поглядывает на ученого и солдата, ученый на солдата и купца, солдат и на того, и на другого – и все довольны, а следовательно, и толерантны. Зато ранжирование людей по какому-то монопризнаку – по богатству, уму, красоте, храбрости – непременно приводит к тому, что половина оказывается ниже среднего уровня... Чтобы разбить сплоченность наиболее опасных обойденных меньшинств и оставить их без лидеров, мудрый император мог бы даже специально облегчить социальное продвижение их наиболее энергичных, храбрых, честолюбивых и одаренных представителей. Как бы ни протестовали противники «позитивной дискриминации» из других меньшинств, менее опасных, хотя и тоже обделенных.

Но это уже скорее проблемы сегодняшнего дня, а в былые и еще не миновавшие времена толерантность возникала и сохранялась в империях, управлявшихся толерантной имперской аристократией, достаточно прагматичной, чтобы не начинать войн из-за расхождений в метафизических вопросах, и достаточно идеалистичной, чтобы чувствовать ответственность за сохранение коллективного наследия. Имперская аристократия должна быть и достаточно патриотичной по отношению к народу-основателю (завоевателю), чтобы сохранить его обеспечивающее всеобщую стабильность доминирование, но и достаточно космополитичной, чтобы не стремиться к его тотальному господству, – поэтому она без ущерба и даже с пользой для общего дела может принимать в свои ряды и значительную долю инородцев (возможно, именно немецкая бюрократия способствовала национальной терпимости в императорской России).



Упрощая, можно подытожить так: избыток идеализма и мононационального патриотизма «хозяев страны», возбуждая национальное сопротивление, ведет к войнам и всеобщему одичанию, избыток цинизма и космополитизма – к распаду. И, тем не менее, повторяю, хранителями толерантности с древних времен были именно «хозяева», прагматичные побе-

дители, а не взвинченные побежденные, которым без экзальтированной нетерпимости просто не сплотить собственные ряды, без утопически завышенной самооценки не посметь для начала хотя бы мысленно посягнуть на торжествующую силу.

Так велось на протяжении многих веков: прагматичные «хозяева» блюли всеобщую толерантность в рамках сложившегося равновесия и незамедлительно обрушивали карающий меч на тех, кто дерзал изменить это равновесие в свою пользу. Однако в эпоху либерально-демократическую, когда прежние хозяева утратили либо власть, либо решимость, либо ответственность за коллективный миропорядок (впрочем, утрата власти очень часто бывает следствием утраты решимости или ответственности), возник новый вопрос: как сохранить взаимную терпимость в доме без хозяев, не превратив его при этом во всеобщий дом терпимости? Или, если угодно, осуществить это в доме, где хозяевами являются все. Причем каждый имеет право бороться за свои интересы в меру собственных сил и собственно-го разума.

Жизнеспособна ли, иными словами, *либеральная империя*?



Всем известна расхожая пошлость из либерального катехизиса: нельзя быть свободными, угнетая другие народы. Тем не менее, британцам (и не только им) это прекрасно удавалось – демократия в метрополии и диктатура в колониях. Диктатура, однако, особая, имперская, не посягающая на многие и многие обычаи покоренных народов (вплоть до невмешательства в такой, например, отвратительный обряд, как самосожжение вдов в Индии). Но тогда «хозяева» были отделены от «чужаков» и территориально, и социально, а вот когда «чужаки» поселились с ними в одном доме и обрели ровно те же права...

Вот здесь-то и возник тот вызов, на который сегодняшний цивилизованный мир не знает ответа. А чтобы вернуться к прежнему, имперскому ответу, он должен отказаться от цивилизованности.

К этому, собственно, и призывают фашисты: самим разрушить ту цель, ради защиты которой они, вроде бы, и стараются ввергнуть нас в войну.

Назад к пилатчине?

Если родоначальниками и хранителями толерантности были «господа», а не «рабы», то откуда же она бралась в домах без «господ» – во Франции, уничтожившей свою аристократию единым махом, в Америке, собственной аристократии отродясь не имевшей? Ответ прост: ни республиканская Франция, ни демократическая Америка никогда не жили без «хозяев» – без хранителей культурного гено типа, способных навязать его «пришельцам». И во Франции эти хозяева – охваченная великой грозой радикальная элита –

выказали величайшую терпимость к их – «пришельцев» – запросам социальным и величайшую нетерпимость к их запросам национальным. Ассимиляционный лозунг «Мы все французы!», сформировавшийся на гребне революционного энтузиазма, безусловно функционировал до самых последних десятилетий. Депутат Учредительного собрания Е. Клермон-Тоннер в 1791 году так расшифровал этот принцип применительно к самому заметному тогда национальному меньшинству: «Евреям как нации следует отказать во всем, евреев же как индивидов следует во всем удовлетворить». Ибо республика не может терпеть «нации внутри нации».

Это не был избирательный антисемитский жест – экстатическое национальное единство не желало признавать ни сословных (дворяне, священники), ни региональных (бретонцы, провансальцы), ни каких бы то ни было иных групповых прав (запрет рабочих ассоциаций): есть только Народ и Индивид! Однако в ту пору пределом мечтаний немногочисленных иммигрантов тоже было социальное слияние с народом-гегемоном, а молиться своим национальным богам, читать своих национальных поэтов и лакомиться своими национальными блюдами они были вполне согласны и частным образом. Равновесие нарушилось лишь после распада колониальной империи, когда в метрополию хлынул поток эмигрантов – прежде всего, арабов-мусульман.

Отчасти из-за их количества, но еще более из-за всеобщего национального подъема, когда индивид потребовал прав не только для себя лично, но и для своей культуры, своей истории, ассимиляция начала представляться унижением, а то и кошмаром. И это случилось именно тогда, когда хозяева почти утратили оба главных стимула ассимиляции: стало почти нечем устрашать и почти нечем соблазнять – пришельцы уже и так обладали гражданским равенством. Французских патриотов сегодня удручает желание французских мусульман носить в общественных местах свою национальную одежду, хотя им следовало бы радоваться, что они пока что не претендуют на образовательную и территориальную автономию. Еще вопрос, удовлетворятся ли они в будущем чем-нибудь вроде «миллетов» – самоуправляющихся религиозных общин, которые допускала Османская империя для гяуров: ведь наиболее пассионарные лидеры меньшинств в глубине души нацелены не на равенство, а на превосходство...



В Соединенных Штатах подобные конфликты, казалось бы, должны были начаться сразу же, как только в страну хлынули волны итальянцев, ирландцев, греков, евреев, армян... Однако на деле каждая новая волна пришельцев встречалась с мощным квазинациональным ядром хозяев, чье право на доминирование ни у кого не вызывало сомнений, – это были потомки проникнутых протестантским духом англосаксонских отцов-основателей и примкнувшие к ним пришельцы из волн предыдущих. Аме-

риканская греза, соединенная с экономической и политической властью ее носителей, была настолько могущественной, что иммигранты и помыслить не могли поставить с нею рядом остатки своих жалких преданий. А вот когда их потомки поднялись на борьбу за права своих родословных, у хозяев не нашлось уже ни достаточно тяжелого кнута, ни достаточно сладкого пряника.

Углубление этого многостороннего конфликта сегодня патриотам-пессимистам внушает страх распада страны, превращения ее в огромную Югославию, однако законных средств противостоять такой перспективе почти не осталось – разве что отказаться от признания каких бы то ни было групповых прав, оказывать государственную поддержку исключительно традиционной «американской» культуре. Перспективы политики столь мягкого «кнута» остаются такими же неясными, как перспективы политики «пряника» – мультикультурализма, требующего в равной степени поддерживать все культуры. Надежды мультикультуралистов основываются главным образом на метафорах – «аккорд культур», «симфония культур», – хотя случайное сочетание звуков, как правило, бывает диссонансом, а симфония без композитора и дирижера – и вовсе звуковым хаосом, в котором у барабана будут все шансы перегрохотать флейту. Сторонники философии постмодернизма на это возразили бы, что классическая симфония и звуковой хаос различаются лишь потому, что мы воспитаны в тоталитарной школе Баха и Моцарта, а вот когда мы вообще откажемся различать гармонию и дисгармонию, норму и аномалию, тогда-то и воцарится вечный мир.

И они правы в том, что люди, преданные каким-то идеалам, часто бывают нетерпимы к покушению на их святыни. Вот если бы еще доказать, что люди, лишенные идеалов, неизменно добры и великодушны! Ведь если даже исчезнут идеалы, интересы-то все равно останутся – исчезнут лишь высшие ценности, ради которых стоит мириться с личным ущербом... Пока что видеть мир разделенным на соперничающие группы более других стремятся сами меньшинства, вернее, их лидеры, чье влияние и основывается на этом противостоянии. Однако ассоциации, образующиеся для устройства личных социальных дел (гомосексуалисты, инвалиды...), далеко не столь опасны, как национальные ассоциации, ибо последние вырастают из глубочайшей экзистенциальной потребности человека ощущать себя частью чего-то бессмертного. Поэтому многонациональные государства никогда не сумеют примирить свои национальные группы, если не заставят их поверить в какую-то новую общую сказку, которая бы не отвергала их прежние грезы, но отводила им какое-то почтенное место внутри новых. Слияние наций происходит через слияние национальных грез, а потому историю многонационального государства сегодня, когда утрачены практически все кнуты и пряники, необходимо изображать не как развитие главного ствола с второстепенными ветвями, но как слияние многих рек в одну, в чьих струях

уже невозможно отделить главное от второстепенного. Задача нелегкая, но в принципе выполняемая для историков и художников всех родов искусств.

Однако найти национальным меньшинствам приемлемое для них место на новой родине недостаточно – нужно, чтобы они не чувствовали униженными не только себя, но и свою, так сказать, историческую родину. И для этого нынешним народам-лидерам – Западу в широком смысле слова, тому Западу, где межнациональные конфликты будут лишь нарастать – по-видимому, имеет смысл как-то воспользоваться уроками бывших имперских народов, более других заинтересованных в стабильности мирового порядка. Прежние хозяева следили за соблюдением порядка на имперском уровне, не вмешиваясь во внутренние разборки покоренной мелюзги (пока они не грозят излиться наружу). Может быть, и новым лидерам нужно больше сосредоточиться на отношениях между государствами и резко снизить вмешательство в их внутренние дела. Если даже эти дела будут оскорблять наше нравственное чувство – возможно, такая политика окажется все-таки наименьшим злом.

После сериала «Мастер и Маргарита», должно быть, уже все запомнили, как Пилат, всей душой сочувствуя Иешуа, все-таки не отменяет приговор национального суда. Страшно сказать, но, может быть, именно Пилат нес людям не меч, но мир...

К счастью, сегодняшний выбор можно сделать гораздо менее ужасным, предоставив Иешуа политическое убежище в метрополии. Но вот чего Пилат ни за что бы не позволил в Кондопоге: приедем купцам иметь собственную армию, а местному населению громить этих самых купцов.

Толерантность – от нужды к добродетели

Господь терпел и нам велел... Или он, напротив, завещал нам не мир, но меч? В чем больше благородства – покоряться прашам и стрелам яростной судьбы иль, ополчась на море смут, сразить их противоборством?..

И в защиту терпимости, и против нее можно сказать так много, что не стоит и начинать этот спор. Но если терпимость как манеру вести себя еще можно контролировать разумом, то терпимость как чувство нам практически неподвластна. Прежде всего, невозможно быть толерантным к тому, что внушает страх: страх рождает ненависть совершенно автоматически. И очень часто, увы, совершенно обоснованную. В том смысле, что страх наш имеет под собой все основания. А потому толерантность без границ не только невозможна, но и опасна, поскольку в социальной действительности более чем достаточно вещей, представляющих совершенно реальную угрозу.

В связи с этим едва ли не основным вопросом философии толерантности многие социальные философы считают следующий: следует ли терпеть нетерпимость? Должны ли мы терпимо относиться к проповеди не-

терпимости? К религиозным сектам и политическим партиям, идеология которых зиждется на нетерпимости?

Должны, отвечают самые либеральные либералы, тотальная терпимость – единственное противоядие против тоталитарных идеологий: нетерпимость нынешнего поколения порождается исключительно нетерпимостью предыдущих. Должны терпеть на уровне идей, но карать поступки и, тем более, не допускать экстремистов к власти, считают не самые либеральные либералы. И только либералы совсем уже не либеральные настаивают на том, что следует пресекать даже самую проповедь нетерпимости, иначе остановить ее продвижение к власти может оказаться не в нашей власти.

Таким образом, разумную толерантность можно определить в сократовском духе – как знание, чего следует и чего не следует бояться.

Ну, так и чего же бояться следует? Увы, универсальные, неизменные границы разумной толерантности очертить невозможно: для каждого времени, для каждой социальной группы они свои; в социальных группах, нацеленных не на сотрудничество, а на безусловное доминирование (классическая военная аристократия, религиозные, революционные секты), толерантность вообще порицается как беспринципность, всеядность, у них в цене негибкость, бескомпромиссность. Толерантность становится бесспорной социальной ценностью там, где реальность требует сотрудничества нескольких соперничающих социальных групп, каждая из которых не имеет возможности ни обойтись без остальных, ни полностью подчинить их себе (либо цена подчинения оказывается неприемлемой).

Однако подобная вынужденная терпимость, благодаря которой каждая из сторон готова именно лишь терпеть другие в надежде на лучшие времена, когда удастся их подмять, будет весьма хрупкой и ненадежной, если эту нужду каким-то образом не обратить в добродетель, не представить позитивной ценностью, а не просто наименьшим злом. Поэтому формирование прочной толерантности, толерантности как самостоятельной цели, а не как временного перемирия на пути к более важным целям требует таких аргументов и образов, которые изображали бы ее продолжением уже давно принятых, легитимных и уважаемых ценностей, принципов и целей общества.

Скажем, таких.

Поддержание конкурентной среды: социально близкие нам группы и ценности могут укрепляться и развиваться лишь в состязании с соперничающими, а потому, относясь терпимо к существованию конкурентов, мы тем самым развиваем и наш собственный лагерь. Иными словами, без сильных соперников и наша любимая команда тоже деградирует (аргумент недействителен для тех, кто считает свою команду безнадежной).

Отсутствие точных границ между пороками и достоинствами: каждый порок является продолжением какого-то достоинства, а потому, стремясь истребить пороки, мы невольно истребляем и достоинства, которые могут

выявиться в будущем. Так во время холеры самые заразоустойчивые санитары получаются из алкоголиков.

Холизм (организмизм): общество – сложный организм, каждая часть которого, даже нам неприятная, выполняет какую-то функцию, устранение которой наносит организму ущерб (в организме лишние органы нет).

Милосердие: уничтожение слабых социальных групп, даже и не приносящих никакой пользы, неизбежно увеличивает допустимый уровень жестокости также среди сильных и полезных. И вообще милосердие есть ценность самостоятельная.

Истина: интересы и предрассудки каждой социальной группы невольно искажают восприятие мира, поэтому всесторонняя социальная истина заведомо не может быть достигнута без уважения к мнениям, даже и радикально отличающимся от наших собственных. Или, выражаясь более прямо, почти каждый по-настоящему добросовестный мыслитель рано или поздно начинает ощущать, что всякое мышление есть не более чем подтасовка, и хотя бы в какой-то степени освободиться от этого можно лишь за счет уважения к чужим подтасовкам.

Красота: эстетически привлекательный образ общества невозможен без его многообразия, которое неизбежно бывает противоречивым.

Этот пункт, пожалуй, самый сложный и для понимания, и для исполнения. В самом деле, эстетически разнообразие не имеет никаких априорных преимуществ перед единообразием – иначе военные дизайнеры не одевали бы веками солдат в одинаковую форму и не подбирали бы их близкими по росту и типу внешности (особенно в парадные, гвардейские войска). Даже Пушкин любил «пехотных ратей и коней однообразную красоту». Но его же восхищало и национальное многообразие России – мы вместе с ним наслаждаемся этими звуками: тунгус и друг степей калмык, на холмах Грузии, от финских холодных скал...

Собственно, это и есть единственное средство воспитания любви к разнообразию, равно как и к чему бы то ни было другому, – искусство. «Поэты» воспевают то, что они искренне любят, а «толпа» слушает и проникается. Воздействие искусства далеко не абсолютно, но других средств просто не существует. К счастью, искусство – в его массовых, особенно телевизионных и кинематографических формах – не совсем уж беспомощно: американские фильмы, в которых изо дня в день дружат и сотрудничают черные и белые, многократно снизили уровень расовой нетерпимости. Разумеется, полную идиллию на американскую землю они не принесли, все потихоньку, а иногда и громко ворчат за спиной друг у друга, но терпимость и не может превратить мир в рай – довольно того, чтобы она не позволила ему обратиться в ад.

Перед нашим российским несуществующим Голливудом стоит задача потруднее – у нас необходимо мирить едва ли не всех со всеми: чиновников и общество, предпринимателей и «трудящихся», молодых и стариков, мужчин и женщин, работающих и пенсионеров, инвалидов и трудоспособных,

титულную нацию и национальные меньшинства, столицу и провинцию, производителей знаний и производителей материальных ценностей. При этом главную трудность для гражданского мира, как обычно, представляют не конфликты интересов, а столкновения фантомов. Ибо каждая сторона для укрепления собственного духа выстраивает психологически выгодную ей картину мира, внутри которой она практически безупречна, а вот сторона противная целиком соткана из пороков и злодейств (все чиновники поголовно паразиты и казнокрады, все предприниматели воры и хриstopродавцы, трудящиеся лодыри, пьяницы и завистники, молодые – безответственные белоручки, старики брюзги, коммунаки и т. д., и т. д., и т. д.).

Все эти фантомы создаются средствами искусства (большей частью фольклорного) и могут быть поколеблены тоже лишь средствами искусства. Задача для коллектива профессиональных художников в общем посильная, и материала наверняка имеется достаточно, чтобы ослаблять воздействие негативных фантомов, не прибегая к прямой лжи. Главная трудность в том, что это работа на годы и годы, а той социальной силы, которая взялась бы за выполнение такой задачи, не имеющей непосредственной финансовой выгоды, что-то не разглядеть...

В прежних многонациональных империях толерантность тогдашними торпорными методами хранила имперская аристократия, теперь же аристократизм, понимаемый как ответственность за общественное целое, разошелся и с богатством, и с властью. В отсутствии аристократического слоя, сочетающего в себе ответственность и могущество, пожалуй, и заключается главная проблема сегодняшней России. Консерваторы Европы и Америки, столкнувшиеся с вырвавшейся из-под контроля межнациональной нетерпимостью, дружно сетуют на то, что у них нет достаточно мощной доминирующей силы, чтобы вернуть смутьянов к былой скромности. У нас в России такая сила есть. И ей, в общем-то, более или менее удастся принудить недовольных терпеть друг друга. Однако и она почти не пытается возвести терпимость из нужды в добродетель. Хотя возможности для этого пока еще не иссякли.

Чудище обло...

Но все это только мечтания, грезы. А в реальности народам удавалось жить в относительном мире лишь в тех домах, у которых был сильный и расчетливый хозяин. Но не означает ли это, что мир между народами хранило то самое имперское сознание, которое многие считают источником всех прошлых и будущих бедствий многострадальной России?

На этот еретический вопрос меня и навели размышления о толерантности: что же оно есть такое – имперское сознание? И выяснилось, что я представляю его очень смутно – так что-то, обло, огромно, нагло, злобно...

Тем не менее довольно-таки многие почтенные и либерально мыслящие социальные философы убеждены, что никакое значительное социальное явление не может прожить сколько-нибудь долго, не выполняя какой-то

жизненно важной социальной функции. Следовательно, не могло бы оказаться столь живучим и пресловутое имперское сознание, если бы все его обязанности сводились к тому, чтобы наполнять граждан или там подданных империи бессмысленной агрессией и ни на чем не основанной спесью.

Не поможет ли понять природу имперского сознания трагический взгляд на социальные процессы, согласно которому в человеческом обществе борются не Добро со Злом, но лишь частные формы по-разному понимаемого добра – зло есть лишь претензия частного добра на универсальное значение, его гипертрофия, иногда только неприятная, а иногда и чудовищная. Так гипертрофией какого же добра является имперское сознание? До какой функции его следует уменьшить, чтобы можно было сказать: да, это вещь не только полезная, но даже и необходимая, к какому более приятному словосочетанию его можно редуцировать?

Позволю себе высказать рискованную гипотезу: к словосочетанию «ответственность не только за страну, но и за целый мир». И если второе качество предполагает стремление участвовать в управлении миром, то полная утрата первого качества неизбежно приводит к потере страны. Потому что любая страна выживает благодаря тому, что какая-то влиятельная часть ее граждан (этот слой можно условно назвать национальной аристократией) видит в ней *неделимое коллективное наследие*. Если же это наследие перестанет рассматриваться как неделимое, оно постепенно и будет поделено, использовано на текущие нужды индивидов и социальных групп, всегда в чем-то остро нуждающихся. Боюсь, если вынести на референдум вопрос, а не распродать ли Эрмитаж, дабы пустить вырученные средства на жилье или больницы, участь его будет весьма печальной. Это же произойдет и с территориями, и с культурно-историческими памятниками, и решительно со всем коллективным, что только можно вообразить: никаких естественных границ, способных остановить процесс деления, не существует, границы эти проводит только чья-то воля. А потому единство частных волей создается лишь традицией: привычка – душа держав. Хотя душою привычки обычно служит некая система поэтических преданий, которую я имел неосторожность назвать общим запасом воодушевляющего вранья.

Тем не менее при исчезновении этого запаса страна не просто уменьшается в размерах или распадается на жизнеспособные части, но исчезает совсем, ибо для выживания каждой такой части требуется запас вранья, неизмеримо более интенсивный, дабы заткнуть рот скептикам и подчинить несогласных. Скажем, Ленинградской области, чтобы стать самостоятельным государством, потребуется имперское сознание неимоверной мощи и агрессивности, дабы подавить региональные сепаратизмы патриотов своего района, своего квартала или только своей квартиры, которые пожелают продолжить дележку до утоления именно своих и ничьих иных appetitov. Appetitov, которым в принципе не бывает конца. То есть деление будет происходить либо до полного исчезновения, либо до таких структурных единиц, мини-имперская аристократия которых сумеет противопоставить

рационалистическому скепсису и групповым интересам ложь и насилие, настолько устрашающие, что они сумеют подавить всякое гласное обсуждение этих вопросов до тех пор, пока не возникнет новая привычка и новый запас иллюзий, в которых почти уже никто не сможет сомневаться ввиду их общепринятости и долговечности.

Словом, коллективное наследие может быть либо неделимым, либо никаким. На практике, конечно, делимо все – под давлением каких-то неодолимых обстоятельств народам случается отказываться и от территорий, и от языка, но если это будет дозволено изначально, они в подавляющем большинстве случаев просто перестанут существовать – если их не сохранит какая-нибудь фанатичная, не считающаяся с реальностью аристократия, как это случилось, скажем, с евреями, и не случилось, скажем, с римлянами: никакого народа «римляне в рассеянии» не осталось. Не хватило имперского сознания. Предались коррупции, утехам, не хотели ничем жертвовать – и их место заняли благородные, ответственные, самоотверженные варвары.

В этом и заключается горькая соль проблемы: если бы от имперского сознания отказались все разом, такую перспективу еще можно было бы обсуждать, хотя и тогда для сохранения природы как первой, так и второй (культуры) все равно понадобилось бы рассматривать их в качестве коллективного наследия. Однако парадокс сегодняшнего, а может быть, и всякого другого времени заключается в том, что своим коллективным наследием перестают дорожить прежде всего наиболее гуманные и просвещенные страны, а их место норовят занять те, кто ничуть не сомневается в величайшей ценности своих грез и в своем праве карать отщепенцев и иноверцев...

И я не представляю, что можно противопоставить их коллективному наследию, кроме нашего коллективного наследия.

Но если должно сохраняться коллективное наследие, то должен сохраняться и его хозяин: размывание коллектива, ответственного за наследство, неизбежно приводит и к размыванию самого наследства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что люди, ощущающие эту ответственность наиболее остро, приглядываются с опаской, а следовательно, и с недоброжелательностью к тем стихиям, которые грозят размыванию их рядов – будь это миграция или обновление нравов. Чувства эти совершенно естественны и даже необходимы для выживания любой страны, особенно в кризисные эпохи. Ужас и мерзость начинаются тогда, когда эти чувства захватывают дурака, «простого человека», умеющего противопоставить опасным обновлениям только топор и ложь, уже несколько не считающуюся с реальностью. Его даже и трудно осуждать, ибо в его примитивной картине мира никаких других средств просто не существует: единственное средство профилактики фашизма – держать простого человека подальше от трагически неразрешимых проблем, в которых еще ни разу не сошлись мудрецы. А между тем само обсуждение вопроса о разделе коллективного наследия пробуждает в тех, кому оно дорого, защитную реакцию страха, а следовательно

но, и агрессии, у дураков всегда принимающей формы бессмысленные и беспощадные, обрушивающиеся на следствия, не замечая причин. И окончательно дискредитирующие те цели, которые они берутся защищать: частное добро перерастает в бесспорное зло, ответственность за страну начинает представляться исключительной миссией садистов, дураков и мерзавцев, а борьба за сохранение коллективного наследия – стремлением превратить индивидуальный террор против инородцев в массовый.

Хотя, будь я идеологом какой-то несуществующей имперской аристократии, я порекомендовал бы ей, напротив, предельно облегчить индивидуальные карьеры наиболее одаренным и честолюбивым иммигрантам, дабы оставить неизбежное недовольство национальных групп (люди всегда чем-то недовольны) без потенциальных лидеров. Кроме того, выдающиеся успехи представителей национальных меньшинств среди доминирующего народа снижают их национальную уязвленность, а также представляют соблазн для других нарождающихся лидеров не поднимать на борьбу соплеменников, но пуститься в одиночное плавание на ловлю счастья и чинов. Одиночки, даже и равнодушные к коллективному наследию, но не испытывающие к нему ненависти, не опасны для него. Если и без них хватает тех, кто им дорожит. Ну, а если их не хватает, тут уж надо пенять на себя. Да еще на тех, кто недостаточно агрессивно требует раздела этого самого наследия: обычно такие требования пробуждают патриотические чувства даже в беспринципных обывателях, кто среди рутины и думать о них позабыл.

Поэтому, будь я идеологом какой-то партии, действительно стремящейся к распаду и разделу империи, я бы запретил ей даже заикаться о распадах и разделах, я бы только требовал самостоятельности регионов, развития их индивидуальных особенностей, изучения их собственной истории вместо общегосударственной, развития региональной прессы и телевидения, сосредоточенных на местных проблемах, создания региональных культурных и властных центров, ибо те центры, к которым устремлены мечты романтической молодежи, будут невольно восприниматься ими как столицы их социального мироздания, и только затем как просто столицы. Граждане будущих государств должны прежде всего обрести новый образ своей страны, новые грезы, связанные с ее особой судьбой.

Правда, чтобы подняться на борьбу и пойти на связанные с нею неизбежные жертвы, эти граждане должны будут проникнуться воодушевляющими иллюзиями такой интенсивности, чтобы они могли переплюнуть иллюзии прежнего имперского сознания, да еще и сумели бы заткнуть рот скептикам и отщепенцам в собственных рядах. Ибо старого имперского дракона могут одолеть лишь молодые драконы.

Голод голодных и слабость сильных

Слово *tolerantia* на языке древних римлян, убежденных в своем праве нести в мир закон, означает терпение. И что же труднее вытерпеть – страх

или унижение? Или, еще более заостряя, что важнее – жизнь или честь? Ответ на этот вопрос проводит границу между прагматической и аристократической культурой, каждая из которых несет свои приобретения и свои потери. Однако если у индивида этот мучительный выбор всегда существует, то у народа, у нации его просто нет, так как унижение для них и означает смерть, распад: для нации честь и есть жизнь. Нация может жить лишь аристократическими ценностями, ибо людей объединяет в нацию отнюдь не стремление к материальному комфорту, которого всегда проще достичь в одиночку, неизменно присоединяясь к сильнейшему и покидая его всякий раз, когда он начинает утрачивать могущество. Людей объединяет в нацию, прежде всего, стремление обрести или сохранить достоинство, то есть чувство причастности к чему-то прекрасному, почитаемому и бессмертному, или уж хотя бы долговечному, продолжающемуся за пределами их индивидуального существования.

В интеллектуальных кругах, претендующих на недоступную смертным рациональность, популярна та ироническая максима, что люди стремятся примкнуть к чему-то могущественному и долговечному вследствие чувства собственной неполноценности, и эта формула совершенно справедлива – с тем уточнением, что чувство своей мизерности и мимолетности перед лицом грозной вечности должен испытывать каждый нормальный человек, обладающий хоть сколько-нибудь развитым воображением, если только он не ослепленный самовлюбленностью параноик. Лев Толстой, Бунин, Левитан переживали эти чувства с предельной остротой, и таких недочеловеков, которым они были бы полностью чужды, я думаю, не найти даже среди самых отъявленных «прагматиков» – просто они уже нашли утешение в каких-то корпоративных сектантских сказках и теперь требуют от остальных смотреть на жизнь трезвыми глазами («у меня квартира уже есть, а потому жилищное строительство пора прекратить» – ведь утешительные иллюзии и составляют главное убежище человека). Становление наций, по-видимому, не случайно сделалось особенно бурным именно в эпоху упадка религии, и распад их, скорее всего, делается возможным не ранее, чем массы обретут какие-то новые формы утоления важнейшей экзистенциальной потребности – потребности идентифицироваться с чем-то великим, почитаемым и долговечным, – кое почти невозможно представить без пышной родословной и чарующей перспективы, какие изобретает для себя каждый народ в своих грезах в периоды национального подъема.

А до тех пор национальные унижения будут переживаться гораздо более мучительно, чем личные, ибо чувство социальной ничтожности, которое пытаются в нас заронить наши недруги, почти каждый из нас имеет возможность компенсировать в кругу друзей, тогда как те, кто посягает на наше национальное достоинство, стремятся отравить само лекарство, для большинства едва ли не единственное, которое способно хоть отчасти смягчить ощущение экзистенциальной заброшенности. А потому самый решительный шаг к распаду Союза сделала в свое время наша родная ком-

мунистическая партия, присоединив к торговле нефтью и пушниной торговлю национальным достоинством: когда сургутский нефтяник, камчатский рыбак и воркутинский шахтер увидели на дверях валютного бара табличку «Только для белых», они поняли, что страны, где их уважают, больше нет. Это и была подлинная распродажа родины, ибо народы способны пережить и территориальные, и имущественные потери, но унижение убивает их со стопроцентной гарантией. Можно, конечно, предложить им по одежке протягивать ножки, быть поскромнее, но только, увы, скромные народы невозможны, ибо они создаются и поддерживаются прежде всего нескромностью. Бог вообще не создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию – призывать нацию к скромности означает требовать от нее самоубийства.

Каждый народ может существовать лишь до тех пор, пока ощущает себя избранным, хотя бы в собственном воображении (впрочем, никакой другой избранности не бывает). Или, по крайней мере, принадлежащим к кругу избранных. Тот круг народов, внутри которого существует согласие об их совместной избранности, сегодня, по-видимому, и можно назвать пышным словом Цивилизация.

И пока идеологи евразийства еще только грезят о евразийской цивилизации, организаторы Франкфуртской книжной ярмарки уже приступили к ее практическому конструированию. Необозримый ангар, в котором был отведен участок для России, заполняли следующие страны (в алфавитном порядке, чтобы никого не обижать): Албания, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Белизе, Бенин, Босния, Ботсвана... В латинском же написании Россия с соседями выглядела так: Romania, Russia, Rwanda... Территориально же нашими соседями были Иран, Ирак, Турция, Индонезия...

Наверняка нас всех объединили без всякой задней мысли, просто по территориальному признаку, но ведь именно так и были сконструированы большинство колониальных наций, в том числе и упомянутая Индонезия, расположенная на несметном множестве островов и являвшая собой до прихода колонизаторов труднообозримый конгломерат племен, языков и языков. Ее, как и многие другие будущие государства, объединили в единую структуру чужеземные владыки – и что же? Через самый короткий в историческом масштабе срок возникло пассионарное ядро мечтателей, сочинивших и поверивших в некую единую родословную, в некий возвышенный и трогательный образ современной *их* нации, в чарующую историческую перспективу... Словом, возникла национальная греза, создавшая народ, уже способный подняться на борьбу и победить в мучительной войне. Превосходя противника лишь в одном – в готовности жертвовать собой.

Как нарочно, именно на Франкфуртской ярмарке я прочел изданный «Текстом» роман главного российского сиониста Владимира Жаботинского «Самсон Назорей», в котором автор, похоже, изобразил чувства еврея, пытающегося выйти из гетто и сделаться своим в более высококультурном и могущественном обществе: неотесанные евреи в романе приезжают к изыскан-

ным филистимлянам на некую «декаду дружбы», питая к хозяевам смешанные чувства полунасмешки-полувосхищения, а уезжают, исполненные беспримесной вражды. Нечто подобное произошло и в реальности, когда самая энергичная, одаренная и честолюбивая часть еврейской молодежи попыталась выйти из гетто в большой блистающий мир, в котором их приняли с объятиями не настолько широко распростертыми, как им грезилося. Именно тогда наиболее оскорбленными себя и почувствовали отнюдь не самые сырые и убогие, но, прежде всего, те, кто имел наилучшие шансы хорошо устроиться, – именно для них было невыносимо ощущать себя людьми второго сорта пускай в одном, но чрезвычайно важном пункте – национальном.

Выйти из нестерпимого для пассионариев унижения можно было разными путями: можно было завести собственный клуб (сионизм), можно было дойти до полной самоотверженности по отношению к тому престижному хозяйскому клубу, куда тебя не пускают, то есть сделаться русским из русских (немцем из немцев), но можно было попытаться и разрушить этот клуб. Это, в свою очередь, можно было сделать двумя путями – объединить все клубы (народы) в один – путь коммунизма – или, напротив, разложить все престижные национальные общности на атомы – путь либерализма. Вот тогда-то во всех общественных движениях, направленных на разрушение традиционных укладов (и в первую очередь своего, еврейского), евреи и оказались едва ли не самой активной национальной группой...

Все помнят, сколько ужасов натворили и они, и с ними, а что еще хуже – с их ни в чем неповинными соплеменниками. Не пора ли понять, что *всякое* гетто является источником подобной опасности, источником фанатизма и социального прожектерства? И если бы российская элита и в самом деле обладала имперским сознанием, то есть ответственностью за страну, она постаралась бы разрушить территориальную, профессиональную и культурную изолированность хотя бы наиболее многочисленных и пассионарных национальных меньшинств. Памятуя о все тех же исторических уроках: соблазн разрушает национальное единство гораздо более надежно, чем угроза. Которая, если только она не достигает масштабов геноцида, как правило, лишь стимулирует изоляционистские национальные грезы.

Исторический опыт показывает, что до самого последнего времени (а достижения мультикультурализма заключаются главным образом в обещаниях) народам удавалось жить в относительном мире лишь в тех домах, у которых был могущественный и расчетливый Хозяин – имперская или национальная элита уверенного в себе большинства. Которая одних ассимилировала, а других разделяла и властвовала. Соблазняя потенциальных лидеров национальных движений индивидуальными карьерами внутри имперского тела за пределами их национальных гетто. Поэтому, вместо того чтобы раздражать русских упреками в недостатке толерантности (страх за свое национальное достоинство, за свое национальное достояние рождает гнев абсолютно рефлексивно у всех народов без единого исключения), было бы неизмеримо более мудро укреплять в них уверенность, что их до-

стоянию ничто не угрожает: толерантность – миссия сильных и уверенных. А для культурного и политического доминирования русских и в самом деле пока что нет никакой серьезной угрозы. Мы в России пока еще не видели серьезных национальных конфликтов, а видели только межличностные, в которых сталкивались интересы людей разных национальностей, индивидуальные, но не национальные – то есть коллективные наследуемые интересы. Национальные меньшинства внутри России пока что не посягают ни на отдельную территорию, ни на отдельную долю во власти, ни на государственные права своего языка или собственного образования.

Тогда как в Соединенных Штатах Америки все это разворачивается полным ходом, а испанская диаспора вообще наступает англосаксам на пятки: глобализация размывает не только традиционные общества, но и своих лидеров. Порождая, естественно, и нарастающую реакцию, захватывающую миллионы людей. Борьба пока что ведется в относительно респектабельных формах, но, поскольку интеллектуальная элита и простой народ оказываются по разные стороны баррикады, весьма вероятно, что его рано или поздно приберут к рукам крутые ребята, ставящие волю выше интеллекта...

Это пока что не наши проблемы, но Соединенные Штаты – империя такого масштаба, что все ее серьезные внутренние конфликты обречены рано или поздно обретать всемирный характер. Отцы-основатели американской демократии вместе с продолжателями их дела до самого последнего времени были страшными ксенофобами, бдительно оберегающими американскую идентичность, а потому неуклонно стремившимися и территориально, и культурно растворить пришельцев, временами просто ограничивая, а то и вовсе прекращая их приток. Это была ксенофобия умная, добивающаяся искомого результата.

А бывает ксенофобия глупая, усиливающая отчужденность «чужаков», но не позволяющая от них избавиться. Конфликтующая с ними на бытовом уровне, укрепляя тем самым стену их гетто, вместо того чтобы, не размениваясь на мелочи, разрушать их единство, используя свое не вызывающее сомнений государственное и культурное доминирование. Вековая история прорыва из гетто российского еврейства заставляет задуматься о проблеме, грозящей сделаться не менее масштабной. В последние годы обитателями некоего гетто на обочине «цивилизованного мира» начинают ощущать себя уже не евреи, а русские. При этом намечаются ровно те же способы разорвать унижительную границу, которая ощущается ничуть не менее болезненно даже в тех случаях, когда она существует исключительно в воображении (человек и может жить только в воображаемом мире). Первый способ – перешагнуть границу, сделаться большими западниками, чем президент американский. Второй – объявить границу несуществующей: все мы, мол, дети единого человечества, *безгранично* преданного общечеловеческим ценностям. Третий – провозгласить свое гетто истинным центром мира, впасть в экзальтированное почвенничество. И четвертый, самый опасный – попытаться разрушить тот клуб, куда тебя не пускают.

Но русский Самсон все еще настолько могуч, что из-под обломков кровли, которую он способен однажды обрушить на головы филистимлян, не выберется почти никто. В истории нового времени самые ужасные вещи творили сильные, вообразившие себя слабыми. Реальную опасность фашизма создает не голод голодных (голод ее только обостряет), но слабость сильных. Разумеется, воображаемая.

Равноправное вхождение России в престижный клуб доминирующей цивилизации – дело десятилетий, если только это вообще осуществимо. А причастность к вечности и хотя бы не слишком редкие восхищенные взоры мирового сообщества необходимы уже сегодня. Однако и то, и другое создается, прежде всего, научной и культурной элитой. Вот ее-то укрепление и развитие и является наилучшей профилактикой ксенофобии. Когда имена и достижения русских ученых, музыкантов, режиссеров, писателей, инженеров (равно как спортсменов и предпринимателей) будут почтительно повторять на международной арене – только тогда в России и начнет слабеть то опаснейшее для всего человечества ощущение, что западный мир сговорился не выпускать нас из гетто.

Кто спорит: повышение уровня и качества жизни наиболее обделенных – важнейшая гуманитарная и государственная задача. Но создание условий для развития наиболее одаренных есть вопрос национального выживания.

СМЕХ И ГРЕХ

Юмор и Абсолют

Люди пытаются возложить на смех столько обязанностей, что разбегаются глаза. Провинциальное кладбище, солнечный день накануне Троицы. Шумная, навеселе, полуродственная компания в обширной многоместной ограде готовит к празднику свой семейный пантеончик. Мужчины уже выкрасили решетку и натаскали песку и дерну, а женщины еще дومتаят и что-то поправляют на клумбах, то бишь могилах.

– В дырку засунь, – советует одна подметальщица другой – бойкой, подсушенной алкоголем бабенке.

– В *какую?* – уточняет та с такой блудливой улыбкой, что советчица с радостной недоверчивостью хохочет:

– Ну, чума, ну, чума!..

– Ладно, воровка, лучше дай-ка ведро. – Они обе недавно попались у себя на мясокомбинате при попытке вынести два батона колбасы.

– Держи, воровка, – еще радостнее отвечает первая: бойкая товарка раскрепощает ее, дает своими шуточками возможность не стыдиться того, что им навязывают как постыдное.

Мужчины тоже то и дело хохочут, чтобы убедить себя, что им весело, – иначе будет жалко денег, потраченных на выпивку. Два столкнувшихся авторитета спорят, что полезнее для здоровья: вино после пива или наоборот. Каждый встречает доводы оппонента деланным смехом, зазывно поглядывая на окружающих: тот, кому удастся организовать коллективный смех, останется победителем. Побеждает мужик в возрасте, первым догадавшийся призвать на помощь поэзию, то бишь рифму.

– Пиво на вино – человек г..., – козырнул, он, – вино на пиво – человек на диво.

Все хохочут – этим и решается спор: неправ тот, над кем смеются.

Робкий мужичонка давно с умилением поглядывает на копошащихся в пыли воробьев.

– Чего они там клюют – одна же грязь... – как бы сам с собой бормочет он, на самом же деле желая соучастия своей умиленности.

– Гляди, гляди, дерутся, ха-ха-ха, – он смеется, чтобы показать, до чего он хорошо проводит время, и тем заманить еще кого-то. Но право выбирать объекты и для смеха, и для умиления – важная социальная привилегия, и не дается кому попало. Сейчас этим правом завладел сторонник вина на пиве.

Все чувствуют, что в возникшей атмосфере взаимного подшучивания тот, на кого укажет победитель, обречен, а потому посматривают на него с выжидательными полуулыбками – и не без робости. Готовность смеяться начальственным шуткам – один из важнейших атрибутов почтительности. Повелитель смеха оглядывает потенциальные объекты коллективного осмеяния и милосердно выбирает нейтральный – обращается к играющему среди воробьев мальчуганчику в растянутых трикотажных трусиках:

– Юрик, ты чего трусы не подтягиваешь – у тебя же пуп на волю глядит!

Юрик с готовностью подтягивает трусики до упора, не замечая, что при этом показывается на волю до слез беззащитная, мелко гофрированная пипка. Все снисходительно хохочут – пацанчику досталось то умиление, которое робкий мужичонка пытался обратить на воробьев.

Доносятся заунывные звуки духового оркестра. Все принахмуриваются, но бойкая бабенка разряжает напряжение.

– Еще один жмурик в ящик сыграл, – с преувеличенно постным видом возглашает она, и все хохочут с облегчением и благодарностью: ну, чума, с ней не соскучишься (а в подтексте – не испугаешься: над кем смеемся – того не боимся, недаром в самые жуткие эпохи возникает столько игривых синонимов слова «расстрелять» – шлепнуть, шпокнуть, поставить к стенке, отправить в штаб Духонина, разменять на мелкую монету и т. д., и т. п.).

Виночерпий тянется под скамейку за очередной бутылкой – и извлекает бутылку с лаком. Взрыв чистосердечного, без всяких примесей и подтекстов хохота. И пусть у гробового входа...

Звучит примиряющий смех. Хотя для кого-то и кошунственный.

Так все-таки – примиряющий или кошунственный?

Найти общую формулу смешного на первый взгляд представляется де-

лом почти невыносимым. На этот счет высказано столько противоположных суждений, что они, по-видимому, больше говорят об авторах, чем о проблеме. Достоевский считал, что в основе смеха лежит сострадание, Чернышевский – чувство превосходства, Фрейд – подавленная агрессия, Кант полагал, что смех возникает тогда, когда напряженное ожидание разрешается в ничто. В человека стреляют из пистолета, он вскрикивает от ужаса – а пистолет оказывается игрушечным. Все помирают со смеху, но один умник лишь пожимает плечами: ничего смешного, глупость и только. Почему не всякий неосуществившийся прогноз и не всем кажется смешным, остается загадкой.

Шопенгауэр был убежден, что остроумие заключается в том, чтобы в совершенно ясных на первый взгляд словах найти совершенно неожиданный новый смысл. Например, фраза «здесь он покоится, как герой, окруженный телами поверженных им» вызывает у нас представление о каком-то поле битвы, и когда нам разъясняют, что это надпись на могиле врача, мы смеемся, торжествуя над рассудком, нашим вечным и неотступным надсмотрщиком, претендующим все понимать и все выражать с исчерпывающей полнотой. Наименее интересный способ отыскания второго смысла – это буквализация метафоры; вы говорите о ком-то: «Он в этом деле собаку съел», а остроумный собеседник поспешно интересуется: «А хвост оставил?» Впрочем, еще более плоский прием – вылавливание омонимов: «По улице неслась собака». – «Несутся только куры». Людей, излишне поглощенных подбором таких, более чем поверхностных вторых смыслов, известный психиатр П. Б. Ганнушкин называл салонными дебилами – не в ругательном, а в научном, диагностирующем значении. И если исключить подобный (в больших дозах – патологический) юмор, то можно сказать, что остроумие показывает нам недостаточность каждого описания, каждого суждения, оно напоминает нам, что мир гораздо богаче, чем это может выразить слово, – как мозаика не может в точности воспроизвести масляную живопись.

Бергсон развивает эту мысль еще дальше, доказывая, что юмор развенчивает не только стереотипное понимание той или иной фразы, но и всякую стереотипность, деятельность по неукоснительному плану, когда человек уподобляется автомату, выполняющему предписанное движение, не сообразуясь с особенностями обстоятельств, всегда индивидуальных и неповторимых. Наиболее отчетливо эта схема проступает в примитивном юморе: человек дважды достает из-под скамейки бутылку с водкой, а на третий та же самая операция вдруг приносит ему бутылку с лаком. Или, например, есть восточная басня о женщине, которая из стыдливости прикрыла лицо задранной подошмой. И т. п. Более тонкий пример: если рядом с выразительно жестикулирующим оратором поставить другого, в точности повторяющего его движения, – эффект вместо патетического делается комическим: мы убеждены, что свободная человеческая душа должна иметь неповторимые формы выражения. Смешной оказывается всякая

предсказуемость, «серийность» (цель хорошей пародии – вскрыть «технологический прием»). Смех требует, чтобы люди не были серийными изделиями: еще Паскаль отмечал, что два совершенно одинаковых лица, появляясь перед нами одновременно, производят комическое впечатление. Смешна и регламентация, вносимая человеком в живую природу: «Если факты говорят иное, тем хуже для фактов», «Перенесите солнечное затмение на более удобное время», «Раньше сердце было с левой стороны, но теперь мы это переменили». Неизменность физических законов, проступающая сквозь свободное парение человеческой души, тоже производит грубо комический эффект: человек, поскользнувшийся или чихнувший в патетический миг, у многих способен вызвать искренний хохот. Столь ненавистный Марине Цветаевой: «Когда человек падает, это НЕ СМЕШНО!» – на всю жизнь внушила она маленькой дочери, хохотавшей над неуклюжим клоуном.

Хороший карикатурист подчеркивает не какие попало физиономические особенности, но именно те, которые выглядят как некие проявления душевного настроя – *неизменные*, а потому чаще всего неуместные: неизменно кислое, изумленное или веселое *выражение лица*, которое, по нашему мнению, должно постоянно изменяться сообразно обстоятельствам.

Многие комические положения создаются при помощи такого приема: некий стиль изложения механически переносится из одной сферы в другую, где он не принят, – языком боевых реляций или коммерческих сделок рассказывают о свадьбе, драке, похоронах. Родственный прием – распространение какой-то привычной метафоры на непривычную область: «Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей страны» – привычно, «Советская власть – это коммунизм минус электрификация» – было довольно забавно, пока не затаскали, то есть не создали новую повторяемость (впрочем, эта острота метила в гораздо более важную косность – косность благоговения, но об этом чуть позже).

Все подобные приемы могут создавать забавные эффекты лишь до тех пор, пока мы не почувствовали за серией острот их *серийности*, то есть тех самых повторяемости и предсказуемости, с которыми и борется юмор.

Легкой мишенью для острословов оказывается и обрядовая сторона всякого дела, выполняемая без видимой цели *по шаблону* – главному и, если верить Бергсону, чуть ли не единственному врагу всякого юмора (разумеется, речь идет об искреннем смехе, а не о его имитациях, используемых для демонстрации презрения – «Это просто смешно!», почтения – «Хи-хи, какие вы забавники!» и т. п.). У многих народов есть сказки о дураках, которые, действуя по заранее составленному плану, на свадьбе плачут, а на похоронах выражают пожелания типа: «Таскать вам не перетаскать». На этом же построены анекдоты о педантах: жена дает мужу список поручений, а когда она падает в чан, он отказывается извлекать ее оттуда, ибо этого поручения нет в списке.

«Косное, застывшее, механическое в их противоположении гибкому,

беспрерывно изменяющемуся, живому, рассеянность в противоположении вниманию, автоматизм в противоположении свободной воле, – вот в общем то, что подчеркивает и хочет исправить смех» (А. Бергсон). Поэтому и сильная страсть не терпит юмора, она желает быть абсолютом, и юмор, указывающий, что ни в чем не следует заходить слишком далеко, ничто не следует понимать слишком буквально, конечно, всегда бывает ей враждебен; не только Савонаролы, но и слишком чувствительные, сострадательные люди тоже часто бывают лишены чувства юмора – по крайней мере, в особо волнующей их сфере (но эти добряки хотя бы неопасны для шутников).

Смешна всякая серийность, смешно все, что решено «раз и навсегда». Юмор не позволяет слишком долго следовать никакому предписанию, а потому не дает слишком далеко заходить ни по пути порока, ни – увы! – по пути добродетели. Или не «увы»? Добродетель – это было любимое слово Робеспьера. Павел Васильевич Анненков отмечал, что в последние годы Гоголь утратил чувство юмора – регулятор, удерживающий от самоубийственных чрезмерностей. Бергсоновская догадка позволяет без всякого фрейдизма объяснить, отчего излюбленными предметами расхожих шуток оказываются кишечно-половые отправления и действия правительства: любой запрет – а чем еще занимается правительство! – это и есть неотвратимый и неизменный регулирующий механизм (в сущности, и смерть – частный случай неотвратимости, порождающей так называемый черный юмор).

Точно так же, будучи зажатой принудительным благоговением, жизнь начинает ускользать на свободу при помощи кошунов, которые, не находя у людей особо совестливых ни малейшей отдушины, превращаются даже в неврозы, навязчивые мысли, в старой психиатрии именовавшиеся «хульными»: а что, если сейчас дернуть священника за бороду?.. А что, если бы с народного кумира прямо на трибуне свалились штаны?.. В средние века среди низшего клира были распространены непристойные пародийные богослужения – «праздники дураков»; участники этих праздников защищались такой апологией: «Все мы, люди, – плохо сколоченные бочки, которые лопнут от вина мудрости, если это вино будет находиться в непрерывном брожении благоговения и страха божьего. Нужно дать ему воздух, чтобы оно не испортилось. Поэтому мы и разрешаем себе в определенные дни шутовство (глупость), чтобы потом с тем большим усердием вернуться к служению господу». Апологеты праздника вполне готовы признать свою разрядку – глупостью. Но не отказаться от нее.

Очень многие жаргонные выражения тоже стремятся соскresti с предметов сколько-нибудь возвышенную окраску. Вместо «возвышающих» названий социальных институтов, обязанностей и даже органов человеческого тела в таких случаях указывают на их наиболее «земные», элементарные функции или признаки: рот – «хлебало», нос – «нюхалка», «две дырочки», женщина – «соска», «давалка», гроб – «ящик».

Первые анекдоты о Владимире Ильиче Ленине тоже всего лишь помещали его в какую-то «земную» житейскую ситуацию: то он в длинных тру-

сах делает зарядку – маленький, толстенький приседает; то он игриво переговаривается через дверь с Надеждой Константиновной: «Это я, Вовкаморковка». Судя по беспокойному восторгу, с каким все, впервые приобщавшиеся к этому кошунству, начинали хохотать, вино мудрости и благоговения уже давно перебродило. Юмор, вот кто готовил перестройку...

В борьбе с любыми механизмами, пытающимися подчинить себе жизнь, она (жизнь) посредством юмора защищает свое право на неповторимость, на непредсказуемость, на умеренность и здравый смысл. Поэтому нетрудно предсказать, какие отношения с юмором окажутся у тех гениев, которые убеждены, что сама жизнь и есть несложный механизм; в основе – производительные силы, им соответствуют производственные отношения, те в свою очередь разбивают людей на классы с такими-то и такими-то свойствами и потребностями, борьба этих классов приводит к таким-то и таким-то последствиям... Марксизм можно назвать плодом неочеловеченного интеллекта, механически переходящего от незамысловатых предпосылок к незамысловатым выводам, ничуть не смущаясь их кошмарностью и... и *смехотворностью*. Основоположники если иногда и пошучивали (хотя и несмешно), но всегда над кем-то другим и никогда над собой: «Нужно прежде всего писать о противнике с презрением и насмешкой» (Ф. Энгельс).

И смешили их странные вещи. Энгельс о перевороте Наполеона III: «История Франции вступила в стадию совершеннейшего комизма... Не думаешь комедии лучше этой».

Ну а всемирный гений, доведший Учение до завершенности и не успевший перестроить жизнь по принципу единой фабрики только потому, что она предпочла вовсе исчезнуть? Смешливостью Ильича умилялись десятки мемуаристов и режиссеров. «Ух, как умел хохотать. До слез. Отбрасывался назад при хохоте», – вспоминает Надежда Константиновна. Но о причинах такого смеха очень многие воспоминатели роковым образом умалчивают – видимо, считают делом второстепенным, *над чем* человек смеется, главное – *как* (вопреки собственным принципам, отдают *форме* предпочтение над *содержанием*). Но драгоценные крупички все же просверкивают там-сям: Ильич, хохочущий над простаками, надеющимися построить социализм без расстрелов; Ильич, с веселым смехом истребляющий беспомощных зайцев во время наводнения (некий анти-Мазай)... Другие эпизоды едва-едва тянут на недоуменную усмешку.

Но это и неважно – «нужно прежде всего писать о *противнике* с презрением и насмешкой», всегда о ком-то, но не о себе: «Копанье и мучительный самоанализ в душе ненавидел» (Н. К. Крупская). Юмор – разящее оружие, и какой же большевик станет обращать его против себя! Посмотрим же, во что превратилось это оружие к венцу героической эпохи – к 1953 году. Зачерпнем из самого густого источника – из журнала «Крокодил».

Номер первый. Бюрократ отправляет теплую одежду на Юг, а легкую на Север – «изошутка» с комментарием: «Этому холодно, этому жарко, пото-

му что этому ни холодно, ни жарко». Другой бюрократ старается прибить повыше плакат с надписью «Выше качество продукции», а гвозди (продукция) гнутся. Осмеяние абстрактной живописи: «Дядя Сэм рисует сам» – «Ясно, что ничего не ясно». Течет крыша в телятнике: «Водой телята уже обеспечены». Два буржуазных политика: «Почему наш кабинет министров так часто падает?» – «Народ не поддерживает». В помещении хорового кружка устроили птичник: «Пустили петуха». (Кстати, похоже на сегодняшних кавезнщиков.)

Номер второй. Американские империалисты-палачи с топорами. Сельхозучилище: «Пора начинать сев, а учащиеся отсеялись». Мебельная фабрика, на стул с размаху ставят штамп «Первый сорт», а стул от удара разваливается. Комедия демократии, дядя Сэм с козлиной бородкой: «Ваш парламент распустился? Смотрите, как бы я его не распустил». А это уже почти Лесков: «Моралисты замарали помещение».

Номер третий. Врачи-отравители берут у своих хозяев указания и фунты стерлингов (древний каламбур «Шел дождь и два студента»), на обложке «изошутка»: мужественная рука с твердым ногтем на большом пальце, как пакостливого котенка, извлекает на свет убийцу в белом халате, с которого сваливается маска доброго доктора Айболита, открывая крючконосу, бровастую харю в темных очках. (После закрытия «дела» через несколько месяцев обратной изошутки – мужественная рука возвращает маску Айболита в прежнее положение – не последовало.) Некто пересел «из кресла на скамью» – подсудимых. У империалистов «железнодорожная катастрофа» – русские передали Китаю железную дорогу.

Номера четыре, пять, шесть. Ротозей вешает плакат, призывающий к бдительности, а у самого жаба-шпион похищает из кармана секретную документацию. «Я нетерпимо отношусь к критике? Вы за это поплатитесь!» Выборы в Советы, баллотируется «дважды кандидат» – в депутаты и сельскохозяйственных наук. «Этот лектор ничего, кроме своих лекций, не читает». Еще одно самоотрицающее действие: в рабочее время проводят собрание о повышении трудовой дисциплины. Николай Грибачев, сочинение «Ошипанный "Джойнт"»: «Плач стоит на реках Вавилонских, главная из которых – Гудзон». Стахановская изошутка: «Ключ к сердцу любимой» – гаечный. В Голливуде идет съемка... отпечатков пальцев.

Номер седьмой, исторический – даже любопытно: как же, оставаясь юмористами, можно откликнуться на смерть Вождя? На обложке бесконечные алые разливы, знамена, бесконечно дробящиеся, как у Филонова, трудовые лица, на первом плане дважды Герой, войны и труда, с простым лицом (простота – важнейший признак положительности) вздымает над головой алый том: «И. В. Сталин». На внутренней стороне обложки – уменьшенная фотокопия первой страницы «Правды»: «От Центрального комитета... Бессмертное имя...» Первая «крокодильская» страница: «Еще теснее...» и – простой солдат с юмористической курносинкой, на груди бинокль и автомат, задний план – алые домны. Затем грандиозное панно под

торжественными трубами алых громкоговорителей. Благородно отчетливым шрифтом: «Враги Советского государства рассчитывают...» – и подпись: Л. Берия; от Л. Берии – широченная алая стрела, заполненная «неурушимыми сплоченностями», «единениями» и т. п., бьющая в самый низ страницы, где *сидят в луже* империалисты с листочками в когтистых лапках; на листочках надписи: «расчет на растерянность», «расчет на разброд».

Никакого разброда – в том же номере продолжается борьба: «Укрепим братскую дружбу с китайским народом», для чего и продолжает каленой метлой выжигаться-выметаться всякая плесень. Изошутка: спортивный руководитель «поскользнулся на катке, а вынырнул в бассейне». Алексей Максимович Горький призывает: «Закончив Литературный институт, не забывайте и мои университеты». Волк в овечьей шкуре похищает секретные бумаги из-под носа благодушного ротодея, глядящего на волка сквозь *розовые очки* – снова буквализация метафоры. Она продолжает царствовать вместе с игрой на двойных значениях слов: «Александр Николаевич начал с Малого и сделался великим» – написано на памятнике драматургу Островскому у Малого театра; тайные мысли бюрократа: «Только бы открыть горсад, а там хоть трава не расти»; подхалим на качелях закрывает глаза, чтобы не посмотреть на начальника *свысока*.

Вы еще в силах выдержать? Вспомнили любимые приемы салонных дебиллов? Империалистам для памяти «зарубили на носу» – нарисован штык, «завязали узелок» – петля, а они все забывают уроки истории! «Колонны для здания новой Европы» – танковые колонны, «В магазинах большой выбор, а иностранные корреспонденты снабжают нас утками», «Единственный капитал, которого они боятся, это "Капитал" Маркса», «Так кричали перед выборами, что потеряли голоса избирателей»...

Переведите дух, а потом можете начать самостоятельную работу: возьмите любую идиому, приложите ее к негативным сторонам советской действительности – и вы законченный сотрудник «Крокодила». «Никаких гвоздей» – это пойдет на стройку, «заговаривать зубы» – в стоматологическую поликлинику, «дальше ехать некуда» – в Дорстрой, «не вырубишь топором» – на лесозаготовки. Изредка отдыхайте на такой утонченной роскоши, как самоотрицающее действие: «Давайте поговорим о том, что мы слишком много говорим».

Вот во что превращается юмор, сделавшийся разящим оружием в чьей угодно руке. Преследователь всякой повторяемости и предсказуемости, он создает собственную жалчайшую повторяемость и предсказуемость. Разумеется, унылое однообразие свойственно всем юмористическим журналам и «Уголкам юмора», равно как и специализированным острякам, взявшим за правило из океана возможных человеческих реакций держаться одной – юмористической. Но главная безнадежность даже не в этом. Самое главное – юмор, этот враг *всех и всяческих* предписаний, не может быть предписанным. Плоским, вульгарным – сколько угодно, но предписанный юмор – это

круглый треугольник, это самоотрицающее действие, это подтянутые трусики, открывшие срам. Если *заранее* известно, кто и за что должен быть осмеян – бюрократ-хапуга («Касьян Жучков возглавлял контору Главсметана...») или мыш-космополитка («А сало русское едят...»), – то главная функция юмора уничтожается на корню. А что же остается? Да «Крокодилы» каламбуры: «Половину плана выполнили на 100%», «Этот дом как будто никогда не ремонтировали. – Да, он только что построен».

И неловко, и грустно видеть такое поругание человеческого остроумия...

Но юмор обречен на эту убогую роль при подчинении его любому Абсолюту. Ибо каждая абсолютная истина претендует оставаться неизменной всегда и всюду, а юмор именно против этого и восстает.

Когда исламский мир поднялся на дыбы из-за ординарных, на европейский взгляд, карикатур на пророка Мухаммеда, куда же девалась та примиряющая роль юмора, в которую когда-то верил Гоголь? Юмор способен разрядить конфликт святынь, когда каждая сторона конфликта соглашается посмеяться над своей святыней, то есть деабсолютизировать ее. Но если хотя бы одна из сторон дорожит *своей святыней* именно как абсолютной, а не относительной ценностью, смех может лишь подлить бензина в костер вражды. Ощущаясь не как примирительный, но, несомненно, как кощунственный.

И не нужно наивных или лукавых оправданий: мы-де шутили уважительно, любовно, наш смех не разрушительный, но созидательный – смех созидательным не бывает. Смех и Абсолют несовместимы.



музыковед, журналист, эссеист, выпускник теоретико-композиторского факультета и аспирантуры Ленинградской консерватории, член Союза советских композиторов. Среди опубликованных работ – «От Гайдна до Шостаковича», «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Песня и стих», «Певцы и вожди». С 1988 до 2006 года – сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. Живет в США.

ДНА ВСЁ ЕЩЕ НЕ ВИДАТЬ...

**Взгляд на американскую эмигрантскую жизнь
изнутри – заметки несоциолога**

По капле – это на Капри,
А нам – подставляй ведро!
Александр Галич

«Наши соотечественники... ввергают себя в череду самых разнообразных перегрузок. И что мы имеем на выходе? Какая "химия" заявляет о себе?» – пишет профессор социологии МГУ Н. Е. Покровский в интересной статье «Штрих-код русской судьбы в Америке», опубликованной на сайте Intelligent.ru.

Перегрузки, о которых идет речь, обрушиваются на российских граждан, переехавших в Америку в годы, как он выразился, «перестроенного исхода». С жизнью русских (в небольшом городке в Индиане, неподалеку от Чикаго) автор статьи знакомился, по его словам, «с научным интересом и в стиле включенного наблюдения». За мои 32 года жизни в США я встретил множество выходцев из СССР, но научного наблюдения за ними не вел, к тому же общался (и общаюсь) преимущественно с иммигрантами предыдущей, доперестроенной волны. Поэтому я готов честно признать, что профессор Покровский знает свой предмет – переселенцев новейшего образца – лучше меня. Откликнуться же на его статью меня побуждает ощущение, что автор порой сгущает краски, а некоторые его замечания и выводы сделаны чересчур поспешно и не всегда обоснованно. Кроме того, они как бы

повисают в воздухе – поведение «наших» в Америке описано без попытки осмыслить его истоки. В самом деле, почему эти устремившиеся за океан люди ведут себя именно так, а не иначе? Откуда берутся те привычки, страсти, антипатии, неврозы, которые с удивлением обнаружил в своих бывших согражданах автор статьи? «В принципе, социологи не должны высказывать оценочные суждения, – говорит Никита Евгеньевич в конце своих заметок. – Социологи ставят диагноз». Пусть так. Но мне, несоциологу, предлагаемый автором диагноз временами напоминает перечисление симптомов. «История болезни», ее происхождение, ее корни – все это оказалось за рамками статьи.

Об этом я и порассуждаю, вынося в название главок цитаты из статьи Никиты Покровского.

«Считается особой доблестью обдурить госсистему»

Еще бы! Может ли иначе относиться к «госсистеме» бывший гражданин всесильного и всепроникающего государства, которое владело всем и вся и вдобавок пело ему от его же имени:

И где бы я ни был, и что бы ни делал –
Пред Родиной вечно в долгу...

Граждане же, со своей стороны, сочиняли и пели свое:

Гудит, как улей,
Родной завод.
А нам-то х.ли?
Е.ись он в рот!

А этот фольклорный лозунг-призыв помните? «Дадим стране угля! Хоть мелкого, но до х.я!»

Пропитанная цинизмом «система ценностей» советского человека не улетучивается в одночасье. Избавление от нее – долгий и сложный процесс, успех которого зависит от многих факторов: мотивов отъезда, внутренней культуры, образованности, возраста, но более всего, как мне кажется, от того, осознал ли ты необходимость перемениться и хватает ли у тебя на это воли и сил...

Растворенный в нашей крови цинизм мешает нам нормально, непредвзято воспринимать наших новых сограждан. «Ты заметил, – сказал я как-то приятелю, – что американцы, когда открывают тугую дверь, норовят ее придержать, чтобы не стукнула идущего следом? Иногда – даже не посмотрев, есть ли там кто-нибудь сзади. Условный рефлекс заботы о людях...» «Не обольщайся, – парировал приятель. – Это он не о ближнем своем печется, а о себе, любимом. Не хочет, чтобы ты его засудил, если дверь врежет тебе по лбу!»

По свидетельству Н. Покровского, иммигранты, в поисках «щелей», досконально изучили американские законы, в частности, «все без исключения прекрасно знают нюансы иммиграционного законодательства и ориентируются в том, как его обойти...»

Но вот что интересно: знание тончайших нюансов сочетается с непониманием сути американской юридической системы, ее основ. Над ней иронизируют, потешаются, ее ругают за дотошность, буквоедство и мягкотелость, от нее требуют большей решительности и жесткости – то есть того, чего мы вдоволь насмотрелись и от чего пострадали у себя дома... Нас раздражает и удивляет законопослушность американцев. Станный народ: прав у них и гражданских свобод – навалом, а ведут себя робко, постоянно оглядываются на закон. На знак «стоп» останавливаются неукоснительно, даже когда перекресток пуст, как Сахара!

«Никто не едет в Америку за духом свободы»

О ком это сказано? Если автор имел в виду один лишь «послеперестроечный исход» – все равно этот вывод представляется мне слишком уж категоричным. Правда, заканчивается статья оговоркой о том, «что социология, даже в формате наблюдений, рисует картину широкими мазками. Индивидуальные детали могут растворяться. Таков принцип». И все же, читая это самое «Никто не едет...», трудно отделаться от ощущения, что мазок этот – не просто широк, но безмерно размашист, и сделан он одной черной краской. Так и подмывает спросить: россиянина не колышут американские свободы потому, что в нынешней России этого добра хоть отбавляй, так что ехать за свободой в Америку – это как ехать в Тулу со своим самоваром? И если это так, что же «ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном?»

Н. Покровский именует иммиграционную волну последнего десятилетия «экономической», и на вопрос «Что побуждает их к эмиграции?» отвечает так: «Прежде всего, экономические причины». Не буду спорить с автором, ему виднее. Похоже, что он прав. Но вот что интересно: перебравшиеся сюда (даже недавно!) россияне заметно отличаются от тех, которых я наблюдал в Петербурге и Москве летом 2002 года. Другие лица – менее хмурые и жесткие, другая осанка – более раскрепощенная, другая реакция на оппонента во время спора – менее бурная. Может быть, эти люди, садясь в самолет, и не говорили себе: «Я еду за свободой», но разлитая в воздухе атмосфера свободы, доброжелательности, цивилизованности, как видно, действует на нас помимо нашей воли.

Вообще говоря, «дух свободы» – загадочная субстанция, похожая на мощное энергетическое поле, даже случайное соприкосновение с которым может оказаться судьбоносным. Знаю это по собственному опыту.

В конце августа 1965 года я впервые в жизни оказался вне пределов

СССР. Меня, молодого члена Союза советских композиторов, включили в большую группу работников искусств, отправлявшуюся на Эдинбургский фестиваль – с заездом в Лондон. Это было редкостью в те времена – попасть в капстрану без предварительной проверки-проварки в стране социалистического лагеря. На то, что выпустят, надеялся мало.

И вот я в британской столице. Сумасшедший бег по знаменитым улицам и площадям, по музеям и паркам... Где-то на третий или четвертый день обращаю внимание на местную публику. И тут приключилось нечто странное. До меня вдруг дошло, что я – в ином, не похожем на мой мир. Мире, более свободном и человечном. Я ощутил это кожей, всем существом. «Дух свободы» перестал быть абстракцией, он материализовался в шедших по улице людях. У них было непривычное для меня, спокойно-доброжелательное выражение глаз и лиц, иная манера держаться и общаться – прямая, непринужденная, без настороженности, без опасливых оглядываний по сторонам, без боязни посторонних глаз и ушей. Они излучали независимость, уверенность в себе, внутреннее достоинство. Думаю, что если бы не этот «момент истины», вряд ли бы я – при моей органической нелюбви к конфронтации и склонности к компромиссу – решился на отъезд, да к тому же еще в столь ранний период (документы были поданы в октябре 1973 года), когда ты автоматически превращался в изгоя, отщепенца, предателя, вечного безработного...

Образ свободы, явившийся мне на лондонской улице, неудержимо влек за собой, как доктора Фауста – образ юной Маргариты. Он помогал мне и потом, в трудные времена привыкания к новой жизни, когда я учился дышать воздухом иной культуры, если – не иной цивилизации...

«Чужая культура доведет до невроза кого угодно»

Прав ли автор статьи в этом своем утверждении? Как и в том, что в «любом случае» переезд через океан на ПМЖ сопряжен с огромными перенапряжениями, прежде всего психическими? Был бы прав, если бы не очередной «широкий мазок» – «в любом случае». Потому что, по моим наблюдениям, перенапряжения бывают огромными, но бывают и средними, а бывают и все малыми. Многое зависит от того, откуда ты уехал и где приземлился.

Долгие годы жизни на Западе привели меня к мысли, что трудности адаптации прямо пропорциональны расстоянию между культурами – «чужой» и твоей, родной в доску. Чем шире дистанция, тем больше проблем. Дистанция, само собой, не пространственная. Граждане бывшей ГДР вот уже 15 лет живут в одном государстве с гражданами бывшей ФРГ, но все еще ощущают себя «внутренними эмигрантами», ностальгируют по скудной, убогой, но предсказуемой и стабильной жизни при выморочном «зрелом социализме». Что же тогда говорить о гражданах страны, прожившей под тоталитаризмом три четверти века, родившихся и росших в ее объятиях – и оказавшихся в стране, уже более двух веков живущей по законам ли-

беральной, джефферсоновской демократии? Особенно мучителен для нас процесс освоения новой системы ценностей, даже если ты уже слышан о ней и заранее принял ее как свою.

**«В Америке очень хорошо и интересно,
если знаешь, что рано или поздно вернешься в Россию»**

Этот вывод Никиты Евгеньевича – самый загадочный из всех. У людей, переехавших сюда, чтобы начать новую жизнь, я такого комплекса сидения на двух стульях не встречал. Приезжающие в командировку или по студенческой программе «Work and travel» (она обычно занимает четыре месяца) – другое дело. От них можно услышать, что их тянет домой, к родным и друзьям, в привычный, налаженный быт. Эти мотивы порой звучали в интервью, которые я брал у временно проживающих в США для «Голоса Америки». Кстати, «временные» сплошь и рядом правдами и неправдами – остаются насовсем...

«Мнения и суждения отличаются необычайным радикализмом»

Есть этот грех, нет спору. И не только у «новеньких», которых «включенно наблюдал» в Индиане социолог Покровский. Помню, как мой знакомый, ветеран Великой Отечественной, чистил американскую армию за неумение воевать. Потому как чрезмерную гуманность проявляет. «У нас в польской деревне солдата убили – так мы ее с землей сровняли, ни одного из местных в живых не осталось. Чтоб другим неповадно было. Сталин был прав – только так и можно победить». Ветеран прожил в Америке четверть века – и ничего не понял, ничему не научился.

Уроки западной толерантности осваиваются нами медленно, со скрипом, с сомнениями в ее ценности и нужности. «Они говорят: "терпимость", "терпимость"! – взвился как-то давно мой добрый друг Наум Коржавин. – А на самом деле – никакая это не терпимость, а равнодушие, больше ничего!"

Вместе с радикализмом привозим мы с собой и презрение к компромиссу. И вот почему: мы привыкли расценивать компромисс как поражение, и не понимаем, почему западные люди с таким пиететом говорят об умении найти компромиссное решение и разрядить конфликт. Это очень точно подметил и объяснил в свое время Владимир Лефевр в книге «Алгебра совести» (*Lefebvre V. A. Algebra of conscience. Dordrecht-Holland, 1982*).

**«В США можно видеть подлинный
интернационал бывших соотечественников»**

Н. Покровский с удивлением замечает, что «здесь прекрасно уживаются друг с другом и собственно русские, и украинцы, белорусы и даже прибалты». Мой опыт, в частности, 18 лет работы на «Голосе Америки», это наблю-

дение подтверждает. Но мой список «прекрасно уживающихся» – шире. В нем и азербайджанцы, и армяне, и грузины, и евреи, и татары, и выходцы из Центральной Азии. В многоцветной, «поликультурной» Америке этническое начало вообще как-то сглаживается, отступает на задний план. Привезенный мной сюда повышенный интерес к этничности встречал у американцев недоумение. «Какой национальности эта девушка?» – спрашиваю у студента Оберлинского колледжа в штате Огайо. «Национальности? Она американка!» – «Но откуда она взялась такая? Смотри – цвет кожи, форма глаз, носа у нее какие-то особенные!» – «А, так вы об этническом происхождении... Честно говоря, не знаю, никогда у нее не спрашивал. Какой-то коктейль, наверно...» Я, в свою очередь, недоумевал, как можно не интересоваться, какая кровь (или смесь кровей) течет в жилах твоих знакомых, сокурсников, друзей...

Но вернемся к статье Покровского. К великому сожалению, отмеченная им межэтническая и межрелигиозная гармония между представителями враждовавших в прежней жизни групп не гарантирует идеальных межличностных отношений в фирме, офисе, редакции, на кафедре. И, поверьте, температура дразг, склок, подсиживаний, стукачества, скандалов тем выше, чем гуще концентрация в рабочем коллективе бывших советских людей.

Антон Павлович Чехов, как известно, всю жизнь выдавливал из себя по капле раба. И замечательно в этом преуспел. Александр Аркадьевич Галич полагал, что советскому человеку этого мало. «По капле – это на Капри, а нам подставляй ведро!» Эти горькие, но справедливые строки, которые часто вспоминаются мне в Америке, поэт написал незадолго до своей вынужденной эмиграции.

Тут я хотел было процитировать первое заграничное письмо Александра Аркадьевича, присланное мне из Норвегии летом 1974 года. Хотя прямого отношения к делу это письмо не имеет. Вовремя поймал себя за руку, почуяв рецидив дурной привычки, которую американцы именуют «pames dropping». Грешен, щеголял когда-то большими именами. И чуть не согрешил опять – читайте, мол, завидуйте: с самим Галичем в переписке был! Да, глаз да глаз за собой нужен, глаз да глаз.

Вот так и живем. Выдавливаем – кто по капле, кто по стакану, кто по ведру. А дна все еще не видать...



критик и литературовед, автор множества книг и статей о русской прозе и поэзии. Живет в России.



В первой книге своих воспоминаний я рассказал, как в 15 лет влюбился в свою одноклассницу, которая объявила мне, что может полюбить только верного сына коммунистической партии, а я, наверно, организую какую-нибудь другую, свою партию. Рассказал и о том, чем кончился этот наш детский роман: в конце концов эта девочка стала моей женой.

Всё именно так и было. Но сейчас я должен сделать одно признание: та девочка была не первой моей любовью.

Первой была Лиля Брик.

В Лиллю я влюбился раньше, чем познакомился с будущей своей женой. Влюбился, конечно, заочно: по-моему, я даже фотографий её тогда не видел – разве только первое издание поэмы Маяковского «Про это», на обложке которого была фотография Лили работы Родченко.

Обложка эта тоже, наверно, произвела на меня впечатление. Но влюбился я не в этот портрет Лили, в другой – словесный:

Если я чего написал,
если чего сказал,
тому виной – глаза-небеса,
любимой моей
 глаза.
Круглые
 да карие,
горячие –
 до гари...

* Печатается в сокращении. – *Ред.*

Моя жена утверждает, что и в нее я влюбился только потому, что мне померещилось, будто у нее тоже глаза – «круглые да карие, горячие – до гари». И доля истины в этом ее утверждении, пожалуй, есть.

«Пушкин – это наше всё» – повторяем мы вот уже полтора века лет. И формула эта за минувшие годы не только не устарела, но даже как будто наполнилась новым, еще более весомым содержанием. Но для меня и моих сверстников – во всяком случае, для многих – в годы юности «наше всё» был Маяковский.

Всему, что я узнавал и постепенно начинал понимать тогда, научил меня он. Ну, а литературные мои вкусы – привязанности, симпатии, влюбленности, отталкивания – те уж точно складывались и формировались под его влиянием.

Так обстояло дело с литературными нашими любовьюми. А меня вот Маяковский влюбил не только в стихи, ставшие на всю жизнь самыми моими любимыми, но и в женщину, ставшую, как я уже сказал, первой моей любовью.



Впервые – вблизи – я увидел Лилию Юрьевну у Бориса Слуцкого... А настоящему познакомил нас с Лилей Юрьевной – и даже не просто познакомил, а ввел к ней в дом – наш друг Миша Львовский.

Он был одним из последних осколков той тесной компании поэтов, которых она узнала и полюбила давно, когда еще жив был Осип Максимович Брик.

Сейчас их имена прочно вписаны в историю русской поэзии XX века, а тогда они были молоды и безвестны. Но Лиля полюбила их дерзкие юношеские стихи, поверила в их славное будущее, и опекала их, поддерживала, и так вышло, что еще с той далекой, довоенной поры они стали для нее своими, близкими людьми.

Их было шестеро. Это зафиксировано документально.

Однажды Миша с гордостью показал мне книгу Борис Слуцкого «Память» с такой дарственной надписью:

Михаилу Львовскому – одной шестой той компании, которая несколько изменила ход развития советской поэзии. От другой одной шестой, на память об остальных четырех.

А назвал и поименно перечислил всех шестерых Давид Самойлов в своих «Памятных записках»:

Осенью 1939 года, сразу же после знакомства, сбилась наша поэтическая компания из шести человек: Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Михаил Львовский и я.

Пути и судьбы членов этого братства сложились по-разному. Как сказал в одной из своих песен Галич, – «Уходят, уходят, уходят друзья... Одни в никуда, другие в князя...».

...Миша Львовский поэзии не изменил, но официальный статус поэта –

в отличие от двух более удачливых своих друзей Слуцкого и Самойлова – не сохранил. Он ушел – «в драматургии».

Случилось это так.

Когда кончилась война, демобилизовавшись из армии, Миша устроился на работу на Радио.

И вот однажды шел он на работу и остановился у газетного стенда, взглянуть, что нынче интересного пишут. И прочел леденящее душу сообщение, в котором фигурировала «известная американская шпионка Анна Луиза Стронг». Сообщение это ошеломило Мишу совсем не потому, что его потрясло коварство неведомой ему Анны Луизы. Сенсациями такого рода в те годы (последние годы жизни Сталина) нас было не удивить: мир вокруг нас кишел разоблаченными шпионами, среди которых были люди куда более знаменитые, чем пресловутая Анна Луиза. Скорее уж удивить Мишу могла некоторая несообразность газетного сообщения, заключающаяся в том, что Анна Луиза, если исходить из точного смысла прочитанной им фразы, была широко известна как шпионка задолго до своего разоблачения. Не совсем понятно было в этом случае, что же, собственно, мешало разоблачить ее раньше. Но об этих стилистических тонкостях Миша тогда тоже не задумался. Поразило его до глубины души в этой газетной заметке совсем другое.

Среди разоблаченных в шпионаже сотрудников американского посольства упоминался его родной дядя.

Встречались они не часто. Но Миша знал, что тот и в самом деле работает в посольстве Соединенных Штатов Америки. У него даже был с ним на эту тему однажды весьма примечательный разговор. Встретившись с ним как-то на улице и узнав, что он устроился на работу (по какой-то там хозяйственной части) ни больше ни меньше как в посольство враждебной нам супердержавы, Миша очень этому удивился, на что дядя, многозначительно подмигнув, сказал: «Так надо!»

И вот теперь этот дядя оказался американским шпионом.

Придя на работу, Миша сразу же, не заходя в свою редакцию, направился к председателю Радиокомитета. Тот, вопреки Мишиным опасениям, сразу его принял.

Усевшись напротив высокого начальства, Миша осведомился, успел ли уже министр прочесть сегодняшний номер «Правды». Тот сказал, что да, конечно, он всегда начинает с этого свой день. Тогда Миша спросил, обратил ли внимание министр на ту самую заметку. Министр подтвердил, что да, обратил.

– Но вы, вероятно, не придали особого значения тому, что в этом сообщении упоминается некто...

Миша назвал фамилию своего дяди. Сейчас я ее уже не вспомню: запомнилось мне только, что это была ничем не примечательная, самая обыкновенная еврейская фамилия. Допустим – Ройтман.

Министр насторожился. Развернув газету, он нашел упомянутую фамилию и на всякий случай подчеркнул ее красным карандашом.

– Дело в том, что это мой дядя, – объяснил Миша. И добавил: – Пусть вас не смущает, что у нас с ним разные фамилии. Ройтман – это фамилия моей мамы.

Министр, встав из-за стола, торжественно поблагодарил Мишу за важное сообщение, пожал и даже слегка потряс его руку. После чего успокоенный Миша отправился в свою редакцию.

Там уже висел приказ о его увольнении.

Когда раздавленный всеми этими событиями Миша вернулся домой, на него обрушился шквал телефонных звонков. Звонили родственники – близкие и не очень близкие: их всех тоже уволили. И все они почему-то обвиняли в этом Мишу.

И начались для Миши жуткие дни. Он сидел дома и ждал ареста. Томительно тянулись сутки, часы, минуты. Но дело почему-то застопорилось. А Миша, надо сказать, был человек очень впечатлительный. Даже нервный. И он не выдержал. И в один прекрасный день сам отправился на Лубянку. Точнее – на Кузнецкий, в приемную КГБ. Пусть уж лучше, решил он, меня, наконец, возьмут, чем эта проклятая неизвестность.

Как только он заикнулся о причинах своего визита, его – без всякой волокиты – принял какой-то кагебешный чин. Спокойно выслушав душераздирающий Мишин рассказ, он спросил:

– Простите, я не совсем понял: кто сообщил по месту вашей работы, что арестованный органами безопасности гражданин Ройтман ваш дядя?

– Я, – сказал Миша.

– Вот именно, – сказал кагебешник. – А мы не сообщали. Не сочли, так сказать, необходимым. А должен вам сказать, что в некоторых случаях мы о таких фактах сообщаем...

Так Миша и ушел ни с чем. И так его и не посадили. А поскольку на штатную работу после этого ему устроиться уже не удавалось, он стал сочинять пьесы и киносценарии, надеясь, что когда-нибудь, когда ситуация переменится к лучшему, он опять вернется на Радио или найдет еще какую-нибудь штатную работу. Но к тому времени, когда ситуация изменилась, он был уже известным драматургом. Его пьесы с успехом шли в разных театрах, по его сценариям снимались фильмы, удостоивавшиеся разных высоких премий, и устраиваться на штатную работу ему было уже ни к чему.

Я без труда мог бы вспомнить еще несколько таких сюжетов из Мишиных устных мемуаров, но и этих вполне достаточно, чтобы вы поняли, что по складу своего характера Миша был слегка сродни чеховскому Епиходову.

Добавлю только, что это епиходовское невезенье не только вызвало к жизни разнообразные комические (а иногда и трагикомические) Мишины житейские неудачи, но наложило довольно сильный отпечаток и на литературную его судьбу. Нет, по части официального признания у него все было в порядке. Пьесы его имели шумный успех. По его сценариям было поставлено около десятка фильмов. Он был заслуженным деятелем искусств, лауреатом Государственной премии. Но лауреатов Государственных премий у

нас – тьма тьмушая, заслуженных деятелей искусств и того больше. А у Миши был и настоящий, не только официальный успех: некоторые его песни (а он написал их около трехсот) были шлягерами: «Глобус крутится, вертится...», «Вот солдаты идут...». А одна из них – самая знаменитая – удостоилась особой чести: она стала **народной**. Не потому, что ей официально присвоили такое звание, а потому что именно в таком качестве она вошла в сознание тех, кто ее знал и помнил. И, публикуя ее в печати – а такое иногда тоже случалось, – о ней так и писали: «Слова народные».

Вот они, эти – ставшие народными – слова:

На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется – перрон останется,
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, глаза печальные...
Одна в окошечко гляжу не грустно я
И только корочка в руке арбузная,
Ну что с девчонкою такое станется!
Вагончик тронется – перрон останется.
Начнет выпытывать купе курящее
Про мое прошлое и настоящее,
Навру с три короба – пусть удивляются,
С кем распрощалась я, их не касается.
Откроет душу мне матрос в тельняшечке,
Как одиноко жить ему бедняжке,
Сойдет на станции и не оглянется,
Вагончик тронется – перрон останется...

С одной стороны, Миша, конечно, был рад, что его песня стала народной. Но в то же время и огорчался. Огорчало его не то, что люди пели эту песню, не запомнив и даже не желая знать имя ее автора. Это бы еще куда ни шло: так бывало со многими даже более знаменитыми песенными текстами. Но он никак не мог смириться с тем, что ее автором постоянно называли кого-нибудь другого. Как правило – Высоцкого, который нередко пел ее вместе со своими песнями.

И вот однажды недоразумение это, наконец, должно было выясниться. Справедливость должна была восторжествовать.

На телевидении готовилась большая передача о песнях Высоцкого, и в качестве одного из ее участников был приглашен Миша. По замыслу сценариста он должен был рассказать о том, как родилась эта его песня и как вышло, что Высоцкий стал петь ее вместе со своими.

Миша долго готовился к этому выступлению. Колебался, боялся показаться нескромным, мелочно тщеславным, но утвердиться в качестве истинного автора знаменитой песни ему все-таки хотелось. В общем, поехал на студию, его рассказ записали. Но когда фильм вышел на телеэкран, Ми-

ши в нем не оказалось. В последний момент кто-то – то ли режиссер, то ли какой-то телевизионный начальник – решил этот эпизод вырезать. И Высоцкий снова пел эту Мишину песню как свою. А Миша в очередной раз выступил в постоянной своей роли чеховского Епиходова.

...Дело было в 1965 году... О предстоящем нашем визите к Лиле Юрьевне мы были оповещены заранее, и надо же было так случиться, что утром этого дня мы с женой столкнулись со Слуцким.

– А мы сегодня идем к Лиле Юрьевне, – тут же сообщила Борису моя жена. Выслушав, что идем мы к Лиле Юрьевне с Мишей и что этот наш визит к знаменитой женщине будет первым, Борис сказал:

– Значит так, Слава. Хорошенько запомните то, что я вам сейчас скажу. Первое. Прежде чем что-нибудь сказать, мысленно сосчитайте до ста.

– До десяти, – жалобно попросила жена.

– До ста! – жестко отрубил он. – Второе. Войдя в квартиру, вы скажете: «Лилия Юрьевна, где у вас можно помыть руки?» И третье. В двенадцать часов, сколько бы вам ни говорили, что еще рано, как бы ни уговаривали посидеть еще, вы встанете и уйдете.

Последние два совета жена приняла как руководство к действию, чем сразу расположила к себе хозяйку дома. Что же касается первого Бороного указания, то его выполнить ей было гораздо труднее.

...Я сразу оценил важность совета Слуцкого. Может быть, это была моя ошибка, но двумя другими ни разу даже и не подумал воспользоваться. А что касается первого, то не раз приходило мне в голову, что обратить его Борису следовало не только к моей жене, но и ко мне тоже.

Сколько раз, не просчитав мысленно и до десяти, откликнулся я торопливым возражением на какую-нибудь реплику Лили Юрьевны. А между тем с ней не спорить надо было, не возражать ей (что толку в возражениях!), а **слушать** ее. Не стремиться к взаимопониманию, а тем более к единомыслию, а, напротив, ловить и отмечать самые неожиданные, парадоксальные, резко несовпадающие с общепринятыми ее высказывания, реплики, суждения. Я не сразу дошел до понимания той простой мысли, что самым интересным в нашем общении с ней были как раз те моменты этого общения, когда она не старалась искать и находить с нами общий язык, а была – собой.

Впрочем, она всегда была собой. Я бы даже сказал так: она **позволяла себе быть такой, какой была**, не думая о том, как это выглядит со стороны и какое впечатление может произвести на окружающих.

Стол, за которым мы ужинали, был уставлен старинными – редкой красоты – штофами, графинами и бокалами, а чай мы пили из изысканных, тоже очень красивых чашечек тончайшего фарфора. И тут же, рядом – на буфете, на комодке, где-то еще – во множестве громоздились какие-то аляповатые глиняные маслѐнки редкого, как мне показалось, уродства. Лилия Юрьевна небрежно заметила, что когда-то увлеклась ими и собрала целую коллекцию этих уродцев.

На стенах комнаты, где нас принимали, висели дивные картины Пирос-

мани – не репродукции какие-нибудь, не копии – подлинники. В соседней комнате, которую нам тоже показали, – портреты хозяйки дома: Тышлер, Штеренберг. А над столом, за которым мы сидели, прямо напротив меня, вся стена была увешана жостовскими подносами. Сами по себе они были, наверно, хороши, но с Пиросмани и Тышлером, как мне показалось, не больно гармонировали. А ей это было неважно. Нравились они ей, эти жостовские подносы, – и всё! И плевать ей было, гармонируют они с Пиросмани и Тышлером или не гармонируют. Так же как плевать ей было на то, как сочетаются любимые ее уродливые глиняные масленки с изысканными старинными штофами и бокалами.

И вот так же, совершенно не думая о том, какое впечатление это может произвести на окружающих, рассказывая о своем телефонном разговоре с Пастернаком в самые страшные дни всенародной его травли (тронутый ее искренним сочувствием, он разрыдался), она могла вдруг бросить задумчиво, словно отвечая каким-то своим мыслям:

– В эти последние свои годы Боря совсем одичал.

А когда я прочел однажды ей и ее тогдашнему мужу Василию Абгаровичу Катаняну небольшой отрывок из своего «Случая Мандельштама» (прочел только потому, что в том отрывке было много о Маяковском), она – очень простодушно – спросила:

– Вы, в самом деле, считаете Мандельштама большим поэтом?

И так же простодушно сообщила, что они с Осей и Володей и в грош его не ставили.

– Бывало, как заведет: «Над желтизно-ой прави-тельственных зда-ний...»... Мы его называли «Мраморная муха».

– А вот Катаев, – не удержался я, – пишет, что Маяковский Мандельштамом восхищался.

И напомнил эпизод из катаевской «Травы забвения», в котором подробно, с сочными катаевскими деталями описывалась встреча Маяковского с Мандельштамом в каком-то гастрономическом магазине.

Эта повесть Катаева тогда была новинкой, а Лиля Юрьевна с Василием Абгаровичем читали ее с особым пристрастием (еще бы! ведь Маяковский был одним из главных ее персонажей!), так что помнили они тот эпизод хорошо. Но сейчас, поскольку дело давнее и эту катаевскую повесть в подробностях помнят уже, наверно, немногие, процитирую его по книге:

В непосредственной близости от памятника Пушкину, тогда еще стоявшего на Тверском бульваре, в доме, которого уже давным-давно не существует, имелся довольно хороший гастрономический магазин в дореволюционном стиле.

Однажды в этом магазине, собираясь в гости к знакомым, Маяковский покупал вино, закуски и сладости. Надо было знать манеру Маяковского покупать! Можно было подумать, что он совсем не знает дробей, а только самую начальную арифметику, да и то всего лишь два действия – сложение и умножение.

Приказчик в кожаных лакированных нарукавниках – как до революции у Чичкина – с почтительным смятением грузил в большой лубяной короб все то, что диктовал Маяковский, изредка останавливаясь, чтобы посоветоваться со мной.

– Так-с. Ну, чего еще возьмем, Катаич? Напрягите все свое воображение. Копченой колбасы? Правильно. Заверните, почтеннейший, еще два кило копченой «московской». Затем: шесть бутылок Абрау-Дюрсо, кило икры, две коробки шоколадного набора, восемь плиток «Золотого ярлыка», два кило осетрового балыка, четыре или даже лучше пять батонов, швейцарского сыра одним большим куском, затем сардинок...

Именно в этот момент в магазин вошел Осип Мандельштам – маленький, но в очень большой шубе с чужого плеча до пят – и с ним его жена Надюша с хозяйственной сумкой. Они быстро купили бутылку «каберне» и четыреста граммов сочной ветчины самого высшего сорта.

Маяковский и Мандельштам одновременно увидели друг друга и молча поздоровались. Некоторое время они смотрели друг на друга: Маяковский ядовито сверху вниз, а Мандельштам заносчиво снизу вверх, и я понимал, что Маяковскому хочется как-нибудь получше состричь, а Мандельштаму в ответ отбрызнуть Маяковского так, чтобы он своих не узнал...

Итак, назревала ссора. Возможно, даже скандал. (Начало своего описания этой встречи Катаев предваряет фразой: «Они не любили друг друга».) Но финал оказался самый неожиданный.

Сухо обменявшись рукопожатиями, они молчаливо разошлись; Маяковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандельштаму, но вдруг, метнув в мою сторону как-то особенно сверкнувший взгляд, протянул руку, как на эстраде, и голосом, полным восхищения, даже гордости, произнес на весь магазин из Мандельштама:

– «Россия, Лета, Лорелея».

А затем повернулся ко мне, как бы желая сказать: «А? Каковы стихи? Гениально!»

Вот этот эпизод я и напомнил Лиле Юрьевне в ответ на ее признание, что ни она, ни Маяковский Мандельштама большим поэтом никогда не считали.

– Да разве можно верить Катаеву? – сказал на это Василий Абгарович.

И добавил, что главная неправда катаевской «Травы забвения» даже не в количестве в ней разного фактического вранья, а прежде всего в том, как нагло Катаев преувеличивает степень своей близости с Маяковским.

– Он был нам чужой, совсем чужой, – сказала Лиля. – Его пьесы шли во МХАТе!

Последняя фраза этой реплики прозвучала так, словно отдавать свои пьесы МХАТу было для писателя в те времена самой низкой степенью художественного падения.

На самом деле, однако, это был знак только чуждости, а отнюдь не низ-

кого художественного качества катаевских пьес. По части художественности Л. Ю. ко МХАТу никаких претензий не имела. Просто у них была своя компания, а у тех, чьи пьесы шли во МХАТе, – своя.

Тут я вспомнил, как Боря Слуцкий однажды сказал мне:

– Вчера я был у Митурича.

Речь шла не о Мае, а о старике-Митуриче, Петре, который был ближайшим другом и даже свойственником Хлебникова.

– И можете себе представить? – продолжил Борис. – Оказалось, что за тридцать лет я был первым футуристом, который его навестил.

Больше всего удивило и позабавило меня в этом сообщении слово «футурист».

– А вы разве футурист, Боря? – поинтересовался я «в тоне юмора». Но Борис шутки не принял. Промолчал.

Юмористическое мое восприятие того факта, что Борис назвал себя футуристом, основывалось на том, что разговор этот происходил тридцать лет спустя после I Всесоюзного съезда писателей, на котором навсегда было покончено с лефовцами, пролеткультами, имажинистами, конструктивистами и прочими литературными группами и направлениями. А футуристами и тогда уже давно не пахло. Так что никаким футуристом Борис быть, конечно, не мог – это было просто смешно.

Но Василий Абгарович и Лиля Юрьевна футуристами были. Не samozванцами какими-нибудь, а самыми что ни на есть настоящими, последними футуристами-лефовцами. И салон у Лили Юрьевны – если уж называть его салоном – был не просто литературным, а именно лефовским, футуристическим.

Поэтов здесь ценили не по официальной советской табели о рангах, и не по какому-нибудь там гамбургскому счету, а именно вот по этой, футуристической, лефовой шкале ценностей. И потому рядом с ее любимым Слуцким в сознании Л. Ю. стояли не Самойлов или, скажем, Окуджава, а – Вознесенский и Соснора.

Однажды Л. Ю. рассказала нам о своей давней ссоре с Виктором Борисовичем Шкловским.

Не помню, то ли это было какое-то заседание редколлегии «Нового ЛЕФа», то ли просто собрались друзья и единомышленники. Происходило это в Гендриковом, на квартире Маяковского и Бриков.

Шкловский читал какой-то свой новый сценарий. Прочитал. Все стали высказываться. Какое-то замечание высказала и она.

– И тут, – рассказывала Лиля Юрьевна, – Витя вдруг ужасно покраснел и выкрикнул: «Хозяйка должна разливать чай!»

– И что же вы? – спросил я.

– Я заплакала, – сказала она. – И тогда Володя выгнал Витю из дома. И из ЛЕФа.

Рассказывала Л. Ю. про эту их старую ссору в середине 60-х, в самый разгар бешеной кампании, которую вели против нее в печати два сукиных

сына – конечно, с соизволения или даже по прямому указанию самого высокого начальства.

...Виктор Борисович в этой ситуации повел себя не лучшим образом. В 1962 году на дискуссии в клубе «Октябрь» (не самый уважаемый в то время журнал) на тему «Традиции Маяковского и современная поэзия» он произнес речь, в которой тоже дал залп по этой осужденной высокими инстанциями сугубо личной переписке. Сокрушался, что Маяковский представлен в ней мало что говорящими уму и сердцу читателя короткими записочками. Сказал даже, что напечатанные с комментариями в академическом томе записочки эти «изменили свой жанр и тем самым стали художественно неправдивыми». А в заключение посетовал, что в томе не напечатано «большое письмо Маяковского о поэзии. Оно осветило бы записочки».

Особенно возмутила Лилю Юрьевну в той его речи именно вот эта последняя фраза, поскольку это «большое письмо Маяковского о поэзии» существовало исключительно в воображении Виктора Борисовича. На самом деле никакого такого письма не было, и он не мог этого не знать.

Вскоре после того как это выступление Шкловского появилось на страницах журнала, Лиля Юрьевна получила от него такое послание:

...Факт есть факт. Письма не существует и не было. Мне жалко, что я ошибся и обидел тебя.

Новых друзей не будет. Нового горя, равного для нас тому, что мы видали, – не будет.

Прости меня.

Я стар. Пишу о Толстом и жалеюсь через него на вечную несправедливость всех людей.

Прости меня.

*Виктор Шкловский
17 июля 1962 года*

Я не сомневаюсь, что это покаянное письмо было искренним. Но Шкловский не был бы Шкловским, если бы оно осталось последней точкой в долгой истории их отношений.

Не знаю, пересеклись ли потом еще хоть раз их пути, встречались ли, обменивались ли письмами или хоть телефонными разговорами. Но однажды мне случилось убедиться, что пламя той стародавней ссоры в его душе угасло не совсем.

Это был ноябрь 1966-го: четыре с половиной года, значит, прошло после того его покаянного письма. Мы с женой, как это часто бывало в то время, сидели у Шкловских и пили чай. Раздался звонок в дверь: принесли черную почту.

Виктор Борисович кинул мне неразвернутый свежий номер «Известий», чтобы я глянул, есть ли там что-нибудь интересное.

Никаких сенсаций мы не ждали, и я переворачивал газетные листы без особого интереса. На этот раз, однако, интересное нашлось. Это была реп-

лика, изничтожающая опубликованную незадолго до того (в сентябрьском номере «Вопросов литературы») статью Л. Ю. Брик «Предложение исследователям». (Так в журнале озаглавили отрывок из ее воспоминаний, в котором она размышляла о Маяковском и Достоевском.) К публикации этой я был слегка причастен (Л. Ю. советовалась со мной и Л. Лазаревым, какие главы ее воспоминаний лучше подойдут для журнала) и поэтому злобную реплику, подписанную именами все тех же двух мерзавцев, читал с особым интересом. Бегло проглядев про себя, прочел ее вслух. Ждал, что скажет Виктор Борисович. Хотя – что тут, собственно, можно было сказать? Разве только найти какое-нибудь новое крепкое словцо для выражения общего нашего отношения к авторам гнусной статейки. Ведь кто бы там что ни говорил, а во всей мировой литературе не было другой женщины (кроме, может быть, Беатриче), имя которой так прочно, навеки сплелось бы с именем великого поэта, ей одной посвятившего «стихов и страстей лавину».

Но реакция Шкловского и тут оказалась непредсказуемой.

– Ну вот, – сказал он. – Теперь, значит, она хочет сказать, что жила не только с Маяковским, но и с Достоевским.

Как видите, отношения были, мягко говоря, непростые. В сущности, даже враждебные.

Но что бы ни происходило между ней и Витей, или между ней и Борей, Витя, которого Володя когда-то из-за нее выгнал из ЛЕФа, и Боря, который под конец жизни «совсем одичал», были для нее – навсегда свои. А Катаев, пьесы которого шли во МХАТе, сколько бы он ни тислил представить себя любимым учеником, другом и наследником Маяковского, как был, так и остался ей навсегда чужим.



Когда я прочел Лиле Юрьевне и Василию Абгаровичу отрывок из своего «Случая Мандельштама», после обмена мнениями о Мандельштаме (был ли он на самом деле большим поэтом или всего лишь «Мраморной мухой»), Л. Ю. вдруг сказала:

– У меня к вам личная просьба.

Просьба состояла в том, чтобы я убрал из своего текста одно слово.

Слово это относилось к Маяковскому.

Я уже говорил, что отрывок, который я им читал, был не столько о Мандельштаме, сколько о Маяковском. И в этом отрывке, приведя знаменитые строки Владимира Владимировича «Мне скучно здесь одному впереди, – поэту не надо многого, – пусть только время скорей родит такого, как я, быстроегого», я писал об одиночестве «старого холостяка».

Вот эти слова об одиночестве «старого холостяка» Л. Ю. и попросила меня вычеркнуть. Собственно, даже не слова, а только одно слово: «холостяк».

– Я была женой Маяковского, – сказала она. – И это, вскользь брошенное о нем слово «холостяк», меня задело.

Я легко пообещал Лиле Юрьевне выполнить эту ее личную просьбу. Но – не выполнил.

Когда я давал ей это свое обещание, проблема публикации моего «Случая Мандельштама» была из области фантастики. Я тогда и думать не думал, что доживу до возможности увидеть этот свой опус напечатанным типографским способом. А когда такая возможность представилась (четверть века спустя) – забыл про свое обещание. То есть – не то чтобы совсем забыл. Помнил, конечно. Но не только оно, а и сама просьба Л. Ю., как мне тогда казалось, уже потеряли свою актуальность.

Ведь слово «холостяк» так больно задело ее тогда только лишь потому, что оно неожиданно (неожиданно для меня!) рифмовалось с той гнусной кампанией, которая на протяжении нескольких лет велась против нее в печати. Кампания эта имела вполне определенную антисемитскую подкладку. А смысл ее состоял в том, чтобы оторвать Л. Ю. от Маяковского, оттереть ее от него, доказать, что она, хоть и была его злым гением, но, в сущности, никак и ничем не была с ним связана. И если была в его жизни настоящая любовь, то это была любовь к «русской женщине» Яковлевой. Этим расистам с партийными билетами членов компартии (один из них был даже довольно крупным партийным функционером – помощником самого Суслова) было наплевать даже на то, что единственной настоящей любовью великого пролетарского поэта в их интерпретации оказывалась белоэмигрантка. Чёрт с ней, пусть эмигрантка, пусть кто угодно, только бы «русская женщина», а не жидовка.

Дело дошло до того, что тогдашний директор музея Маяковского при- слал Лиле Юрьевне официальную бумагу с требованием ВЕРНУТЬ музею подаренное ей Маяковским кольцо. То самое, на внутренней стороне которого он выгравировал три буквы: Л. Ю. Б. Если читать их по кругу, так, как они были расположены внутри кольца, получалось бесконечное – ЛЮБЛЮЛЮБЛЮЛЮБЛЮЛЮБЛЮ...

Это кольцо Л. Ю. постоянно носила – не на руке, на шее – как талисман. И вот теперь ей официально предлагалось его ВЕРНУТЬ.

Гнусная кампания эта – то затухая, то распалаясь вновь до самого высокого градуса, – тянулась годами.

Затухала она – на какое-то время – тоже не просто так: на то были свои причины.

Об одной из них она однажды нам рассказала.

В высоких партийных сферах возникла однажды идея: издать параллельную историю двух могущественных супердержав – СССР и США. Предполагалось, что историю США напишет Андре Моруа, а историю СССР должен был написать Луи Арагон.

И вот Арагон приехал в Москву и был принят самим Сусловым.

Ему был обещан доступ ко всем спецхранам и архивам, любая другая помощь в труде, рассчитанном на несколько лет. Ну и, разумеется, разные материальные блага, в которых Арагон, впрочем, кажется, особенно и не нуждался.

Заканчивая разговор, Суслов сказал:

– Считайте, что это ваше партийное поручение.

Арагон ответил, что он готов принять и выполнить это задание партии, но при одном условии.

– Я не хочу, – сказал он, – чтобы в то время как я там, дома, буду выполнять это ваше поручение, здесь, в Москве, терзали члена моей семьи. Моя семья – это Эльза и Лилия. Кроме них, у меня нет никого.

Эта реплика, видно, произвела на Суслова впечатление, и на какое-то время от Лили отстали.

Но спустя несколько лет ситуация изменилась. То ли партийное поручение было уже выполнено, то ли план издания по каким-то причинам не удалось осуществить, но Арагон теперь был им уже не так нужен, да и вел себя не всегда достаточно послушно (что-то там такое произносил, не укладывающееся в партийные рамки, – то по поводу ареста Синявского и Даниэля, то по поводу Чехословакии), и гнусная травля Лили Юрьевны в печати вспыхнула и разгорелась с новой, невиданной прежде силой.

Пытаться отвечать на инсинуации этих Воронцовых и Колосковых было бесполезно, такого ответа никто бы не напечатал – сила была на их стороне. Но молча глотать все эти оскорбления было невыносимо. И тут у меня возникла некая идея. Быть может, не такая блистательная, как мне это тогда показалось, но – совсем недурная.

Однажды Лилия Юрьевна дала мне прочесть полный текст ее письма Сталину. Того самого, на котором вождь начертал резолюцию, знаменитая фраза из которой («Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим...») и т. д.) стала одной из главных идеологических формул эпохи.

Прочитав письмо и полный текст сталинской резолюции, я с удивлением обнаружил, что чеканная сталинская формула была не чем иным, как парафразом одной реплики из Лилиного обращения к вождю. «Прошло почти шесть лет со дня смерти Маяковского, – писала она, – а он еще никем не заменен и как был, так и остался крупнейшим поэтом революции».

Вот я и подумал: а что если это письмо – вместе с текстом сталинской резолюции, которая, как и само письмо, целиком тоже никогда не публиковалась, – попытаться опубликовать?

Во-первых, этот документ, как мне тогда казалось, и сам по себе представлял немалый интерес для историков литературы. А главное, он самим фактом своего существования опровергал все многословные попытки колосковых и воронцовых вычеркнуть Л. Ю. из жизни Маяковского. Публикация Лилиного письма Сталину яснее ясного показывала бы, что роль ее была огромной не только в личной жизни поэта, но и в посмертной его судьбе.

Насчет того, где это письмо можно было бы опубликовать, сомнений у меня не было: разумеется, только в «Вопросах литературы». Во-первых, по профилю журнала именно там ему и место. А во-вторых, мой друг Лазарь Лазарев был в то время заместителем главного редактора этого журнала, и хотя окончательное решение принимал, конечно, не он, а главный редактор –

«проваренный в чистках как соль» партийный функционер Виталий Михайлович Озеров, – кое-что и от него, от Лазаря, тут все-таки тоже бы зависело.

Лазарь мою идею одобрил. Конечно, сказал он, «Витасик» (так мы меж собой называли Озерова) от этой идеи вряд ли будет в восторге, но попытаться надо. Лично он сделает все, что в его силах.

Итак, первый ход был сделан. Теперь, как в известном анекдоте, осталось только уговорить графа Потоцкого, – то есть саму Лилию.

Мне-то казалось, что настоящим графом Потоцким, которого нам (вернее – Лазарю) предстояло уговорить, был «Витасик». С Лилиной стороны никаких возражений я как раз не ждал. Но, выслушав меня, она сказала:

– Нет, я не хочу защищать себя именем этого человека.

Ее реакция была непосредственной, мгновенной, и мне показалось, что, подумав, взвесив все за и против, она все-таки оценит все преимущества нашего замысла и, в конце концов, согласится.

Но она осталась стоять на своем.

Вот как вспоминает об этом Василий Абгарович в своем мемуарном очерке «Мрачная хроника»:

К нам пришли два критика – Л. И. Лазарев и Б. М. Сарнов – с предложением попробовать приготовить к публикации в журнале «Вопросы литературы» письмо, которое Лиля Юрьевна написала в 1935 году И. Сталину о бюрократическом пренебрежении к памяти и литературному наследию Маяковского, а также резолюцию Сталина на этом письме, из которой до сих пор известны были только две фразы.

Ручаться за успех они не могли, но, поскольку первый из них был заместителем редактора журнала, предложение имело какие-то шансы на успех.

Но Лиля Юрьевна отказалась:

– Я не хочу оправдываться с помощью Сталина. И Сталина не хочу оправдывать с помощью Маяковского...



История о том, как Горький поверил гнусной сплетне о Маяковском и стал распространять ее и как Лиля Юрьевна со Шкловским ходила к нему объясняться и требовать извинений, в общих чертах уже давно известна. Сперва в несколько приглаженном виде ее рассказал Виктор Борисович в своей книге «О Маяковском». А потом и сама Лиля Юрьевна опубликовала свой, достаточно откровенный и нелицеприятный рассказ об этом их визите к Алексею Максимовичу.

Но я все-таки решил записать эту историю так, как однажды услышал ее из уст Л. Ю. Не только потому, что в этом устном ее рассказе были кое-какие подробности и детали, которые в печатный вариант не вошли, но главным образом потому, что из этого устного рассказа я впервые узнал эту историю, так сказать, целиком, в ее хронологической последовательности.

Еще до революции, году этак в четырнадцатом, был у Маяковского бур-

ный роман с прелестной восемнадцатилетней девушкой – Софьей Шамардиной, Сонкой, как ее называли. Сонка забеременела, и то ли был у нее аборт, то ли родился мертвый ребенок, но продолжать свои отношения с по-прежнему влюбленным в нее поэтом она не захотела. И они расстались. Некоторое время она где-то пропадала, ее не могли отыскать. Но потом – нашлась. Разыскал ее Корней Иванович Чуковский, который тоже был в эту Сонку влюблен и, как видно, имел на нее кое-какие виды.

Она ему всё рассказала.

И тут – некоторая неясность: то ли Корней Иванович искренне так истолковал ее исповедь, то ли вполне сознательно оклеветал Маяковского, чтобы дезавуировать соперника.

Так или иначе, но он стал говорить направо и налево о том, какой, мол, Маяковский негодяй – напоил и соблазнил невинную девушку, обрюхатил и даже – будто бы – заразил дурной болезнью.

Старая эта история получила вдруг неожиданно бурное развитие уже в послереволюционные годы.

Л. Ю. стала замечать, что Луначарский, с которым у них были самые добрые отношения, смотрит на них волком. Поделилась своим недоумением по этому поводу со Шкловским. А тот говорит:

– Ты что, разве не знаешь? Это всё идет от Горького. Он всем рассказывает, что Володя заразил Сонку сифилисом, а потом шантажировал ее родителей.

Володя, услышав это, объявил, что сейчас же, немедленно пойдет бить Горького. Они насилу его удержали. И Л. Ю. отправилась к Горькому одна.

То есть – не одна, а с Витей, которого она решила взять с собой как свидетеля, чтобы Горький не мог отвертеться.

Свидетельство Шкловского действительно понадобилось, поскольку сначала Алексей Максимович попытался увильнуть: объявил, что никому ничего подобного не говорил. Вот тут-то из гостиной, где он сперва был ею оставлен, в горьковский кабинет и был приглашен Шкловский. «Как это никому? – вспыхнул он. – Да ведь я сам, своими ушами от вас это слышал!»

Горький стал мяться, что-то такое невнятное бормотать. Сказал, что узнал он это от верного человека. Пообещал даже назвать этого человека, «которому не может не верить». Но так и не назвал.

Во всем этом рассказе Лили Юрьевны мне ярче всего запомнилась одна деталь.

Когда она вошла к Горькому в кабинет, он сидел за столом в халате, а перед ним стоял стакан молока, накрытый белой булочкой.

– Представляете? Молоко и белая булочка! – с нажимом повторила Л. Ю. – Вы даже вообразить не можете, какая это была тогда немыслимая роскошь!

И еще одна фраза особенно запомнилась мне в этом ее рассказе:

– Да не было у Володи никогда никакого сифилиса! – гневно сказала она. И тут же, без тени смущения, добавила:

– Триппер – был...

Мол, что было – то было. И она этого не скрывает. И стесняться тут нечего – дело житейское.

Тут надо сказать, что в те первые послереволюционные годы и про сифилис говорили, что это – «не позор, а несчастье». Так что, если бы у Маяковского и в самом деле был сифилис, она бы этого тоже, я думаю, скрывать не стала. Но – чего не было, того не было. И возводить на своего Володю напраслину она не позволит!



Рассказывают, что на дверях квартиры Бриков какой-то их недоброжелатель нацарапал однажды такое двестише:

Вы думаете, здесь живет Брик – исследователь языка?

Нет, здесь живет шпик и следователь ЧК.

Говорили даже, что сочинил это не кто иной, как Есенин. Он будто бы написал это на дверях бриковской квартиры мелом, а Осипу Максимовичу двестише так понравилось, что он обвел буквы масляной краской.

Не знаю. Не думаю. На Есенина это непохоже. Но Брику стишок понравиться мог вполне. Рифма хорошая, глубокая. Что же касается содержания...

Пастернак однажды признался, что не любил бывать у Бриков, потому что их дом напоминал ему отделение милиции.

Насчет того, был или не был Осип Максимович следователем ЧК, мне ничего не известно. Вроде – не был. Работал одно время кем-то вроде юрисконсульта в юридическом отделе МЧК. Да и то недолго – не больше месяца, кажется.

Но чекисты – и самого высокого ранга – у Бриков бывали постоянно.

Василий Абгарович, правда, уверяет, что всех их, начиная с главного мерзавца Агранова, привадил к дому не Брик, а Маяковский:

У Осипа Максимовича от времени его работы в МЧК не осталось никаких связей и знакомств. Их просто не было. Все знакомые чекисты, бывавшие в доме Бриков – Агранов, Горожанин, Волович, Эльберт, – были знакомые Владимира Владимировича (Василий А. Катанян. Распечатанная бутылка. Нижний Новгород, 1999. С. 79).

Думаю, что так оно и было.

Но чего не знаю, того не знаю и гадать на кофейной гуще не хочу.

А вот – о том, что знаю.

Мы сидели у Лили Юрьевны и пили чай. Неожиданно пришел академик Алиханян с молодой женщиной. Слишком молодой, чтобы быть его дочерью, но все-таки недостаточно молодой, чтобы приходиться ему внучкой. Разумеется, это была его жена.

Он сказал, что торопится, долго засиживаться не может. Заглянул с единственной целью – дать прочесть одну коротенькую самиздатскую рукопись,

которую сегодня же должен вернуть владельцу. Это был небольшой рассказ Солженицына – «Правая кисть». Чтобы ускорить дело, решили не передавать друг другу страницы, а прочесть рассказ вслух. Читать выпало мне.

Подробно этот рассказ я сейчас уже не помню: помню только, что главный его персонаж был – старенький, жалкенький, смертельно больной, в сущности, уже умирающий человечиска, безнадежно пытающийся пробиться сквозь все бюрократические рогатки, чтобы лечь в больницу. В доказательство своих особых прав он совал ветхую, рассыпающуюся справку, выданную ему каким-то комиссаром в каком-то незапамятном году. Справка удостоверяла, что некогда он действительно состоял «в славном губернском Отряде особого назначения имени Мировой революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов». Вглядываясь в эту справку и в протягивавшую ее руку – правую кисть – такую слабенькую, что, казалось, у нее еле хватило сил вытянуть эту справку из бумажника, автор вспоминает, как они – вот эти самые чекисты-чоновцы – лихо рубили с коня наотмашь, наискосок, безоружных пеших, совсем перед ними беспомощных людей.

В тот же вечер Алиханян рассказал о том, как познакомился с Солженицыным и пригласил его к себе домой. Тот охотно принял приглашение, но, оказавшись в квартире академика, вел себя как-то странно: все время глядел на пол. Причем – с каким-то особым, преувеличенным интересом.

Заметив некоторое недоумение хозяев, объяснил, что в бытность свою зком работал в этом – только выстроенном тогда доме и, кажется, даже в этой самой квартире – паркетчиком.

Вспомнив это, Алиханян рассказал заодно и о том, как он получал эту квартиру.

Ему выдали так называемый смотровой ордер, и он с женой пришел поглядеть будущее свое жилье. И наткнулся там на какого-то мрачного рослого генерала, у которого, как оказалось, тоже были виды на эту квартиру. Генералу квартира, судя по всему, не показалась. Буркнув что-то не шибко вежливое, он удалился, дав понять, что он Алиханяну не конкурент. Алиханян же, как человек воспитанный, прощаясь с ним, сказал какую-то вежливую фразу в том духе, что гора с горой не сходятся, а человек с человеком... Может быть, Бог даст, еще когда-нибудь, где-нибудь...

Генерал мрачно выслушал эту речь и сказал:

– Не дай вам Бог!

Это был Абакумов.

Выслушав этот рассказ, я тоже вспомнил – и рассказал – недавно услышанную историю.

Известная киноактриса О. – женщина редкой красоты и редкого очарования – вскоре после войны была арестована. В лагере ей досталось особенно тяжело. А до ареста – на воле – она была знаменита. За ней ухаживали, благосклонности ее добивались многие, в том числе и весьма высокопоставленные люди. В числе тогдашних ее «светских» знакомых был и Абакумов – народный комиссар госбезопасности. И вот, доведенная до от-

чаяния, она решила написать ему письмо, напомнить о давнем знакомстве и попросить разобраться в ее деле.

Письмо было написано. Это была не вполне официальная просьба. Это было очень личное письмо. И предельно откровенное. Она подробно рассказывала в нем обо всех издевательствах, которым подвергалась за все время своего тюремного и лагерного бытия.

Письмо было отправлено, разумеется, не по официальным каналам и каким-то чудом дошло до адресата. И вот, в один прекрасный день ее извлекли с самого лагерного дна, отмыли, подкормили, приодели и повезли в Москву. И привезли прямо на Лубянку. И не куда-нибудь, а в кабинет наркома.

Нарком вышел ей навстречу, поцеловал ей руку – так, словно дело происходило на каком-нибудь кремлевском банкете.

В глубине комнаты был уже накрыт стол на два куверта: коньяк, шампанское, фрукты, пирожные...

Нарком сделал актрисе приглашающий жест, сел напротив нее, разлил вино в бокалы. И полилась непринужденная светская беседа – о том, о сем. Вспоминали прошлое. Актриса ожила и уже совсем поверила, что все её мытарства позади. И вот наконец нарком, оставив пустую светскую болтовню, заговорил о деле.

– Я прочел ваше письмо, – сказал он. – Неужели всё, о чем вы там пишете, – правда?

– Правда, – подтвердила актриса.

– И вас действительно били? – спросил нарком.

– Били, – снова подтвердила она.

– А как тебя били? – спросил нарком. – Так?

И он дал ей кулаком в зубы.

– Или так?

Последовал еще один зубодробительный удар.

– Или, может быть, так?

Натешившись вволю, нарком вызвал охрану. Избитую, окровавленную актрису унесли. Бросили в камеру, а спустя несколько дней отправили назад, в зону.

Выслушав после прочитанного вслух солженицынского рассказа и устного алиханяновского еще и эту, мою историю, все подавленно молчали.

Первой подала голос Лиля Юрьевна. Тяжело вздохнув, она сказала:

– Боже мой! А ведь для нас чекисты были – святые люди!



...Вышло так, что мы с женой случайно оказались в одном доме отдыха с Валентином Николаевичем Плучеком. Дело было зимой – на зимних школьных каникулах. На эти две недели моя жена всегда стремилась вывезти нашего отпрыска куда-нибудь за город...

Бороться за путевки с нашим Литфондом сил у меня уже не было, и тут

нам вдруг предложили – по благу! – путевки в какой-то дом отдыха, о котором нам было известно только то, что он – ЧЕТВЕРТОГО УПРАВЛЕНИЯ. Это значило – не просто хороший, а – очень хороший. Потому что – привилегированный... Плучеку (как потом выяснилось) путевки в этот правительственный рай достались тоже по благу. И он тоже купился на эти волшебные, манящие слова – «Четвертое управление».

Правительственный рай оказался самым что ни есть затрапезным профсоюзным домом отдыха, где проводили свой отпуск только милицмейские работники. Это обстоятельство сразу вызвало в моей памяти коротенькую запись из «Записных книжек» Ильфа:

Дом отдыха милиционеров. По утрам они грустно чистили сапоги и стреляли в воздух.

Наши милиционеры сапоги не чистили и в воздух не стреляли (это были не рядовые милиционеры, а какие-то высокие милицмейские чины), но в этом непривычном для нас окружении мы чувствовали себя бесконечно одинокими. Те же чувства испытывали и Плучеки – Валентин Николаевич и его жена Зина, – попавшие в это заведение, как кур в опии.

Углядев нас в толпе милиционеров, они кинулись к нам, как к родным. Ну, а уж о нас и говорить нечего.

В общем, оказавшись товарищами по несчастью, за эти две недели, проведенные – поневоле – в близком общении, мы, можно сказать, подружались. Во всяком случае, стиль общения сразу установился у нас самый приятельский.

Валентин Николаевич был человек живой, общительный, блестящий рассказчик.

Особенно запомнился мне его рассказ о том, как неожиданно выяснилось, что знаменитый английский режиссер сэр Питер Брук – не больше, не меньше, как его двоюродный брат.

Собственно, рассказ этот начала Зина, которая этим внезапно открывшимся родством очень гордилась.

– Валя, сказала я Вале, – темпераментно рассказывала она, – посмотри на него! Ведь вы безумно похожи! Просто одно лицо! Ну что тебе стоит, спроси у него...

И Валя спросил.

Когда английский гость, с которым они накануне познакомились, позвонил ему по телефону, поговорив сперва на разные профессиональные темы, он отважился задать ему такой деликатный вопрос: «Скажите, вам говорит что-нибудь такое имя: Фанни Соломоновна Брук?»

В ответ раздался восторженный вопль:

– Боже мой! Это же моя тётя!

В общем, выяснилось, что старший брат Плучековой мамы – той самой Фанни Соломоновны – в юности участвовал в каких-то студенческих демонстрациях, ходил с красным флагом и, во избежание полицейских преследований, умотал в Лондон. Пожив там, он от хождений с красным

флагом отказался, стал инженером, а потом, кажется, даже преуспевающим предпринимателем, женился, и родился у них с женой мальчик – будущий сэр Питер. Чуть ли не с детства у будущего сэра Питера проявилась пламенная любовь к театру, и со временем он стал, как и наш ничего не подозревавший об этом родстве Валя, театральным режиссером. Кровь – не вода, как говаривала, бывало, моя бабушка, когда речь заходила о том, что какие-то мои неблагоприятные поступки напоминают ей такое же криминальное поведение каких-то неведомых мне, давно умерших ее родственников.

Услышав от Вали с Зиной историю этого внезапно открывшегося родства (многие ее прелестные подробности я опускаю), я сказал:

– О! Так вот, значит, откуда взялась английская фамилия сэра Питера Брука. У какого-нибудь вашего общего дедушки или прадедушки была, наверно, портновская мастерская, на входе в которую красовалась вывеска: «Шитье и перелицовка брук».

Никто на эту мою – как мне казалось, очень удачную – шутку не улыбнулся. Родство Валентина Николаевича с сэром Питером Бруком не могло быть предметом даже самого невинного юмора.

То есть сам Валентин Николаевич, может быть, и готов был пошутить на эту тему, но Зина никогда бы ему (не говоря уже обо мне) этого бы не позволила.

...В общем, отношения с Плучеком у нас сложились достаточно теплые, и, узнав, что нам предстоит встретиться с ним у Лили Юрьевны, я даже обрадовался, предвкушая славный веселый вечер в приятной компании.

Но тут был один щекотливый момент.

Как раз в это самое время в печати появилось гневное заявление, подписанное тремя десятками самых именитых московских евреев. Гнев их был направлен на государство Израиль, ставшее главным оплотом мирового империализма, ну и, конечно, на сионизм, который клеймился как самое крайнее и зловещее проявление расизма, нацизма и фашизма и прочих мерзостей. Были там – под этим документом – подписи и Майи Плисецкой, и Аркадия Райкина, и Бог знает, кого еще. Ну и, разумеется, среди других славных имен красовалась и подпись Валентина Николаевича Плучека. А возглавлял этот список последний еврей, чудом (а может быть, и не чудом, а с такой вот специальной целью) сохранившийся в высоких правительственных сферах – Вениамин Эммануилович Дымшиц. Он был в то время Председателем Госплана и заместителем (одним из многих) Председателя Совета Министров СССР.

Такие гневные заявления появлялись на страницах наших газет и раньше. И подписывали их всегда одни и те же лица. Для обозначения этих, ставших уже традиционными, пропагандистских акций у нас была в ходу такая глумливая формула: «На арене Дымшиц с группой дрессированных евреев». Иногда эта группа – или отдельные, самые знаменитые ее представители – появлялась даже на экране телевизора.

В общем, в самом факте появления этого документа на страницах наших газет не было ничего сенсационного.

Но впервые в группе «дрессированных евреев» оказался наш знакомый, с которым – именно вот в этот самый момент – нам предстояло сидеть за одним столом.

За себя-то я не боялся. Уж я-то сумею, прежде чем произнести хоть слово на эту тему, мысленно сосчитать до ста. Но вот сумеет ли жена?

На это счет у меня были серьезные сомнения, и накануне, перед самым визитом, я проделал с ней большую воспитательную работу. Говорил, что он – не свободный художник, а лицо официальное, руководитель театра, состоит на государственной службе, и ему невозможно было отказать от поступившего свыше предложения поставить подпись под этим гнусным документом.

В общем, она дала мне слово, что на эту щекотливую тему с Валентином Николаевичем не заговорит и даже молча высказывать ему свое презрение и унижать его своим гражданским негодованием не будет.

Слово это она почти сдержала. Почти – потому что изо всех сил старалась не встречаться с В. Н. глазами. И он это, конечно, заметил. И даже высказал вслух, раза два повторив одну и ту же фразу:

– Что это Слава на меня не смотрит?

За столом он вел себя, как обычно: рассказывал разные веселые истории и анекдоты, острил – словом, был душою общества. Истории и анекдоты его были тоже вполне для него обычные – наверно, те самые, какими он неудачно пытался обаять партийных функционеров в «коридорах власти». Там, как я уже говорил, он потерпел полное фиаско, но в нашей компании эти его истории имели успех. Они и в самом деле были хороши, хоть и несколько однообразны. Уж не знаю, случайно так вышло, или одна история по ассоциации тянула за собой такую же, но во всех этих его байках и анекдотах почему-то фигурировали яйца. Не куриные, разумеется. И в какой-то момент я не выдержал – поддался соблазну включиться в этот веселый тон и сказал:

– Ну, ладно, Валентин Николаевич! Чего там! Расскажите уж, что они там делали с вашими яйцами, чтобы заставить вас подписать эту бумагу.

По-разному, наверно, можно было ответить на эту мою бестактность. Предлагаю читателю самому придумать все возможные варианты. Но Плучек отреагировал совершенно для меня неожиданно. Он легко принял мою «подачу» и отбил ее самым наилучшим образом: непринужденно, весело и совершенно откровенно рассказал, как оно всё было на самом деле.

Не сомневаясь, что «они» непременно потребуют от него «гражданского повиновения», он у себя в театре дал команду, чтобы ни на какие звонки «оттуда» его не звали, отвечали, что его нет, а где он и когда появится – неизвестно. Так оно все и шло, и он уже начал подумывать, что, кажется, слава Богу, пронесло: обошлись без него. И в какой-то момент, слегка потеряв бдительность, он сам – без секретаря – снял телефонную трубку. Звонил хорошо знакомый ему чиновник из городского управления культуры.

Звонка этого он ждал: там со дня на день должны были дать добро на какой-то его спектакль.

Чиновника этого В. Н. знал хорошо, с ним у него была связана целая история, которую он тут же нам тоже рассказал.

В прошлом чиновник этот был довольно посредственный провинциальный актер. И познакомился он с Плучеком именно в этом качестве. Приехав в Москву, он надеялся, что В. Н. по знакомству возьмет его в свой театр. И В. Н. по слабости характера что-то такое ему обещал, хотя и не очень твердо. А тот все ходил к нему, ходил. И однажды пришел в самый неподходящий момент: начальство из того самого городского управления культуры в тот день принимало очередной плучековский спектакль.

– Ох, брат, сегодня мне не до тебя, – сказал В. Н. этому своему знакомцу. – Приходи как-нибудь в другой раз, а сейчас, видишь, что делается: я весь в мыле, у меня начальство. Мой новый спектакль принимают.

И тут выяснилось, что принимать этот его новый спектакль приехал именно он, давний его знакомый. Он теперь работает в городском управлении культуры на какой-то начальственной должности и в покровительстве Плучека больше не нуждается. Даже сам может оказать ему некоторое покровительство.

И вот сейчас позвонил ему, значит, этот его давний знакомый и сказал, что через минуту-другую он за ним подъедет. И подъехал. И В. Н. сел с ним в машину, пребывая в полной уверенности, что дело идет не о чем ином, как об утверждении спектакля, и поедут они сейчас в это самое городское управление культуры.

Но поехали они совсем не туда, а прямехонько в Совет Министров, где его со своей группой дрессированных евреев уже ждал сам Дымшиц.

Поняв, что ему не отвертеться, В. Н. все-таки позволил себе слегка позорничать.

Прочитав документ, под которым уже красовалась отпечатанная типографским способом его подпись, он подошел к Дымшицу и, словно бы в легком смятении, сказал:

– Я этого подписать не могу.

– Как!? Почему!? – вскинулся Дымшиц.

– Здесь написано: «Народный артист СССР». А я – Народный артист РСФСР.

– Ну, это ничего, – улыбнулся Дымшиц. – Будете. Будете народным СССР. Так что смело подписывайте, не стесняйтесь.

И, словно бы в подтверждение того, что слов он на ветер не бросает, даже слегка погладил Валентина Николаевича по рукаву его пиджака.

Все это В. Н. нам не просто рассказал, а изобразил в лицах. И изобразил замечательно.





музыковед, журналист, эссеист, выпускник теоретико-композиторского факультета и аспирантуры Ленинградской консерватории, член Союза советских композиторов. Среди опубликованных работ – «От Гайдна до Шостаковича», «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Песня и стих», «Певцы и вожди». С 1988 до 2006 года – сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. Живет в США.

СОЛОВЬИ, СОЛОВЬИ...

Зарисовки с исчезнувшей природы

Это было недавно, это было давно...

Из песни

Ума не приложу, как случилась у Солженицына эта промашка, почему Василий Павлович Соловьев-Седой вышел у него евреем. И это с его-то, Александра Исаевича, орлиной зоркостью, с его, казалось бы, безошибочным нюхом на чужую этничность!

И ведь не только по портретам знал он знаменитого композитора – лично встретился однажды, в декабре 62-го, возле гостиницы «Москва», направляясь в Кремль на встречу Хрущева с творческой интеллигенцией: «...Большая черная машина ждет внизу – нас, нескольких почетных, рядом со мной – холеный мужчина в годах, изволит знакомиться, оказывается – Соловьев-Седой, сколько его надоедны песни нам на шарашке в уши лезли из приемников...»^{*} Какой же бес его попутал, если кроме холености и что «в годах» (хотя был Василий Павлович тогда, в свои 55, еще в полном соку, правда – старше писателя на целых 11 лет), не разглядел он в новом знакомом явных примет стопроцентного русского?

Они проступали и в широком, круглом, с мягкими очертаниями лице, и в непропорциональной малости носа, и в том, как по-деревенски косо сви-

^{*} Солженицын А. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 62. Дополнение 1978 года.

сала на лоб прядь светловатых, соломенных волос. Они еще больше светлели, выгорая летом, – и отец Павел Соловьев, санкт-петербургский дворник в доме на Старо-Невском, 138, звал маленького Васю то «седеньким», то «седым». Так и закрепилась за ним во дворе кличка Седой...

Может, неизменные соловьевские очки с толстыми стеклами в широкой оправе обманули классово-расовое чутье Исаича и превратили Василия Соловьева, сына выходцев из крестьян, в еврейского композитора, виновного, наряду с другими иудеями (Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Фельцманом, Френкелем и Шаинским), в том, что «помимо песен талантливых – сколько же они настукали оглушительных советских агиток в омрачивание и оглушение массового сознания, – и начиняя головы ложью, и коверкая чувства и вкус?»*

Но не только внешность: ведь и надоевшие Солженищину в марфинской шарашке песни Седого – по-настоящему, беспримесно русские. Уж в них-то при всем желании не найти отголосков еврейского фольклора, которые слышатся некоторым в мелодиях Даниила и Дмитрия Покрассов и Матвея Блантера, в частности, в его «Катюше»... Лучшее, что написал Соловьев-Седой, коренится в русской лирической мелодике. Распевный лиризм в духе русской народной песни (так пронзительно проявившийся в одной из его лучших вещей – «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...») – самая его характерная и сильная черта, проступавшая даже в пружинистых маршевых песнях. «Солдаты, / В путь, в путь, в путь!» – четко скандирует хор, но в припеве вдруг звучит мягкое, задушевное: «А для тебя, родная, / Есть почта полевая...». В другом походном марше, «Затрубили трубачи тревогу» на слова Александра Галича, есть свой крохотный островок лирики: «До свиданья, мама, не горюй, / На прощанье сына поцелуй...». Примеров таких – хоть отбавляй. А что до «оглушительных советских агиток», то Василий Павлович «настукал» их заметно меньше, чем подавляющее большинство его коллег. Судите сами: ни одной песни во славу Ленина, Сталина или партии не вышло из-под его пера.

В 1957 году я стал подопечной «творческой единицей» знаменитого песенника: меня приняли в Ленинградский союз композиторов, которым он управлял с 48-го года по 64-й (так что исключать меня оттуда – за желание эмигрировать – пришлось уже не ему, а его преемнику, моему соученику и приятелю Андрею Петрову. Андрей сделал мне поблажку: избавил от присутствия на публичной экзекуции исключения. Но это уже отдельная история, о которой как-нибудь в другой раз...). Не прошло и года, как Василий Павлович позвал меня (уж не знаю, за какие такие заслуги) на встречу в гостиной Дома композиторов с ошеломившим всех нас своей талантливостью и обаянием Вэном Клайберном**, который только что стал победителем Пер-

* Солженищин А. Двести лет вместе (1795–1995). Ч. 2. Исследования новейшей русской истории, 8. М.: Русский путь, 2002. С. 321.

** В те времена в СССР произносили Ван Клиберн – *Примеч. ред.*



На снимке: в центре Соловьев-Седой и Вэн Клайберн; слева – жена СС Татьяна Рябова (пианистка); в центре – автор с первой женой Фанной Брянской и оперным режиссером Эмилем Пасынковым; сидит за спиной СС – переводчица

вого международного конкурса Чайковского и приехал на выступление в Ленинград. Фотография запечатлела момент, когда хозяин Дома играл молодому американцу свои «Подмосковные вечера». Эту песню Клайберн – к вящему восторгу советской публики – играл со сцены на бис в своей обработке, обволакивая милую и незамысловатую мелодию оригинала пряными джазовыми гармониями. А дальше произошло вот что: Вэн сел справа от композитора и заиграл свою версию «Подмосковных вечеров», а автор песни стал аккомпанировать ему на басах. Но сильно выпившему Седому этого показалось мало, и, встав со стула и повернувшись к роялю спиной, он учинил другой аккомпанемент, начав, ритмично приседая, долбить клавиатуру своим внушительным задом... Гости, быстро оправившись от неожиданности и смущения, дружно засмеялись, Клайберн сдержанно и вежливо заулыбался...

«А это, знаете ли, – небезызвестный Вовси...»

Впервые я встретился с маститым композитором лицом к лицу за пять лет до этого эпизода, в Доме творчества композиторов в Репино, в конце апреля или начале мая 1953-го, когда я заканчивал Ленинградскую консер-

ваторию. Как раз в те дни мне улыбнулась фортуна: отменили распределение в Читу, где я должен был преподавать в музыкальном училище, навсегда распрощавшись с надеждой вернуться в Ленинград, ибо был я «иногородним» с временной студенческой пропиской и, что еще хуже, обладателем проклятого «пятого пункта». Именно тогда, после начала (в середине января) дела «врачей-вредителей», антисемитский угар в стране достиг апогея, так что о поступлении в аспирантуру или о поисках работы в Питере не могло быть и речи. Спасли меня смерть Сталина и прогремевшее на весь мир 4 апреля правительственное сообщение, отменявшее обвинения против «убийц в белых халатах». Через день-два после этой публикации в «Правде» ученый совет консерватории без лишнего шума задним числом вписал мое имя в список тех счастливчиков, которые были рекомендованы в аспирантуру. Мог ли я подумать тогда, что недели через две воочию увижу главного героя зловещего дела врачей?

Дело было так. Мой однокурсник, студент композиторского отделения Владлен Чистяков предложил мне съездить в Репино в гости к одному из наших учителей, композитору Салманову. Вадим Николаевич принял нас тепло и пригласил на обед в столовую Дома творчества. Мы – безденежные и вечно голодные студенты – знали, что композиторов и прочих «инженеров человеческих душ» власть усиленно подкармливает, и шли в столовую, как на праздник. Увы, получить удовольствие и наесться вдоволь нам не пришлось: в нескольких шагах от нас, за соседним столом, сидели, будто в президиуме, легендарные композиторы страны Советов – Соловьев-Седой и Дзержинский! Василий Павлович и Иван Иванович вели себя шумно, наперебой рассказывали забавные истории, травили анекдоты, сыпали шутками. Столовая заливалась смехом. Лишь странного вида пара, занимавшая чуть поодаль отдельный стол, реагировала слабо и как-то нехотя, едва заметной улыбкой, хотя юмористы явно работали именно на них, особенно – на высокого, неестественно худого немолодого мужчину утонченно интеллигентного вида с наголо остриженной головой и впалыми щеками. Увидев наш вопросительный взгляд, Салманов прошелестел: «А это, видите ли, безызвестный Вовси... Когда его выпустили, предпочел поехать с супругой на отдых туда, где его никто не знает, чтоб не было лишних расспросов».

Шепот прозвучал как удар грома. Вовси?! Мирон Семенович?! Брат Михоэлса, выдающийся врач, громогласно ошельмованный, многократно проклятый и обреченный на позорную смерть, – в трех метрах от меня, в композиторской столовой?! Только сейчас я заметил болезненную, с синевой, бледность его щек, пугающую застылость его взгляда, печать бесконечной усталости на лице его жены (Веру Львовну, как я узнал много позже, арестовали вместе с мужем). И мгновенно показался неуместным весь этот балаган, этот парный конферанс в духе Рудакова и Нечаева, показалась оскорбительной сытость гладких, упитанных, загорелых лиц этих заслуженных воспевателей режима, пытающихся развеселить раздавленную им жертву...

А может, и им самим было не по себе? Может быть, оробели и смути-

лись Вася с Ваней, когда в тихую композиторскую заводь на берегу Финского залива попал – чуть ли ни прямехонько из застенков Лубянки – чудом спасшийся смертник? И не нашли ничего лучшего, как затеять весь этот безудержный и неуклюжий треп? Не знаю. Пришла мне в голову эта мысль лишь сейчас, по прошествии более чем полувека...

«Водки нет – разговора не будет»

Июль 1968-го. В клубе бардовской песни «Восток» при Доме культуры пищевой промышленности, где я вел ежемесячные концерты-дискусии, распространился тревожный слух: «Известия» заказали Соловьеву-Седому большую разгромную статью о самостоятельном песенном движении, которое и без того поносилось в печати как дилетантское и идеологически вредное. Активисты клуба решили, что единственное, что может остановить статью, – личная встреча с Седым. Отговорить композитора от этой затеи должен был известный ленинградский поэт и бард Александр Городницкий с помощью члена Союза композиторов, музыковеда Фрумкина.

«Встреча состоялась в жаркий июльский день в Комарово, на литфондовской даче, где раньше жила Анна Андреевна Ахматова, а в тот год – ленинградский поэт Лев Друскин и его жена, – вспоминает А. Городницкий. – ...Василия Павловича, дача которого была неподалеку, уговорили прийти туда для разговора... На стол было выставлено сухое вино... Наконец, тяжело отдуваясь, появился покрасневший от жары СС, в летнем полотняном костюме и тюбетейке. На присутствующих он даже не взглянул, а, бросив взгляд на стол, произнес: "Водки нет – разговора не будет", и, вытирая платком со лба обильный пот, развернулся на выход. Его с трудом уговорили обождать. Побежали за водкой»*.

Разговор получился длинный – мы провели у моих друзей Друскиных около трех часов. Городницкий напевал фрагменты из песен разных авторов и «пытался объяснить, что именем композитора хотят воспользоваться для удушения самостоятельной песни. Он внимательно слушал и проявил даже неожиданный для меня интерес, много спрашивал, удивлялся, что до сих пор плохо знает об этом направлении»**.

На меня эти расспросы и удивление большого впечатления не произвели: я не раз убеждался в том, насколько ревниво и враждебно относятся к «магнитиздату» сочинители официальных песен – как композиторы, так и поэты. Тот же Соловьев-Седой в речи на съезде композиторов в Москве вдруг заговорил о том, что разумный человек никогда не пойдет бриться к самостоятельному парикмахеру. С какой же стати, продолжал оратор, мы терпим са-

* *Городницкий А.* «И жить еще надежде...» М.: Вагриус, 2001. С. 403. Надо сказать, что пил ВП крепко. И до женщин был охоч, чем и заработал среди коллег соленую кличку *Соловьев с елдой*.

** Там же.

модельность в песенном творчестве, как можно разрешать этим безответственным дилетантам писать и распространять свои поделки по всей стране? Отчетливо помню, как, вернувшись в Ленинград из Одессы, где снимался фильм с его музыкой, Василий Павлович рассказывал в гостиной Дома композиторов, что в съемочную группу как-то пришел Высоцкий и спел несколько своих песен. Они ему не понравились, а «Штрафные батальоны» и вовсе возмутили: «Да это же искажение истории войны, поклеп на нашу армию!» – кипятился обычно спокойный, флегматичный Вася...

Как и следовало ожидать, «встреча наша (в Комарово. – В. Ф.) оказалась бесполезной. Несмотря на заверения СС о поддержке авторской песни, 15 ноября 1968 года... в газете "Советская Россия" появилась его статья "Модно – не значит современно", направленная против нее... Однако закрыть авторскую песню не удалось», – оптимистично завершает Городницкий свой рассказ*.

«Нам нужна безработица»

Пил Василий Павлович, разумеется, не только водку. Обожал коньяк, в чем я убедился во время его концертного турне по городам Поволжья. Для чтения вступительных слов он пригласил моего друга, ленинградского музыковеда Михаила Бялика, и меня. Едва наша «Красная стрела» отчалила от Московского вокзала, мэтр позвал нас в свое купе и поставил на столик непечатую бутылку коньяка. «А это что у вас, пишущая машинка?» – любопытствовал Миша, кивнув на необычного вида саквояжик. «Пишущая мошонка», – сострил Василий Павлович в своем обычном стиле...

Пошла неспешная беседа о том, о сем, но менее всего – о музыке или делах Союза композиторов. Италия – вот что было на уме у нашего собеседника. Впечатления о недавней итальянской поездке явно не давали ему покоя и требовали выхода. Центральное место в его рассказе заняла маленькая римская trattoria, где его обслуживала пожилая пара. Встретили тепло, накормили вкусно, подавали быстро, все блистало чистотой и порядком.

«Спрашиваю – через переводчика, конечно: кто же тут повар?» – «Да мы сами и готовим». – «А бухгалтер, счетовод, кассир у вас есть?» – «Да нет, сами управляемся». – «А закупки кто делает?» – «Тоже мы». – «А хозяин кто, владелец?» – «Опять же мы».

«Соображаете?» – вдруг повысил голос раскрасневшийся от коньяка рассказчик. Мы с Мишей переглянулись: «Пока не очень...» – «А я сообразил! Извлек урок! Знаете, сколько работников было бы у нас в таком ресторанчике? Дюжина, не меньше. А то и больше. Потому и вечный дефицит, разгильдяйство, экономика в кризисе. Теперь поняли, как со всем этим

* *Городницкий А.* «И жить еще надежде...» М.: Вагриус, 2001. С. 403. Надо сказать, что пил ВП крепко. И до женщин был охоч, чем и заработал среди коллег соленую кличку *Соловьев с едой*.

можно покончить?» – «Как же, Василий Павлович?» – «Безработица нам нужна! Как на Западе. Разогнать лентяев, оставить лучших. А кто будет плохо работать – увольнять безжалостно! Уверяю вас, люди будут стараться – кому захочется быть выгнанным взащей? Только кто же у нас на это пойдет...» – добавил он, снизив тон и безнадежно махнув рукой.

Вот тебе и раз, подумал я. Вирус инакомыслия добрался до робкого и косного композиторского болота. И кто бредит реформами – обласканный режимом музыкальный номенклатурщик, титулованный советский вельможа, один из высших генералов композиторской армии! Но не потому ли он и не шагнул дальше, не сделал самого главного вывода? Что все дело в том, кто ХОЗЯИН. То, что очаровавшая Васю пожилая пара, а не государство, владела тракторией, – этого он почему-то в расчет не взял...

А что, если из элементарной осторожности не озвучил хитрый мужичок Василий Палыч абсолютно крамольную тогда, в середине 60-х, мысль про частную собственность как панацею от наших экономических бед? Слово ведь не воробей.

Жаль, некому уже ответить на этот вопрос...



Альбом (2 диска)
с 36 песнями
Булата Окуджавы
на русском и иврите –
в исполнении
Ларисы Герштейн

В Израиле – ₪50
В США и России – \$25
В Европе – €20
(Цены включают доставку по почте)

Справки по телефону: (Иерусалим) 02-5325931
или по электронной почте: omegag@bezeqint.net



НЕЗАДОЛГО ДО ХОЛОКОСТА*

То, что я вспоминаю, написано под впечатлением пережитого позднее. Непосредственные события и те люди, о которых пойдет речь, в то время меня не занимали в такой степени, чтобы я мог предвидеть их персонажами моего рассказа. Нужно было пройти войну, узнать и ощутить трагедию и ужас Холокоста, пережить сталинский государственный антисемитизм, заставивший задуматься над тем, кто я и откуда, чтобы извлечь из памяти то, чему не придавал значения в свое время, к чему отнесся как к проходному эпизоду. Сентябрь 1939 года. В Польше разгорается пожар Второй мировой войны. Новоиспеченный лейтенант-артиллерист, я догоняю свой полк, действующий в составе войск, «протянувших руку братской помощи Западной Украине».

Полк я догнал в конце сентября в Фельштыне на Львовщине. До начала большой войны оставалось около двадцати месяцев.

Фельштын запомнился как подслеповатое еврейское местечко, в центре которого возвышался католический собор и несколько зданий городского типа. Мне знакомо было название городка по роману Гашека – здесь происходили какие-то приключения Швейка. В ограде костела под массивным надгробием – прах одного из Габсбургов. Недалеко от собора – синагога и мрачное почерневшее здание бани. За пределами центра – покосившиеся домишки еврейской бедноты.

В штабе полка я получил назначение в полковую школу и тут же отправился в помещение бывшего женского монастыря при костеле Святой Анны. Здесь в кельях размещалась полковая школа. Костел стоял на холме в нескольких километрах от Фельштына. Его белая громада видна была издалека. Я шел по незнакомой местности, но сбиться с пути было невозможно, глядя на этот величественный ориентир.

* Новое время.

У подножия монастырского холма лежало большое село Сонсядовицы (по-украински – Сусидовичи), в котором нам разрешили постой. Мне повезло – я поселился в доме бывшего вуйта (старосты) времен Австро-Венгрии.

Сонсядовицы – осадническое польское село на несколько сот дворов. Его мощные дороги вытянулись километра на два-три. «Осадническое» можно понимать как опорное среди окружавших его украинских деревень. Село богатое, с сыроварней, маслобойней, коллективной молотилкой. Считая для себя зазорным торговать собственной продукцией (в этом проявлялся польский гонор, не выдержавший, однако, испытания войной), в селе держали еврея-посредника, сбывавшего товарную продукцию в ближайшем Самборе и далеком Львове. Этот еврей-посредник был единственным инородцем, которому разрешалось жить в селе. Как маленький островок в, казалось бы, чуждом окружении жила еврейская семья в Сонсядовицах. О ней и пойдет речь.

Осенью 1939 года, когда служба забросила меня, молодого лейтенанта, в этот уголок земли, я не сразу примирился с поворотом судьбы. Переполнявшие меня страхи за будущее, пока я догонял полк, медленно уступали место покою и умиротворенности: нормально пошла служба, налаживался быт, дружеские отношения складывались с товарищами по полковой школе. Успокаивала даже природа: стояли ясные солнечные дни, село утопало в зелени садов и вековых деревьев. Первые следы позолоты, предвестники приближавшейся осени, только подчеркивали красоту мирного пейзажа.

Служба занимала большую часть дня. В предвечерние часы, возвращаясь из костела, я обычно проходил мимо Народного дома. Сидевшие здесь мужчины, уже переодевшиеся к вечеру после трудового дня, при моем появлении вставали, приглашали посидеть, предлагали табак, а иногда и домашнее пиво. Так завязывались знакомства. Обстановка была доброжелательной, и со временем такие посиделки становились почти ежевечерними. Расспрашивали о семье, о жизни в России, не без зависти удивлялись моему холостячеству и, демонстрируя обычную мужскую солидарность, грозились подыскать мне «пенькну нажечену» (прекрасную невесту), так что «пан офицер будет бардзо доволен». Но больше спрашивали о том, что их ждет в будущем, заставят ли вступать в колхоз и что такое «той колхоз»? Какие-то слухи до них доходили, у многих перед глазами была недалекая от правды безрадостная картина жизни советской деревни, нарисованная пропагандой предвоенной Польши. Люди, по нашим меркам зажиточные, живи они в Союзе – давно были бы раскулачены, не скрывали страха лишиться всего, что было нажито годами нелегкого крестьянского труда. Я не знал, что ждет этих людей, какие решения будут приняты нашими властями, и, хотя у меня не было опыта общения с «иностранцами», интуитивно привирал и как мог успокаивал их. Не так ли мы, отвечая на вопрос «своих» – как жизнь? как служба? что дома? – приукрашиваем действительность, стараемся не выносить сор из избы?

Возвращаясь со службы, трудно было пройти незамеченным мимо Народного дома и сидевших здесь людей и еще труднее отказаться от общения. Да я и не старался. Эти люди были мне интересны. Разговоры с ними вносили новые, неизвестные мне представления о жизни. Что я, рожденный в городе и

живший последние годы в казарме, мог знать о крестьянском труде, о том, что значит для крестьян своя земля, свой скот, свое подворье?

Мы настолько сблизились, что меня признали своим, как своего пригласили даже участвовать в охоте на горных коз в предгорьях Карпат вблизи Самбора. Мне тогда показалось это знаком особого доверия. Не задумываясь, я принял приглашение. Для сонсядовичан охота – промысел (заготавливали мясо на зиму и шкуры для выделки), для меня – экзотика. Поход в горы и охота стали одним из самых ярких впечатлений предвоенных лет. Но это было позже, в конце ноября, по первому снегу. И не об этом я собрался написать.

Визит к Соломону

Знали ли мои собеседники, что я еврей? Думаю, что знали, хотя у меня нет уверенности. Я не скрывал, но и не афишировал. Не было повода. Эта тема не затрагивалась. Они видели во мне просто советского лейтенанта, охотно и откровенно беседовавшего с ними с уважением к их нелегкому труду, чего они, скорее всего, не могли ожидать от польского офицера, если бы он оказался на моем месте. Это располагало их ко мне. В предвоенной Польше офицерство и еврейство были вещи почти несовместные. Традиционно в Войске польском офицер – поляк, крайне редкие исключения лишь подчеркивали традицию.

К своему, живущему среди них еврею и его семье относились, как хороший хозяин относится к наемному работнику – терпит, пока в нем есть необходимость и если он «справно» работает. С другой стороны, как для любого христианина, свой еврей как бы вычленялся из еврейства и становился «любимым евреем». В Сонсядовицах ценили своего еврея, его ум и хватку – он приносил хороший доход. И, наверное, уважали за умение, которого были лишены сами. Уверен, что, случись беда, они своего еврея не выдали бы.

Но вернемся к нашим посиделкам.

Однажды в разгар беседы ко мне подошел мальчик и протянул конверт. «Сын Шмуля, нашего жид*-фактора**», – объяснили мне мои собеседники. На конверте значилось: «Пану лейтенанту». Мальчик стоял в ожидании, мямля в руке свою гимназическую шапочку. Я уже собирался покинуть моих собеседников, дома меня ждал ужин. Мальчик проводил меня. По дороге я вскрыл конверт. Первые несколько строк записки были написаны по-еврейски. Они были мне недоступны. Я не знал еврейского письма. Далее по-польски следовало приглашение «шановному пану» в ближайшую субботу посетить дом Со-

* Слово «жид» воспринимается совершенно по-разному в Польше и России. По-польски *жид* просто «еврей». Другого названия польский язык не знает. Обращение «жид» в Польше не содержит никакого оскорбительного подтекста. Вообще я не сразу понял, что с омонимами мне надо обращаться осторожно. Так, я долго не понимал, почему при просьбе дать мне спички краснели и отворачивались находившиеся рядом женщины. Потом мне мужчины объяснили, что слово «спичка» созвучно польскому ненормативному выражению.

** *Фактор* – управляющий, маклер, коммивояжер (*устар.*).

ломона (таким именем было подписано приглашение) и участвовать в «шабате». Было указано время зажигания свечей. Что-то шевельнулось в моей душе, всплыло детское воспоминание о нерегулярных отцовских «шабатах», о том, как преображался отец, переодевшись в выходную тройку, и как я томился, пока длился казавшийся мне нескончаемым ритуал.

Приглашение поставило меня в тупик: вправе ли я, советский командир, кандидат в члены партии, участвовать в религиозном обряде, не оскорблю ли этим свою форму (штатского костюма у меня не было, да и никто в полку не позволял себе переодеваться в штатское платье в такое время), как отнесется к этому начальство, если узнает (а узнает обязательно, в этом я не сомневался)? Да я и не собирался прибегать к конспирации. Никто не упрекнул бы меня. Я мог открыто посетить Соломона, но не как еврея, а как местного жителя. Знакомство с местными одобрялось, как поощрялось и дружелюбие.

В общем, я просил мальчика передать отцу благодарность за приглашение, но в субботу я не смогу прийти; суббота у нас рабочий день, и освобожусь я много позже времени зажигания свечей. В воскресенье я свободен и воспользуюсь любезным приглашением. Приходить за мной не надо.

В воскресенье я отправился с визитом к Соломону.

Дом Соломона, расположенный в конце прямой улицы села, мало чем отличался от других домов Сонсядовиц. Разве что блестящей на солнце новой жестяной крышей. Встретила меня хозяйка – немолодая красивая женщина с выраженной еврейской внешностью, особенно заметной по большим выпуклым, как у еврейских красавиц, глазам, не скрывавшим вековой грусти. Она назвала себя, сняла фартук, поставила на землю подойник и, отогнав вертевшуюся у ног собаку, милым жестом пригласила в дом. Во всем ее облике было что-то теплое, домашнее. Из дома выбежала девушка, забрала молоко, взглянув на меня, стрельнула глазками, смутилась, покраснела и убежала.

– Это Розочка, наша дочка. Пройдемте в дом. Мы так вам рады. Соломон вот-вот будет. Он поехал в Фельштын, вернется к обеду. Вы пообедаете с нами.

Это не было вопросом. Это было повелением. (Мне вспомнилось мое бедное детство. Визиты к тетушкам в надежде, что покормят. Меня всякий раз спрашивали: голоден ли я? В этих вопросах деликатностью не пахло. Я чувствовал их горький подтекст. Было тяжело и унижительно говорить правду.)

Мы поднялись на крыльцо и вошли в дом. Я прошел мимо мезузы*, будто ее не было. Это не ускользнуло от хозяйки.

– Я не удивляюсь тому, что вы не притрунулись к мезузе. Откуда вам знать. Поймите, это не упрек. Я не фанатичная еврейка, я не брею голову, и не каждый день можно увидеть меня в синагоге. Но есть вещи, которых я придерживаюсь строго. И прикосновение к мезузе для меня священо.

* Мезуза – листок пергамента с текстом из Священного Писания, помещенный в деревянный или металлический футляр. Прикрепляется к правому косяку двери. При входе в дом евреи прикладываются к мезузе и целуют палец, которым прикасались. Ортодоксальный талмудист не войдет в дом, если на косяке двери отсутствует мезуза.

– Извините меня. Я знаю, что такое мезуза. На двери отцовской квартиры она всегда была. Но большинство евреев у нас живут вместе с русскими и украинцами в коммунальных квартирах. Где же там можно прикреплять мезузу? Верующих среди евреев становится все меньше и меньше. Поверьте, у меня не было желания оскорбить ваши чувства. Хотя я вошел, не соблюдая обряд, но с добрым чувством к вам и вашему дому.

Не мог же я признаться, что, проходя в дверь, думал о девушке, бросившей на меня такой острый взгляд.

Счастливая жизнь

Хозяйка накрывала на стол. Ей помогала Розочка. Она жгучая брюнетка, у нее пухлые розовые губки и большие, как у мамы, карие глаза. Она улыбается, ямочки на щеках углубляются и придают особую прелесть ее мягкой улыбке. Я смотрел на тонкие пальчики Розочки, сноровисто подававшей матери приборы и тарелки из большого шкафа, на ее личико, на стрелявшие в меня глаза, успевавшие быстро увернуться, как только наши взгляды встречались. Сара Моисеевна продолжала говорить, а Розочка пошла на кухню. Ее простое платье не скрывало стройность и гибкость козочки, едва наметившиеся груди. Вскоре она вернулась и поставила на стол узкое блюдо с рыбой.

Хозяйка не давала мне скучать. За время ожидания Соломона она успела рассказать мне их жизнь.

– Вы молоды, – говорила Сара Моисеевна, – пришли из такой страны. (По прошествии стольких лет я не могу ручаться за точность слов, но смысл и интонация звучат во мне и сегодня. Особенно интонация. В подчеркивании слов «из такой страны» чувствовались и сомнение, и страх, и надежда.)

Признайтесь, молодой человек, наша жизнь кажется вам благополучной. Вы судите по новой железной крыше и достатку в доме, по тому, как выглядят наши дети. Видели бы вы нашего Иосифа, он учится на врача в Швейцарии. Подумать только, сын Соломона, вечного скитальца, бедного коммивояжера, – врач! А наш первенец Моисей... Он солдат, с первых дней на фронте, был ранен, защищая Варшаву. Лечится в белостокском госпитале. Слава Богу, руку ему сохранили. Сейчас он пошел на поправку, самое страшное позади. Какое счастье, что в Белосток пришла ваша армия, и мне хочется верить, что теперь сын в безопасности.

Вы правы. Наша жизнь выглядит счастливой. Да она, слава Богу, и есть счастливая. Жаловаться на судьбу – только гневить Всевышнего. Поверьте, так было не всегда, только Бог знает, чего это стоило и как долго продлится наше счастье. Еврейское счастье!.. В этом мире оно не может быть долгим. Об этом так мудро пишет Шолом-Алейхем. Вы читали его?

– Я читал «Блуждающие звезды». Конечно в переводе, еврейского я не знаю.

– Боюсь, что в переводе пропадает весь цимес. Вы знаете, что значит цимес?

– С детства цимес сохранился в памяти как что-то очень вкусное, сладкое. Кажется, это тертая морковь с изюмом и черносливом. Сара Моисеевна, вы сравниваете яркое впечатление, которое производят на вас полные иронии и

грусти строки известного писателя, со сладким цимесом. Мы в таких случаях обычно говорим «пропала соль!»).

– Вы правы. Призрачное еврейское счастье более уместно сравнивать с солью. И мы говорим «посыпать соль на раны». Память вас тоже не подвела. Розочка приготовила к столу цимес, и вы увидите – у нас его готовят так же. Но вообще-то я имела в виду совсем другое. Я думаю не о счастье, а о надвигающейся беде. Мои мысли о детях. Что их ждет? Я, конечно, надеюсь на лучшее, но ничего хорошего впереди не вижу. Я плачу, скрывая слезы от Соломона. Но вам я могу признаться – он думает так же. Он, как и я, не знает, что принесет эта ужасная война, что она принесет нам и всем евреям, и всем людям вообще. Пока война приносит недобрые новости и цорес. Вы понимаете, что такое цорес? Не дай вам Бог узнать, что это такое. Пока несчастья нас обошли.

Всего два месяца, как война началась, а во Львове и Самборе тысячи евреев, бежавших от немцев. Наверно, и в других местах не меньше. Убежали в чем мать родила. Что они рассказывают! В Варшаве и других городах немцы уже создали гетто, целые кварталы огородили колючей проволокой, сгоняют туда евреев как скот. Издеваются над стариками и женщинами, избивают детей, расстреливают мужчин. Это ужас, что пришлось пережить бежавшим. Многие собираются идти на восток, в Россию, подальше от немцев. Как вы думаете, молодой человек, что их там ждет? Не попадут ли они из одной беды в другую, как это было всегда с изгоняемыми с насиженных мест евреями? А что делать нам? Сидеть на месте и ждать? Лучшее, чем сейчас, уже не будет, значит, ждать худшего? Бросить все, что мы после стольких лет скитаний и мытарств обрели здесь, в Сонсядовицах, где нас уважают и дают заработать на хлеб. Скажите, молодой человек, в России тоже бывают погромы? – неожиданно спросила женщина.

Я только успел успокоить Сару Моисеевну относительно погромов в России, как за окном показались дрожки. На одних приехал Соломон. На других – двое мужчин, оба в черных шляпах и долгополых сюртуках; пожилой, с большой седой бородой, фельштынский раввин и молодой, с небольшими пейсами, варшавский беженец. Встречать хозяина вышли жена, Розочка и знакомый мне мальчик-гимназист. Он взял у отца повод, отвел коляску под навес и расседлал лошадь.

Приезжие взошли на крыльцо, прикоснулись к мезузе и вошли в дом.

Соломон, даже не пытавшийся освободиться от обнимавшей его дочки, протянул мне руку, и я почувствовал силу мужчины, хозяина дома. Понимал ли я в тот момент, что значил для него этот маленький мир – дом, уют, созданный руками и вкусом жены, сама жена и дети? Мог ли я тогда представить, какие мысли, сомнения и страхи, надежда и вера в чудо терзали его? Вряд ли... Передо мной был преуспевающий, я бы даже сказал, эlegantный мужчина. Одет он был вполне по-европейски, высокий, крепкий, улыбающийся. Возраст выдавала только седина. Он не был похож на тех, кто вместе с ним вошел в дом. В нем не было следов унижительного подобоострастия, покорности судьбе, униженности – той печати, что наложили на евреев века изгнаний, преследований и погромов.

В то время, о котором я вспоминаю, у меня перед глазами было два хозяина: один – отставной со времен Австро-Венгрии сонсядовицкий вуйт Томаш

Малейко, у которого я снимал жилье и столовался; другой – сонсядовицкий фактор, еврей Соломон, пригласивший меня в свой дом.

Пан Томаш в свои семьдесят лет напоминал могучего быка, шедшего напролом по жизни. За бывшим вуйтом тянулся шлейф легенд бабника и безжалостного сборщика императорских налогов. Теперь он уже не рвался вперед: годы не те и власть не та... Сохранился только гонор. Его воля находила утешение лишь в семейном деспотизме.

Соломону предстояла борьба – тяжелая борьба за выживание. Его воля и ум должны были вновь понадобиться в будущем, им предстояло выдержать страшный экзамен. Сильное рукопожатие было для меня свидетельством его готовности к борьбе. Таких, как он, трудно сломать. Силу таким людям передают многие поколения соплеменников, выживших в борьбе за существование.

Избранные для мучений

В конце зимы, во время первых выборов в Верховный Совет СССР на территории западных областей Украины и Белоруссии, мне представилась возможность сравнить отношение двух хозяев к новой власти.

Пан Томаш презирал новую власть и игнорировал выборы. Агитаторы не смогли его уговорить. На избирательный участок он согласился прийти лишь по моей просьбе. После того как мы распили с ним бутылку «выборовой», пан Томаш вызвал батрака Яцекса, поразительно похожего на старого вуйта, и велел подготовить парадные сани. Вскоре хозяин появился в мундире времен Австро-Венгрии, с медалями от старой императорской власти за строительство дорог, за пожарную охрану, за верную службу и еще бог весть за что. Медали блестели как новенькие. Сани, накрытые ярким ковром, стояли у крыльца. Пара сытых коней нетерпеливо топтала снег. Мы сели, кони рванули с места и с ветерком подкатали к избирательному участку. Пан Томаш степенно сошел с саней, вошел в зал для голосования, получил бюллетени и, не раздумывая, разорвал их на глазах комиссии, а обрывки опустил в урну. Мы не успели ахнуть, как он уже вышел, сел в сани и был таков.

Соломон с женой и дочкой пришли не в числе первых, но и далеко не последними. Он вошел в зал для голосования с достоинством и без следов подобиострастия или угодничества. Вся его фигура как бы говорила: вам нужно, чтобы я проголосовал, – пожалуйста! Но мои мысли остаются при мне.

Но вернемся в дом Соломона.

Хозяин представил меня приехавшим как молодого еврея-офицера.

– Подумать только, в России еврей может быть офицером! – воскликнул он. – Это обнадеживает. В такую страну можно без страха уходить от нашего кошмара. Реб Зуся, – обратился Соломон к раввину, – какой совет вы даете евреям, убежавшим из ада?

Соломон уважительно замолчал, ожидая, что скажет раввин.

– Какие даю советы? Я дожил до глубоких седи и вижу, что евреи, как избранный народ, избраны для мучений. Так было до нас, еще большие цорес

ждут нас впереди... Всегда несчастья гнали евреев с насиженных мест. Придется снова сниматься и бежать. Не только тем, кто вырвался оттуда, но и нам. Слава Богу, мы с вами сидим пока под вашей, Соломон, новой крышей и мирно разговариваем. Это долго не продлится. Беда пришла и в наши дома. Ангел зла явился по наши души. Надо уходить – такой совет я даю евреям. Ждать прихода Мессии придется в других местах. Семья молодого еврея из Варшавы все бросила и бежала. Боюсь, как бы и нам не пришлось бросить все. Сара, – обратился ребе к хозяйке дома, – подумайте, чем мы можем помочь бежавшим из Варшавы, можете ли их приютить на время?

– Мы уже с Сарой успели это обсудить, и наш дом открыт для семьи из Варшавы. Думаю, что мне удастся убедить соседей не возражать против поселения еще одной еврейской семьи. Места у нас хватит. Но позвольте, ребе, сказать. Это не возражение, Боже упаси. Я недостоин возражать моему раввину. И все же я смотрю на мир не так мрачно. Помню, как вы, рассказывая о Бар-Кохбе*, говорили, что есть не только ангел зла. Есть и ангел добра. Согласен – сейчас не времена Бар-Кохбы. Да и его успехи лишь оттянули на год-два разрушение Храма и изгнание евреев. Но прошли века, и евреям есть что вспоминать, есть чем гордиться. Спасаться бегством должны беспомощные, старые и малые. Молодые должны сражаться, как наш первенец Моисей. Может быть, ему посчастливилось поразить из своей старой винтовки хоть одного вражеского солдата. Это уже маленький шаг к победе над злом. Мы живем среди тех, кто противостоит Молоху, и вместе с ними должны сражаться. Молодой лейтенант, которого я пригласил, расскажет нам о жизни евреев в России и рассеет наши сомнения. А пока – к столу.

Обед с раввином

Хозяин попросил раввина занять место во главе стола. Меня хозяйка посадила рядом с собой. Справа сидели Розочка и гимназист.

Реб Зуся прочитал молитву. Ели молча. Над столом повисла натужная тишина. Каждый думал о своем, а все вместе – о безрадостном настоящем и туманном, ничего хорошего не предвещавшем будущем.

Я рад был молчаливому застолью. Мои мысли были далеки от судьбы евреев. Я думал о сидевшей рядом со мной юной Розочке и забывал о войне. Бокowym зрением смотрел я на сидевшую рядом девушку. Мысли мои были о ней. Судьба ее, пока она оставалась в поле моего зрения, рисовалась мне в веселых радужных красках. Я представлял, как распухнет этот нежный цветок, и не мог представить, чтобы жестокая сила войны растоптала его. Она была избалована родительской любовью, уверена в своем счастливом предназначении – ее судьба рисовалась мне безоблачной. Не ее ли имели в виду мои собеседники у Народного дома, обещая найти мне «пеньку нажечену»?

* Бар-Кохба в 132 году н. э. возглавил восстание евреев против римлян. В 135 году восставшие были разгромлены римлянами, штурмом овладевшими крепостью Бейтар, где оборонялись евреи.

Но как только мой взгляд останавливался на сидевших напротив мужчинах – молодом беженце из Варшавы, Соломоне, сидевшем во главе стола раввине, – мои мысли менялись. Мысли об ужасах войны возвращались, и воображение рисовало страшные картины бегства, преследований, избиений и издевательств. До печей Освенцима и газовых душегубок были еще годы, но мрачная тень предчувствия уже витала над мирным домом Соломона. Молча заканчивали трапезу.

Обстановку попытался разрядить Соломон.

– С вашего позволения, ребе, я расскажу анекдот о тшедушном еврейском женихе. Розочка, прикрой пальчиками ушки. Сват привел жениха к красотке ростом с пожарную каланчу, с пышными грудями и задом, как у породистого борова.

– Фи, Соломон, побойся Бога, за столом дети! Время ли для анекдотов? Что подумает о нас гость из России?

– Сарочка, дорогая, грусть значительно больший грех, чем безобидный смешной анекдот. Даже в тяжелое время остается место для шутки, для анекдота. И гость наш не ребенок, наверно, слышал и не такое... Итак, привели жениха к невесте. С любопытством и страхом обвел он глазами великие прелести невесты и шепотом спросил торжествующего свата: «И это все мне?..»

Соломон посмотрел на обедавших, в глазах его заиграли веселые искорки, но тут же погасли. До него дошло то, что раньше его поняла жена: смеющееся несчастье нелепо, если не кошунственно. Ребе, улыбаясь в бороду, покачал головой. Молодой варшавянин громко рассмеялся. Смех показался ему самому неуместным, он это почувствовал, оборвал его и уткнулся в тарелку. Мне анекдот показался «с бородой».

Обед продолжился в тягостном молчании.

После обеда слушали меня, и я как мог успокаивал моих собеседников. Я говорил правду. Они были приятно удивлены тем, что у нас преследуются публичные антисемитские выпады. Но я здесь нисколько не лакировал действительность. В те годы, во всяком случае, в Харькове, так и было. (Увы, это время ушло. Неужели безвозвратно?) Особенно успокоило их, что в Харькове есть еврейский театр и еврейские школы. То, что этим школам евреи предпочитают русские, я утаил.

Так прошел этот день в гостеприимном доме польского еврея Соломона. Потом служба завертелась. Строили полигон, выезжали на учения, полк перебросили на румынскую границу освобождать Северную Буковину, там тоже были братья, нуждавшиеся в руке помощи. Следующим летом я уехал в Москву, в академию. Больше я семью сонсядовицкого фактора не видел.

Между тем Холокост на жестоких, безжалостных лапах подкрадывался к европейскому еврейству. Наши войска на несколько лет оставили Львовщину, евреи этих мест были обречены. Что стало со знакомым семейством, я не знаю. Хочется верить, что сила рукопожатия Соломона меня не обманула и им удалось избежать печальной участи. Но в одном я уверен – корень этого еврейского рода уцелел. В Швейцарии оставался Иосиф – будущий врач, потомок Соломона.





географ, историк и литератор (под псевдонимом Нерлер). Сотрудник Института географии РАН, член Союза писателей Москвы, председатель Мандельштамовского общества. Живет в России.

НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО В ПРЕДЫСТОРИИ ХОЛОКОСТА*

Размышления над перепиской ценой в два миллиона жизней

В Российском государственном архиве социально-политической истории (бывшем Партархиве СССР) хранится поразительный документ. Это письмо начальника Переселенческого управления при СНК СССР Евгения Чекуменева председателю Совета народных комиссаров Вячеславу Молотову от 9 февраля 1940 года. Вот его полный текст:

Вх. 3440

СССР

Переселенческое управление при Союзе ССР

9 февраля 1940 г. № 01471с

г. Москва, Красная площадь, 3

Председателю Совета Народных Комиссаров т. Молотову В. М.

Переселенческим управлением при СНК СССР получены два письма от Берлинского и Венского переселенческих бюро по вопросу организации переселения еврейского населения из Германии в СССР – конкретно в Биробиджан и Западную Украину.

По соглашению Правительства СССР с Германией об эвакуации населения, на территории СССР, эвакуируются лишь украинцы, белорусы, русины и русские.

Считаем, что предложения указанных переселенческих бюро не могут быть приняты. Прошу указаний.

Начальник Переселенческого Управления при СНК СССР Чекуменев

Приложение: на 6-ти листах.

* Неприкосновенный запас. 2006. № 3.

Первым этот документ обнаружил и процитировал российский историк Геннадий Костырченко в своей книге «Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм». В контексте его исследования этот документ играл лишь второстепенную роль, и введение его в научный оборот прошло сначала почти незамеченным для историографии Холокоста.

Вместе с тем уже одни имена немецких отправителей письма – будь они в письме названы – заставили бы вздрогнуть. Если полагать, что письма из «Берлинского и Венского переселенческих бюро по вопросу организации переселения еврейского населения из Германии в СССР» были подписаны их руководителями, а поступили они к Чекменеву примерно за неделю до отправки им письма Молотову, то отправителями должны были бы быть не кто иные, как Адольф Эйхман от Берлинского бюро, а от Венского – Франц Йозеф Хубер. Последний сменил Франца Вальтера Шталекера – будущего оберпалача евреев Прибалтики – на посту инспектора полиции безопасности и СД в Вене и осуществлял общее руководство целым рядом организаций, в том числе и переселенческим бюро. Реальным же руководителем после отъезда Эйхмана в Берлин стал его бывший заместитель штурмбанфюрер СС Алоиз Бруннер, в январе 1941 года назначенный на эту должность и официально. Но надо всеми ними стоял руководитель РСХА и протектор Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих.

А вот имя их московского корреспондента – Евгения Михайловича Чекменева – мало что говорит даже искушенному российскому историку. Он родился в 1905 году и умер в 1963. С 1927 года в партии, закончил Московскую академию социалистического земледелия и Институт красной профессуры. С июня 1939 по апрель 1941 года Чекменев руководил переселенческим движением: он был начальником и председателем коллегии Переселенческого комитета (впоследствии Переселенческого управления) при СНК СССР. С апреля 1941 года заместитель наркома земледелия СССР, а с 1948-го – начальник Главного управления по защите лесов.

Переселенческое управление, в которое поступил запрос из Берлина и Вены, действительно, было наиболее корректным адресатом для Эйхмана и его коллег. То было ведомство, отвечавшее в СССР за планирование и организацию государственных переселений, осуществлявшихся, в основном, на добровольной основе. Этим оно отличалось от Главного управления лагерей НКВД (ГУЛАГ), отвечавшего за насильственные переселения (депортации) осужденных и заключенных, и Отдела спецпоселений НКВД, отвечавшего за депортации административно-репрессированных. Впрочем, если бы немецкие коллеги написали в НКВД, Лаврентию Берии, они бы тоже не промахнулись.

К сожалению, ни «Приложения на 6-ти листах» (а это, скорее всего, оригиналы писем из Германии вместе с их переводами), ни других примыкающих материалов ни в российских, ни в немецких архивах обнаружить пока не удалось. Однако существо отсутствующих немецких писем передано Чекменевым ясно и четко: Гитлер предлагает Сталину забрать себе всех евреев, оказавшихся к этому моменту на территории Третьего рейха. Но оно содержит не только

вопрос, но и столь же лаконичный ответ на этот вопрос: благодарим за лестное предложение, но забрать ваших евреев, извините, не можем!

Но для того чтобы лучше понять как вопрос, так и ответ, попробуем взглянуть на письма из Берлина и Вены как минимум с трех разных точек зрения – из перспектив отправителя, адресата и их взаимоотношений на тот момент, когда письма задумывались и писались.

Из перспективы отправителя

Итак, неназванными в послании Чекменева авторами писем из Вены и Берлина являлись, по служебному соответствию, только Алоиз Бруннер (или Франц Йозеф Хубер) и Адольф Эйхман. Из последующего, однако, станет ясно, что главным мотором всей интриги был, скорее всего, Эйхман.

С 1 октября 1934 года он служил в Главном управлении СД, референтом в реферате II 112 (Referat Juden). В этом еврейском (точнее, антиеврейском) реферате он занимался вопросами форсирования еврейской эмиграции из Германии, изучал иврит и идиш, знакомился с сионистскими лидерами. В 1938 году, вскоре после мартовского аншлюса Австрии, его переводят референтом того же антиеврейского реферата II 112 в Вену, в Управление руководителя СД в региональном управлении СС «Дунай», начальником которого был инспектор полиции безопасности и СД штандартенфюрер СС Франц Вальтер Шталецкер.

Еврейская эмиграция из Вены сталкивалась в это время с непредвиденными трудностями бюрократического порядка: евреи, в эмиграции которых государство было так заинтересовано, неделями были вынуждены простаивать в очередях. Одной из причин тому было первоочередное оформление документов состоятельных и платежеспособных евреев, привлекавших для этого немецких адвокатов с хорошими связями и плативших им за это хорошие деньги, что, конечно же, было недоступно беднякам. Социально (а не только национально) чувствительный Эйхман вступился за еврейских бедняков и восстановил, насколько возможно, «справедливость» в очереди на вышвыривание с родины. Оформление необходимых бумаг стоило около 1000 рейхсмарок и занимало от двух до трех месяцев.

Распоряжением рейхскомиссара по воссоединению Австрии с Третьим рейхом гауляйтера Иосифа Бюркеля от 20 августа 1938 года в Вене был создан Центр по осуществлению еврейской эмиграции – специальный орган в составе имперского МВД, призванный всесторонне регулировать (в смысле торопить и ускорять) эмиграцию австрийских евреев и уполномоченный выдавать им разрешения на выезд. В компетенцию Центра, располагавшегося во вполне символическом месте – бывшем дворце Ротшильда на Prinz-Eugen-Str. 22, – входило создание всех необходимых условий для эмиграции, включая переговоры со странами-реципиентами, обеспечение эмигрантов необходимыми суммами валюты, взаимодействие с туристическими и транспортными агентствами, привлекаемыми к решению технических вопросов эмиграции, наблюдение за еврейскими организациями с точки зрения их отношения к политике эмиг-

рации евреев, издание соответствующих инструкций и постоянное руководство этим процессом. Номинальным руководителем Центра был Шталеккер, а его заместителем и управляющим – унтерштурмфюрер СС Адольф Эйхман, его фактический инициатор, организатор и глава.

Первоначально полномочия Центра ограничивались только двумя провинциями – Веной и Нижним Дунаем. Однако к концу 1938 года его компетенции были распространены на всю Австрию (Остмарк). С упрощением валютных трансферов и с привлечением к оформлению необходимых документов Венской еврейской общины время обработки заявлений удалось сократить до восьми дней. В качестве характерного ноу-хау Эйхмана можно отметить принцип самофинансирования Центра: он содержался не на бюджетные средства, а за счет специального эмиграционного сбора, взимавшегося с выезжающих евреев. В результате за первые два с половиной месяца своей деятельности Центр выпроводил из Австрии 25 тысяч евреев, а всего за первые полтора года его существования около 150 тысяч австрийских евреев были вынуждены с его любезной помощью покинуть страну. Организации, аналогичные венскому Центру, были созданы также в Праге и Остраве.

В начале ноября 1938 года, то есть всего за несколько дней до Хрустальной ночи, Эйхман направил в Берлин штурмбанфюреру СС Эриху Эрлингеру отчет о деятельности Центра, в котором, в частности, напоминал о высказанной им еще в начале 1938 года инициативе организовать аналогичный орган во всеимперском масштабе. События 9 ноября добавили много нового в антиеврейскую проблематику, так что решение Гейдриха созвать в субботу, 12 ноября, совещание в РСХА, посвященное выработке стратегии рейха в еврейском вопросе, не выглядит странным. На этом совещании Герман Геринг, от имени Гитлера, подчеркивал перспективы плана «Мадагаскар», а Эйхман доложил о своем венском опыте и о целесообразности открытия в Берлине центра, аналогичного венскому.

Несмотря на погромные настроения Хрустальной ночи, «окончательное решение еврейского вопроса» в то время мыслилось тогда явно в категориях эмиграции, а не ликвидации. В своеобразном эмиграционном раже Эйхман договорился даже до того, что в середине февраля 1939 года, ссылаясь на более чем двукратный спад динамики заявлений на эмиграцию, предложил освободить из Дахау и Бухенвальда всех австрийских евреев, заключенных туда после 9 ноября 1938 года, и отправить их куда подальше за границу. Это предложение, однако, не встретило понимания в СС: Генрих Мюллер отверг его достаточно категорично.

Несмотря на противостояние еврейской иммиграции из рейха со стороны стран-реципиентов, показатели эмиграции и в начале 1939 года были достаточно высокими. Достигнуто это было отчасти благодаря поездкам за рубеж руководителей Венской еврейской общины и Палестинского бюро (последнее добивалось тогда для Австрии половинной квоты на легальный въезд в Палестину), увеличению числа так называемых «китайских транспортов» и мероприятиям по профессиональной переподготовке эмигрантов. «Китайские транспор-

ты» служили, насколько можно судить, лишь отчасти для переселения в Шанхай, но главным образом – для нелегальной иммиграции в Палестину.

Но прошло еще некоторое время, пока пропагандируемый Эйхманом орган был действительно организован Гейдрихом в Берлине. Это произошло на следующий день после того, как Гитлер произнес в Рейхстаге 30 января 1939 года свои язвительные слова о поведении демократических стран, проливающих слезы о судьбе несчастных немецких евреев и одновременно отказывающих им во въездных документах. Еще через восемь дней с похожими заявлениями выступил и Альфред Розенберг, чьей шокированной аудиторией были дипломатический корпус и иностранные журналисты: он потребовал от Англии, Франции и Голландии создания еврейского резервата на 15 миллионов человек где-нибудь на Мадагаскаре, в Гайане или на Аляске.

Новая организация получила название «Имперский центр по еврейской эмиграции». Получив назначение возглавить его с 1 октября 1939 года, Эйхман покидает Вену и возвращается в Берлин. Здесь, наряду с хлопотами об эмиграции, он приступает и к планированию принудительного переселения евреев в только что – 12 октября – созданное «генерал-губернаторство для оккупированных польских областей», а также внутри него, и если понадобится, то и из него. А 21 декабря 1939 года Гейдрих назначил Эйхмана главой спецреферата IV D 4 в РСХА, призванного координировать все переселения евреев и поляков на оккупированной польской территории. В результате Эйхман стал поистине ключевой фигурой не только в разработке концепции, но и в реализации всех программ и проектов по «решению еврейского вопроса».

Их венцом станет, в конечном счете, организация транзитных лагерей в западно-европейских странах и широкой сети гетто при железнодорожных узлах в оккупированных областях на Востоке, сосредоточение в них миллионов евреев – с последующей их депортацией в концлагеря и лагеря уничтожения. Как практику, ему еще многое предстоит обдумать, освоить и усовершенствовать. К познаниям в области иудаики и гебраистики придется присовокупить и сведения из химии и физиологии человека, помогающие найти правильное решение при ответе на такой, например, нелегкий вопрос: какой из выпускаемых промышленностью удушающих газов эффективнее и рентабельнее при ликвидации соответствующих порций людского материала. И глубоко заблуждаются те, кто считает его клерком, кабинетной крысой в нарукавниках: командировки в гетто и концлагеря доказывают обратное.

Первой акцией Эйхмана в Берлине стала так называемая операция «Ниско». После оккупации Польши в сентябре 1939 года в немецких руках оказалось почти вчетверо больше евреев, чем их было в Германии до прихода нацистов к власти, – около двух миллионов человек. Около полумиллиона из них проживали на землях, инкорпорированных непосредственно в рейх (два новоиспеченных райхсгау – Данциг–Западная Пруссия и Вартеланд, вобравший в себя Позен и восточную часть Верхней Силезии). Депортации и освобождение их от еврейского населения казались само собой разумеющейся и первостепенной задачей. Но возникал вопрос: а куда? Где это тихое, удаленное и не

предназначенное для «германизации» место? Где будет возрождена российская черта оседлости для евреев в ее немецком исполнении?

В течение сентября ответ на этот вопрос искали внутри будущего генерал-губернаторства: обсуждались идеи «еврейского государства» близ Кракова или «имперского гетто» в Люблине или близ Люблина. Уже в середине сентября 1939 года соответствующие слухи поползли среди еврейского населения бывшей Польши и даже просочились в прессу. В самом конце сентября Гитлер несколько раз высказывался о желании переселить все еврейство, в том числе и немецкое, куда-нибудь в Польшу, между Вислой и Бугом.

Так что ничего удивительного не было в том, что Эйхман и Шталеcker, по указанию начальника гестапо Мюллера от 6 октября 1939 года о депортации евреев из Вены, Катовице и Остравы, 12 октября выехали на трехдневную рекогносцировку в зону, в то время еще временно контролируемую Красной армией, и остановили свой выбор на пространстве площадью 20 тысяч квадратных километров между Вислой, Бугом и Саном со столицей в Люблине.

В эту резервацию, по их мнению, должны были свозить всех евреев со всей Европы, но в первую очередь из Германии, Австрии, бывшей Чехословакии и Польши. Тем самым она мыслилась как важнейшая составная часть стратегического плана по радикальной этноструктурной перестройке Восточной Европы в ходе ее германизации. 7 октября 1939 года фюрер назначил Гиммлера рейхскомиссаром по укреплению германской народности: в этом качестве он должен был курировать и вопросы депортаций поляков из районов, намеченных для сплошной аризации (например, из Данцига и Вартегау). Поляков же предполагалось частично переселить в районы, освобождаемые от евреев, так что связь всех этих усилий с тем, что неподалеку делал Эйхман, была самая прямая.

Собственно депортации евреев начались без какой бы то ни было раскочки – 9 октября 1939 года был отдан приказ о депортации из Остравы-Моравской и Катовице, а 10 октября – из Вены. Евреев заставляли подписывать заявления об их якобы добровольном переезде в «лагерь для переобучения». Станциями их отправления были Вена, Острава-Моравска и Катовице, а также Прага и Сошовице, а прибытия – главный лагерь Ниско на реке Сан, а также промежуточный лагерь в деревне Заречье на противоположном его берегу. Оба лагеря были совсем недалеко от советской границы, и некоторым евреям удавалось даже бежать в СССР.

Первый эшелон с 875 евреями был собран 17 октября и отправлен из Остравы 16 октября 1939 года, по пути, 20 октября, он подобрал часть евреев в Катовице и в тот же день прибыл в Ниско. Всего с 17–18 по 29 октября в Ниско пришло шесть эшелонов, в которых находилось 4–5 тысяч человек.

С собой разрешалось брать до 50 килограммов багажа, помещающегося в сетке вагона над занятым местом. Приборы и инструменты можно было сдать в багаж. Разрешалось иметь два теплых костюма, зимнее пальто, плащ, две пары сапог, две пары нижнего белья, платки, носки, рабочий костюм, спиртовку, керосинку, столовый прибор, ножик, ножницы, карманный фонарик с запасной батареей, подсвечник, спички, нитки, иголки, тальк, рюкзак, термос, еду. Де-

нег – не более 200 рейхсмарок. Освобождение от переселения было возможно либо по причине болезни (официально засвидетельствованной), либо при наличии документов, подтверждающих эмиграцию в другую страну.

Казалось, у резервата Ниско-на-Сане было большое будущее. Между тем уже 27 октября депортации были прекращены, главным образом из-за протеста только что назначенного на должность генерал-губернатора Ханса Франка, желавшего всю свою вотчину видеть и сделать «юденфрай». При этом сам лагерь в Ниско был закрыт только в июне 1940 года, когда все его обитатели были возвращены в города, откуда их привезли.

Так что же, ведомственная власть, пусть и СС, проиграла власти территориальной? Едва ли – что бы ни говорил себе Франк. Скорее, тут конфликтующими сторонами были две внутриведомственные силы или, еще точнее, два взаимодополняющих, но вместе с тем и конкурирующих друг с другом «проекта» Третьего рейха – еврейская эмиграция и немецкая иммиграция.

Их интересы столкнулись напрямую: первые корабли из Риги и Ревеля (Таллина) прибыли в Данциг практически в те же самые дни, что и первые венские евреи в Ниско, – во второй половине второй декады октября. Всего из Прибалтики и Волыни планировалось переселить в Вартегау около 200 тысяч фольксдойче, но сам Вартегау, соответственно, предстояло перед этим ускоренно освободить от евреев и поляков. Первоначально речь шла о необходимости переселить оттуда до конца 1940 года 80–90 тысяч евреев и поляков, а потом еще около 160 тысяч одних только поляков.

Но сил на все не хватало, и приоритет был отдан именно задаче иммиграции, подталкиваемой и еще одним фактором: уже в конце октября СССР ввел свои войска в прибалтийские страны, и Германия, как никто другой, твердо знала, что за этим последует аннексия.

Дополнительным серьезным фактором стала и новая идея фикс обретения еврейского резервата – так называемый план «Мадагаскар». Сам по себе этот экзотический остров как место возможного еврейского заселения впервые возник еще в начале века, в сугубо еврейско-сионистских кругах. Первой страной, поднявшей вопрос об эмиграции сюда еврейского населения, стала, однако, не Германия, а Польша, в 1937 году даже посылавшая на остров специальную польско-еврейскую комиссию. Сами евреи отнеслись к этой идее саркастически, французы – крайне сдержанно, а мадагаскарцы – горячо протестовали против нее.

Но сама идея не забылась, и в 1938–1939 годах, особенно после провала конференции в Эвиане, ее подняли на щит нацисты. План «Мадагаскар» представлялся им наименее болезненным средством по обезьеиванию Европы, причем в качестве возможной «альтернативы» французскому Мадагаскару дебатировалась еще британская Гвиана и бывшая германская юго-западная Африка. В декабре 1939 года министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп изложил папе римскому мирный план, предусматривавший среди прочего и эмиграцию немецких евреев: в качестве стран иммиграции в этом плане рассматривались Палестина, Эфиопия и все тот же Мадагаскар. Котировки Мада-

гаскара подскочили особенно высоко после поражения, нанесенного Германией Франции: победитель потребовал себе мандат на управление островом. В начале июня 1940 года начальник еврейского отдела в Auswärtiges Amt Франц Радемахер представил план, согласно которому 25 тысяч французов покинут тропический остров, Германия организует на нем военно-морскую и военно-воздушную базы, а на неоккупированную часть Мадагаскара завезут 4–5 миллионов евреев, которые будут заниматься сельскохозяйственной деятельностью под надзором назначаемого Гиммлером полицей-губернатора.

Впрочем, по мнению Арно Люстигера, и «Мадагаскар» являлся уже вполне людоедским проектом: этот «райский остров» в климатическом отношении мало напоминал рай для европейских евреев, и по-настоящему акклиматизироваться там они, скорее всего, не смогли бы. От этого плана всерьез отказались только в начале осени 1940 года, когда Гитлер принял решение о нападении на СССР.

Таким образом, письма Эйхмана и Шталекера Чекменеву документируют доселе совершенно неизвестный проект «решения еврейского вопроса» – посредством эмиграции, эвакуации или депортации (как ее ни назови) немецко-австрийского, чешского и польского еврейства в СССР. Если датировать зарождение и обсуждение идеи декабрем 1939 – январем 1940 года, а отправку писем – концом января 1940-го, то русский проект Эйхмана (назовем его условно проект «Биробиджан») ложится прямо между эпицентрами двух других крупных депортационных проектов – эксперимента «Ниско» и плана «Мадагаскар».

Есть основания полагать, что, как и в случае с Ниско, это была если не импровизация, то уж чисто ведомственная инициатива РСХА. Если бы это было иначе, то и генерал-губернатор Ханс Франк был бы в курсе столь многообещающих планов, а он, судя по всему, ничего о такой блестящей депортационной перспективе не знал. Во всяком случае, в своем обобщающем обзоре предстоящих в генерал-губернаторстве кампаний по массовому переселению он ее ни разу прямо не упомянул.

В каждом из трех проектов немцами двигала та или иная конкретная надежда: в проекте «Биробиджан» это была, наверное, надежда на «жидо-большевистский» Интернационал, а также, возможно, расчет на неизбежное разочарование советской стороны результатами вербовки на переезд в СССР среди беженцев из числа украинцев и белорусов в генерал-губернаторстве.

Впрочем, в конце лета и в самом начале осени 1940 года несколько десятков или сотен венских евреев все-таки проследовали через Биробиджан. Это были те счастливчики, которые сумели получить через «Интурист» транзитную советскую визу и были доставлены транссибирским экспрессом в Маньчжоу-Го для дальнейшего следования в Японию, Шанхай или на Филиппины. Согласно данным профессора Хо Хина из Нанкинского университета, этот железнодорожный коридор открылся не ранее 11 июня 1940 года (после того как доставка морским путем стала невозможной) и закрылся не позднее 7 декабря 1941-го.

Следующий «краткосрочный проект» еврейской депортации был сформулирован, скорее всего, на совещании у Эйхмана в Берлине, состоявшемся

17 декабря 1940 года. Для освобождения места для фольксдойче, ожидавших из Бессарабии, Буковины, Добруджи и Литвы, к выселению в генерал-губернаторство было намечено не менее 831 тысячи поляков и евреев, плюс еще 200 тысяч человек – в интересах устройства армейских полигонов. Фактические депортации начались в конце января, охватили 25 тысяч человек, в том числе 9 тысяч евреев, а 15 марта 1941 года – в который уже раз! – были прекращены: подготовка к нападению на СССР и чисто военные приоритеты сделали и эти планы неосуществленными.

Победа над СССР и оккупация большей части его европейской территории открывали перед стратегами антисемитизма совершенно новые и еще более заманчивые перспективы «окончательного решения еврейского вопроса». Европейских евреев было бы достаточно депортировать на Крайний Север или в Сибирь, где они, скорее всего, и сами бесследно исчезли бы.

Но провал блицкрига развеял и эту задумку фюрера, так и не получившую основательного развития. Но нельзя не вспомнить и того, что в конце 1941 года целая серия эшелонов доставила немецких евреев из Берлина, Кёльна и Гамбурга в Ригу и Минск, где все они вскоре – или же с некоторой отсрочкой – были уничтожены.

Из перспективы адресата

Согласно сталинскому определению, тот, и только тот, народ заслуживает обозначения нации, который располагает собственной, национальной, территорией и государственностью. С этой точки зрения евреи, определенно (в глазах и Сталина) являясь нацией, решительно не подпадали под его дефиницию: выход из теоретического тупика мог быть найден только в создании еврейской государственности, и лучше всего – в пределах СССР. Это позволило бы одновременно решить еще две важные задачи – внутривластическую и международную: во-первых, разгрузить ареал расселения еврейской бедноты в СССР, навязанный ему чертой оседлости царской России и явно аграрно перенаселенный, а во-вторых – перехватить у сионистского проекта и международную еврейскую иммиграцию, а с нею и приличный капитал. Потенциал внутренней миграции оценивался в сотни тысяч человек, а международной иммиграции – в десятки тысяч.

Отсюда – обилие альтернативных проектов аграрного переселения евреев, обсуждавшихся в СССР уже в 1920-е годы. Первые два проекта выдвинула еврейская секция РКП(б) во главе с Абрамом Брагиным: это создание Еврейской республики или в Белоруссии, или на территории Северного Крыма, степной полосы Украины и Черноморского побережья (вплоть до границ Абхазии). Позднее этот проект ужался до организации еврейской республики в одном только Северном Крыму и расселения там примерно 280 тысяч евреев.

Проблемой создания национальной государственности евреев специально занимались Госкомитет по земельному устройству еврейских трудящихся при президиуме Совета национальностей ЦИК СССР (КомЗЕТ), который возглавля-

лял Петр Смидович, и Общественный комитет по земельному устройству еврейских трудящихся (ОЗЕТ) во главе с Юрием Лариным (Михаил (Михоэл) Лурье). На Западе в лице «Агро-Джойнта» объявился богатый спонсор, обещавший в октябре 1922 года, что вместе с другими благотворителями выделит на это 1 млн 240 тысяч долларов. Сверху идее благоволили Лев Троцкий, Лев Каменев, Николай Бухарин, Георгий Чичерин, Михаил Калинин и председатель Всеукраинского ЦИКа Григорий Петровский. Среди ее противников – нарком земледелия РСФСР Александр Смирнов, нарком юстиции Украины Николай Скрыпник и секретарь ЦК КПУ Эммануил Квириг. Считается, что позиция самого Сталина была нейтрально-доброжелательной.

И, тем не менее, КомЗЕТ принял решение о заселении свободных площадей в районе уже существовавших еврейских колоний на юге Украины и Северного Крыма. 11 февраля 1926 года была создана комиссия под председательством Михаила Калинина, по представлению которой Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение, гласившее: «Держать курс на возможность организации автономной еврейской единицы при благоприятных результатах переселения». На проходившем в ноябре того же года съезде ОЗЕТ Калинин приветствовал идею автономии «...в рамках большой задачи сохранения еврейской национальности», для решения которой, по его словам, необходимо было «...превратить значительную часть еврейского населения в оседлое крестьянское, сельскохозяйственное, компактное население, измеряемое, по крайней мере, сотнями тысяч». Это заявление, по аналогии с известной «Декларацией Бальфура», окрестили «Декларацией Калинина».

В 1922–1936 годах в Северном Крыму и на Украине было создано пять еврейских национальных районов, 213 еврейских колхозов с 11 тысячами хозяйств и более 40 еврейских сельхозпоселений. Численность евреев в Крыму неизменно росла и достигла к 1939 году 65 тысяч человек: на них приходилось 8% городского и 3% сельского населения Крыма. В то же время привилегии евреев в землеустройстве, их поддержка из-за границы сельхозтехникой, семенами и породистым скотом вызывали зависть и массовый антисемитизм у славянских соседей, в не меньшей степени страдавших от малоземелья. В результате идея еврейской государственности в Тавриде была встречена в штыки и не прошла.

В годы войны еврейское население Крыма исчезло с лица земли: немцы истребили здесь не менее 67 тысяч евреев и крымчаков (караимов не трогали). В 1944–1946 годах по инициативе Еврейского антифашистского комитета вновь рассматривался «Крымский вариант» еврейской государственности – и с тем же успехом. Идею поддержал Молотов, но на этот раз резким ее противником оказался Сталин.

Наиболее удавшийся (или, по крайней мере, не полностью провалившийся) проект – дальневосточный: переселение еврейских аграриев на четыре с половиной миллиона гектаров плодородных и незаселенных земель в районе рек Бира и Биджан в левобережье Амура, закрепленных за КомЗЕТОм еще в 1927 году. Намечалось переселить туда 60 тысяч человек до конца первой пя-

тилетки и еще 150 тысяч – к концу второй. К 1938 году общая численность еврейского населения в области должна была достигнуть 300 тысяч человек.

Но за первые два года (считая от 1928-го) туда не переселилось и двух тысяч евреев. Не помогли ни принудительная демобилизация евреев-красноармейцев, ни рекламные кампании за рубежом, ни даже провозглашение в этом районе Еврейской национальной автономии. За 1928–1933 годы сюда переселилось около 20 тысяч советских евреев и полторы тысячи евреев из Литвы, но при этом более 11,5 тысячи (или почти три пятых) переселенцев успели покинуть «Красный Сион» в Приамурье. Вместо 60 тысяч евреев в Биробиджане к концу пятилетки насчитывалось всего 8 тысяч. И хотя в 1927 году там была конституирована существующая и поныне Еврейская автономная область, глобальной конкуренции с сионизмом и с его идеей сосредоточения евреев в Палестине Биробиджану и большевизму выдержать не удалось.

Тем не менее председатель правления «Агро-Джойнта» Джеймс Розенберг вел переговоры с Михаилом Калининым по поводу размещения европейских евреев в Биробиджане и обещал им полное субсидирование проекта. Правительство СССР обнародовало планы обустройства в 1935 году четырех тысяч семей советских евреев и тысячи семей евреев-иностранцев. Их переселение, правда, оговаривалось весьма жесткими условиями: «...Все переселяемые из-за границы принимают советское гражданство до въезда в СССР и обязуются не менее трех лет работать в пределах Еврейской автономной области. Отбор переселяемых ОЗЕТОМ производится в основном на территории, входившей до империалистической войны в состав Российской империи. Переселяющиеся в СССР должны иметь при себе 200 долларов».

Но в действительности все было еще жестче – квоты на въезд постоянно уменьшались. Так, в 1936–1937 годах было заявлено, что Биробиджан сумеет принять не более 150–200 семей из Польши, Литвы и Румынии – ученых, инженеров и врачей.

К этому времени в СССР повсюду разгорелись тотальная шпиономания и установился Большой террор 1937–1938 годов, одной из первых и главных жертв которого были находящиеся в СССР иностранцы. Репрессии уничтожили многих евреев-иммигрантов, а также сотрудников многих внутрисоюзных и международных организаций, практически занимавшихся переселением евреев в СССР.

В 1938 году деятельность «Агро-Джойнта» в СССР была запрещена, и начиная с 1938 года переселение иностранцев-евреев в Биробиджан стало практически невозможным. СССР не проявил ни малейшего интереса и к международной конференции о глобальной судьбе еврейских беженцев, созванной по инициативе США и прошедшей на французском курорте Эвиан с 5 по 16 июля 1938 года.

Вместе с тем именно в эти годы – и всячески подчеркивая при этом свой интернациональный долг – СССР принял тысячи испанских беженцев. Интернациональные чувства по отношению к противникам и жертвам национал-социалистического террора в самой Германии ограничивались лишь немноги-

ми коммунистами и их семьями, а также некоторыми знаменитостями, вроде чемпиона мира по шахматам Эмануила Ласкера.

Тем не менее именно СССР оказался практически единственной страной, принявшей у себя значительное количество еврейских беженцев из западной Польши, оккупированной немцами в сентябре 1939 года.

Из совместной перспективы отправителя и адресата

После военного раздела Польши успехи германо-советского взаимодействия продолжились и в других областях, в частности в сфере обмена населением. В том же октябре 1939 года, после «освободительного похода» Красной армии в Восточную Польшу, была создана смешанная германо-советская комиссия по эвакуации. Ее советским и немецким сопредседателями были Максим Литвинов (весной 1939-го снятый с поста наркома иностранных дел СССР) и Курт фон Ремпхохенер. Подписи обоих стоят под «Соглашением между правительством СССР и правительством Германии об эвакуации украинского и белорусского населения с территорий бывшей Польши, отошедших в зону государственных интересов Германии, и немецкого населения с территорий бывшей Польши, отошедших в зону государственных интересов Союза ССР», подписанным в Москве 16 ноября 1940 года.

Главными уполномоченными по реализации договора с советской и немецкой стороны были майор Я. Синицын и оберштурмбанфюрер СС Х. Хофмайер, местонахождением ставок обоих был Луцк на советской стороне; целый ряд представительств обеих сторон действовали и в других городах, как, например, немецкие представительства во Львове, Стрые или Станиславе или советские представительства в Холме и Ярославле. Эта репатриация носила строго этнический характер: ни славяне, ни евреи, даже если они были членами «арийских» семей, под ее действие не попадали, а арийцам настоятельно рекомендовали разводиться со столь «неполноценными» и «нежелательными» супругами.

Первый транспорт с 1050 переселенцами был отправлен из Владимира-Волынского 20 декабря 1939 года. К началу 1940 года число переселившихся превысило 26 тысяч человек, а вся эвакуация была завершена к 4 февраля, охватив около 130–131 тысячи. По другим данным, к 8 февраля 1940 года было эвакуировано на запад до 128 тысяч лиц немецкого происхождения, в том числе и 15 тысяч поляков, могущих, по мнению комиссии, претендовать на «немецкость».

Члены немецкой комиссии не скрывали гордости достигнутым в кратчайшие сроки (всего за шесть недель!) результатом – почти полной очисткой бывшей Восточной Польши от остатков немецкого населения. Лишь крайне незначительная часть, не вняв ни уговорам немецких, ни угрозам советских властей, отказалась от переезда: это были в основном баптисты и католики, опасавшиеся религиозных преследований в Германии.

Число желающих эвакуироваться в противоположном направлении соста-

вило около 40 тысяч, и среди них немало евреев, но советская сторона согласилась принять только 20 тысяч из них. Позднее, в конце декабря, она согласилась принять еще 14 тысяч человек (преимущественно евреев), одновременно высылая в немецкую зону около 60 тысяч, не принявших советизации (евреи были и среди них). Подчеркнутое отсутствие интереса со стороны СССР к судьбе польских евреев проявлялось начиная с первых же заседаний смешанной комиссии.

Сотрудник Главного немецкого штаба по эвакуации в Луцке Брюкнер приводит в своем дневнике такой случай. В начале декабря 1939 года на пограничный переход у моста через Буг возле местечка Сокол прибыл состав с евреями из генерал-губернаторства. Советские пограничники не пропустили их, а когда те стали все равно прорываться через заслон, то открыли по ним огонь. Когда евреи развернулись и пошли в германскую сторону, то и оттуда их встретили выстрелы. Несколько человек прыгнули в Буг и поплыли на советский берег, один человек утонул. И только через час, после консультаций с высшими начальниками, эту группу пропустили в СССР. Один из советских офицеров так прокомментировал эту сцену: «Значит, немцы в Германию, в Россию русские, а евреи – в Буг?»

После нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года множество мирных польских граждан – преимущественно евреев – бросили насиженные места и бежали от немцев на «спасительный» восток, в сторону СССР. Все они после 17 сентября 1939 года оказались не в соседнем государстве, а в руках у другого – восточного – агрессора. В этих несколько изменившихся обстоятельствах часть из них сделала свой выбор не в пользу СССР и подала заявления на эвакуацию в Германию, благо оба агрессора заключили друг с другом 16 ноября 1939 года соглашение об обоюдной эвакуации некоторых групп населения. Хотя соглашение и действовало по принципу «восточные немцы в обмен на западных украинцев и белорусов», заявления принимались от всех желающих, проживавших до 1 сентября 1939 года по ту сторону демаркационной линии. Все первое полугодие 1940 года в Бресте, Владимире-Волынском и Перемышле (с 13 мая – во Львове) работали три германские пропускные комиссии.

С завершением эвакуации немцев процесс обмена населением на пространстве бывшей Польши, судя по всему, не закончился: нерешенными оставались чисто операционные вопросы – обмен бывшими польскими гражданами по признаку их проживания до начала войны. Число заявлений о разрешении возвратиться в западные районы Польши подали в общей сложности 164 тысячи человек, главным образом поляки. Сроком завершения эвакуации было назначено 15 мая 1940 года, но позднее он был продлен еще на две-три недели. Все это время на аннексированных восточно-польских территориях непостоянно и небольшими группами, но все же находились немецкие офицеры из комиссий по эвакуации.

Уже в первые дни сентября 1939 года, когда вермахт захватывал Западную Польшу, в восточных ее воеводствах стало накапливаться значительное количество еврейских беженцев из западных воеводств – около 150–200 тысяч из

общего количества приблизительно в два миллиона евреев, проживавших до этого в Западной Польше. После аннексии Восточной Польши Красной армией и «воссоединения» с советскими Белоруссией и Украиной все они оказались в СССР, причем приток беженцев продолжался и после 17 сентября. На территории, захваченной самим СССР, постоянно проживало, по оценкам Мордеха Альтшулера, 1 млн 292 тысячи бывших польских евреев.

Большинство еврейских беженцев предпочитало Сталина Гитлеру и жизнь в СССР – лишь бы не остаться у немцев. Евгений Розенблат пишет, что тем самым они совершали «бегство из реальности в миф», в частности в миф о справедливом советском строе. По нашему мнению, все это ни на секунду не выходило за рамки «реальности» – из одной скверной реальности люди бежали в другую, в надежде, что все-таки она лучше и безопасней, чем та, что они в панике покинули.

Отношение к ним со стороны советской власти, согласно тому же Розенблату, прошло несколько фаз – от «благожелательно-лояльного» осенью 1939 года через «выжидательно-корректное» в первой половине 1940 года и до «требовательно-жесткого» начиная с лета 1940 года, когда значительная часть польско-еврейских беженцев была депортирована на восток СССР.

В начале октября 1939 года первоочередной была задача регистрации и учета: но уже тогда было ясно, что их так много (в одном только Белостоке – от 10 до 25 тысяч человек!), что перераспределение и переселение в другие места неизбежны. Этот вопрос обсуждался на заседании бюро ЦК КП(б) Белоруссии 14 октября 1939 года, постановившем создать специальную правительственную комиссию по размещению и трудоустройству беженцев на территории БССР. Постановлением Совнаркома БССР № 773 от 25 октября 1939 года такая комиссия во главе с И. Гориным, действительно, была создана. Общее количество беженцев в одной только Белоруссии, по ее данным на декабрь 1939 года, составило около 120 тысяч человек. Комиссия рекомендовала разгрузить восемь городов – центров скопления беженцев (Белосток, Брест-Литовск, Гродно, Барановичи, Пинск, Лида, Молодечно, Слоним) и переселить «излишки» в восточные области республики, где предложить физическую работу (на торфоразработках, например). Около 23 тысяч было переселено уже к концу октября 1939 года, из них примерно пятая часть, не найдя себе работы по специальности, к февралю 1940 года вернулась в западные области (где трудоустроиться, впрочем, было еще сложнее).

10 ноября 1939 года постановлением СНК СССР № 1855/486 была создана советская комиссия под председательством Лаврентия Берии по вопросу учета и трудового использования беженцев как рабочей силы, которой поручались также вопросы «обратной эвакуации» (то есть выдворения в Германию) неблагонадежных или нетрудоспособных беженцев. Около 25 тысяч отказались принять советское гражданство и решительно потребовали отправки в Палестину или западно-европейские страны: таких, к неудовольствию немцев, немедленно эвакуировали обратно, а часть была даже арестована. Другая часть спокойно приняла советское гражданство и даже завербовалась на работы внутри

СССР, но большинство все же попыталось осесть и закрепиться на новой советской и бывшей польской земле.

Политика советских властей по отношению к еврейским беженцам носила, как справедливо заметил Евгений Розенблат, во многом «импровизационный характер». Так, в начале 1940 года в Белостоке действовал запрет брать беженцев на работу через отделы труда, что в постановлении бюро Белостокского обкома КП(б) Белоруссии от 4 февраля 1940 года было расценено как мера, подталкивающая беженцев к спекуляции, и осуждено.

Вместе с тем, и попытки советской власти распорядиться беженцами точно так же, как и остальным советским населением, перевоспитать их и навязать те виды трудовой деятельности, к которым они – портные, ремесленники, рабочие, торговцы – были совершенно не приучены, в целом не увенчались успехом. Часть из них отказывалась принять советское гражданство. Отношение к *таким* беженцам стало настороженным, их рассматривали как социально чуждый и дестабилизирующий элемент.

Те из беженцев, кто смог найти крышу над головой у своих родственников в советской зоне, кто принял или согласился принять советское гражданство, могли чувствовать себя – по крайней мере, до 22 июня 1941 года – в относительной безопасности. Остальных же ожидала депортация – на север европейской части и пусть и в Западную, но Сибирь, – правда, ждать ее пришлось относительно долго.

Собственно, к депортационной зачистке новоприобретенной польской территории Советы приступили в середине февраля – то есть буквально сразу же после того, как из больших городов уехали немецкие эвакуационные комиссии. Уже 10 февраля 1940 года была проведена первая и самая большая операция такого рода – депортация около 140 тысяч «спецпереселенцев-осадников». «Осадниками» назывались бывшие военнослужащие польской армии, отличившиеся в польско-советской войне 1920 года и получившие за это в 1920–1930-е годы от благодарного отечества земельные наделы в восточных районах, населенных преимущественно белорусами и украинцами. В апреле (9 и 13 числа) последовала депортация 60 тысяч так называемых «административно-высланных». В их число входили члены семей расстрелянных польских офицеров, полицейских, жандармов, госслужащих, помещиков, фабрикантов и участников повстанческих организаций; среди них были и учителя, мелкие торговцы и даже крестьяне побогаче, пресловутые «кулаки». Интересно, что еще раньше, 9 апреля 1940 года, чести быть депортированными, причем отдельно от остальных, удостоились проститутки. Большинство депортированных составляли поляки, небольшая часть – украинцы и белорусы.

А вот третья депортационная волна из числа граждан бывшей Польши была почти исключительно (на 85–90%) еврейской. Контингент назывался «спецпереселенцы-беженцы» и состоял из тех, кто бежал на восток от наступающего вермахта: таких рассматривали как «интернированных эмигрантов». Намеченная еще в марте, их депортация могла состояться не ранее середины июня 1940 года, когда из СССР уехала последняя немецкая комиссия, принимавшая

индивидуальные заявления граждан о переселении на территорию, контролируемую Германией.

Фактически же она состоялась только 29 июня 1940 года. Около 77 тысяч человек направили в спецпоселки на севере СССР – в Архангельской, Свердловской и Кировской областях – для использования, главным образом, на лесоразработках. Вместе с тем большинство беженцев до войны были мелкими ремесленниками и торговцами, врачами и так далее.

Экономическую эффективность использования людей с такими профессиями можно было бы поставить под сомнение с самого начала. Но нельзя не отметить, что большинству этих людей огорчительный отказ немцев в приеме обратно и отвратительная действительность советской депортации спасли жизнь.

...Как бы то ни было, в начале 1940 года во власти немцев оказалось весьма многочисленное еврейское население – до 350–400 тысяч человек в самом рейхе (включая сюда и австрийских евреев, и евреев Чехии и Моравии) плюс более чем 1,8 миллиона в генерал-губернаторстве, на бывших польских территориях. Именно о них, в сущности, и говорится в письме товарищу Чекменеву. Избавиться от них было и психопатической мечтой, и политической целью Гитлера.

Но был ли этот подарок желанен Сталину? Подарок в 2,2 миллиона евреев – 2,2 миллиона людей с мелко- и крупнобуржуазной психологией? Даже с полутора сотнями тысяч польских евреев государство уже так основательно помучилось, отправляя их на торфоразработки или же депортируя! Да и кто знает, не скрывается ли под личиной этого лавочника или того портного немецкий шпион? И если разрешить им вольное проживание по всей стране, то сколько же сил, энергии и затрат потребуется на их чекистско-оперативное обслуживание? И не отправлять же их всех в ГУЛАГ или на спецпоселение, как это было решено и сделано по отношению к нескольким десяткам тысяч еврейских беженцев из Польши?

А если расселить их на Западной Украине, как предлагали немцы, то там ведь и так уже почти 1,4 миллиона «трофейных» польских евреев! Куда бы их самих деть, учитывая вероятное стратегическое значение этого региона в недалеком будущем?

А если отправить их в резерват «Биробиджан-на-Амуре», как это тоже предлагали наивные немцы, то ведь он предназначен для нескольких сотен тысяч человек и его инфраструктура явно не рассчитана на переваривание и укоренение такой массы! Да, Еврейская автономная область остро нуждалась в притоке еврейского населения и даже просила Кремль помочь ей переселить на свою территорию в течение двух-трех лет 30–40 тысяч евреев из Западной Украины и Западной Белоруссии, но более чем 15 тысяч человек в год она была просто не в состоянии «переварить».

Итак, отказ СССР от столь лестного предложения Германии был запрограммирован. Приведенные Чекменевым сугубо формальные соображения, в сущности, смехотворны и даже немного лукавы. Ничто не привязывало и к

уже действующим соглашениям – при обоюдном желании можно было легко заключить новый договор. Истинные мотивы отказа лежали скорее в другом – в патологической шпиономании сталинского режима, в подозрительно-недоверчивом отношении к классово-буржуазной еврейской массе из капиталистических стран, а также в колоссальных масштабах предложенной Берлином иммиграции.

Не знаю, отдавали ли себе Молотов и Сталин полный отчет в том, какими последствиями для европейского еврейства обернется их отказ? Сталин, который уже через месяц сам решится на уничтожение польского офицерства, и Молотов, в то время не только председатель Совнаркома, но еще и нарком иностранных дел, вполне могли бы просчитать, что станет с евреями в гетто и концлагерях, когда рутинная депортация уже не будет решать всей проблемы.

По крайней мере, другой советский дипломат – Федор Раскольников (бывший посол в Болгарии и невозвращенец-эмигрант) – прекрасно уловил последствия такого отказа. Еще в сентябре 1939 года он обратился к Сталину с поистине пророческим открытым письмом: «Еврейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая на своих огромных просторах может приютить многие тысячи эмигрантов».

Конечно, проще всего было бы откликнуться на обнаруженный документ восклицанием типа: «Ах, оказывается, евреев Германии, Австрии и Польши можно было спасти! Гитлер предлагал их Сталину, а тот не согласился, не спас, оставил их на погибель!»

Но думать так было бы очень большим упрощением ситуации. СССР преследовал свои собственные интересы, реализации которых массовое прибытие евреев могло только помешать. И Сталин не был бы Сталиным, если бы руководствовался морально-вероятностными императивами или просто клюнул бы на удочку Гитлера.

Получив отказ (или, что еще более вероятно, не получив из Москвы никакого ответа), Эйхман едва ли расстроился. Он, привыкший изучать и знать своего врага, был готов и к этому.

Но серия неудач с территориальным решением еврейского вопроса – Ниско, Биробиджан, Мадагаскар – безусловно, подтолкнула его к поиску и продумыванию других путей «разрешения» этой проблемы – путей экстерриториальных, куда более радикальных и абсолютно надежных. Казнь вместо высылки, газовые камеры вместо гетто, яры и карьеры вместо лагерей, братские могилы вместо Мадагаскара или Сибири.

Да, вопрос тогда так и остался открытым. Но ненадолго – года на полтора.

Его позднейшее и иное решение, как известно, вошло в историю под страшным именем Шоа.



БОЙ С ТЕНЬЮ*

Террористические атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне, предпринятые пять лет назад тогда еще малоизвестной исламистской группировкой «Аль-Каеда», некоторые исследователи считают началом Четвертой мировой войны – войны, которую ведет мировой терроризм против цивилизованного мира. С этим тезисом можно спорить, ссылаясь на то, что терроризм вечен, но следует признать, что 11 сентября 2001 г. стало переломным моментом в истории терроризма. Официальное объявление Соединенными Штатами глобальной войны терроризму явилось ответом многочисленным разнообразным организациям, ведущим перманентную войну с «империализмом», «мировым сионизмом», «новыми крестоносцами» и просто с «неверными».

Первая скрипка

Терроризм – исламский, левацкий, националистический и уголовный – постепенно объединяется в единую сетевую структуру в мировом масштабе. Националистические сепаратистские движения, за несколькими исключениями, одновременно являются марксистскими (Рабочая партия Курдистана, «Тигры освобождения Тамил Илама», Ирландская республиканская армия, баскская группировка ЭТА, все сепаратистские движения в Индии), что обеспечивает тесную связь между левым экстремизмом и ультранационализмом. Боевики ИРА и ЭТА тесно сотрудничают с колумбийскими Революционными вооруженными силами (ФАРК), партизаны РПК в Турции – с ультралевыми боевиками «Дев-генч» и «Дев-сол», индийские «фронты освобождения» народов на-

* Новое время.

га, мизо, ассамцев, бодо – с маоистами-«наксалитами», бирманские сепаратисты – с партизанами-коммунистами. Связи левых экстремистов (ИРА, ЭТА, немецкая «Фракция красной армии», итальянские «Красные бригады», «Японская красная армия») с исламскими террористами, в первую очередь с палестинскими и ливанскими, прослеживаются с конца 60-х годов XX века. В последнее время американские спецслужбы фиксируют контакты между салафистскими группировками, включая «Аль-Каеду», с уголовными бандформированиями «марас» Центральной Америки, с колумбийскими, мексиканскими и бразильскими наркокартелями. Существующее отдельно от лево-националистическо-исламско-уголовного бульона правозэкстремистское движение в последние годы сильно ослабло, его влияние сохраняется лишь в нескольких странах (неонацисты, скинхеды в Европе и в России, «эскадроны смерти» в латиноамериканских странах).

При этом в ряде стран наблюдается переход ультраправых террористов в ряды исламистов – так когда-то мощная турецкая группировка «Серые волки» (до 200 тысяч боевиков в 1978 г.) почти полностью влилась в ряды исламистов. «Всемирная паутина», электронные денежные переводы и мобильная связь дают возможность террористическим организациям легко поддерживать контакты.

Поскольку в террористическом бульоне участвуют вполне светские левые движения, говорить о конфликте между христианской и исламской цивилизациями неверно. Тем не менее с 70-х годов XX века в террористическом интернационале первую скрипку играют исламисты. Искренняя, спонтанная радость, охватившая весь исламский мир 11 сентября 2001 г., наглядно показывает, что у адептов всемирного джихада есть основания надеяться на поддержку большинства мусульман. В России и в Европе хватало тех, кто злорадствовал по поводу терактов 11 сентября, но главенствовали совсем другие настроения – люди пошли с цветами к посольствам США. Ненависть к «сионистам, крестоносцам и капитализму» в мусульманских общинах очень сильна, и вот в начале августа в Багдаде, спасенном американцами от диктатуры Саддама Хусейна, проходит колоссальная манифестация шиитов (самой угнетенной и истребляемой при Саддаме общины Ирака). Парадокс, но они вовсе не возносили слова благодарности освободившим их войскам антисаддамовской коалиции, а скандировали «Смерть Америке!» Ислам не ведет войну против Запада, но радикальные антизападные настроения там настолько сильны, что вербовать людей в террористические группировки в мусульманских странах гораздо легче, чем в неисламских. И правительства исламских государств зачастую опасаются предпринимать решительные действия против террористов, так как за ними – сочувствие миллионов.

Спустя пять лет после объявления войны терроризму победа представляется очень далекой: террористическая угроза нарастает, враг стал многочисленнее, организованнее, богаче и сплоченнее. Вместо нищего Афганистана основной базой терроризма стал богатый Иран, к пресловутой «оси зла» готова примкнуть небедная Венесуэла. В Афганистане и Ираке ситуация ухудшается, глава «Аль-Каеды» Бин-Ладен и лидер талибов мулла Омар остаются

ся неуловимыми, а ливанская «Хизбалла» нанесла унижительное поражение Израилю.

Война с терроризмом проигрывается потому, что она ведется непонятно кем и неизвестно с кем. Что такое «антитеррористическая коалиция», о присоединении к которой в 2001-м заявляли десятки стран? США, европейские страны, Австралия, пославшие войска в Афганистан и Ирак, Израиль, воюющий с исламскими и левыми террористами, и Россия, предоставившая силам коалиции воздушные коридоры? Но это не коалиция: Европа критикует Россию за войну на Кавказе, Европа и Россия в арабо-израильском противостоянии все больше склоняются к поддержке арабов. А США обрушили главный удар на саддамовский Ирак, не имевший отношения к терроризму.

Поддерживающие и сочувствующие

Терроризм – это ведение войны методами, запрещенными Женевскими конвенциями 1949 г., которые гарантируют гуманное обращение с гражданским населением и военнопленными, запрещают использование неконвенционального (ядерного, химического и бактериологического) оружия, а также посягательства на жизнь и человеческое достоинство, пытки, взятие заложников и внесудебную расправу. В той или иной степени конвенции нарушали и нарушают все, но террористы используют убийства, нападения на гражданских лиц и захват заложников в качестве основных инструментов деятельности. Для того чтобы вести войну с терроризмом, необходимо принять ряд политических решений, меняющих международное право и вообще всю мировую политику. Главное – террористические организации должны быть объявлены вне закона как преступные группировки, банды. Как следствие – законы войны, утвержденные Женевскими конвенциями, на них распространяться не могут. В частности, подобные структуры не могут считаться «воюющими сторонами», имеющими право на ведение переговорного процесса. Но как этого добиться, если даже уголовные группировки – «Первое столичное командование» в Бразилии, наркокартели Колумбии, «марас» в Гондурсе – настаивают на переговорах с властями, а нелегальные иммигранты в США и Франции (то есть преступники) устраивают манифестации, требуя гражданства? На этом фоне кажется чуть ли не нормальным, когда потерявшие чувство реальности европейские политики требуют переговоров Израиля с «Хизбаллой» и ХАМАСом, а от колумбийского правительства – с Революционными вооруженными силами, хотя все три организации внесены в список террористических. Путь переговоров – пролог поражения в войне с терроризмом. Чем, собственно, «Аль-Каеда» хуже «Хизбаллы», ХАМАСа? Абсолютно ничем. Отчего бы тогда не начать переговоры с Бин-Ладеном? Правда, мешает одно обстоятельство: для таких переговоров нет предмета. Бин-Ладен хочет уничтожить евреев и «новых крестоносцев» – тех христиан, которые готовы отстаивать свою идентичность. Но ведь и стратегическая цель «Хизбаллы» – исламизация планеты, а ФАРК открыто заявляет о намерении ликвидировать существующий в Колумбии обще-

ственный строй. То есть предмета для переговоров нет и в случаях «Хизбаллы», ХАМАСа и ФАРКа, а именно на них настаивает обезумевшее от страха мировое сообщество...

Победить терроризм нельзя еще и потому, что частные лица, общественные организации и политические партии не преследуются за поддержку терроризма. Такие законы есть, но они ни в одной стране не угрожают пособникам терроризма. Имам мечети в Лондоне или Казани может спокойно восхвалять «Хизбаллу», а бывший генпрокурор США Рамсей Кларк – пропагандировать «героев» из ФАРКа. Этот персонаж гневно обрушился на Израиль за то, что тот начал войну... «из-за каких-то (!) двух солдат». А митинги американских мусульман в поддержку «Хизбаллы», на которых требуют ни больше ни меньше как прекратить войну с терроризмом и называют США и Израиль фашистскими странами? Их участники также не считаются пособниками терроризма.

Следующая проблема – как быть с государствами, поддерживающими терроризм. Для того чтобы ввести санкции против Ирана, не нужно никакого «ядерного досье» – достаточно того, что президент Ахмадинежад участвовал в захвате посольства США в Тегеране и убийстве курдских эмигрантов, хватило бы его заявлений о том, что Израиль не имеет права на существование. В США есть списки поддерживающих терроризм стран, но Куба, КНДР, Иран и Сирия – это далеко не полный их перечень. Там нет, например, Пакистана, поддерживающего исламских, марксистских и националистических повстанцев в Индии. Антииндийская политика Пакистана чревата глобальной катастрофой с многими миллионами жертв – обе страны имеют ядерное оружие. Проблема талибов и Бин-Ладена – детские шалости по сравнению с тем, что рано или поздно произойдет в Индостане, и, если воевать с терроризмом, нужно заставить Исламабад прекратить поддерживать действия повстанцев в Индии.

Молчание ООН

Эффективно вести войну с терроризмом мешает многое. Страусиная политика европейских стран, боящихся «обидеть» проживающих в Европе исламских радикалов, реальный вес которых в мусульманских общинах неизвестен, но сами западные политики, похоже, уверены, что он велик. Политики, в основном левые, хотят получать голоса мусульман и заигрывают не только с мусульманами как таковыми, но и с явными экстремистами – сколько лет Лондон терпел «железнодорожного Хамзу», выступавшего с человеконенавистническими проповедями в самом центре британской столицы? А в супердемократической Дании официально действуют представительства перуанской «Сендеро луминосо» – наверное, самой жестокой левоэкстремистской группировки полпотовского типа, и «Тигров освобождения Тамил Илама». Закрыть их – значит «обидеть» многочисленных латиноамериканских эмигрантов, собственных умеренных левых в лице Социалистической народной партии и всяческих антиглобалистов, скорбящих о Че Геваре и молящихся на вождя мексиканских сапатистов «субкоманданте Маркоса».

Не поможет войне с терроризмом и структура ООН. В ее состав входят как демократические страны, так и государства, начисто отвергающие демократию. ООН признает принцип права наций на самоопределение, то есть ведение национально-освободительных войн, составной частью которых является терроризм. Определения, что есть нация, не существует, и, тем не менее, этот неопознанный субъект наделяется правами... А чего стоит знаменитая резолюция 3379, которая определила сионизм как «форму расизма и расовой дискриминации»? Ясно, что это подмена понятий, но ведь голосов социалистических и мусульманских стран хватило для ее принятия! А Декларация Генеральной Ассамблеи о предоставлении независимости колониальным странам и народам? Да если воспринимать ее как руководство к действию, любую деревню можно объявить независимым государством! И можно ли считать нормальной ситуацию, когда членами ООН являются мусульманские страны, не признающие Израиль, созданный решением ООН?

ООН, согласно ее уставу, была создана, чтобы «...утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций... Проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи...». Замечательно, но как быть с теми же Кубой и КНДР, где власти исповедуют совсем другие идеалы? ООН никогда не была в состоянии как-то повлиять даже на такие откровенно людоедские режимы, как полпотовский или тиранию семейства Кимов в Северной Корее, на левацко-фашистские диктатуры Саддама Хусейна или Хафеза Асада.

И что делать с тем, что ряд стран, входящих в ООН, в своих названиях имеют наименование «исламская»? Права человека, равноправие с «неверными», права женщин исламское право понимает совершенно по-другому, чем в светских государствах. Речь не о том, чье понимание права правильно, а чье нет, но страны, живущие в разных правовых системах, не могут эффективно взаимодействовать – в частности, принимать согласованные решения по вопросам противодействия терроризму. ООН, по сути, занимает происламскую позицию: пропалестинских и антиизраильских резолюций эта организация приняла десятки, а относительно преследований в исламских странах христианских общин – ни единой. Только агентства новостей скупо сообщают: в Иране расстрелян мулла, тайно принявший христианство, в Египте пытаются в тюрьмах «отступников», в Пакистане взрывают церкви, из «демократизированного» Ирака почти все христиане вынуждены бежать... Права христианских общин, гражданские права немусульман нарушаются во всех странах, в которых власть принадлежит мусульманам.

ООН никак не реагировала ни на массовое изгнание евреев из Ирака и Йемена в 1956-м, ни на создание еврейского гетто в Дамаске... Конечно, в ряде случаев христиане тоже ведут себя агрессивно по отношению к иноверцам, нетерпимость проявляют иудеи, индуисты, буддисты, приверженцы конфуцианства. Но постоянные гонения, проводимые как официальными властями, так и широкими массами верующих, наблюдаются только в исламских странах.

При полном молчании ООН. Очевидно, что светские демократические государства, борющиеся с терроризмом, должны иметь свой постоянно действующий наднациональный орган.

Еще одна проблема, не дающая выиграть войну с терроризмом, – уверенность американского руководства (даже шире – американской элиты) в том, что весь мир должен быть переделан по подобию США, для чего достаточно имплантировать формальные признаки демократии, а дальше они (арабы, папуасы, сомалийцы, гаитяне) станут жить, как в Калифорнии. Нелепость этой позиции во всей красе показала себя в Ираке, Афганистане, Палестине и Ливане, где демократия открыла террористам дорогу к власти, но отказываться от своих идей Вашингтон не собирается. Причем это касается не только мусульманских стран. Что представляют собой «демократизированные» Гаити или Восточный Тимор, мы периодически наблюдаем по новостным программам. Кроме того, демократизация по-американски часто ведется методами грубого диктата и оскорбительных для других стран нравоучений, что множит ряды исламистов, леваков и антиглобалистов. Так, нелепые и противоправные попытки администрации США (агенты ЦРУ попались в руки венесуэльских спецслужб) свергнуть Уго Чавеса сыграли определяющую роль в радикализации венесуэльского режима.

Для того чтобы успешно вести Четвертую мировую войну, необходимо перестать бояться. Перестать бояться запрещать левацкие группировки, призывающие к установлению «диктатуры пролетариата» и прочим бесчеловечным вещам, называть леваков и исламских фашистов так, как они того заслуживают. Перестать бояться воевать не с теми, с кем проще (талибами и Саддамом), а с настоящими врагами – ливанскими, колумбийскими, пакистанскими террористами. Необходимо прекратить политику «двойных стандартов», когда Москва заигрывает с ХАМАСом, а Европа – с террористами в Косове. Необходимо ввести практику запретов на профессии для экстремистов, лишать их по закону гражданских прав: пусть граждане демократических стран, прославляющие Ленина, Гитлера или Бин-Ладена, знают, что это будет означать обструкцию со стороны общества, увольнение с работы, гласный надзор полиции. Иначе антитеррористическая война так и останется боем с тенью.

Войну с терроризмом выиграть невозможно даже в том случае, если все недостатки в стратегии и тактике ее ведения будут устранены – терроризм и экстремизм существовали всегда. Но применение эффективной, целостной антитеррористической стратегии не позволит победить террористам, свергнуть мир в кровавый хаос, нищету и тиранию, где жить будет невозможно.





филолог, историк, журналист, сотрудник
Международного французского радио.
Живет во Франции.

«АЛИ-БАБА» И БАЗА ДАННЫХ*

«Голубой имам» – так озаглавлен только что опубликованный во Франции, в издательстве «Сей», триллер Бернара Бессона, известного специалиста по промышленному шпионажу, бывшего шефа полицейской службы Франции, которая контролирует игорный бизнес. Группа исламистов под руководством «голубого имама» готовит серию терактов, которые должны поставить Францию на колени: они намереваются одновременно взорвать одну из многочисленных французских АЭС, собор Парижской Богоматери и несколько густонаселенных жилых башен в парижском районе Богренель, где в это время окажется (так задумано) руководство и лучшие оперативники антитеррористических служб страны. Все действие триллера происходит в течение двух суток, на Рождество. Французские спецслужбы поставлены на ноги 23 декабря, после убийства лондонского специалиста по исламу (на самом деле это провокация исламистов), и им удается в результате блестящей операции предотвратить худшее. Что побудило весьма компетентного автора написать такую книгу? Какова степень исламистской угрозы во Франции? Насколько готова для нее почва? И насколько готовы к подобным угрозам французские спецслужбы? Обо всем этом Галина АККЕРМАН беседует с Бернаром БЕССОНОМ.

Аккерман: Главный персонаж вашей книги «Голубой имам» – это коренной француз, инженер АЭС с солидным научным багажом, перешедший в ислам. Насколько такое явление типично для Франции?

Бессон: Среди западных ученых, особенно математиков и физиков, обращение в ислам – отнюдь не редкость. Они ищут строгой, логичной рели-

* Новое время.

гии, ищут трансцендентности, преодоления самих себя. Это поиск абсолютного авторитета. В исламе бог стоит превыше разума, он принципиально недоступен человеческому пониманию, он не имеет образа, и даже его пророк Магомет лишен образа. И эта абсолютность бога в понимании мусульман парадоксальным образом как бы сближает его с научной истиной. Им импонирует и полное подчинение абсолютному богу, которого требует ислам.

А.: Однако «имам» – не просто инженер с логическим складом ума. В прошлом – он член радикальных левых организаций, профсоюзный активист. В какой мере это прошлое предрасполагает к терроризму?

Б.: Такой профиль террориста действительно существует. Подобные случаи известны не только среди французов, но также среди авторов терактов 11 сентября 2001 года.

А.: В вашей книге суперкомпьютер, который способен сопоставлять миллионы разрозненных данных, находит, что во Франции имеется более 8000 человек с высшим техническим образованием, перешедших в ислам, и среди них – более 1000 человек, которые были в прошлом ультралевыми активистами. Эти цифры соответствуют какой-то реальности?

Б.: Предположения на этот счет имеются, и реальность, возможно, еще страшнее, но мы не обладаем ни точными цифрами, ни социологическими исследованиями. Ведь это настолько острая тема, что никто не осмелится ею заняться. Кто возьмется за изучение религиозных убеждений наших инженеров и техников? Из соображений политкорректности ни один университет, ни одно госучреждение не одобрит такой проект.

Наложение ненависти

А.: Террористы у вас, будь то «голубой имам» или его подручные арабского происхождения, – действующие лица, которые размышляют, реагируют на действия «неверных», общаются между собой, пишут предсмертные письма. Как вам удалось проникнуть в их психологию, чем вы руководствовались?

Б.: После терактов 11 сентября ЦРУ обнаружило в одном из аэропортов, откуда вылетели террористы, автомашину, в которой были найдены их тексты – рекомендации, проповеди, молитвы. Подлинный материал! Кроме того, мы знаем, о чем говорится во время проповедей в некоторых мечетях, чему учат кое-какие имамы в Лондоне, например. Нам известно, как они обрабатывают людей, как внушают необходимость джихада. Будущие камикадзе подвергаются очень серьезной обработке, которая дополняется самовнушением.

А.: Что вас побудило написать эту книгу? В какой степени ваш личный опыт помог вам?

Б.: Когда я работал в полиции, надзирая за игорным бизнесом, я, естественно, находился в контакте с рядом спецслужб. Два раза мне пришлось заниматься делами офицеров, связанных со спецслужбами. Я добился наград для этих полицейских – один из них был алжирского происхождения, другой –

европейского, – которые подверглись очень тяжелым испытаниям, работая под прикрытием в исламистских организациях в Европе. Они рассказали мне о том, что им пришлось пережить. Так что сам я борьбой с терроризмом не занимался, но зато занимался личными делами людей, которые были непосредственными участниками этой борьбы и у которых были из-за этого проблемы с французской администрацией. Впрочем, я помог их уладить.

Я использовал в книге и некоторые детали, списанные с действительности. Например, когда террористы заходят в магазин, чтобы купить соки и воду, они сначала удостоверяются, что соки – не из Израиля. Это – типичная навязчивая идея всех исламских фанатиков.

А.: В вашем романе у «голубого имама» имеются пособники в полиции, правда, на уровне среднего звена. Более того, с помощью «своих людей» в спецслужбах арабских стран ему удастся проверить, что за его ячейками во Франции нет слежки. В начале схватки террористы находятся куда в более выгодном положении, чем французские спецслужбы.

Б.: Любая террористическая организация нуждается в разведдеятельности – она стремится проникнуть в секретные службы тех стран, на территории которых она действует, чтобы предвосхищать действия противника. Точно так же действовали и ультралевые группировки. После того как был обезврежен ряд европейских ультралевых террористических организаций, стало известно, что они обладали развитой системой разведки и имели осведомителей внутри полиции и разведслужб. Что же касается исламистов, то они в первую очередь проникают в спецслужбы арабских стран, правительства которых сотрудничают с Западом в борьбе с международным терроризмом. Таким образом, их агенты могут получать сведения и о деятельности западных спецслужб. Именно такую ситуацию я описываю в романе.

А.: Значит ли это, что в разведках исламских стран есть люди, симпатизирующие идеологии джихада?

Б.: Не вдаваясь в психологию, скажем, что при клановой структуре общества, как в Саудовской Аравии, существуют целые сообщества, связанные родственными отношениями и самыми разнообразными обязательствами. Одни становятся террористами, другие занимаются бизнесом, третьи работают в госструктурах.

А.: Я бы хотела вернуться к портрету «голубого имама», который носит чисто французское имя – Анри Булар. Он проделал путь от чистой веры в правоту Корана до подготовки массовых убийств, которые он внутренне оправдывает своей ненавистью к Западу. Какова тут роль его ультралевого прошлого?

Б.: Тут происходит наложение ненависти, которую он в качестве ультралевого испытывал к «системе» (это – левая терминология), и той ненависти к Западу, которая проистекает от своего рода чувства унижения, свойственного многим мусульманам. Точно так же как капитализм угнетал рабочие массы (все та же терминология леваков), так и многие мусульмане

испытывают гнет западного общества. Оно кажется им надменным, исполненным чувства собственного превосходства, навязывающим свою гегемонию остальному человечеству. Это – «прогнивший», лишенный ценностей Запад, который поддерживает Израиль и угнетает подлинных верующих – мусульман.

А.: Накануне Рождества, после всего лишь одного убийства в Лондоне и двух подозрительных звонков, запеленгованных спецслужбами, французская полиция, все спецслужбы и даже жандармерия приведены в состояние максимальной боевой готовности. Созывается срочное совещание, создается кризисный центр. Но ведь когда принимаются эти меры, ничто не указывает на готовящийся мегатеракт. Насколько это правдоподобно?

Б.: Я приведу вам в пример так называемый «план Вижипират», то есть план по борьбе с терроризмом во Франции. Некоторые службы, которые я описываю в романе, находятся в состоянии постоянной тревоги. «Кризисные» совещания проводятся регулярно. Как только появляется один, а тем более несколько так называемых «слабых сигналов», уровень мобилизации немедленно повышается. И лица, которые работают в этих службах на оперативной работе, знают, что их могут вызвать в любой момент. Я упоминаю в романе мобилизацию в связи с ложной бактериологической опасностью – таким образом «голубой имам» получил возможность опробовать технику работы французских спецслужб.

Текст как улика

А.: Вы описываете две мощные компьютерные программы на службе разведки – «Бельфегор» и «Али-Баба». «Бельфегор» – это гигантская база данных, с помощью которой можно скрещивать самую разную информацию, а вот «Али-Баба» мне показался удивительно интересной идеей. Клеману Амрушу, французскому автору новой интерпретации Корана, то и дело угрожают убийством. Против него ведется ожесточенная полемика на многочисленных сайтах. Лингвистический анализ этих текстов, осуществленный «Али-Бабой», позволяет прийти к заключению: их авторы – люди с научным образованием и ультралевым прошлым, с опытом профсоюзной работы, перешедшие в ислам. Благодаря этой «наводке» французским спецслужбам и удастся выйти на след «голубого имама», который не значился ни в одной картотеке. Это – реальная рабочая практика?

Б.: К сожалению, нет. Это мое пожелание в адрес спецслужб. Представляется, что они должны чаще привлекать гражданских специалистов для участия в своей работе. Изучение речевых особенностей отдельных лиц и социoproфессиональных категорий может оказаться не менее полезным, чем классическое профилирование. Вообще, ключ к успеху – сотрудничество самых разных профессионалов. Ведь зачастую бывает необходимо вооб-

разить невообразимое и разыграть настоящий спектакль, чтобы предупредить теракт.

А.: Получается, что программу «Али-Баба» вы выдумали?

Б.: Я выдумал только термин. На деле куда более сложные программы применяются в промышленном шпионаже, например в области химии и фармацевтики. Эти программы работают исключительно с данными, находящимися в открытом доступе: анализируются научные публикации, совокупность ссылок каждого автора и ссылок других специалистов на данного автора, участие в научных симпозиумах, руководство диссертациями, получение грантов, внезапный найм стажеров и так далее, и таким образом составляется представление о так называемых «невидимых научных кружках», которые могут не иметь никакой формальной административной связи. Конкретно говоря, благодаря этой технике можно отследить тенденции в фармацевтике, понять, какие ученые и какие лаборатории работают над новыми, революционными – и какими именно – препаратами, хотя эти данные как раз полностью засекречены. Тот, кто лучше всего умеет пользоваться открытой информацией, тот, кто лучше всего организован, может успеть опередить конкурента и вырваться на рынок. Те же программы применимы к исследованиям во всех новейших областях, таких как нано- или биотехнологии.

А.: Итак, вы показываете коллегам в спецслужбах, как следовало бы работать. Была ли реакция с их стороны на вашу книгу?

Б.: Пока реакций было мало. К сожалению, эти реакции были «внутренними», типа: «Хорошо ты по такому-то проехался!» Их больше всего интересует, кто скрывается за тем или иным персонажем моей книги, хотя, я вас уверяю, прямых прототипов у них нет. Я разочарован, что пока никто из моих коллег не заинтересовался теми методами работы, которые я демонстрирую. А я уверен в их эффективности!

А.: А как обстоит дело в Америке? Там тоже никто не использует технику, разработанную для промышленного шпионажа, в борьбе с терроризмом?

Б.: В последние годы Пентагон, получивший новые полномочия после 11 сентября, интересуется программами такого рода, которые устанавливают корреляции между самыми разнообразными базами данных. Когда американцы требуют теперь централизованной регистрации всех посадочных талонов на самолет, это – составная часть подобных программ. Если большое количество данных разумно сопоставляется и интерпретируется в нужный момент, это может дать неожиданные результаты.

А.: Франция неоднократно провозглашалась мишенью террористов. Совсем недавно ей вновь пригрозила «Аль-Каеда». Однако после взрывов в парижском скоростном метро десять лет назад эти угрозы ни разу не были приведены в исполнение. Результат эффективной работы спецслужб?

Б.: Да, и моя книга – это выражение моей признательности французской

полиции и другим службам за их тяжелую и неблагодарную работу. Ведь действительно целый ряд терактов удалось предотвратить. Например, несколько лет тому назад, когда министром внутренних дел был Шарль Паскуа, благодаря действиям французской полиции и жандармерии удалось посадить в Марселе аэробус, летящий из Алжира: он был запрограммирован, чтобы взорваться над Парижем. Вообще во Франции практикуется политика наблюдения за террористическими группировками и превентивных арестов – в разгаре подготовки теракта.

Однако арабы-исламисты во Франции отнюдь не всегда намерены предпринимать незаконные действия. Зачастую они удовлетворяются тем, что объявляют об угрозе. Если население живет в состоянии тревоги, их цель уже достигнута. Это коварная стратегия. Ведь, сея тревогу, они одновременно внушают недоверие по отношению к большей части мусульман, которые мирно проживают во Франции. Таким образом, они фактически создают невидимую стену вокруг мусульманской общины Франции и вынуждают ее замкнуться на себя, разжигают межэтническую и межрелигиозную ненависть. Следует крайне серьезно относиться к такому словесному терроризму, потому что он разрушает саму социальную ткань французского общества. Взрыв бомбы – это пароксизм терроризма, но повседневная атмосфера террора куда эффективнее для разрушения нашего образа жизни.

Грошовый террор

А.: Вы говорите, что программы типа «Али-Баба» пока не применяются в охоте за террористами. И вы критически настроены в отношении техники профилирования. Но все-таки эта техника показала свою эффективность в поиске серийных преступников. Неужели невозможно установить профили тех, кто с наибольшей вероятностью может оказаться в сетях террористов, и «приглядывать» за ними?

Б.: Но можем ли мы требовать от людей, чтобы они сообщали нам о своих политических, религиозных и моральных предпочтениях? Мы сразу придем в противоречие с конституцией, которая запрещает ставить на учет подобного рода сведения.

А.: Вы хотите сказать, что такая организация, как Служба внутренней безопасности, которая обязана поставлять властям сведения о настроениях во французском обществе, не имеет подобных картотек?

Б.: Агенты этой службы могут взять на заметку какие-то публичные выступления или проповедь в мечети, но ни в коем случае – взгляды или верования. Это республиканская полиция, и ее агенты могут брать на заметку только неоспоримые факты, которые они могут засвидетельствовать на суде. Все остальное – вне их компетенции. В этом и состоит дилемма. Подлинная, эффективная борьба с терроризмом требует, чтобы мы принимали подобные меры. Однако если мы начнем их принимать, нам придется-

ся изменить сам тип нашего общества – перейти от демократии к тотализму.

А.: Стало быть, коренной француз, который перешел в ислам и регулярно ходит в мечеть, даже если он работает в такой стратегической области, как ядерная энергетика, останется вне поля зрения «компетентных органов», откуда он публично не высказывается?

Б.: Совершенно верно. Точно так же как протестант, буддист или коммунист. Это их личное дело.

А.: Ну а если человек посещает такую страну, как Пакистан или Афганистан, где существуют лагеря для обучения террористов?

Б.: Такой факт, действительно, может быть взят на заметку. Хотя никаких автоматических выводов из визита в страну, где действуют вооруженные исламистские группировки, сделано не будет. И, разумеется, этот факт не имеет ни малейшей юридической силы. Просто рано или поздно он может оказаться в цепи других...

А.: Есть еще одно обстоятельство, которое заинтриговало меня в вашей книге. Вы описываете, что сразу после убийства английского специалиста по исламу мировые цены на нефть вырастают, словно в предвидении большого теракта. Подобного рода движения биржи наблюдались и в действительности, в частности перед 11 сентября 2001 года. Значит ли это, что у террористических организаций есть агенты на биржах, которые могут сыграть в нужный момент и заработать гигантские суммы?

Б.: В отношении терактов 11 сентября американцы провели большое расследование. Действительно, за несколько часов до этих терактов были произведены биржевые операции, которые могли бы быть так интерпретированы. Но решающих доказательств не удалось обнаружить. Конечно, ужасно, если террористы могут использовать собственные злодеяния для финансирования своей дальнейшей деятельности. Однако это не главное. Подлинный ужас состоит в том, что сегодня теракт можно совершить буквально за несколько десятков долларов.

А.: То есть?

Б.: Вы можете спокойно посетить сайт в интернете, где найдете инструкции, как собрать бомбу за 35 долларов. Такова именно стоимость материалов для изготовления взрывчатки, способной разрушить «боинг» в полете. С 350 пассажирами на борту. Это то, что собирались совершить исламские террористы, перехваченные минувшим летом британскими спецслужбами.

А.: Я все же предполагаю, что люди, которые посещают подобные сайты, будут взяты под наблюдение полиции.

Б.: Проблема в том, что те, кто посещает эти сайты, не будут взрывать бомбы. В международном терроризме существует международное разделение труда. На одного террориста, который действительно осуществит теракт, работают десятки людей в разных концах света. Даже различные компоненты взрывчатки, сами по себе безобидные, будут закупаться в раз-

ных странах. Таким образом террористические сети избегают концентрации сведений о ее членах в руках спецслужб одной страны.

А.: Но террористам все же нужны деньги для снятия конспиративных квартир, передвижений по миру и тому подобное.

Б.: Посмотрите на личности смертников в терактах 11 сентября. Им не нужны были деньги, потому что у них были профессии, была хорошая работа, они были хорошо устроены. И одевались они по-светски, и бороды не носили, и с бородачами из мечетей не общались. Это были настоящие профессионалы терроризма, как и персонажи моей книги.

А.: Вы придумали остроумный способ, как взорвать АЭС. Террористы крадут бетономешалку, которая подает особый раствор для починки пробойн в плотинах. Они намереваются забить систему охлаждения реактора и таким образом вызвать взрыв. А на самом деле наши АЭС в безопасности?

Б.: Несчастный случай, как в Чернобыле или на Три-Майл Айленде, исключить полностью нельзя, хотя системы безопасности с тех пор значительно улучшились. Мой раствор «бурдиолита», которым латают плотины, – разумеется, чистая выдумка. Но люди с дьявольским умом могут придумать нечто невообразимое. А наша задача – чудовищно сложная в условиях демократии – это нечто предвосхитить.



«ПУТИН – СОВЕРШЕННО НЕ РУССКИЙ ТИП ПОЛИТИКА»*

Доктор философских наук Елена Шестопал занимается относительно новой областью знаний – политической психологией. Последние семь лет предметом ее исследования является не больше и не меньше – личность президента России Владимира Путина. Заведующая кафедрой политической психологии МГУ в беседе с обозревателем «МН» поделилась наблюдениями за предметом изучения.

– Елена Борисовна, а для чего вообще нужно изучать личности политиков, и как это делается?

– Особенность работы политического психолога заключается в том, что у ученого-исследователя редко бывает возможность напрямую пообщаться с президентами, с премьер-министрами. Но мы можем выявить характерные особенности личности через их речь, через видеозаписи, то есть на дистанции.

Что мы ищем? Прежде всего, те проявления, которые касаются публично-го поведения политиков. Меня, к примеру, интересует не столько сфера частной жизни политиков, о которой любит писать желтая пресса, а то почему и как политик принимает те или иные решения. Знание этих особенностей помогает спрогнозировать возможные ходы политика в публичном поле.

Обычные люди и политики – это два разных биологических вида. То, что хорошо для обычного человека, для политика не всегда работает на ту роль, которую он выполняет. Например, очень хорошо, когда человек добрый, светлый, милый. Но для политика набор таких качеств скорее минус, потому что

* MN.ru

симпатизировать ему будут, но будут ли за него голосовать – большой вопрос. Тревога, которую большинство людей испытывают, глядя на того или иного высокопоставленного деятеля, эта тревога – очень важный момент, который помогает ему править. Если политика не боятся, то он не может оказывать большого влияния на политический процесс.

– Мне нравится анекдот, когда один отец делится с другим наблюдениями за сыном: «Слушай, мой как увидит Путина по телеку, сразу сам в угол становится».

– Вот я и подчеркиваю, что политики – это особые люди, у которых набор качеств отличается от качеств обычных людей. Не случайно еще в XIX веке известный австрийский психолог Шпрангер выделил политиков как особый человеческий тип наряду с религиозным, моральным, эстетическим типами. К властному политическому типу и требования другие.

Сейчас вокруг политиков много имиджмейкеров. Они дают им советы, как одеваться, в каком ракурсе сниматься на телевидении, но эти люди вряд ли могут серьезно влиять на то, что должен делать политик, чтобы его образ оказался эффективным с точки зрения избираемости и так далее.

Работа политического психолога – она на грани между наукой и практикой, потому что, публикуя результаты исследований, ты вольно или невольно воздействуешь на то, как люди будут относиться к политику. Это достаточно деликатная миссия, главное в которой – не навредить.

– Сейчас самая горячая дискуссия в обществе о том, уйдет ли Путин в отставку после окончания второго срока. Семь лет изучая личность Путина, как вы полагаете, можно верить тому, что он заявляет: я уйду, я уважаю Конституцию и т. д.?

– Я думаю, что Путину можно верить, когда он говорит, что не хочет оставаться у власти на третий срок, это соответствует его внутреннему ощущению. Наши данные исследования личности Путина показывают, что он достаточно честный человек. Как нормальный разведчик он, конечно, не говорит всего. Но то, что он говорит, он говорит вполне ответственно. Кроме того, он, безусловно, устал. Более того, я думаю, что ему это уже и неинтересно. Ему было интересно осваивать новую роль, и он ее освоил блестяще.

Я не знаю, насколько Путин внутренне доволен тем, как он ведет политику в течение семи лет, но то, что он больше не хочет этим заниматься, говорит о нем как о нормальном человеке. Нормальный человек, попав в разреженный воздух высшей власти, не может себя хорошо чувствовать. Даже такой крупный человек, как Борис Николаевич, вспомните, на что он был похож к концу своего второго президентского срока. То есть даже его власть перемолола и выплюнула в виде совершенно недееспособного человека. Кстати, было заметно: когда он ушел, он стал выглядеть значительно лучше.

То есть Ельцин, хоть и по своей природе крепкий, внутренне сильный человек, но даже он этой ноши не выдержал. Путину, несмотря на всю его тренированность, физическую подготовку, тоже очень и очень нелегко. И его желание закончить свое служение вполне понятно и оправданно.

Момент, связанный с Конституцией. Я убеждена в том, что он действительно чтит Конституцию. Это доказывает его бэкграунд юриста, человека, который испытывает уважение к закону. Другое дело, что, имея абсолютное большинство в парламенте, изменить Конституцию не представляется особенно сложным. То есть такая возможность до последнего момента, очевидно, будет сохраняться.

Итак, в то, что он хочет уйти, я верю. Но любой политик в своих решениях руководствуется не только тем, чего ему хочется. Он – нередко заложник ситуации. И очень часто делает не то, что ему нравится и совсем не то, чего он лично хочет. С этой точки зрения ответ на ваш вопрос не может быть однозначным. И я бы не поверила ни одному политологу или аналитику, который скажет: будет так и только так. Никто не может знать, как сложится ситуация ближе к 2008 году.

– Подвержен ли наш президент комплексам? Спрашиваю об этом потому, что он окружает себя людьми, которые на фоне его яркой личности часто выглядят как бледные тени.

– Вы говорите, что Путин – яркая личность. Но ведь многие считают его человеком достаточно невзрачным, серым, невыдающимся. Несколько лет занимаясь изучением его личности, я пришла к парадоксальному выводу. Действительно, сам Путин – человек, безусловно, неординарный. Но с его приходом в общественном мнении изменились оценки всех предшествующих политических деятелей. Раньше позитивно оценивали людей крупных, фактурных, не говоря о том, что это были достаточно интересные персонажи с точки зрения психолога, как тот же Ельцин. С приходом Путина, который, безусловно, отличался от Ельцина в сторону меньшей яркости, вся система оценок поменялась. Меня это страшно удивило. Ведь зачистка политического поля, которую он начал буквально с первых дней своего президентства, была связана не только с его личными особенностями (он такой, поэтому подбирает таких же), она была связана и с тем, что всем надоела старая колода засаленных карт.

Уж, казалось бы, такие люди, как Явлинский, Немцов, Хакамада, – они ведь внешне выглядят выигрышнее. Даже Зюганов. К нему по-разному относятся, но это, безусловно, крупный игрок. Но все они поблекли рядом с этим небольшого роста, внешне неприметным человеком. Парадокс: он, такой внешне скромный мужчина, а оказалось, что рядом с ним они поблекли. Мой ответ, почему это произошло, заключается в том, что не в нем дело, а в том, какие мы с вами. На самом деле моду на политических деятелей диктует общественное мнение. Так вот, начиная с 1998 года мы в своих исследованиях массового сознания фиксировали усталость граждан от одних и тех же политиков-тяжеловесов. Людям надоели одни и те же лица (они их называли «мордами»). И Путин стал ответом на тот запрос, который существовал в обществе.

Я не отнесла бы его к политикам лидерского типа. Он отличается этим от своего предшественника Ельцина. Путин и воспринимает свою роль именно

как роль управленца, а не вождя. И, отходя от нашей многовековой традиции, в силу которой люди хотят видеть в лидере царя, тем не менее, они мирятся с тем, что он такой. Более того, таким его приняли. Он не скрывал, не пытался выглядеть тем, кем он не является.

Я вспоминаю его кампанию 2000 года. Люди, которые делали эту кампанию, они нам его показывали то на подводной лодке, то на самолете. Но это не царская роль. Это роль главнокомандующего.

Население уже устало от политиков, которые заявляли себя как харизматики. Путин вызвал доверие как раз тем, что не претендовал на роль вождя. Он пришел и сказал: «Я – управленец», как это принято в цивилизованном европейском варианте. Он вообще по складу своего ума и в силу прошлого (питерского и германского) – европеец. Это у него не внешнее и не показное, это глубоко усвоенный им набор ценностей.

Его отношение к Конституции – это тоже отношение европейца. В этом вопросе между ним и населением лежит довольно большая пропасть. Население у нас совершенно азиатское. Это тот редкий для истории нашей страны случай, когда европеец нашел с азиатами общий язык.

С моей точки зрения, Путин – не харизматик. Он отнюдь не этим берет. Более того, он и свою роль президента видит не как роль лидера, который должен идти в атаку с флагом и вести за собой народ, не спасителя отечества. Он себя видит чиновником, нанятым народом на определенную работу. Это такой европейский стереотип поведения политика. Путин в этом смысле – совершенно не русский человек. И самое любопытное, что и народ на какое-то время отошел от запросов, которые были характерны для 90-х. Запрос сменился, и Путин, как в лузу, попал в этот запрос.

– Как бы вы его сформулировали?

– Это был запрос на человека, который должен навести порядок. С другой стороны, нарастают тенденции, которые политологи обозначают как запрос на авторитарность, на жесткую руку и т. д. Но этот запрос у нас никогда и не исчезал: это одна из неотъемлемых характеристик нашей политической культуры.

И надо сказать, что в Путине удивительно сочетаются непритязательность во внешней подаче своего образа, с одной стороны, а с другой – мускулистость, мужественность, мужское начало – жесткость, которая имеет очень большой отклик у людей, причем не только у женщин. У нас любой правитель должен быть мужественным – и внешне, и по своим поступкам.

– Так чем все-таки объяснить, что Путин окружает себя людьми не-сколь-ко иного склада?

– Это проблема очень короткой скамейки его запасных. Она связана с тем, что Путин доверяет только тем, кого он лично хорошо знает. Он в этом не уникален, но это одна из его особенностей как личности. Он человек, который не очень хорошо себя чувствует в окружении чужих людей. Отсюда его тяга окружить себя теми, кого он знает, кому он доверяет, кого он много лет привык видеть рядом с собой.

Даже у человека с огромным кругом знакомых список тех, кого он может отобрать к себе в помощники по политике, небольшой. Есть политики, которые выбирают себе помощников среди экспертов, они доверяют не личным, а профессиональным качествам людей. Не личному знакомству, не собственному опыту общения, а рекомендации. Путин, по-моему, к числу таких людей не относится. Для него важно самому потрогать, пощупать, убедиться в том, что этот человек его не предаст.

Любой выбор соратников – это, прежде всего, выбор лояльных людей. Путин тут не уникален. Так будет действовать любой властитель. Другое дело, что его круг общения, из которого он мог делать выбор, состоял из тех людей, с которыми он сталкивался на предыдущих этапах своей карьеры. А это были люди заведомо служивого толка. Они не лидеры, а исполнители. Обзавестись друзьями среди лидеров он сумел только тогда, когда вышел на международную арену. Не случайно он установил прекрасные отношения с Бушем, Шредером и Меркель, с Блэром, Берлускони, с испанскими политиками. Он легко устанавливает отношения с людьми лидерского типа, но только за пределами своей страны.

А внутри страны людей с лидерскими качествами и раньше было немного. А те, которые были, сильно потускнели за прошедшие годы. Можно упрекать Путина за то, что он не очень способствовал их появлению. Но их негде было взять. А те, кого он привлек в свою команду, это чиновники. Это одна из главных проблем и первого, и второго президентского срока Путина. Это не просто недостаток. Это хуже, чем недостаток. Это ведет к неэффективности многих программ, которые он же и запустил. Я убеждена: если бы он опирался не просто на лояльных людей, а на профессионалов, это пошло бы на пользу и ему как президенту, и стране.

– В какой мере эффективна вообще вся система, которая создана при Путине?

– Эффективна не настолько, насколько могла бы быть, если бы была решена проблема кадрового голода. Помните старый анекдот, когда человек на Ленинградском вокзале хватается за рукав приезжающих: «Вы из Питера? Из Москвы? А где живете в Москве? На Ленинградском проспекте? Ну вот, а мы как раз ищем людей для работы в администрации президента». Этот анекдот – отчасти отражение реальности. Вспомните, кто пришел с Ельциным? Люди из Екатеринбурга. С Брежневым – из Днепропетровска. В пользу Путина говорит то, что в его команде появились люди не только из Питера – Собянин, Трутнев. Но это единицы. А в нашей большой стране тысячи талантливых управленцев. Главная проблема в том, что при Путине не была создана система рекрутирования элиты.

– Вот вы сказали, что обычные люди должны испытывать чувство тревоги при виде вождя. Но как не заметить, что и соратники Путина дрожат во время аудиенций: входят к нему «на цирлах», бочком и трепеща...

– Так не в Путине же дело, а в них самих. Вы вспомните, как он расформировал Совет Федерации старого образца. Меня потрясло, как себя вели губер-

наторы: хоть бы кто-нибудь вякнул! Хотят этого политики или нет, но тон задают они. Если мы такое общество, то рано или поздно вырастим себе если не диктатора, то какого-нибудь бонзу, выход которого на люди будет сопровождаться дрожью в коленках.

– **А вам не кажется, что Путин уже подвержен самолюбованию? Ему нравится стиль поведения «мачо»: резкие высказывания, юмор ниже пояса...**

– Я сомневаюсь в его склонности к самолюбованию. Он человек рефлексивный. Для таких, как он, нарциссизм не характерен. Наоборот, у меня такое впечатление, что он очень собой недоволен в силу некоторой неэффективности того, что приходится делать. Он раздает указания, но даже в армии, известно, выполняется только 10 процентов приказов. А Путин, как человек в прошлом военный, привык к четкому исполнению приказов. Думаю, что он, как всякий политик, который пришел на определенный срок, хочет после себя оставить хорошую память. Даже если он потом вернется в политику, то лучше прийти не на разрушенное поле.

Ему многое удалось за это время, но многое идет чрезвычайно сложно – те же национальные проекты, и он не вправе рассчитывать, что высокие цены на нефть продержатся бесконечно. Он в цейтноте. И даже во внешних проявлениях я могу зафиксировать его недовольство собой.

– **Вы заметили, как близкие к Путину люди – Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, Алексей Миллер – ему подражают: стремительно входят на заседания, отрывисто пожимают руки...**

– В любой компании люди становятся похожи друг на друга. Скажу больше: не только собака становится похожа на хозяина, но и хозяин – на свою собаку. Это обычный закон подражания, особенно в мальчишеских компаниях. Они все друг с другом меряются, хотят быть такими, как лидер их клана.

– **Каким по принципу контраста или сходства с Путиным может быть его преемник?**

– Прежде всего, это должен быть человек лояльный. Во-вторых, это должен быть управленец не хуже Путина, с тем чтобы он удержал страну от кризисов, опасность которых неизбежно возрастает при всякой смене власти. В-третьих, это должен быть человек, которого примет публика. С последним пунктом – самая большая проблема, потому что все те, кого называют возможными преемниками или кого подразумевают, должны быть людьми, говоря пиаровским языком, раскрученными. То есть человек, которого хочет Путин, и человек, которого хочет общество, – это два разных человека. Общество, которое один раз «проглотило» преемника, может оказаться неготовым ко второму подобному заходу. Мы живем в ситуации, когда в стране есть потенциал протеста. Он скрыт, его почти никто не изучает. И очень трудно поэтому прогнозировать, как может трансформироваться этот потенциал накануне выборов. Я сейчас как раз работаю над проектом «Будущее России», который возглавляет Андрей Кortunov. Мы пытаемся проанализировать, как будет складываться ситуация в регионах и в центре. Она не такая простая,

как некоторым кажется. Поэтому я не верю в то, что будет преемник, даже если Путин этого хочет. Он навряд ли может рассчитывать, что придет человек, который будет не только лоялен, но станет проводить намеченную им политику. Кроме того, сама команда президента не едина. Какая из группировок окажется наверху к моменту выборов, мы тоже не знаем. Для меня очевидно одно: никакой автоматической передачи народного одобрения тому, кто пойдет за Путиным, не будет.

– У меня назрел вопрос: а можете ли вы быть объективным, беспристрастным ученым, если вы так влюблены в объект вашего исследования? У него что, нет недостатков?

– Это не так. Не дело ученого – ставить оценки. Моя работа в другом: анализировать, сопоставлять. Поэтому в Путине я вижу и сильные, и слабые стороны с точки зрения его эффективности как политика.

Так, одна из его главных проблем – это некое пренебрежение стратегическими целями. Он, как и любой политик, вынужден решать массу неотложных дел. Но главной задачей его второго срока была выработка для страны целевой установки, чего сделано не было. К сожалению, в этом ему не помогли и люди из правящей партии, которые абсолютно пренебрегли идеологией. В результате идеологии у правящей партии нет, нет целевой программы у страны, нет стратегемы, а люди должны понимать, ради чего затягивать пояса и копить деньги в Стабилизационном фонде.



журналист, писатель, автор романов «Ударом на удар», «Сочинитель», «Самозванец», «Последний герой», «Поздний гость», «Все поправимо», нескольких десятков повестей и рассказов, сотен эссе и статей. Живет в России.

ИДУЩИЕ ПРОТИВ*

Рискуя вызвать возмущение и жесткий отпор со стороны молодых читателей, неприятие политкорректной части аудитории и несогласие многих единомышленников с резкостью формулировки, скажу прямо: молодежь – точнее, значительная ее часть – представляет сейчас реальную угрозу для существующего общества. Думаю, что такой ситуации не было в России с предреволюционных времен начала прошлого века. Опасность усиливается тем, что молодежные настроения во многих западных (и мусульманских, но это особый разговор) странах после почти сорокалетнего перерыва становятся столь же, если не более радикальными и антиобщественными.

Разрушительный характер образа мыслей и поведения проявляется по-разному в разных социальных слоях молодежи. Пожалуй, можно выделить три вида молодых врагов общества: идейные бунтари, нацистские штурмовики и уголовники. Деление это весьма приблизительное – в идейных акциях протеста обычно принимают участие «непрошенные» нацисты и хулиганье, а побуждения у тех, кто избивает и убивает инородцев, как правило, не только нацистские, но и примитивно грабительские... Однако сформировать представление о том, что происходит в молодежной среде, такое деление помогает.

Идейных, в свою очередь, можно разделить на левых и правых революционеров. К ним примыкают многие молодые деятели так называемого актуального искусства, радикально настроенные (или, чаще, демонстрирующие наигранную радикальность ради привлекательного для молодой аудитории эпатажа) журналисты и писатели, наиболее бескомпромиссные правозащитники, вообще молодые интеллектуалы-гуманитарии. Штурмовиков (что то же самое – скин-

* Нева. 2006. № 8.

хедов) можно условно поделить на антикавказцев, антисемитов и расистов, ненавидящих и преследующих черно- и желтокожих – впрочем, как правило, каждый из них ненавидит всех «нерусских». Что касается молодых уголовников, то среди них выделяются футбольные фанаты и обычные хулиганы, «гопники», в основном жители пригородов, просто завидующие обитателям мегаполисов, их «богатой жизни» – однако и эти категории перемешиваются и сливаются.

Получается, что молодые протестанты представляют две категории населения, равно опасные, как показывает исторический опыт, для социального и политического статус-кво: инакомыслящую интеллигенцию и люмпенизированный «народ». Такое сочетание никогда не приводило ни к чему хорошему. Следует признать, что вообще культурная молодежь, студенчество в особенности, начиная с XIX века постоянно бунтует. В России перерыв был только на семьдесят лет советской власти, которая любому инакомыслию успешно противопоставляла превосходство силы (и о которой с ностальгией не пострадавших «вспоминают» теперь как раз юные бунтари). Однако российские народовольцы и безумные бомбисты из юных дворян, парижские гошисты шестьдесят восьмого из буржуазно-интеллигентских семей проявляли некоторую – не афишируемую ими, но глубоко сидевшую – брезгливость. Они не смыкались с «народом», то есть с пьяной швалью, уличной шпаной, погромщиками, всегда готовыми разбить витрину лавки и ограбить несчастного лавочника, пустить красного петуха и покалечить толпой полицейского. Именно в этом высокомерии упрекали интеллигентских революционеров революционеры настоящие, вполне бессовестные. Именно объединения инакомыслящей интеллигенции с толпой мародеров и насильников добился Ленин – известно, чем это кончилось.

Нынешние беспорядки во Франции пугают как раз трогательным единением молодой интеллигенции и злобных, завистливых пригородных недорослей. Те, кто требует сохранения привилегий для молодых специалистов и не прекращает дебоширить, несмотря на то, что президент часть этих привилегий восстановил, и те, кто жег автомобили осенью, шагают в одних рядах. Хочется надеяться, что их пока не дергает за ниточки ловкая рука какого-нибудь ленина, иначе дело совсем плохо.

В России, как обычно, расклад еще более опасный. Маменькиным сынкам, собранным под почти гитлеровские знамена престарелого фюрера Лимонова и с обдуманым вызовом безобразничающим в госучреждениях, сочувствует гуманная, просвещенная и всегда готовая сочувствовать видимой слабости русская интеллигенция. Негодяям, убивающим иностранных студентов и среднеазиатских детей, сочувствуют типичные представители «простого народа», набранные в присяжные и оправдывающие убийц, поскольку сами ненавидят «черных». Хулиганью, громящему стадионы и отбирающему дубинки у ОМОНа, и налитым пивом мерзавцам, затапывающим пожилого человека, пожурившего их за мат, профессионально сочувствуют правозащитники, всегда готовые сочувствовать поганцу, разбившему в кровь свой кулак о милицейский шлем: ведь это же дети, их надо воспитывать, им надо создавать социальную перспективу... Теперь дело за малым: свести всех этих идейных и безыдейных в одну стройную

колонну – и на райотдел милиции, на Кремль, на очередной Зимний... Проблема вполне разрешимая, тем более что время от времени такие колонны уже устраиваются для общих шествий, «оппозиционных» и «в защиту русских».

Естественно, все эти страхи покажутся преувеличенными тем, кто привык анализировать бесконечную партию в политические шахматы или даже шашки, – если Кремль пойдет туда, а олигархи сюда, то, проигрывая в темпе, N. выигрывает качество, а S. проходит в дамки, но на битое поле... Однако еще раз напомним: именно с молодежного, в сущности, протеста началось сползание России в самую страшную в ее истории со Смутного времени катастрофу, в революцию, в которой коренились все мировые беды XX столетия.

Молодежь наследует мир, уже поэтому ей дано быть победительницей предшествующих поколений. Но сыновьям – еще с древних, мифологических времен – не терпится перехватить власть у отцов раньше, чем это произойдет в силу житейских причин. Неприятие молодыми того устройства жизни, которое им предлагают старшие, совершенно естественно, если бы молодежь всегда была довольна, ничто на свете не менялось бы, в том числе и в лучшую сторону. Но жажда перемен может быть плодотворной только в том случае, если не дать ей возможности революционного выхода. Либерализм поощряет свойственную юности любовь к свободе, поднимающую давление в общественном котле, но встроенные в либеральный механизм предохранительные клапаны не всегда срабатывают вовремя, а контроль прочности стенок отторгается либеральным сознанием. В какой-то момент может рвануть...

Скажу честно: я не знаю точно, что со всем этим можно поделать. Могу указать только на два мощных и почти не использующихся фактора сдерживания – подкуп и жесткое подавление. На предотвращение молодежной опасности не следует жалеть никаких денег. Их надо щедро тратить на организацию безобидных дискотек, рок-клубов и фестивалей (хорошо контролируемых), на адаптацию истэблшментом (попросту говоря – покупку) формальных и неформальных лидеров, на улучшение материальных условий молодежного быта (всякие субсидии и создание карьерных перспектив)... Думаю, на такие расходы можно пустить и толику стабилизационного фонда, этого виртуального национального клада. Сейчас пожадничаем, потом поздно будет. И – приговоры. Никаких судов присяжных по делам об убийствах на националистической почве. Скинхедов брать при любом появлении и неуклонно отвешивать рядовым срок за сроком за разжигание национальной розни, лидерам националистических партий – за пропаганду. За убийство из нацистских побуждений – пожизненное. Молодость должна служить не смягчающим, а отягчающим обстоятельством, как алкогольное или наркотическое опьянение: юный выродок за долгую жизнь может еще много натворить. Молодым хулиганам за преступления против личности ни в коем случае не давать условные сроки: это их смешит. Продемонстрировать в действии статьи за оскорбление государственных символов, за унижение по религиозному признаку, за оскорбление личности. Пусть это будет похоже на цензуру – «актуальное искусство» и эпатажная публицистика бывают слишком похожи на фашистскую пропаганду. Если нет со-

ответствующих законов, принять, ориентируясь на опыт других государств, вполне либеральных, но не отступающих перед варварами.

Многие, уверен, сочтут эти заметки проявлением патологического старения, фобии по отношению к молодежи. Что ж, я готов принять упрек – но только от того, кто не переходит на другую сторону улицы, увидев толпу подростков.

Все, кроме правды

Последнее десятилетие прошлого века было полно значительными и в большой степени неожиданными событиями – достаточно вспомнить крушение коммунизма. Однако общественная дискуссия по поводу этих событий шла без особых сюрпризов, противоречия были стабильными, принадлежность дискуссанта к тому или иному лагерю определялась однозначно, было известно, чего от кого можно ждать в любом споре. Левые жаждали справедливости, правые – свободы, крайние левые требовали справедливости для всех, кроме правых, а крайние правые – свободы, не распространяющейся на левых. Либерализм и гуманистические ценности одними принимались, другими отвергались, и роли были распределены таким образом, что антилибералы всегда выступали как нападающая, но логически и этически слабая сторона. Им приходилось доказывать недоказуемое: что тирания лучше демократии, рабство лучше свободы, нищета лучше богатства... Поэтому, что бы ни происходило: войны, теракты, перевороты, выборы, экономические кризисы и культурные прорывы, – все становилось торжеством либерализма, даже если либералы проигрывали (что бывало редко).

В новом веке ситуация начала меняться и понемногу, к началу второй пятилетки, стала совершенно иной. Прежде всего нарушаются привычные правила игры – нельзя предугадать, кто на какой стороне окажется. В полном соответствии с законами диалектики главные течения общественной мысли, развиваясь, породили внутри себя противотоки. Как обычно бывает в такие смутные времена, возникли альянсы, немыслимые в идейно стабильной ситуации. В нашей стране появилась, например, лево-правая оппозиция право-левой власти, обвиняющая, среди прочего, эту власть в том, что она избрана слишком весомым большинством народа – будто правильная демократия обязательно должна побеждать с преимуществом максимум в один процент. В Соединенных Штатах распространилось и укрепилось мнение, что ради сохранения демократических свобод и человеческих прав, которым угрожает терроризм, можно отказаться от многих из этих свобод и прав, что, в сущности, есть оправдание тоталитаризма, если еще не тоталитаризм. Европа сильно испугалась иммиграционного нашествия и готова на все, чтобы уменьшить опасность иммигрантского бунта, – и появляются новые законы, раздражающие приезжих, но ничего не делается, чтобы уменьшить сам их наплыв. Все вместе страшно боятся терроризма и отчаянно с ним борются – однако методы борьбы такие, что терроризм усиливается, а террористы в этой борьбе не уничтожаются, а ожесточаются.

Соответственно, расплылись и помутнели позиции идейных и политичес-

ких противников. Сторонники диктатуры, прямо, в программах и манифестах, объявляющие установление ее своей целью, из соображений политической прагматики требуют соблюдения демократических процедур и гражданских свобод. Революционеры не воюют с законом и существующим порядком, а, не желая рисковать и лишаться удобств мирной жизни, добиваются легализации революции, что равно борьбе за присвоение красному цвету звания белого. Власть, вместо того чтобы применять свою власть, как следовало бы, считай хотя бы она сама себя легитимной, безуспешно хитрит и там, где могла бы взять силой, неловко и очевидно пытается взять хитростью и обманом... А либералы, отбрасывая в соответствии со своими либеральными принципами любые ограничения и запреты, отчаянно сопротивляются попыткам без ограничений и запретов проанализировать сами эти принципы и не смущаются таким тоталитарным либерализмом.

Несколько недавних событий – в самых разных областях и не только у нас в стране – заставили обратить внимание на трусость, которую проявляет средний, умеренно либерально настроенный человек в оценке современных проблем и их проявлений.

В Петербурге, Воронеже, Москве, чуть ли не по всей стране и едва ли не каждый день молодые нацисты бьют и убивают людей, прокуратура при малейшей возможности переводит дела в разряд хулиганства, присяжные оправдывают убийц. А упорно отстаивающие свои представления либералы твердят (и сами верят), что власть искусственно раздувает проблему национализма и ксенофобии, пугает обывателя фашизмом, чтобы он, обыватель, тверже поддерживал власть как меньшее из двух зол. Так, зажмурившись, жить спокойнее: и власть остается в своей отведенной ей либералами роли главного врага, и о реальном кошмаре, к которому пришло общество, не надо думать. Не надо подвергать сомнению и пересмотру свои иллюзии относительно того, что свобода не несет опасностей, не надо отдавать себе отчет в том, что свободный человек свободен во всем, и в своей мерзости в том числе. Не надо даже замечать прямого нарушения собственной логики: если власть и так поддерживается неразумным и подавляющим большинством, то зачем ей, власти, идти на провокационные ухищрения? Сомневаться можно в чем угодно, кроме заведомой вины власти во всем.

Русская православная церковь обнародует свою позицию относительно прав человека. Казалось бы, что тут может задеть либерала? Все имеют право на мнение и высказывание. Если любая организация профессиональных правозащитников должна иметь возможность говорить, то почему другой негосударственный институт обязан молчать? Но это логика нормального человека, не боящегося слышать отличное от собственного мнение, не придающего оппоненту образ хитрого врага. А те, кто подгоняет действительность под давно им известный ответ, немедленно поднимают крик: наступление клерикализма, вмешательство церкви в общественную жизнь... Даже не замечая лежащего на поверхности противоречия: вы же не признаете святости Церкви, считаете ее обычной общественной организацией, почему же вы отказываете ей в причитающемся любому объединению граждан праве вмешиваться в общественно-

идеологическую дискуссию? Потому, что представители высшей власти не скрывают своей приверженности Церкви? Так в их частную, как вы говорите, жизнь не следует вмешиваться, это их право ходить в храм, а все претензии за демонстрацию стране президента и премьера со свечками – к телевидению... Но либерал стоит на своем: Церковь должна не высовываться из-за ограды; показывать, как чиновник нос чешет, – это свобода информации, а как крестится – религиозная пропаганда.

Двойной стандарт давно стал универсальным методом в идейных, политических и социальных противостояниях по всему миру.

Поддерживающие борьбу свободолюбивого палестинского народа левые всего мира возмутились: как же так, США и Евросоюз отказывают в помощи автономии, избравшей террористов ХАМАСа в правительство?! Это противоречит гуманистическим принципам... И ведь сознательно привирают: прекращается помощь по правительственным каналам, которая и раньше вся разворачивалась, а неправительственные организации как жили со времен создания автономии на иждивении, так и будут жить. Но такая реальная картина не укладывается в пропалестинскую схему. Зато в нее уложилась бы шизофрения, которая должна овладеть американцами, чтобы они дали денег организации, выведшей 11 сентября своих сторонников на улицы для плясок по поводу победы над «американским сатаной». Ей соответствовал бы идиотизм, который должен помрачить умы израильтян, чтобы они приняли как нормального партнера по переговорам тех, кто официально называет своей целью уничтожение Израиля. И, не веря ни одному своему слову, гуманисты настаивают: вы поговорите с ХАМАСом по-человечески, он и исправится...

Не меньше жеманного вранья по поводу французских событий. Принято среди приличных людей жалеть мирных демонстрантов и ненавидеть полицию, сочувствовать бедным студентам и почитать людоедами министров, работодателей и прочих начальников – и приличный человек стоит на своем. При этом в глубине души он отлично знает, что студенты борются против закона о первом контракте потому, что хотят для молодых специалистов привилегий, а не равенства с другими работниками; что в одних рядах с ними идут пригородная шпана и мародеры; что правительственный законопроект может уменьшить безработицу, а выполнение молодежных требований ситуацию усугубит... Но признать все это невозможно, иначе пошатнутся леволиберальные убеждения – и, значит, всего этого нет, а есть злой премьер-министр и несчастные милые мальчики и девочки.

...И стоит кому-нибудь «из своих» открыть рот и сказать то, что все знают, но стесняются знать, как его немедленно наряжают в предателя. И даже самый либеральный либерализм кончается там, где начинаются сомнения в либерализме. «Не могу молчать» – жанр, равно противный и коммунистам, и фашистам, и государственным, и либералам. В сущности, говорить можно все – кроме правды.



историк кино, критик, журналист, автор ряда книг и многочисленных статей. Живет в России.

НАЦИСТСКИЙ ЛЕОНАРДО*

Два часа от Берлина, и вот он – Шверин (ударение на последнем слоге)! Исконная столица Мекленбурга, едва ли не самой бедной, исконно бедной германской земли. Вечно скудный, безработный, социально беспокойный северо-восток.

Между тем город не без уюта. Много зелени, много воды. Озера. Замки. Соборы. Роскошный дворец местных «фюрстов» – тортообразное, диснейлендовское великолепие. Постмодерн позапрошлого столетия. Воплощенная мечта новорусского толстосума.

И совсем недурной музей старых мастеров – не меньше трех десятков первоклассных работ. Рембрандт. Кранах. Рейнолдс. Коринт... Целый зал небольших скульптур Эрнста Барлаха...

И в десяти минутах ходьбы от музея – в небольшом здании, называемом «Шлезвиг-Гольштейн-хаус», на улице Пушкина (да-да, того самого!) – выставка Арно Брекера. Так и хочется добавить в скобках «да-да, того самого!», но боюсь российскому читателю это громкое (без кавычек) имя сегодня мало что говорит.

Меж тем эта выставка есть большая сенсация и большой скандал. Всегерманского и мирового масштаба. Ибо Арно (Арнольд Брекер) – не кто иной, как первый скульптор Третьего рейха и первый среди немецких ваятелей фаворит фюрера. И выставка его работ – тех, что остались «в живых» после военного лихолетья, – первая после 1944 года.

Многие авторитеты «от искусства» уже выразили свой протест против демонстрации работ человека, воплощавшего в бронзе и мраморе идеологию нацизма. Однако есть голоса, склонные не педалировать идеологический пе-

* Новое время.

риод (скажем так!) в творчестве Брекера, а поглядеть, что называется, «мимо деревьев». Ведь Брекера считали выдающимся мастером Аристид Майоль, Генри Мур, Альберто Джакометти, Жан Кокто (его близкий друг), Сальвадор Дали, Ман Рей, Александр Колдер. Ошибались?

Государственный скульптор

Действительно, более скандального – политически скандального – фигуранта в изобразительном искусстве XX века мы не найдем. Его монументальные скульптуры и фризы украшали Олимпийский стадион в Берлине в 1936 году. Его работы были представлены на выставке в оккупированном Париже в 1942 году. Его «Вагнер» стоял в резиденции Гитлера в Бергхофе. Две его статуи и барельеф были выбраны лично Гитлером для самого главного здания в рейхе – рейхсканцелярии. Говорят, что он же, фюрер, дал этим двум атлетам, один из которых держит факел, а другой меч, названия, обозначающие их метафорические смыслы, – «Партия» и «Армия». Два краеугольных камня национал-социализма.

После победы над Францией Гитлер посетил Париж, взяв в свою свиту только двух штатских – любимого архитектора Альберта Шпеера и Арно Брекера. Правда, «одел» обоих в полуармейскую униформу (как-никак война!). На всех фотоснимках, тут же обошедших западную прессу, Шпеер ошую, Брекер одесную фюрера.

В 1937 году Брекер был удостоен звания «государственный скульптор» – что было по всем статьям, то есть льготам, адекватно советскому «Народный художник СССР». Правда, у нас «государственных скульпторов» было раз в пять поболее. Ибо в Германии таковой чести удостоились всего двое – Арно Брекер и Йозеф Торак, хотя официально обласканных ваятелей было не меньше.

Сравнения уместны, ибо в творческом плане Брекер и его сотоварищи по профессии выполняли те же задачи, что и наши корифеи ваяния. Как у них, так и у нас скульптура была альфой и омегой так называемой «монументальной пропаганды» и в известной мере даже предпочиталась живописи. Как у них, так и у нас главным стилистическим вектором был неоклассицизм или, шире, державно-романтический реализм, воспевающий преданность Вождю, одержимость Идеей, боевой дух и дисциплину.

Как и в архитектуре, здесь поощрялись помпезные крайности классицизма с примесью барокко – готика, как ни странно на первый (только на первый!) взгляд, в нацистской Германии не шибко котиновалась. При этом нескрываемая страсть режима к первенству, к верховенству, свойственная всякой тоталитарной идеологии, естественно, порождала тягу к гигантомании. Строилось, возводилось, учинялось «самое-самое». «Самым-самым» должен был стать Дворец Советов, детище Сталина, псевдоготическая башня с гигантским Лениным вместо шпиля – предположительно работы Меркурова. «Самым-самым» обещал быть Kuppelhalle (купольный зал) в Берлине, голубая мечта Гитлера, для которого уже готовил наброски скульптур и фриз Арно Брекер.

Тот Брекер, что создавал своих «воинов», «победителей», «героев», «олимпийцев», «триумфаторов», исполненных телесной мощи и плакатной, вызывающе-демонстративной патетики, легко вписался бы в советское культурное пространство 30–40-х, да и более поздних годов. Недаром Сталин, впечатленный работами Брекера, которые он часто видел в немецкой хронике, высказал пожелание пригласить скульптора в Москву, дабы он создал несколько монументальных вещей то ли для Всесоюзной спартакиады, то ли для нового Наркомтажа на Красной площади.

Впрочем, каждый из наших корифеев – хоть Мухина, хоть Манизер, хоть Томский, хоть тот же Меркуров, не говоря уже о супертоннажном Вучетиче, – имел бы в нацистской Германии серьезные основания претендовать на звание «государственного скульптора». (Да и нынешние Церетели с Клыковым, думаю, борозды не испортили бы.) Вряд ли можно поставить под сомнение искренность и профессиональность упомянутых «народных» – так же, как их немецких коллег: Климша, Вампера, Кольбе, Вакерле, того же Торака. Можно даже говорить о наличии дарования – большего или меньшего – в их холодном и тяжеловесном (и чаще всего безвкусном) творчестве, прославляющем в камне, бронзе, стали, мраморе и граните две величайшие тирании XX века.

Да и как не сказаться дарованию! Почти все они начинали еще до победы этих самых тираний – в бурные и бесцензурные двадцатые годы, а иные и ранее. Почти все учились у замечательных, а порой и великих мастеров. Почти все отдали благоговейную дань традициям античности и Ренессанса.

Не был исключением и Брекер, ученик Родена и Майоля, в работах которого – даже самых пошлых, бутафорски парадных – так до конца и не выветрились многомощные токи авангардистских течений двадцатых годов. Сюрреализма и экспрессионизма. И случалось даже, пусть редко, что влияния эти, бередя его творческие позывы, невольно брали верх над официозной ходульностью и порождали прямую удачу, как бы нехарактерную для тогдашнего Брекера. Хоть бы тот же «Раненый» 1938 года.

Притом надо помнить (и выставка напоминает об этом), что и в годы нацизма Брекер работал в области портретной пластики, отнюдь не расхоже помпезной, и тот же Вагнер, или Вламинк, или Жан Кокто – бесспорно, интересные, вдумчивые работы. Никуда не денешься!

Отличие ориентаций

...Правда, прибегая к сравнению советских и нацистских идеолого-эстетических установок, мы должны сделать существенную оговорку. Различия все же имели место. Советская скульптура четко держалась сугубо реалистических – передвижнических – традиций. Шаг влево, шаг вправо уже считались подозрительными. Коненков и Голубкина были дозволены и даже удостоивались премий, но ходили в неполноценных за былые и неизжитые склонности к «модернистской стилизации», импрессионизму и декадентству. Монументальность вещи, как правило, достигалась за счет циклопичности и редко бывала

по-настоящему пластичной – скорее была переводом с рисунка, с картинки, с плаката. Обнаженная натура у нас не только не приветствовалась, но практически возбранялась – тем более в улично-площадном варианте. Спортивные атлеты – дискоболы, бегуны, пловчихи – все были целомудренно прикрыты в интимных местах, а бедный конь Юрия Долгорукого едва не остался без половых органов, но, к счастью, после жаркой дискуссии все-таки получил их (хоть и в умеренном состоянии).

В германской скульптуре, напрямую ориентированной на античные традиции, была в чести и романтическая динамика, и символизм, и откровенная стилизация – разумеется, с оглядкой на все ту же плакатную, театральную ходульность. А уж обнаженное тело (так и просится сказать «телеса»), можно сказать, мельтешило на выставках, в парках, на стадионах, в резиденциях фюреров, в частных галереях, у порталов правительственных зданий и даже на вокзалах. По преимуществу мужское, но и женское ненамного меньше.

Другое дело, что эта монументально-салонная эротика отдавала полнейшей бесчувственностью – точно творилась холодными импотентами. Даже в самых интимных композициях жесты, позы и прочее выглядят заученно-театральными.

Бывали, конечно, исключения – прежде всего в камерной скульптуре. И у Брекера тоже. В его музее неподалеку от Кёльна есть несколько работ тридцатых годов – в принципе в том же неоклассическом стиле, где обнаженная натура отнюдь не лишена чувственной красоты. Так что Брекер и в самые позорные для себя годы нет-нет да и переливался через общепринятый край.

Неординарная личность

Занятная все-таки личность, неординарная – мог так, мог этак. Мог на радость нацизму вдохновенно отдаться китчеобразному творчеству, отполированной помпе и пустоте. И в те же годы, словно спохватившись, мог потрянуть независимой стариной и прикоснуться чутким резцом к бремени истинно сущих страстей человеческих. В пятидесятые–семидесятые годы (Брекер умер аж в девяносто первом!), творя свободно, создал целую серию добротных и скучных «соцреалистических» портретов – Аденауэр, Эрхард, Эрнст Юнгер, чета Людвигов, Эзра Паунд, Анвар Садат. Несколько выделяется Сальвадор Дали – чистый и как будто даже нарочитый китч, весьма точно отвечающий и духу, и букве личности гениального шарлатана, близкого друга Брекера. И в то же время прелестная мраморная «Ифигения» – невысокая, минимально реалистичная, изящно-бесплотная, божественно-летучая, в широком невесомом одеянии, с едва различимым личиком-личинкой на запрокинутой крохотной головке. И бронзовый Гейне – молодой, с красивой, слегка раскосмаченной головой, обнаженный до пояса и детски сгорбленный в одиноко непринужденной сидячей позе. Где-то в лесном уединении. С листком бумаги на колене...

Это прекрасное изваяние, отливающее красивой болотной зеленью, с удивительной (я бы сказал, импрессионистской) меткостью запечатлевшее самое

сущее поэтического мировидения Гейне – его мудрую, горькую и нежную иронию, – могло бы, по-моему, стать едва ли не лучшим памятником поэту. Несравнимо лучшим, чем заумно-условные, натужно-претенциозные памятники, воздвигнутые в Гамбурге и Дюссельдорфе. Но кто ж допустит такое кощунство – Брекер и Гейне?!

А у меня невольная ассоциация. Мало кто помнит, сколько прогрессивного возмущения излилось на Гейне, когда он с благодарностью принял премию французского короля! Да и вообще, если по гамбургскому счету, многие поступки великого поэта можно трактовать как сомнительные и с моральной, и с политической стороны. Да только ли его?! А Сикейрос? А Маяковский? А Эзра Паунд? (О древних уж не будем.) А Эйзенштейн? А тот же Меркуров, чей красноречивый Сталин встречал меня в детстве каждый день у родной Третьяковки? А... Ну да, конечно, нацизм – «особая статья»... да еще фаворит фюрера...

Проклятый вопрос

Только недавно ушла из жизни Лени Рифеншталь. И сколько же копий вновь скрестилось накануне ее столетия! Культовая личность в кинематографе, сверхталантливый мастер – кстати, близко схожий по стилю (а заодно и по близости к фюреру) с Брекером, – она до конца упорно отказывалась признавать себя воспевателем идеологии расизма и милитаризма. Как и Брекер в послевоенные годы, она тоже требовала смотреть «мимо деревьев». Какой расизм?! Какой милитаризм?! Речь шла о воинской и спортивной доблести, о героизме, о красоте подвига, о величии жертвы во имя Родины и Народа, о телесном и духовном совершенстве, замешенном на Воле и Дисциплине. А в политическом плане... что ж... речь, разумеется, шла о Справедливости – и не более того! Пусть мы заблуждались насчет некоторых идей национал-социализма и лично Гитлера, но мы оставались верны исконным благородным традициям нашей профессии, мы оставались художниками.

«Увы, оставались!» – думаю я, оставляя «Шлезвиг-Гольштейн-хаус» на улице Пушкина. Или, наоборот, к счастью? Вот ведь принято думать, что такой политико-художнический мезальянс душит талант, а на поверку все посложнее. Талант таланту – рознь. Да и политика – архилюкавое дело. Сколько гнусных политических свершений освящено именем даровитых людей, искренне верящих в красоту и высшую пользу своих помыслов! А то и просто произведено ими.

Да, известно, что истинный художник обязан быть пророком, провидцем, только вот незадача: профессиональным провидцем ему быть нельзя никак – это не его стезя. Ему должно оставаться человеком «от мира сего» и распознать на себе все земные искушения и слабости. В том числе и эту – особенно искушительную для художника – называемую тягой к совершенству. Прекрасную и коварную, ибо зачастую не хочет дерзостное, нетерпеливое воображение художника удовольствоваться эфемером, мечтой, а спешит обрадоваться конкретному, зримому, однозначно ясному и общедоступному... мира-

жу. Спешит ощутить себя причастным к нему и вместе с ним вдохновенно «пасти народы»!

Ты к цели шел, и Вера подгоняла,
Ты к Целому стремился с давних пор.
И вот оно, желанное, настало
И... каменеет в ужасе твой взор.

Это писал один из обманувшихся и прозревших – великий Готфрид Бенн.

Брекер не прозрел. И взор его после падения нацизма остался детски безмятежным и... недоуменным – за что?! И мы, расхаживая меж его работ, нет-нет да и задаемся мысленно тем же вопросом.

«Проклятый вопрос»! И как его прикажете в очередной раз разрешать? Правы ли те, кто возмущенно требует изоляции общества от запачканных, подобно Брекеру, авторитетов? Наверное, правы. А те, другие, кто взывает к терпимости и здравому смыслу? Кто советует не выплескивать вместе с водой ребенка и тем самым отдать должное тем творениям, что отмечены печатью нелицемерной страсти и подлинного дарования? Наверняка, правы и они.

Так что же? Развести руками? Легко сказать! Беда ведь не только в том, что, поддавшись на лживое обаяние очередного политического Миража, не разглядев за его личиной «голологового гада» (Бенн), ты кинулся в его объятия и силой своего таланта сумел обрядить в заразительно-манящие, возвышенно-поэтические одеяния. В конце концов это вопрос твоей совести.

Главная беда в том, что на какое-то время ты становишься авторитетным примером для многих и тем самым совращаешь их на ту же стезю. И не менее крутая беда в том, что, лаская тебя и получая в ответ весомую, зримую, громогласную благодарность, «голологовый гад» обретает уверенность в своей правоте и силе, обретает твою престижную санкцию на произвол, на свободу репрессивных действий в отношении неугодных ему, неподдавшихся.

Все так. Но вот перед нами череда работ далеко не бездарного мастера. Его удачливая и навсегда опозоренная судьба. Его долгая витиеватая жизнь в искусстве, дающая нам лишний повод убедиться, что «гений и злодейство» отнюдь не «сказка тупой, бессмысленной толпы». Что биография замечательного человека не только урок творческого горения в поисках Гармонии – она еще и урок того, сколь извилист подчас этот поиск, сколь чреват он великими и малыми соблазнами. И сколь непосилен часто нашему несовершенному сознанию и далеко не всегда безотказному нравственному чутью.

И, размышляя об этом, я выношу свой нехитрый вердикт. Да, можно долго говорить и спорить о степени вины этого человека перед культурой и цивилизацией. Но я... я предложил бы просто простить его за давностью лет! (За давностью лет!) И милосердно разрешить снова занять свою нишу – отнюдь не обочинную – в культурном пространстве нашего трижды безумного мира.



КАК РУССКИЙ ЕВРЕЙ СПАС ИНДИЮ ДВАЖДЫ*

110 лет назад, 7 октября 1896 года, в Бомбей из «столичной» Калькутты прибыл рослый европейский еврей средних лет с нечастым для Индии именем Vladimir. Едва ли в его облике имелось тогда что-либо непривычное для местного глаза – европеец как европеец, из тех, что прожили в Индии годы или даже, быть может, родились здесь.

И все-таки прибытие Владимира в Бомбей не могло не обратить на себя внимания. Потому хотя бы, что едва ли в тот день прибывших в город было много. Напротив, из Бомбея тогда уезжали. Более того – уезжали стремительно, бросая имущество, рабочие места, друзей и родственников. И на то была причина более чем веская – в Бомбее свирепствовала бубонная чума.

XIX век был, как известно, «веком холеры» – пандемия этой болезни охватывала человечество пять или шесть раз за столетие, унося миллионы жизней. А вот чума, «черная смерть», «моровое поветрие», большую часть того столетия людей как будто бы не беспокоила – и у многих возникало даже ощущение, что в эпоху железных дорог и парового флота эта средневековая напасть почему-то исчезла сама собой. Из одного только страха перед научно-техническим прогрессом.

Однако не тут-то было. Осенью 1878 года в поволжском селении Ветлянке локальная вспышка болезни унесла примерно пятьсот жизней. А в 1884 году масштабная эпидемия чумы поразила Южный Китай. Здесь счет жертвам пошел на десятки и сотни тысяч. Здесь же, а конкретно – в британском Гонконге, зловещая гостья, наконец, столкнулась лицом к лицу с передовым краем тогдашней науки. Сотруднику Пастеровского института, выдающемуся французскому бак-

* ПОЛИТ.ру

териологу А. Йерсену и, независимо от него, японскому ученому С. Китазото удалось открыть микроскопического возбудителя болезни – чумную палочку. Тогда же была установлена связь между вспышкой чумы и обычно предваряющим ее на 2–3 недели массовым мором крыс. Йерсен начал работы по созданию противочумной сыворотки, однако заметного успеха в этом не достиг.

И вот, двенадцать лет спустя, чума обрушилась на второй по величине и значению город британской Индии, не знавший этой напасти с 1690 года. Власти, в течение какого-то времени пытавшиеся скрыть от мировой общественности этот биочернобыль XIX века, наконец, решились на активные действия – и среди принятых ими мер едва ли не самой главной было приглашение того самого человека со странным именем Vladimir, в иных документах, впрочем, именуемого привычнее – Вольф Маркус. Именно с ним образованные бомбейцы связывали надежду на спасение своего города.

Это был Владимир Аронович Хавкин. Сын бердянского школьного учителя, выпускник естественного отделения физико-математического факультета Новороссийского (Одесского) университета, ученик И. Мечникова и Л. Пастера. В молодости – участник революционного движения, сотрудничал с «Народной волей», но, по счастью, переболел этим мороком без больших потерь.

Впрочем, «заработал» тайный надзор полиции, отравлявший затем все его годы жизни на родине. Общественную активность, однако, не прекратил: участвовал в студенческих акциях протеста, в студенческих же «отрядах самообороны» – вставших в 1881 году на пути разнужданной толпы подонков, громивших еврейские дома и лавки. Дважды исключался из родной alma mater – в первый раз был восстановлен благодаря ходатайству Мечникова, во второй раз (уже после ухода будущего нобелевского лауреата из университета) – окончательно. Тем не менее, образование завершил – в марте 1884 года защитил магистерскую диссертацию по биологии простейших беспозвоночных.

Несмотря на незначительную, техническую должность в университетском музее – интенсивные занятия наукой, публикации в русских и иностранных журналах. Первые шаги в новой тогда биологической дисциплине – бактериологии. Затем, в 1889 году – после безуспешной попытки поступить на работу в Петербургский университет, – отъезд за границу вслед за учителем: уставший бороться с тупыми русскими чиновниками Мечников годом раньше перебрался в Париж, к Пастеру.

И вот, с 1890 года Хавкин – сотрудник Пастеровского института, сперва – младший библиотекарь, затем, после открытой уехавшим в очередную индокитайскую экспедицию Йерсеном вакансии, – полноценный исследователь, ассистент великого Э. Ру, победителя дифтерии.

Весной 1892 года, одновременно с началом пятой в XIX веке холерной пандемии, Хавкин принимается за поиск решения амбициознейшей задачи – создание живой холерной вакцины. Нет никакого сомнения, что среди прочих мотиваций молодого ученого присутствовала и значимая патриотическая составляющая – из всех европейских стран Россия отдавала холере самую весомую дань: сотни тысяч человеческих жизней всякий раз.

Уже первые парижские шаги на пути к победе над холерой продемонстрировали особенности стиля Хавкина-ученого. В первую очередь это дикая работоспособность и, как следствие, необычайный темп работ. Так, своего первого кролика бактериолог заразил в мае 1892 года, а 9 июля члены Парижского биологического общества впервые слышали о его первых результатах в сообщении «Азиатская холера у морских свинок». 23 июля заметка о работах Хавкина была опубликована в «Иллюстрасьон», а за три дня до этого Владимир втайне от коллег ввел себе под кожу дозу вакцины. А шесть дней спустя Хавкин уже ввел себе усиленную дозу холерного яда – колонию живых холерных бактерий. Сутки он чувствовал себя весьма скверно, затем недомогание прошло, и уже 25 июля 1892 года он знал, что отныне человечество обладает мощным универсальным противохолерным оружием.

А вслед за Хавкиным от холеры привились три русских добровольца – политэмигранты-народники. Официальное сообщение о победе над страшной болезнью Хавкин сделал 30 июля.

На предложение Хавкина и Пастера безвозмездно передать России метод изготовления противохолерной сыворотки русские медицинские власти ответили отказом – как бы чего не вышло, учитывая еврейское происхождение и народovolьческое прошлое Хавкина. Притом что за XIX век холера унесла в России жизни более двух миллионов человек.

Осенью того же года Хавкин получил приглашение с «родины» побежденной им холеры. Главный санитарный врач индийской Калькутты, суля всяческое содействие, предложил ему поработать в Индии. Хавкин принял предложение и в 1893 году получил разрешение британских властей на поездку в Индию.

То, что Хавкин сделал тогда в Индии, типологически напоминает деяния какого-нибудь святого. Надо было совершить чудо – в стране, не знающей, что такое санитария, где большая часть населения не имела доступа к чистой питьевой воде, запустить механизм массовых профилактических прививок. Холера уносила здесь миллионы и десятки миллионов, но население и слышать не желало ни про какие прививки. Экспедиции доктора Хавкина случалось быть побиваемой камнями в прямом смысле этого слова.

Что удавалось противопоставить этому? Упорство и личный пример: на глазах у жителей каких-нибудь отдаленных сел Хавкин и его сотрудники многократно прививали себя от холеры.

Это действовало. Люди видели результат, поскольку холера была тут же – она, бывало, приходила в селение буквально по следам калькуттских докторов, расставляя все точки над *i*. Постепенно слух о чудесном докторе и его команде распространился по всей стране. Отовсюду стали приходить заявки на вакцинацию. Жители городов теперь встречали группу Хавкина как дорогих гостей – дарили серебряные кубки и денежные суммы. До лета 1895 года, когда Хавкин выпустил в Калькутте отчет о своей деятельности, им были привиты 42 тысячи человек, причем две трети из них – дважды. И, что еще важнее, был подготовлен целый штат местных специалистов, способных продолжить это благородное дело уже без смертельно уставшего и страдающего от приступов

малярии Владимира Хавкина. Фактически тогда было заложено ядро национальной бактериологической службы Индии – тех учреждений, которые выполняют эту функцию до сих пор.

Так Хавкин спас Индию в первый раз. А полтора года спустя он принимает второй аналогичный вызов, и имя тому вызову – бомбейская чума.

В Бомбее Хавкину отвели лабораторию при местном медицинском колледже – две комнаты и четырех ассистентов. На третьи сутки ученый начал в ней опыты. В этих комнатах Хавкин работал по 14 часов в сутки, здесь же он и жил. Смерть ходила под окнами – эпидемия в городе разрасталась с каждым часом – но смерть была и ближе, совсем рядом: одно неверное движение усталой руки, разбитый стеклянный сосуд с культурой чумной бактерии, случайный порез, укус зараженного животного... Ассистенты не выдерживали и увольнялись – один из них получил сильнейшее нервное расстройство.

Тем не менее работа продвигалась – в итоге первая в мире противочумная вакцина была создана всего за три месяца. Верный своим этическим принципам, Хавкин опять испытал ее на себе в тайне от окружающих – лишь два врача знали о том, что Владимир ввел себе дозу вакцины, в несколько раз превышающую расчетную. Дневник самонаблюдений ученого был зачитан потом студентам и преподавателям медицинского колледжа – которые, в ответ на это, добровольно и единодушно вакцинировались. Поворотным моментом стало затем вакцинирование на пике эпидемии добровольцев из числа заключенных местной тюрьмы. Разница в заболеваемости и смертности привитых и непривитых была столь разительно очевидна, что никаких дополнительных объяснений и доводов не потребовалось.

А после этого было фактическое повторение 93-го года – бесконечные «гастроли», сотни лекций, десятки тысяч привитых людей. Спасенные жизни. Правительственные награды Британской империи. Превращение маленькой бомбейской лаборатории в Haffkine Institute, экспортирующий миллионы доз противочумной вакцины во все страны мира.

И так же, как во времена холерной эпопеи, – нелепые конфликты с косными колониальными властями, вплоть до обвинений в шпионаже в пользу России. В 1904 году Хавкина фактически изгнали из Индии, в 1911 – с извинениями позвали назад. В 1915 году Владимир вернулся в Европу, активно консультировал медицинскую службу британской армии, затем оставил науку и вплоть до своей смерти в 1930 году жил незаметной жизнью одинокого пенсионера, тщательно соблюдающего обряды иудаизма. Скончался в Швейцарии.





журналист, обозреватель «Новой газеты». Живет в России.

ОППОНЕНТ СТАЛИНА*

...рейд на Кубань не удался. Полковник (я не могу назвать его имени, он до сих пор продолжает партизанскую войну на Кавказе) сформировал новый отряд. Через горы мы пытались уйти в Грузию. Когда была объявлена амнистия, я <...> сдался в руки офицеров. В тюрьме провел четыре месяца. Оттуда был перемещен в Грозный, потом, в специальном вагоне, во Владикавказ... Я отрицал свою виновность и отказывался взять вину на себя. Тогда меня и еще троих вывели на расстрел. Один был убит в двух шагах от меня, второго тоже застрелили. По какой-то причине меня они убивать не стали...

Это не отрывок из нового репортажа Анны Политковской и не докладная записка «Мемориала» о правонарушениях в Чечне. Строки эти написаны восемьдесят лет назад – в 1925 году. Их автор Созерко Мальсагов. Человек, который совершил первый и единственный побег из Соловецкого концлагеря. Его книга «Адский остров», по сути, тоже была первой книгой о преступлениях сталинизма. Она вышла в свет за полвека до солженицынского «Архипелага» и прозы Шаламова.

Но самое примечательное в этой книге то, что если из неё убрать даты и заменить «большевиков» на «федералов», а «белогвардейцев» на «террористов», то от сегодняшних репортажей с Кавказа ее не отличить.

Еще лет пятнадцать назад судьба Созерко Мальсагова могла бы показаться фантастической. Царский офицер, зэк, беглец, офицер польской армии, военнопленный, политэмигрант. Кажется, слишком много для одного человека. Но жизнь – лучший сценарист.

*Новая газета.

Сын командира артдивизиона, Мальсагов окончил Воронежский кадетский корпус и стал офицером русской армии. В Первую мировую воевал в Ингушском кавалерийском полку. Первое его пребывание на фронте оказалось недолгим – через месяц Мальсагов получил ранение и был отправлен в лазарет. За «отличия в делах против германцев» был награжден «орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом».

С развалом империи Мальсагов увольняется из вооруженных сил и отправляется на родину – в Ингушетию, где идет гражданская война. Ингуши составляли основу, белую кость царской гвардии, и Мальсагов остается верен присяге. Он вступает в Кавказскую армию и воюет против большевиков. Армия Деникина с боями отступает, без её поддержки горские отряды не могут оказать достойного сопротивления большевикам.

Катастрофа Добровольческой армии вынудила всех нас искать убежище в горах, – пишет он в своих воспоминаниях. – Несмотря на свою малочисленность, мы вели боевые действия не без успеха. Уже начали обдумывать крупные операции, когда произошло знаменательное восстание в Грузии, и мы лишились той поддержки, на которую рассчитывали.

Белогвардейское движение в Грузии возглавлял полковник Челокаев. Закавказская ЧК неоднократно предлагала ему огромные суммы золотом, обещала купить любую виллу в любой стране Европы только для того, чтобы он покинул Кавказ, но Челокаев каждый раз отказывался. Тогда чекисты взяли семью Челокаева в заложники. Челокаев, в свою очередь, захватил нескольких видных представителей Советской власти и послал председателю ГрузЧК письмо: «Я пришлю в мешке по сорок голов коммунистов за каждого члена моей семьи, убитого вами. Полковник Челокаев».

В 1922 году, в честь пятой годовщины революции, большевики объявляют полную амнистию сложившим оружие боевикам. Белогвардейское движение к тому времени было уже обречено. Мальсагов решает сдаться.

Я до сих пор не могу простить себе, что я, который лучше других знал цену большевистским обещаниям, поверил в добрую волю этих людей. В апреле 1923 года я сам сдался в руки офицеров ЧК в Батуме. Меня допрашивал следователь, примечательный своей молодостью. Когда чекист суммировал мои преступления (надо сказать, довольно подробно), он сказал с усмешкой: «Мы не будем мягкотелы в отношении таких, как ты». И они действительно не были мягкотелы. Когда я сослался на амнистию, следователь прямо взревел от смеха: «Отведите его в камеру, и пусть там ему покажут амнистию!» И они показали.

...Палачи всегда ходили пьяные. Это были профессиональные мясники. Сходство с последними усиливалось привычкой закатывать рукава кителей. <...> Непрерывное кровопролитие оказалось пыткой не только для подсудимых, но и для жителей. Население бросало свои дома, будучи не в состоянии слышать пронзительные крики и стоны жертв. Улицы вокруг Метеха долгое время были необитаемы.

<...> В Метехе бесчеловечные пытки систематически продолжали осуществляться по отношению к беззащитным людям – я видел много стариков, женщин и детей. Один раз в неделю специальная комиссия составляла список жертв, не уделяя особого внимания степени их вины. Каждый четверг ночью расстреливалось от шестидесяти до ста человек. Эта ночь была адом. Каждый ожидал смерти. Многие не выдерживали и сходили с ума или заканчивали жизнь самоубийством.

Через семь месяцев после ареста Мальсагова осуждают по статье 66 – «контрреволюционная деятельность» – и отправляют на Соловки. Уже к тому времени это был настоящий концлагерь, главным назначением которого было уничтожение людей. Там Мальсагов увидел обещанную амнистию во всей красе:

«Белый дом» – так называлось имение, покинутое его хозяевами. В нем в течение двух лет ежедневно производились расстрелы. Две тысячи матросов из Кронштадта были расстреляны в три дня. Смерд от разложившихся тел отравлял воздух на километры вокруг. Ужасная слава «Белого дома» удваивалась еще и потому, что тела казненных не убирали. И к концу 1922 года все помещения «Белого дома» были завалены трупами до потолка...

<...> Практика жестоких репрессий против родственников повстанцев развита в сложную систему террора. Старых чеченцев сослали в качестве заложников из-за их сыновей, которые присоединились к партизанским отрядам... Вся группа была отправлена на Секир-гору, посажена в «каменный мешок» и выпорота «смоленскими палками» до потери сознания. Самому старому из чеченцев было 110 лет...

«Каменные мешки» представляли собой погребки в 3–4 фута длиной, выдолбленные в скалах монахами для хранения продуктов. Они не имели дверей, и провизия укладывалась в них сверху через маленькие отверстия. Если арестант влезает в мешок вниз ногами, его бьют по голове. Если вниз головой, то его бьют «смоленскими палками» по спине и ногам до тех пор, пока все тело не войдет целиком в мешок, слишком узкий, чтобы в нем можно было сесть, и слишком неглубокий, чтобы в нем можно было стоять. Поэтому истязаемый должен находиться в коленопреклоненном состоянии с вытянутой вперед головой. Время нахождения в мешке – от трех дней до недели. Очень немногим удастся вынести эту средневековую пытку.

Бежать с Соловков, конечно, пытались и раньше, но все попытки заканчивались неудачей. Как, например, это произошло с группой Цхиртладзе. Пять человек захватили лодку, неделю шли морем, не имея возможности определить направление, а когда их, наконец, прибило к земле, беглецы были настолько измождены, что попадали прямо на берег, лишь разведя костер. Там их и обнаружил конвой. Чекисты кинули в костер две гранаты. Четверо из шести были убиты на месте, двоих, в том числе и Цхиртладзе с оторванной рукой и пере-

битыми ногами, притащили в лагерь, чуть подлечили, после чего жестоко пытали и, наконец, расстреляли.

Был, правда, еще студент Николаев, который работал в соловецкой конторе. Он сумел организовать себе настоящую командировку на материк и уехал с острова на совершенно законных основаниях. После прислал в лагерь письмо с сообщением, что возвращаться не собирается. Но назвать эту командировку побегом можно с натяжкой.

Мальсагов понимал, что побег с самого острова невозможен. Но ему повезло. Он был назначен нарядчиком, распределявшим арестантов на работы, что дало ему возможность составить бригаду из своих людей и отправить ее на берег материка на заготовку леса. Это был единственный шанс.

Рано утром 18 мая 1925 года две партии заключенных были выведены на работу. Одна, назначенная на материк, состояла из Бессонова – командира группы, инициатора и организатора побега Мальсагова, поляков Мальбродского и Сазонова и казака Приблудина. Вторая партия должна была отправиться в казармы мыть полы.

В самый последний момент операция чуть не сорвалась. Начальство, посчитав, что доходяги из группы Бессонова не смогут валить лес, решило поменять партии местами. Мальсагову пришлось действовать «под дурачка» и на свой страх и риск все же отправить группу на материк, сделав вид, что не понял приказа.

До восьми утра, как и положено, рубили лес, ожидая сигнала командира. Когда Бессонов поднял воротник, группа набросилась на охранников и разоружила их.

Казак Приблудин, ничего не знавший о побеге, бросился Бессонову в ноги. Ему предложили на выбор – либо связывают и оставляют с конвоирами, либо он присоединяется к побегу. Он решил бежать. Бросив конвоиров в лесу и отобрав у них ботинки, группа направилась на север.

Побег продолжался тридцать пять дней. Несколько раз группа натыкалась на чекистов и уходила с боем. Во время пути Бессонов вел дневник на внутренней стороне обложки «Нового Завета»:

18 мая – разоружили конвой и сбежали.

27 мая – прошагали всю ночь и весь день без отдыха. Еда почти закончилась. Пришли на молочную ферму, угодили в засаду. После перестрелки красные удрали в лодке. Пошли вдоль реки, раздобыли у рыбаков еды. Еды мало, идем голодные. Ужасно устали. У всех распухли ноги.

29 мая – ночной переход через «непроходимые» болота. Отдых. Мешки. Гуси. Заяц. Мальбродский не может идти от усталости.

4 июня – пошли в деревню добыть пищи. Карелы обещали дать и обманули нас. Еды совсем мало. Идем на запад.

5 июня – Мальсагов не может идти. Нашли домик косарей. Огромное количество хлеба, муки и соли. Все пали на колени и возблагодарили Создателя. Почти утро. Все спят.

14 июня – река. Отступление. Тропинка. Засада. Выстрелы в упор. Бог спас нас. Хвала ему! Бегство. Назад к реке. Ужасная переправа.

17 июня – счастливым выстрелом сразили оленя. Почти всего съели.

21 июня – двинулись утром. Усталость. Идти неохота. Поляна. Пошли к краю. Вышли с поляны. Сплавка леса. Финляндия!

Уже через полгода Мальсагов пишет свои «Адские острова». Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. На руководство СССР посыпались обвинения в государственном терроризме и нечеловеческом отношении к заключенным. Та знаменитая поездка ста советских писателей на Беломорканал отчасти была и контрударом на «антисоветскую пропаганду» Мальсагова. Итоги ее известны – хвалебная беллетристика про счастливых эков и труд, «дело доблести и героизма».

Вторую мировую Мальсагов встретил офицером польской армии. Но судьба военного не была ему предначертана. Мальсагов – вечный беглец. В тридцать девятом он попадает в немецкий плен и направляется в лагерь военнопленных в Германию. Снова побег, снова скитание по лесам. Сопротивление перебрасывает его во Францию, где он и партизанил до конца войны.

После Победы за Мальсаговым начал охоту НКВД. Он снова вынужден был скрываться, переезжая из страны в страну. На него было совершено несколько покушений. Но, несмотря на это, правозащитную деятельность Мальсагов так и не бросил. Из этой своей войны с советской государственной машиной он вышел победителем.

Встретиться со своими родными Мальсагову было уже не суждено. Его семейная жизнь была только в письмах: *«Дорогой Соси! Всю жизнь находясь в ожидании встречи, мы крепко успели с тобой постареть. Постарели даже наши дочери. Раечке уже 55 лет, она на пенсии, а Мадине – 51...»* Младшую дочь Мадину, родившуюся уже после его ареста, он так никогда и не увидел. Скончался Созерко Артаганович в 1976 году в Англии.

Говорят, что история имеет спиралевидную форму. Если это действительно так, то нас заклонило на одном витке. Вместе с Европой мы вошли в XX век, но поезд ушел уже на целое столетие, а нас Главный Стрелочник все время переводит на поворотном кругу на ветку к Соловкам. Милицейский террор, заказное правосудие, Чернокозово, Бородинская и Благовещенск, неуловимые «полковники» на Кавказе...

Вот строки из доклада правозащитного общества «Мемориал». Как говорится, найдите десять отличий: «До 2004 года захват в заложники сотрудниками российских силовых структур родственников боевиков был эпизодическим. Однако после так называемой "чеченизации" конфликта данное явление приняло системный характер.... Так, 3 марта был задержан Хож-Ахмед Висаитов. Его содержат в расположении стрелковой роты, командиром которой является местный уроженец Ибрагим Хултыгов. Это подразде-

ление входило в структуру службы безопасности А. Кадырова и подчинялось сыну последнего – Рамзану. И. Хултыгов позволил родителям встретиться и пообщаться с Хож-Ахмедом. После этого заявил, что парень будет отпущен только в том случае, если к ним явится его отец, которого они разыскивают <...>

Согласно нашему мониторингу, на территории Чечни с середины 2000 года убито 3150 человек. Только в этом году нами зафиксировано 90 убийств, из них 43 – мирные жители <...> Респондент, 1968 г. р., приехал в Грозный к своей сестре. Возле консервного завода его задержали российские солдаты. Ничего не объясняя, избили. Двое суток находился в помещении консервного завода, затем его доставили в Моздок. В машине перевозили 63 человека. По дороге двое задохнулись, а шестерых расстреляли тут же, в машине. Так мертвецы и ехали вместе с остальными до Моздока. Били на протяжении всего пути».

На протяжении века «мальсаговский» ген свободы, вольнодумства, гордости вытраивался из населения. «Мальсаговых» массово истребляли, гнали из страны и, в конце концов, выгнали. Такого генофонда практически не осталось. Вместо гена свободы нам был привит ген жестокости и покорности. Даже не так, не привит – мы сами закатали рукав, поработали кулаком и подставили руку под эту прививку. Время закольцовывается. Поворотный круг, который страна вроде бы крутанула в девяносто первом, снова стал на свое место.

А значит, если у нас сейчас «красный террор» двадцатых, то впереди нас ждет тридцать седьмой?



бывший советский политзаключенный, автор многочисленных публикаций, книг, радио- и телепередач о положении заключенных, последствиях исполнения уголовного наказания. Директор Центра содействия реформе уголовного правосудия. Живет в России.

ЗОНА*

От гаазы нету мазы

На Введенском кладбище в Москве – жители окрестных улиц называют его еще по-старому, Немецким – есть могила: темно-серый камень с темно-серым крестом, черная ограда; чугунные стояки-колонки, темные прутья, а поверх них свисают кандалы – цепи с широкими наручниками и «накожниками». На камне выбито: 1780–1853 и несколько строк латыни. Слова из Евангелия по-русски звучат так: «Блаженны рабы те, которых господин, пришедши, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и подходя станет служить им» (Лук. 12, 37).

Гаазовские кандалы и разорванные цепи – один из главных элементов надгробия на могиле «святого доктора». Ограда, как и памятник в Малом Казенном переулке в Москве, выполнена выдающимся скульптором Н. А. Андреевым.

«Во все времена года на этой могиле лежат цветы живые, матерчатые и бумажные, иногда пышные букеты, чаще скромные пучки ландышей, ромашек или просто одна гвоздика, тюльпан...

Полтора века назад Федора Петровича Гааза знали все московские старожилы. Когда он ехал в тряской пролетке или шел по улице, высокий, чуть сутулый, большоголовый, в черном фраке с кружевным жабо – ветхим, пожелтевшим, но тщательно разглаженным, в коротких черных панталонах и таких же старомодных башмаках с большими железными пряжками, с ним приветливо здоровались на московских улицах сановные аристократы, ехавшие в каретах с гербами, и нищие на церковных папертях, генералы, офицеры, "будочники"

* Русский Журнал. www.russ.ru

с алебардами, извозчики, мастеровые, университетские профессора и студенты, дворовые слуги известных московских бар, купцы, охотнорядские приказчики и нарядные светские дамы.

Несведущим объясняли:

– Это доктор Гааз, Федор Петрович... Добрейшая душа, святой жизни человек... Истинный благодетель и друг всех страждущих. Это про него говорят: "У Гааза нет отказа"...

Правда, были и такие, кто отзывался о нем насмешливо, презрительно и даже с раздражением: "Чудак, безумец, юродивый..." Но большинство москвичей всех поколений и состояний говорили о нем с любовью и уважением...

Очерк Булата Окуджавы, из которого взят вышеприведенный отрывок, так и назван по народной поговорке-присказке – «У Гааза нет отказа». В словарях, сборниках пословиц (даже у Даля) или крылатых выражений мне ее найти не удалось, но в 80-е годы XX века присказка про Гааза еще была в ходу -- самому приходилось слышать от арестантов. Скорее всего, сохранилась она благодаря больнице имени Ф. П. Гааза. Это единственная тюремная больница (сейчас – межобластная больница ФСИН Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области им. Ф. П. Гааза), которая с незапамятных времен принимала арестантов со сложными и трудноизлечимыми болезнями. Сюда срочным этапом привозили заключенных из тюрем и лагерей всего СССР. Тех, которым ни на одной «больничке» помочь уже не могли. Сейчас, судя по «письмам из зоны», иногородних, заобластных арестантов питерская больница имени Гааза не принимает, наряды, которые запрашиваются администрацией колоний, заворачивают. Заворачивают с этапа и многих безнадежных заключенных.

Арестанты старую присказку переиначили: *от гаазы нету мазы* (т. е. шанса, возможности, поддержки, надежды). Имеется в виду, конечно, не Федор Петрович, а *гааза* – «порожняк», как говорят в зоне. «Порожняк» – это и больница, которая продолжает носить имя «друга всех страждущих».

По словам Анатолия Федоровича Кони, прежнюю присказку про Гааза «сложили» арестанты московской пересыльной тюрьмы на Воробьевых горах. *Гаазами* же в XIX веке называли кандалы, придуманные Ф. П. Гаазом для облегчения участи этаплируемых заключенных. «Арестанты и до сих пор просят, как милости, заковывать их в "гаазовские кандалы"», – писал в 1868 году П. С. Лебедев¹.

Что останется в тюремном фольклоре века нынешнего? Не знаю... Арестанты – народ незлобивый и на добро памятливым. Даст Бог, наладится все с питерской больницей или еще с каким-нибудь добрым делом, освященным именем «святого доктора», припомнится и старинная присказка.

¹ Лебедев Петр Семенович (1816–1875) – генерал-майор, редактор газеты «Русский инвалид» (1855–1861), литератор, автор десятков исторических книг и очерков. С 1859 г. директор (т. е. инспектор) Петербургского тюремного комитета, начальник Петербургского тюремного замка. Петр Семенович был первым исследователем жизни и деятельности Ф. П. Гааза.

На похороны «святого доктора» (так еще при жизни называли Гааза москвичи) 19 августа 1853 г. (по старому стилю) «стеклось до двадцати тысяч человек, и гроб несли на руках до кладбища на Введенских горах... Почему-то опасаясь "беспорядков", московский генерал-губернатор граф Закревский прислал (специально на похороны) полицмейстера Цинского с казаками, но когда Цинский увидел искренние и горячие слезы собравшегося народа, то понял, что трогательная простота этой церемонии и возвышающее душу горе толпы служат лучшею гарантией спокойствия. Он отпустил казаков и, вмешавшись в толпу, пошел пешком на Введенские горы...» (А. Ф. Кони).

По свидетельству П. С. Лебедева, «Гааза хоронила вся Москва: православные, старообрядцы, знатные и убогие, все плакали от сердца, потому что не стало человека сердца».

Двадцать тысяч – это двадцатая часть всех жителей Москвы середины XIX века. Булат Окуджава в очерке про Гааза добавляет: «...таких похорон в Москве не было целое столетие». Очерк был опубликован в декабре 1980-го (Наука и жизнь. 1980. № 12), в год смерти Владимира Высоцкого, это позволяет предположить, что Булат Шалвович под «такими» имеет в виду не похороны Сталина.

Но к исходу XIX столетия, по утверждению А. Ф. Кони, имя Гааза звучало «как нечто совершенно чуждое и не вызывающее никаких представлений. Даже среди образованных людей, соприкасающихся с тюремным и судебным делом, даже среди врачей...» И несколькими строчками ниже А. Ф. Кони добавляет:

«Мы мало умеем поддерживать сочувствием и уважением тех немногих, действительно замечательных деятелей, на которых так скупа наша судьба. Мы смотрим обыкновенно на их усилия, труд и самоотвержение с безучастным и ленивым любопытством, "с зловещим тактом, – как выразился Некрасов, – сторожа их неудачу". Но когда такой человек внезапно сойдет со сцены, в нас вдруг пробуждается чувствительность, очнувшаяся память ясно рисует и пользу, принесенную усопшим, и его душевную красоту, – мы плачем поспешными, хотя и запоздалыми слезами, в бесплодном усердии несем ненужные венки... Каждое слово наше проникнуто чувством нравственной осиротелости. Однако все это скоро, очень скоро проходит. Скорбь наша менее долговечна, чем башмаки матери Гамлета. На смену ей являются равнодушие и потом забвение...»

У нас нет вчерашнего дня. Оттого и наш завтрашний день всегда так туманен и тускл. Поэтому и смерть выдающегося общественного и государственного деятеля напоминает у нас падение человека в море...»

Такая бессовестная забывчивость по отношению не только к делам славным, героическим, но и к злодейским уживается (и продолжается) в нас с душевной отзывчивостью: при напоминании – откликнуться, «поплавав от сердца», повиниться. С одинаковой готовностью откликнуться на доброе или бесовское, лишь бы напоминание было вдохновенным.

Главными хранителями памяти о докторе Гаазе А. Ф. Кони называл врачей, арестантов и московских жителей. Федор Петрович был основателем нескольких городских больниц. Среди них – «Глазная» и «Полицейская», где бесплатно лечили бедняков и бродяг. Тюремный доктор вошел и в фольклор российских арестантов, даже сегодняшних, как чуть выше рассказывалось: в байки, истории, пословицы. И сейчас на Введенском кладбище можно встретить людей с татуировками, в «золотых цепях», с «пышными букетами», которые спрашивают про «гаазовскую» (иногда – «хасовскую») могилу.

Кандалы же, изобретенные «святим доктором» (те самые, что попали на решетку ограды надгробья), и через полвека после его смерти называли «гаазами», или «гаазовскими кандалами». Ими постепенно заменяли с 30-х годов XIX века казенные кандалы, которые были в 1,5–2 раза тяжелее гаазовских, облегченных до трех фунтов. Но особые муки доставляла арестантам укороченная цепь. Пройти тысячекилометровыми этапами в кандалах с укороченной цепью – долгая, мучительная пытка. «Арестанты страдали ногами, сбивая их в кровь», – пишут современники Федора Петровича.

У гаазовских же кандалов цепь легко подвешивалась к поясу за среднее кольцо, была как раз в один аршин, имела округленные обоймы, а с 1836 года кандалы стали повсеместно обшиваться кожей. В таких кандалах можно было проходить большие расстояния не уставая, без травм и других неприятностей. Окончательная конструкция кандалов сложилась не сразу, каждый вариант Федор Петрович испытал на себе, вышагивая, как бы сейчас сказали, средне-этапное расстояние в своей небольшой камерке, отведенной ему в «Полицейской больнице».

Сражение с «прутом Дибича»

На самом деле история с кандалами была лишь одним из небольших эпизодов сюжета о сражении за отмену «прута Дибича». Эта история является центральной во всех книгах о Федоре Петровиче Гаазе. Для точности надо сказать, что дьявольское пыточное орудие изобрел не Дибич. Прут, который нынешние тюремщики называли бы «противопобеговым устройством», был изобретен западными умельцами. Просто ввели его в российские этапные обыкновения в 1824 году по распоряжению начальника генерального штаба графа Дибича, более известного как человека, который сдал декабристов Николаю I (а в наше время – в качестве персонажа баек Даниила Хармса).

«Святой доктор» при первом взгляде на арестантов, насаженных на прут, был потрясен до глубины души. Оставаясь при этом натуральным (т. е. прагматичным) немцем, Федор Петрович использовал все мыслимые и немыслимые «правозащитные технологии», обращаясь не только к российским «авторитетам» вроде московского генерал-губернатора князя Голицина, но и к западным, например, к прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV. К «немыс-

лимым» и по нынешним временам «технологиям» можно отнести изобретение кандалов, которые даже конвойными офицерами были признаны подходящим «противопобеговым устройством».

Вот как описывает «прут Дибича» Кони в книге о докторе Гаазе:

«На толстый аршинный железный прут с ушком надевалось от восьми до десяти запястьев (наручней) и затем в ушко вдевался замок, а в каждое запястье заключалась рука арестанта. Ключ от замка клался, вместе с другими, в висевшую на груди конвойного унтер-офицера сумку, которая обертывалась тесемкою и запечатывалась начальником этапного пункта. Распечатывать ее в дороге не позволялось. Нанизанные на прут люди – ссыльные, пересылаемые помещиками, утратившие паспорт и т. д., связанные таким образом вместе, отправлялись в путь рядом с каторжными, которые шли в одиночку, ибо были закованы в ручные и ножные кандалы...

И так двигались на пруте по России и по бесконечному сибирскому тракту много лет тысячи людей, разъединенных своею нравственною и физическою природою, но сливавшихся в одном общем чувстве бессильного озлобления и отчаяния...»

Муки и унижения, которые испытывали этапники разного пола, возраста, физической силы, привычек и т. п., пристегнутые к одному пруту, описываются в жизнеописаниях в мельчайших подробностях: они должны были не только вместе идти («наступая друг на друга»), но и вместе спать, есть, ходить до ветру и т. п. Ослабевшего, заболевшего (или даже умершего) надо было тащить волоком, а если караул позволял, тело клали на подводу, однопрутники же шли рядом с телегой, «высоко подняв прут над головой» поднятою вверх пристегнутой рукою. Прут сконцентрировал в себе одно из самых тяжелых испытаний для арестанта, которое сохраняет и сегодняшняя российская зона – необходимость быть все время на людях, «припрученным» к сокамерникам-солагерникам, к навязанному обществу.

Причем на прут насаживались не каторжные, а так называемые административные, беспаспортные и прочие, шедшие, согласно оригинальному народному выражению, «по невродии» (т. е., говоря словами закона, «не в роде арестантов»). Это казалось явной несправедливостью, тем более бессмысленной, что «до 1824 года ссыльные в Сибирь, а также приговоренные к ссылке за неважные преступления, шли свободно, и только на приговоренных к каторжным работам надевались ножные кандалы, по прочтению приговора».

Не буду описывать всех подробностей сюжета о сражении с «прутом Дибича», их можно найти в жизнеописаниях «святого доктора». Скажу только, что противная сторона сражалась с остервенением и изощренностью, заваливая начальников, приближенных к императору, доносами на князя Голицына и «утрированного филантропа» Гааза, потворствующего «развращенным арестантам». Кроме того, срочно было разыскано еще одно чудо западной «противопобеговой» техники, которое вошло в историю под названием «цепи Капцевича» (командир корпуса внутренней стражи). Слегка облегчив совместное передвижение трех пар этапников, «цепи Капцевича» сохраняли главный истязав-

тельский принцип прута: уничтожить всякую индивидуальность в «развращенном арестанте». «Цепи Капцевича» изготавливались и начали применяться взамен прута, но их еще долго не хватало, и по-прежнему сотни и тысячи «препровождаемых» и высылаемых брели «на прутах», мучительно завидуя каторжникам, шагавшим каждый в «своих» отдельных кандалах.

Правда, в Москве по распоряжению генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына с 1832 года стали перековывать всех этапников в газовские кандалы – до шести тысяч человек в год перековывали. Федор Петрович говорил потом, что это было счастливейшим событием в его жизни...

Пруты уходят – «припрученность» остается

Авторы жизнеописаний «святого доктора», завершая сюжет о сражении с прутком, говорят о победе Гааза. На самом деле гаазовские кандалы вошли повсеместно в тюремную практику после смерти Федора Петровича, когда в России пешие этапы были заменены водными и железнодорожными. Главная причина – «прут Дибича» и «цепи Капцевича» стали неудобны, мешали самим конвойным. Но и после введения гаазовских кандалов принцип «припручивания», уничтожающий всякую индивидуальность в «развращенном арестанте», в тюремных обычнованиях сохранился.

Нынешние узники также пишут об этапе как об одном из самых страшных испытаний. Конечно, этапы стали короче, не за год, за недели и месяцы доставляя арестантов до места наказания. Но тут мне сложно сказать: хорошо это или плохо? Исследователи тюремного мира России XIX века (например, С. В. Максимов. Ссылные и тюрьмы. СПб., 1862), ссылаясь на рассказы самих арестантов, пишут, что этапная жизнь, несмотря на все ее тяготы, была вольнее острожной или каторжной. И еще неизвестно, что бы предпочли сегоднешние арестанты: год в кандалах на свежем воздухе или месяц «ада на земле», который они проводят в «столыпиных», на транзитах? Да еще не забыть, что для многих этот «ад» начинается с милиции (где мучают и пытаются), с ИВС (в просторечии – КПЗ), следственных изоляторов (СИЗО).

Довольно точное представление о «припрученной» жизни в СИЗО дает сериал «Зона». Сейчас переполненными остаются следственные тюрьмы в крупных городах, но и без переполненности принцип психологического «припручивания» (арестанты называют его «змейским прессом») сохраняется. А есть еще и натуральные «пресс-камеры», там пытаются и насилюют без особой «психологии».

«Цепь Капцевича» в тюрьмах США

Иногда считают, что в наших зонах условия ужасные, потому что законы плохие. Скажем, в США законы хорошие и там совсем другие условия. Но для арестанта важны ведь не только условия, в которых он сидит, но и психологическая атмосфера в тюрьме или в лагере – и тут многое зависит от тюремщи-

ков. В тюрьмах США питание, размеры камер и т. п. – с нашими не сравнить. Но в первой же поездке по американским тюрьмам я был в шоке: психологический пресс, которому подвергаются там заключенные, еще покруче нашего. Конечно, не во всех штатах это чувствовалось, там и обычные порядки от штата к штату меняются заметнее, чем при пересечении границы с Канадой или с Мексикой.

Когда начальник тюрьмы округа Колумбия узнал, что я сидел в советских тюрьмах и лагерях, сразу же поинтересовался, понравилась ли мне его тюрьма. Он думал, что я от этих жареных цыплят, охлажденного апельсинового сока и другой еды, которая подается заключенным, зайдусь от восторга. Я этому «хозяину» (по натуре и психологическому складу – чистый рабовладелец) откровенно сказал, что не поменял бы и самую жуткую советскую тюрьму или колонию из тех, в которых сам сидел, на его «аквариум». Тюремщики даже не сразу поняли, о чем я говорю, а там, в камерах, в самом деле чувствуешь себя «рыбкой»: с тебя глаз не сводят, даже одна из стен – прозрачная, а за стеной по помосту день и ночь – охранники. В случае конфликта между заключенными (это нам сами арестанты рассказывали) открывают окно и стреляют патронами со снотворным, как в зверей. А уж потом заскакивают и сонных дубасят – кого ни попадя...

Кстати, американские правозащитники показали мне фотографии и видеоматериалы, на которых я увидел отмененную у нас век назад «цепь Капцевича», причем «двойную» – не шесть, а до 12 человек скованы одной цепью. Это, конечно, не в камере происходит, а на летних работах – что-то вроде плантации. Американские правозащитники с ужасом говорят: «Когда заключенный захочет в туалет, ему приходится со всеми, кто на его цепи, идти за перегородку, где стоит ведро... Или испражняться на глазах у всех».

Так что дело не в законах и не в том, сколько денег может государство тратить на содержание своих заключенных.

«Уничтожение людей – это не шаг назад, к варварству, а порождение современности»

Большой друг нашего Центра, всемирно известный криминолог Нильс Кристи (профессор университета в Осло) в книге «Борьба с преступностью как индустрия» пишет:

«Недавние исследования, посвященные концентрационным лагерям и ГУЛАГу, привели нас к новым важным открытиям. Проблема не в том, как это могло случиться. Проблема скорее в том, почему это не случалось чаще, и вопрос, который нас должен тревожить, звучит так: когда и где ГУЛАГ возродится в следующий раз?»

О некоторых главных идеях этой книги я расскажу своими словами. В первые годы после Второй мировой войны ученые считали, что нацистские лагеря смерти были созданы людьми, страдавшими тяжелыми психическими расстройствами. Все, принимавшие в этом участие, от Гитлера до надсмотр-

щиков, считались людьми с отклонениями, сумасшедшими. В середине 50-х годов прошлого века главную причину случившегося видели в порочной социальной системе. Дескать, такой была расстановка политических сил, что командные посты в Германии заняли люди дурные, сумасшедшие или чрезмерно авторитарные. Нормальные же люди совершали ненормальные поступки в ненормальной ситуации. «Я и сам в том же духе, – говорит Нильс Кристи, – писал об охранниках в концентрационных лагерях. Сейчас я думаю, что трагедию, случившуюся в фашистской Германии и Советском Союзе, не стоит рассматривать как исключительное событие. Уничтожение людей – это не шаг назад, к варварству, а порождение современности.

Это один из примеров того, что может случиться с человечеством, если мы не избавимся от представления, что в обществе есть нелюди, враги, которых следует уничтожить. И неважно, кого мы объявляем врагами: евреев, цыган, буржуазию, как это было раньше, или преступников и наркоманов, как сейчас».

Как считает Нильс Кристи, во многих странах мира (прежде всего в России и США) последствия борьбы с преступностью стали для общества гораздо опаснее и разрушительнее самой преступности. От очередного ГУЛАГа нас могут спасти лишь новые подходы к проблеме преступления и наказания, ограничивающие беспредел казенного правосудия...

***Научиться слышать друг друга,
чтобы самим не стать мучителями и палачами***

И еще один отрывок из другой книги Нильса Кристи «Плотность общества»: «В 1942 году в одном из портов Северной Норвегии было выгружено две с половиной тысячи грязных, завшивленных, издающих зловоние существ. Штыками и палками загнали прибывшую толпу в специальные машины, обмотанные колючей проволокой, и отвезли в расположенный по соседству концлагерь. За год от всего этапа в живых осталось 30%, остальные были замучены, убиты, заморены голодом.

Охранниками и палачами узников в основном были норвежцы. Палачами? Этого не может быть, – воскликнут мои соотечественники. – Такое не может произойти в Норвегии!

– Не только может, но и произошло, – отвечу я. После войны 47 норвежцев, работавших в этом лагере, были осуждены за пытки и убийства заключенных.

Впоследствии я встречался с бывшими охранниками и с бывшими палачами. Пытался найти объяснение необъяснимому: как такое могло случиться?

Мне не удалось установить сколько-нибудь существенного различия между норвежцами, которые были палачами и убийцами, и между норвежцами, которые работали просто охранниками. Это не означает, что и те, и другие были подонками и злодеями. Больше всего меня потрясло то, что и охранники, и осужденные за зверства, были самыми обыкновенными людьми. Разве что среди тех, кто стал палачом, чаще попадались люди молодые. Они были моложе

остальных, и, вероятно, поэтому они воспринимали узников иначе, чем остальные. И еще: те, кто стал палачом, никогда не сближались с узниками настолько, чтобы воспринимать своих жертв как людей, таких же людей, что и они сами.

Ужасные страдания, которые заключенные испытывают в концлагерях, болезни, постоянный голод приводили к тому, что тела узников становились рыхлыми, водянистыми, они буквально пухли от голода. Поэтому заключенные не выглядели истощенными. Каждая царапина приводила к нарывам и нагноениям. Раны было нечем обработать, поэтому от узников исходило зловоние. Охранники же могли считать, что эти заключенные нечистоплотны. Узники грызлись между собой из-за куска хлеба, очерствев от боли и голода, они переступали через умирающих товарищей, даже не думая помочь им. Одни крали еду у больных, другие, что довольно типично для всех концлагерей мира, копировали поведение охранников и избивали своих собратьев в бараках. Конфликты между узниками цветут пышным цветом. Охранники убивают узников, узники убивают друг друга.

Подобное поведение узников можно воспринимать по-разному. Например, как естественное поведение в экстремальной ситуации. Или как то, чему невозможно найти объяснение, как нечто характерное только для "подлых зек". А значит, с ними можно делать все что угодно. Палачи и убийцы придерживались именно такой точки зрения.

Надо еще учесть, что немцы специально отправляли норвежцев в Польшу, а сербов – в Норвегию. Для того чтобы между заключенными и охранниками не было понимания. Узники концлагеря, о котором я рассказываю, были югославскими партизанами.

Некоторым заключенным удавалось научиться говорить по-норвежски. Они заговаривали с охранниками. И постепенно узники переставали быть для охранников серой массой, они становились людьми, оказавшимися в ужасной ситуации. Произошло главное. Когда в толпе стали различимы люди, охранники автоматически попали под власть обычных норм поведения. С палачами и мучителями узников этого не произошло...»

Как расслышать «глас народа»

Принято считать, что отношение к арестантам (и вообще многим важным общественным проблемам) зависит от какого-то «общественного сознания», «менталитета», «народного мнения». Вот и в «Комсомольской правде» гендиректор НТВ утверждает, что это не руководство канала, а народ виноват. Достали, мол, дирекцию НТВ звонками, просят не «показывать это жесткое и вообще малоприятное зрелище». А интервьюер, подводя итог, восторженно восклицает: «Глас народа дошел и до НТВ!» Как же определить глас народа: по той части вечевой толпы, которая орет громче, что ли? Так ведь известно, что специальных людей нанимали, которые могут организовать подобранную группу, научить ее «орать согласно», т. е. по-нынешнему – скандировать.

Расслышать реальный «глас народа» не так просто. Для этого не годятся социологические исследования, в которых задаются лобовые вопросы. Те же люди, что вчера говорили сотрудникам опросных служб, что они за смертную казнь, попав в присяжные заседатели, оказываются куда осторожнее при вынесении вердиктов по расстрельным статьям, чем казенные судьи. Здесь ведь не скандировать «распи его!» надо в ревушей толпе, а брать на себя ответственность за жизнь конкретного человека.

Простые и знатные москвичи в большинстве своем знали и любили Федора Гааза, народ-то и назвал его «святым доктором». Не будут же люди так долго хранить память о пустом человеке. И еще, конечно, многое зависит от той части общества, которую называют просвещенной. До нас память о «святом докторе» дошла благодаря книжке Кони, которую вполне можно назвать народной. В течение 12 лет после выхода книги в свет усилиями городских властей и общественности в Москве были устроены все, сохранившиеся и до сих пор, памятные знаки, связанные с доктором Гаазом: привели в порядок заброшенную могилу на Введенском кладбище, разбили сквер и установили памятник во дворе бывшей «Полицейской больницы», где Гааз провел последние годы жизни в крайней бедности. Возле этого памятника стали ежегодно устраиваться детские праздники («У доброго дедушки Гааза»), народные празднества с выступлениями приютских и тюремных хоров, звенящие трамваи выходили из депо с портретами «святого доктора»...

Чуть позже в честь Гааза стали называть больницы, институты, общества, фонды, улицы... Правда, в Москве, для которой так много сделал «святой доктор», улицы имени Гааза нет...

Достаточно часто Федора Петровича называли «утрированным филантропом», смутьяном, который возбуждает зловредных арестантов, призывает их к неповиновению. Среди таких – не только тюремщики и другие «конторские», но и некоторые из состоятельных людей, что жертвовали деньги на тюрьмы, однако следили за тем, чтобы их средства не шли на такое «баловство, как у доктора Гааза». «Милосердным» барышням казалась баловством раздача подарков, которые привозил в корзинах «святой доктор» на Воробьевскую пересылку и на Рогожский этап. Привозил же он (корзинами) то, чего и на его столе не бывало: грецкие орехи, апельсины, яблоки, пряники. Это и считали благотворительные дамы баловством, полагая, что жертвовать надо лишь на самое необходимое, на то, что может спасти арестантов от голодной смерти или сибирских морозов. Доктор Гааз выслушивал упреки со всей кротостью, на которую был способен. А потом говорил: «Милостивая сударыня, кусок хлеба нашим несчастным подаст всякий, а конфетку или "апельсину" они никогда не видели и не увидят. Я делаю им удовольствие, которое в их жизни больше не повторится. Наверное – грех, но это мой грех».

Понятное дело, утешал арестантов доктор Гааз не только «апельсинами».

Есть такая быль, что с 1828 года ни одного арестанта, идущего этапом через Москву, Федор Петрович не пропустил, исключая две последние недели своей жизни.

По воспоминаниям современников доктора Гааза, «апельсины» и прочее баловство совали Гаазу дети из домов состоятельных.

Можно предположить, что о «жестком и малопривлекательном» «святой доктор» и детям рассказывал. Сейчас это назвали бы психотерапевтической технологией. Я думаю, что именно таким образом и следует снимать детские страхи перед смертным порогом.

«Просвещенные» люди и российская вонь

С неодобрением к «кандалным занятиям» доктора Гааза относились и многие «просвещенные» люди того и более позднего времени. Я имею в виду не только «пламенных революционеров», особенно тех, кто сам тюремного лиха не хватил, у них при имени Гааза «кровь с зубов капает»: ну как можно ставить памятники изобретателям кандалов и прочих тюремных мерзостей? С неменьшим отвращением российские «просвещенные» люди относились и к другим «неприличным затеям» доктора Гааза. Таким, скажем, как устройство канализации, водопровода, иноземных «ретирад» (вместо отечественных параш-нужников) и умывальников. Борьбой с российской вонью Гааз занимался с того самого момента, как оказался (1806 г.) в России, которую нежно любил почти за все. В число немногочисленных нелюбимых попадали «конторские» (т. е. казенные люди) и невыносимая для иноземного человека российская вонь. В каждом заведении (тюрьме, больнице, конторе), куда доктор попадал не в приватном качестве, Гааз занимался борьбой с российской вонью.

К известному по тем временам архитектору, члену Московского тюремного комитета, академику Быковскому доктор Гааз обращался неоднократно по поводу замены больничных и тюремных параш ретирадами. На просьбу о содействии академик, не удостоив Федора Петровича официальным ответом, устно передал Гаазу, что полагает неприличным для интеллигентного человека заниматься устройством отправления естественных (определенно – неприличных) надобностей больных, больничных служащих и тем более арестантов.

Даже Лев Толстой, по словам Кони, упрекал Гааза в том, что тот «не отряс прах с ног своих» от тюремного дела и продолжал быть, к примеру, старшим тюремным врачом. По другим источникам², Лев Николаевич был убежден, что «такие филантропы... не принесли пользы человечеству».

Ну и что же нам теперь – точку зрения авторитетного человека или гениального писателя считать истиной в последней инстанции? Да может, на него затмение нашло или по непонятным ему самому причинам предвзятое отношение сложилось к какому-то событию или человеку.

Лет тридцать назад я читал дневник одного известного писателя, записи относились к 40–50-м годам XIX века, когда этот писатель был еще совсем молодым человеком. У меня осталось в памяти, что это были дневники Льва Тол-

² Л. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 308.

стого. Но сейчас уже точно не вспомнить: может быть, и не Льва Николаевича, а какого-то другого Толстого. Или вовсе – Писемского. Но суть не в этом. Будущий писатель сильно мучился обыкновениями, распространенными у просвещенных людей того времени. Сидят они ночью за картами или за душевными разговорами, а под столом ходит крепостная девочка с горшком. Люди поприличнее вместо девочки (или мальчика) заводили себе карлика, который под стол спокойно пролезал. И вот этот писатель рассказывал в дневнике, какие у него жуткие переживания бывают из-за этих маленьких холопов, которые за ними, т. е. собравшимися за столом (для карт ли, для душевных разговоров), выносят горшки. Но что делать (известный русский вопрос), коли так заведено?

Примерно в то же самое время, когда будущий писатель душевно страдал, доктор Гааз не за картами или разговорами время проводил, а занимался устройством ретирад и канализации, которые автоматически снимали проблему горшков, параш и страданий будущих писателей.

Вот здесь, пожалуй, и уместно будет употребить мутное слово «менталитет». Русский человек склонен к созерцательности, к тому, чтобы забывать о самых практических вещах, без которых потом замерзнешь или с голоду помрешь. Посидеть за водкой и провести душевные разговоры, посочувствовать – это нам в радость, мы лучше потом потерпим, а сейчас посидим, поговорим. В этом нет ничего плохого, такой менталитет.

А прагматичным немцам, и в этом тоже нет ничего плохого, в радость окружающее под себя, под свое или под общее удобство переделывать.



журналист, обозреватель «Новой газеты». Убита 7 октября в Москве.

БОЛЬНАЯ СОБАКА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ*

Прошлым летом у нас умерла собака, старая-престарая. Верный доберман Мартын пятнадцати лет – долгожитель по доберманским меркам. Мартын был замечательным псом, честно охранявшим нас долгие годы перестроечного бардака, тотального бандитизма лет первичного накопления капитала, теперешнего развала свобод, когда опять стало небезопасно.

Мы за ним были, как за толпой телохранителей: своих обожал, людей с дурными намерениями выделял моментально и отгонял прочь бескомпромиссно, а кусать – никого не кусал. На глазах у Мартына мы ругались, не всегда красиво мирились, сходились, расставались...

Но он все равно любил нас отчаянно, до обмороков, было такое, падал. Не служил нам Мартын лишь последние сорок пять минут своей жизни – когда лег и впал в забытие. Тут уж мы ему служили: держали свои руки под его сердцем, пока оно перестало биться.

Наступили полугодовые мучения – жизнь без собаки оказалась как жизнь без постоянно действующей капсулы любви, вшитой под кожу.

И вот дети нашли по интернету замечательное предложение. С одной стороны, на Мартына не похож – для нас это было принципиальным. С другой – не длинношерстный, тоже важно, мы привыкли так. С третьей – дружелюбен, по всей собранной информации. Бладхаунд-щенок. Кто знает: это бассет на высоких лапах, вечно печальные глаза и длинные уши.

Едем к заводчице. Она не устает повторять: «Просто чудо-кобель. Лучший в помете». «Лучший» пишет не переставая – как посмотрит на нас, так и пишет. Но – море ласки, заигрывает: возьмите меня, пожалуйста. Это и решило все: уж больно просил.

* Новая газета.

– Четыре месяца. Еще имеет право писать, – трещала заводчица не переставая.

Дома нарекли Ван Гогом вместо дурацкого Хаггарда, которое ему прилепила заводчица. И мы зажили. Очень быстро выяснилось, что Ван Гог не просто «писает все время», он – машина по мочеиспусканию. И странное дело, как это происходит: лишь увидит мужчину – тут тебе и лужа. Что ж, мужчин в дом (кроме своих собственных) мы звать перестали, полагая, что вот-вот пройдет. Ну о том, чтобы повысить голос на полтона – нет-нет, не до крика, боже упаси, а чуть, слегка, – и речи быть не могло, сразу река. Но как делает лужу, сразу в ужасе начинает метаться, прятаться и, что еще ужаснее, зализовать ее, лишь бы не заметили. Гулять? Улицу, как выяснилось, Ван Гог ненавидел – все там ему было противно, самый радостный момент прогулки – это когда обратно в подъезд, лифт, квартиру. Хвост приветливо выстреливал вверх, лишь мы возвращались домой. Наш дом явно становился его крепостью, которую он предпочитал бы не покидать никогда.

В ветеринарной клинике нам прежде всего сказали, что никакие это не четыре, а все пять месяцев точно, и предложили задуматься, зачем его возраст заводчица преуменьшила.

– А зачем?

– Чтобы вы забрали. Взрослых брать не хотят – взрослых уже кто-то чему-то научил, и нет гарантии, что хорошему.

И это оказалось правдой. Еще ветеринары нашли песок в Вангоговом мочевом пузыре. Поиски песка стоили более двенадцати тысяч рублей. Плюс антибиотики еще на две. Потому что вовсю был воспалительный процесс. Врач объявил, что в столь юном возрасте (песок и камни – удел очень зрелых и людей, и животных) – это результат жестокой экономии на кормах, чем заняты сегодня многие заводчики-коммерсанты. Именно когда надо кормить подрастающих щенков хорошо, они их потчуют чем попало, нарушают обмен веществ, но главное – сбывать щенка, затуманив мозги будущим хозяевам, и привет большой. Изображают любовь, настаивал врач, а на самом деле – враги пород, портят собак навсегда...

На-всег-да... Это был намек номер один. Тем временем стало ясно, что Ван Гог прямо-таки хватается за нас как за соломинку. Он все больше боялся каждого, кто заходил в дом. И ужас перед чужими рос вместе с ним – он был все крупнее, а стремление спрятаться за нас, своих, становилось маниакальным. Представьте картину: подходит кто-то, идет по улице мимо, а он – за мою спину. Крупная собаченция с мощными лапами. Не лает, не воеет – просто смотрит на несвоего с таким ужасом, что и тебя ужас берет.

Мы поняли: он боится, что его заберут. И забирали его мужчины. И они стали врагами. На-всег-да. Опять же.

Итак, картина все яснее: нам досталась собака с серьезными психическими проблемами. Может ли быть что-то хуже? Не нам защитник, а мы – защитники ему?..

Звоню заводчице: какое у собаки прошлое? Не для претензий звоню – знать хочу, чтобы помочь и псу, и себе. И заводчица сдается: пес до нас – дважды от-

казной, и что там было, куда его брали и быстро отказывались, она за это не в ответе. Но там били. И били мужчины. Пугали еще. А потом вышвыривали.

Понятно: надо искать зоопсихологов и дрессировщиков, которые работают не с группами собак, а индивидуально. Зоопсихологи оказались на рынке стоимостью 50 долларов за визит – и это были самые дешевые зоопсихологи. За 50 долларов можно было получить совет следующего качества: в отпуск, на природу, отдохнуть, поменять квартиру, обстановку, город, страну... За один раз всех советов не выдавали. Каждый совет – по 50.

Уф! Миссия была материально невыполнима. Совершенно.

Кинулись к персональным дрессировщикам. Катя стоимостью 500 рублей в час из фирмы то ли «Умный пес», то ли «Добрый друг» сообщила, что работает только с «собаками элиты» (не с элитными собаками, а с собаками богатых людей), весь день у нее расписан. Все же время нашлось. Было семь утра, Катя приехала, но почти еще спала, засунула руки в брюки и стала мной командовать: иди туда – делай то. И ничего элитного – ровно то же, что написано в самых примитивных книжках по общему курсу дрессировки...

За 15 минут до конца занятия Катя, невзирая на свой антиглобалистский вид – черная фуфайка, межсезонные говнодавы на ногах, бандана, – вполне глобалистски потребовала отдать ей 500 рублей, презрительно надув губы на замечание, что не хило бы еще 15 минут позаниматься с собакой: показать методы, способы и т. д. Больше мы не встретились. Зачем?

Вторая и третья персональные дрессировщицы были совершенно идентичные первой – по качеству занятий, хотя такса оказалась выше: 700 и 900 рублей за тот же усеченный час.

Больше пускать деньги на ветер было нельзя, тем более что Вангогов мочевой пузырь продолжал требовать тысячи рублей. И жизнь поплыла, как раньше. Ван Гог панически боялся всего – я его защищала от всего. От мужчин, незнакомых предметов, скрежета гаражей-ракушек во дворе, тормоза машин и снова от идущих мимо мужчин...

По мере взросления проблем прибавлялось. Чтобы в нашем районе попасть на собачью площадку, надо перейти улицу с интенсивным движением по переходу без светофора. То есть нырять под машины, которые не имеют привычки сбрасывать скорость перед «зебрами». На ближних подступах к переходу Ван Гог падал от страха на все четыре лапы, и я его то ли несла, то ли тащила, как санки, – килограммов 40–50 упирающейся живой массы – между автомобилями. Одна такая прогулка туда-обратно по переходу – и скачок давления бывал обеспечен. Но собака с неправильным обменом, песком, проблемами социализации – она просто обязана гулять в обществе себе подобных!

Кончилось тем, что я стала загружать Ван Гога в свою «десятку» и перевозить через дорогу. На площадке он боязливо бежит среди других собак, не слишком-то с ними играя, но все-таки иногда. Еще двигается, обнюхивается, привыкает. Впрочем, основная его забота там – стоять у забора и с тоской смотреть на нашу «десятку». И лишь я открываю ее дверцы, Ван Гог живо прыгает на заднее сиденье. Ездить и даже просто сидеть в машине он, оказывается,

обожает. Маленькое замкнутое пространство – где весь мир отделен от него и есть только он и его хозяйка – самая комфортная Вангогова территория на свете. Он тут же успокаивается, с удовольствием рассматривает мир из окон, взгляд его умиротворяется, он кладет свои уши поближе к заднему стеклу и так может и заснуть – все страхи позади. Из машины он выпрыгивает – и прямо в дверь подъезда, бегом до лифта, скорее-скорее в квартиру и... Вот все и отлично: мой дом – моя крепость.

Давление у меня пока нормализовалось. Но что делать дальше?

Ветеринары выражаются уже без намеков: усыпляйте. Друзья-товарищи тоже: зачем такие мучения? Ведь собака – не человек... Отдай куда-нибудь... Но это лишь интеллигентная фигура речи о том же – «усыплай». Кто еще станет с ним возиться, кроме тех, кто уже привязался всей душой к этому ушастому созданию с печальными глазами, не виноватому ни в чем...

Никто. Удел больных собак в большом городе – быть усыпленными, если у хозяев нет очень больших средств на лечение и поддержание. Мир, ставший жестоким к чем-то обделенным людям (инвалидам, сиротам, больным), стал настолько же жестоким и к животным. Естественно – другого и быть не могло. До какой степени мы озвереем от запаха больших денег, очень хорошо понимаешь, когда у тебя на поводке больной пес. Я не безумная собачница, клан которых так же велик, как и безумных антисобачников. Безумных собачниц отличает от остальных людей одно принципиальное свойство: они любят собак больше, чем людей. Я, как бы там ни было, людей люблю больше, чем собак.

Но бросать не научена. Особенно то живое существо, которое еще одного отказа не переживет – помрет, если не я. Оно ведь полностью в моей власти, до последнего волоска на длинном шелковистом ухе. Как и во власти любого, к кому попало волею судьбы. Столь многочисленную и все более растущую касту брошенных собак – братьев Ван Гога – также породил мир богатых. Они приобретают Ван Гогов только как игрушки – поигрался, не понравился, пнул, и еще спасибо, что не на улицу, а тем, у кого покупали. Нет ни ценности денег, ни ценности живой души, открытой тебе до самого донца.

Понимаю, чем можно парировать: не все так плохи, кто с деньгами, не все ветеринары – рвачи. Естественно. Только почему у нас стаи породистых брошенных собак шныряют по подворотням?

...Опять вечер. Поворачиваю ключ в двери – и... Ван Гог летит мне навстречу отовсюду и всегда. Как бы живот ни болел, как бы крепко ни спал, чего бы ни ел... Источник любовного перпетуум-мобиле. Все бросят, все надуются на тебя – собака любить не перестанет.

И я беру его, и веду к машине, и перевожу через дорогу, и прыгаю рядом, чтобы он попрыгал с другими собаками на площадке, и показываю, как надо с ними играть, и лезу вместе с ним на полосу препятствий, чтобы побороть страх, и подвожу к чужим мужчинам, беру их руку, глажу ею Вангоговы уши и закликаю, что они не страшные...





член Союза писателей и Союза журналистов. Автор нескольких сборников повестей и рассказов, книг «Сны золотые. Исповеди наркоманов» и «Ложь и правда русской истории», публицист и автор исследований по истории средневековой Руси. Живет в России.

БЕЛЫЙ МИФ И ЧЕРНЫЙ МИФ*

Миф мифом, а попутно я сделаю попытку доказать, что научная фантастика как жанр мировой литературы зародилась на Руси в XII веке!

И первым автором, создателем жанра, был летописец Нестор, автор «Повести временных лет». А «Повесть временных лет» – это начало начал истории, фундамент русской литературы и истории, она лежит в основе большинства последующих летописных сводов. Не случайно же её называют Начальной летописью...

Все мы помним одно из самых красочных мест «Повести...» – поход князя Олега, вешего Олега, на Царьград-Константинополь. Когда он в знак победы повесил свой щит на врата Царьграда. А перед этим поставил корабли на колёса, поднял паруса, и так они *«пошли со стороны поля к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: "Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь"»*.

Как ни странно, но многие ученые прошлого, да и настоящего приняли этот белый миф, эти строки летописи как абсолютно достоверные сведения. Они вошли в гимназические дореволюционные и в советские школьные учебники. Вошли в новый фольклор, вплоть до песни Высоцкого: «Как ныне собирается веший Олег щита прибивать на ворота. А тут подбегает к ему человек – и ну шепелявить чаво-то...» В общем, всем известно и само собой разумеется. Хотя при самом элементарном применении здравого смысла тотчас же возникают неразрешимые противоречия и тупиковые вопросы. Однако к здравому смыслу мы ещё придём, а пока продолжим об учёных. Несмотря на всеобщее ослепление, очень серьезные историки (от Шахмато-

* ИНТЕЛЛИГЕНТ. ru

ва до Лихачёва) относились к данному эпизоду всего лишь как к красочной легенде. Дмитрий Сергеевич Лихачёв вообще делал особый упор на литературные достоинства и литературное значение «Повести временных лет». Анализ, проведённый исследователями, доказал, что такого похода Олега в 907 году – как точно указывается в летописи – не было. И вообще – не было. В 904 году на Константинополь ходили походом арабы. В том же году совершали набег на Царьград вольные воины из диких ватаг, обитавших в устье Днепра и на побережье Чёрного моря. Ещё раньше, за сорок лет до того, был поход варяжско-киевского князя Аскольда. Некоторые историки полагают, что Нестор приписал Олегу тот поход Аскольда. Но если учесть, что летопись он создавал спустя два века после тех событий, то путаница могла возникнуть и сама по себе. Объяснимы также многочисленные нестыковки по событиям и датам.

А самое главное – о том летописном походе нет никаких сведений в подробнейших византийских хрониках. Хотя там в деталях описаны и поход арабов, и набег славяно-варяжской вольницы. И другие, совсем уж незначительные события того времени.

А уж такого, как щит на воротах Константинополя, тем более поход кораблей на колесах под парусами, – византийские хронисты просто не могли не отметить! Да и другие – арабские, еврейские, западно-европейские хронисты не могли пропустить. Однако ж нигде – ни слова.

Но в данном случае для меня и для моих читателей не это главное. Прежде чем перейти к сути, остановлюсь на подступах к главному. Начну с количества воинов в том походе. В летописи точно указано: две тысячи кораблей, **«а было в каждом корабле по 40 мужей»**. Итого – **80 тысяч человек!**

Собрать по тем временам такую армию в Киевской Руси практически было невозможно. По очень старой и доньше авторитетной книге знаменитого профессора Урланиса «Рост населения в Европе», в 970 году в Киевской Руси было около двух миллионов жителей. Можно предполагать, что в 907 году – около миллиона. Тут ведь речь идёт не только и не столько о росте за счёт рождаемости, а о присоединении новых земель и новых племён. А к тому времени, к летописному 907 году, самой русской государственности-то было едва пятьдесят лет. Те же древляне в Искоростени, что совсем рядом с Киевом, Киеву тогда не подчинялись и спустя пятьдесят лет всё ещё бунтовали, убили князя Игоря и были жестоко наказаны уже княгиней Ольгой. Легко ли, возможно ли было в таких условиях собрать армию в 80 тысяч человек!?

Проведем параллели. Население могущественной Византии в то время насчитывало 20–24 миллиона человек. Мощное государство с устоявшимся четырехсотлетним укладом жизни, порядка. Не говоря уже о том, что государственность Византии, Восточно-Римской империи, берёт начало аж в античном Древнем Риме. Одним из главных врагов Византии была тогда не менее могущественная Болгария. Так в решающий, грандиозный поход на болгар византийский император-полководец Иоанн Цимисхий повёл армию в 300 кораблей, 15 тысяч пехотинцев и 13 тысяч всадников. Война та описа-

на опять же со всеми подробностями, так как была по тем временам событием эпохальным.

Или ещё пример – из более поздних веков. Поход монголов, ставший потрясением для тогдашнего мира. Нашествием, как его называют некоторые историки.

В первом походе, когда монголы прошли через всю территорию нынешнего Казахстана и Узбекистана, разбили войска Хорезм-шаха, перевалили с боями через Кавказ, попутно разгромив грузин, затем рассеяли половцев хана Котьяна и хана Юрия Кончаковича и закончили битвой на Калке с русско-половецкой армией, было их, монгольских воинов, 20 тысяч человек. Два тумена, две дивизии по 10 тысяч всадников.

А во втором походе, под началом Батыя, когда они военным маршем прошли через Русь, вошли в Европу и докатились до Адриатики, было их, как подсчитывают историки, 30 тысяч человек. И это очень близко к истине, потому как всех монголов, от стариков до детей и женщин, тогда было 700 тысяч. А кто-то ведь должен был дома оставаться, работать, а к тому же у них был второй, главный фронт – с Китаем...

Тут надо сделать отступление. Мир был прежде всего потрясён молниеносными победами монголов. Такая организация, такая тактика боя, что в те века и долго ещё потом с ними не могла сравниться ни одна армия. Однако и количество воинов поразило воображение современников. Учтём, что 30 тысяч – это только воины. А ведь каждый воин имел двух коней (потому и были такие стремительные, молниеносные походы и атаки), а ещё сопровождающие армию обозы... В общем, конная армада.

И потому русская армада в **две тысячи кораблей и 80 тысяч воинов** уж точно не могла остаться незамеченной арабскими, византийскими и западно-европейскими хронистами! Это ведь вселенский поход по масштабам тогдашней Европы!

Но опять же меня в данном случае больше всего интересует не фактографически-историческая сторона, а – те самые **корабли на колёсах**!

Мы их не замечаем просто потому, что современного человека такими штуками не удивишь. Тем более, в последнее время даже соревнования, гонки устраиваются по шоссейным дорогам под парусами! Называется – скейт-сёрфинг.

Но ведь это – сейчас. Когда к услугам гонщиков абсолютно ровные дороги и совершенные, по последнему слову техники сделанные скейты на каких-то немыслимых роликах. Да он и без парусов помчится куда хочешь!

А представьте, насколько это возможно было тогда. Вот высадились на берег воины Олега. Поставили корабли на колёса. Но ведь на каждый корабль надо как минимум четыре оси и восемь колёс. Где они **взяли 16 тысяч колёс на две тысячи лодок? А к ним ещё восемь тысяч осей?** Для этого надо конфисковать весь гужевой транспорт в доброй половине империи!

Предположим, что конфисковали.

Но вы представляете, какое было трение, какое трудное вращение тогдаш-

них ступиц на тогдашних осях? Ведь тяжесть-то какая: корабль на сорок воинов. Да ещё и сорок воинов в нём. Не пешком же они шли. А иначе зачем было затевать всё это?

Итак, поставили корабли на колёса, сами залезли в корабли. Подняли паруса и пошли к городу через поле?..

И тут вам любой взрослый человек скажет, что на «поле», на неровном грунте, на пересечённой местности такое сооружение, **такая махина и с места не сдвинется**. Под любыми парусами. Если нет глубокого килля, то под большим парусом, под большим напором ветра **это сооружение просто-напросто опрокинется!**

Понимал ли это летописец, человек своего времени? Уверен, что понимал.

Тогда почему написал нечто несусветное?

Тут вариантов множество. От чрезмерного желания возвеличить, прославить князя Олега до осознанной, рассчитанной мины-провокации. Этакого тайного кукиша через века. Мол, если заставили меня писать неправду, приписывать Олегу несуществовавший поход, то вот вам! Потомки, дойдя до кораблей на колёсах, сразу поймут, что всё здесь брехня. От начала и до конца... Вот уж они посмеются...

Может быть, может быть... Однако здесь нет никакой логики. По всей «Повести временных лет» чувствуется, что Нестор к Олегу относился с глубочайшим уважением. Зачем же он выставлял его на посмешище?

И потому очень даже не исключён самый простой и естественный вариант. Полёт фантазии! Действительно, почему бы и не позволить себе? В хронике – нельзя. Но тут-то весь поход выдуманный, так где же ещё разгуляться фантазии, как не здесь?! Особенно на такой выигрышной исторической фигуре, как князь Олег! Ведь не на пустом месте фантазировал Нестор, а наверняка основывался на красочных легендах, которые сопровождали знаменитого князя и дошли, наверное, до Нестора через два века.

И потому я считаю Нестора-летописца первым научным фантастом в русской литературе, основателем жанра.

Ведь что такое научная фантастика? Это **современные достижения науки и техники, которым автор даёт в будущем преувеличенные формы**. Например, если сделать громадную пушку, в снаряд поместить людей и выстрелить в небо – что будет? Будет роман Жюль Верна «Из пушки на Луну»!

Когда есть такое замечательное достижение современной техники, как телега на колёсах, когда есть такое чудо, как корабль под парусами, то что будет, если их соединить?

Так Нестор-летописец изобрел современный скейт-сёрфинг! Шоссейные гонки под парусами на колесах! Прошу любить и жаловать и выдать мне патент на открытие открытия!

Но самое интересное было у летописи впереди. Доподлинно установлено, что «Повесть временных лет» редактировал монах Сильвестр **под присмотром Владимира Мономаха**. Что они думали, читая про такие диковинные ту-

русы на колёсах? (Турусы на колёсах – это деревянные башни на колесах, под прикрытием которых штурмующие подходили близко к крепостным стенам.) Да, со дней Олега прошло уже два века, но практическая жизнь не изменилась – те же телеги, колёса... Те же корабли под веслами и парусами. Тот же путь волоком из варяг в греки. И все, кто читал летопись Нестора, хорошо знали, что такие турусы на колёсах невозможны! Почему же не вычеркнули? Ведь тогда авторского права не было, и к летописям относились как к общему достоянию, каждый правил и переписывал как хотел, вписывал, что он посчитает нужным. Но этот сюжет – никто не тронул!

Может, разгадка в великом киевском князе Владимире Мономахе? Человек яркого литературного таланта, он, как никто другой, способен был оценить полёт чужого пера и чужой фантазии. Оценить, восхититься и сказать: «Ай да Нестор! Ай да сукин сын! Это ж надо такое придумать – корабль на колёсах под парусами!»

А потом, после Мономаха, уже никто не трогал, не осмеливался...

А потом мы читали, даже не задумываясь...

Вот так, по моему мнению, Нестор-летописец в одном только сюжете своей великой книги явил нам первое произведение научной фантастики и изобрёл современный скейт-сёрфинг!

Злодей Ричард, король Английский

Жертва черного мифа – герцог Ричард Глостер, потомок королевской династии Плантагенетов. Его и называли в честь великого предка, короля Ричарда I Плантагенета. Того самого Ричарда Львиное Сердце, героя крестовых походов, многочисленных романов и народных баллад.

Но никто из родных и близких Дика Глостера никогда не думал, что Дик действительно станет королём. Даже когда началась война за престол Англии между династией Ланкастеров (Алые розы) и династией Йорков (Белые розы), к коей и принадлежал герцогский дом Глостеров. (Йорки и Ланкастеры – боковые ветви Плантагенетов.)

Йорки в той войне победили. Ланкастеры бежали во Францию. Королем Англии стал старший брат Ричарда – Эдуард IV. А после смерти Эдуарда трон должен был занять (и занял!), по праву престолонаследия, его сын Эдуард, малолетний племянник Ричарда.

Но через три месяца правления малолетнего Эдуарда V королём Англии стал Ричард. Однако и он правил недолго. Изгнанные Ланкастеры объединились с Тюдорами и свергли Ричарда. Так на английском троне возникла новая династия – Тюдоров.

Всего два года царствовал Ричард. Но в истории остался навечно. **Как один из самых страшных злодеев. Узурпатор, обманом захватил трон, родных племянников задушил...**

Мы с детства знаем его по «Чёрной стреле» Стивенсона. Есть там такие строчки: «И зловещий горбун поскакал навстречу своей страшной славе...»

Но ещё раньше окончательный приговор Ричарду вынес Шекспир:

Ты адом сделал радостную землю,
Проклятьями и столами наполнил...
Оставь наш мир и спрячься в ад, бесстыжий
И гнусный демон, – там царить ты должен!
«Ричард III»

Да, прибавьте ко всему, что бедный Ричард был горбат. Представляете, какой образ «злодея»! Страшный горбун, руки по локоть в крови, вурдалак, исчадие ада... Что ещё надо для создания образа всесветного чудовища, воплощения абсолютного зла!?

Как часто бывает, всё это – чушь собачья. Да, в войне Алой и Белой роз Ричард показал себя храбрым рыцарем и жёстким военачальником. В общем и целом – действовал в рамках тогдашних правил и нравов. А в мирной жизни – добрейший был человек. И королём он стал не по своей воле, не хотел и уж тем более не «отстранял» малолетнего племянника, как пишут сплошь и рядом во всех справочниках и энциклопедиях.

После смерти короля Эдуарда IV оказалось, что его сын, малолетний Эдуард, права на престол не имеет. Вскрылось, что король состоял в тайном, но законном браке с женщиной, которую спрятал в монастыре. И, таким образом, его жена, считавшаяся королевой Англии, – незаконная, и дети её – незаконнорождённые. Вся эта история обсуждалась в парламенте, в палате лордов. В общем, возник династический кризис, и никто, кроме Ричарда Глостера, не мог занять трон. Естественно, с ведома и решения английского парламента.

И, став королём, Ричард никаких злодеяний не совершал. А уж племянников своих берёг как зеницу ока. Да и зачем ему их убивать, если они **официально** признаны незаконнорождёнными и не могут быть ему соперниками в борьбе за престол, если таковая борьба когда-нибудь и начнётся!? Более того, всех побеждённых противников, Ланкастеров, он вернул из Франции и дал им возможность жить тихо и мирно в Англии. Вот они-то, за всё хорошее, и отомстили Ричарду!

Но прежде чем перейти к доказательствам документальным, фактическим, довольно известным в мире, приведу своё доказательство, быть может, субъективное, а может – и самое что ни на есть убедительное.

Я имею в виду гибель Ричарда. Очень показательная смерть. С точки зрения человеческой, с точки зрения того, что называется **логикой характера**.

В битве при Босворте, состоявшейся в 1485 году, где граф Генрих Ричмонд в союзе с Ланкастерами одержал победу и стал королём Генрихом VII, родоначальником новой династии, Тюдоров, все преимущества были на стороне Ричарда III. И если бы не предательство Генри Перси, второго графа Нортумберленда, исход сражения был бы совершенно иным.

Ричард смотрел с холма, как тюдору-ланкастерские воины теснят и истребляют его войска.

Как должен поступить в такой ситуации государственный деятель? Наверное, в первую очередь сохранить себя, как знамя движения, сохранить верных сторонников, увести войска с поля боя. А затем набрать новую армию и продолжить борьбу. **Война одним сражением не решается.** Тем более, за ним все преимущества **законного** короля... То есть за ним парламент и народ Англии!

Вместо этого Ричард в сопровождении немногочисленной свиты ринулся с холма в гущу сражения, стремясь добраться до Генриха Ричмонда-Тюдора и решить исход сражения рыцарским поединком, как в старые добрые времена. И погиб, один сражаясь против армии врагов.

Поступок безрассудного рыцаря

Это его предок, Ричард I Плантагенет, он же Ричард Львиное Сердце, частенько пренебрегал государственными обязанностями, увлекаясь рыцарскими приключениями. Так и погиб в одном из походов в дальние края. Но с тех пор прошли века, и короли научились быть королями. Не королевское это дело – мечом махать. Тем более в такие сложные для страны времена. Но Ричард поступил так, как поступил... Погиб в бою, как и Ричард Львиное Сердце.

Так государственные деятели не поступают. Но так не поступают прежде всего проныры, хитрецы, мерзавцы!

Скажите, способен ли на такой безрассудно рыцарский поступок изощрённый интриган и злодей, человек низкой души, каким выставляют Ричарда? Нет, нет и нет. **Логика характера. Это не пустые слова.**

Но как получилось, что даже в Англии имя Ричарда окружено до сих пор зловещим ореолом?

А очень просто: спустя сорок шесть лет(!) после гибели Ричарда появилось «историческое свидетельство». Не кто-нибудь, а **канцлер Англии** Томас Мор написал мемуары, в которых и изложил все «злодеяния» Ричарда. Которым, злодеяниям, он якобы был свидетелем. Хотя при ближайшем рассмотрении не составляло труда выяснить, что в год смерти Ричарда III будущему мемуаристу Томасу Морю было всего восемь лет, и никаким «свидетелем злодеяний» Ричарда он быть не мог. Но он много слышал. Слышал в первую очередь от своего приёмного отца кардинала Мортон, ярого врага Йорков, приверженца Ланкастеров и Тюдоров. **Мортон был одним из активных участников заговора против короля Ричарда!** Естественно, в духе ненависти к Ричарду он воспитал и своего приемного сына Тома. Затем маленький Том вырос, стал служить Ланкастерам, был канцлером герцогства Ланкастерского, а затем канцлером Англии у Генриха Тюдора!

Какой объективности можно ждать от человека, который не только служил Ланкастерам-Тюдорам, но и осуществлял, проводил в жизнь политику Тюдоров-Ланкастеров!?

Очевидно же, что Томас Мор написал свою «Историю Ричарда III» не только по велению души и в соответствии с воспитанием, но и по прямому заказу Тюдоров-Ланкастеров. И тем самым исторически как бы оправдал их правле-

ние, их репрессии: ведь Тюдоры-Ланкастеры, придя к власти, в отличие от Ричарда, чуть ли не всех Йорков истребили. Громко крича при этом, что они уничтожают Йорков исключительно во благо народа доброй старой Англии, потому как с такими злодеями жить на одной земле невозможно.

Скорее всего, мемуары Томаса Мора со временем так бы и канули в неизвестность, стали бы материалом для учёных историков, если бы ими не воспользовался человек по имени Уильям Шекспир. По ним, по этим мемуарам, он и написал свою знаменитую трагедию «Ричард III». А спорить с Шекспиром в Англии – всё равно что спорить с вечными скрижалями, с божественными предначертаниями. И вся история Англии пошла моровско-шекспировским путём. Многие последующие учёные с теми или иными вариациями повторяли всё ту же историю Мора о злодействах Ричарда.

Вот так рождаются и живут мифы. Даже в Англии, где все источники всегда были и есть открыты, где не было и нет единого и обязательного какого-нибудь «Краткого курса» истории, как у нас. Однако в широких массах там до сих пор здравствует миф о злодее Ричарде Глостере, захватчике трона и убийце родных племянников... А что уж о нас говорить. Нам бы со своими мифами и рифами истории разобраться. Где уж тут до английских... И потому, как постановили однажды – так и пишем до сих пор во всех справочниках то, что наклеветал когда-то Томас Мор.

Кстати, Томас Мор – это тот самый изучавшийся во всех советских школах Томас Мор – автор знаменитой «Утопии». В которой, как говорили нам в советской школе, воплощены мечты прогрессивного средневекового человечества о будущем коммунистическом обществе.

Что говорить, причудливо переплетаются иногда сюжеты истории.





журналист, обозреватель журнала «Знание – сила». Автор нескольких книг по древней истории и современной науке. Живет в России.

В ПОИСКАХ ЖИВОЙ ВОДЫ*

Ради вечной молодости Дориан Грей заложил свою душу, но и ему не удалось превозмочь бренность человеческого бытия. И всё же люди продолжают мечтать, и современные учёные подчас грезят о жизни вечной столь же упорно, как и сновидцы былых столетий.

Издревле нас влечёт мечта о живой воде, но дано ли нам обрести её за облочками молекул и клеток? В последние десятилетия геронтологи накопили множество деталей и фактов. Из этого материала были изваяны две теории старения: «теория нарастания дефектов» и «теория запрограммированной смерти».

Сторонники первого считают, что клетки, равно как и ДНК, изнашиваются, ведь они подвержены вредному влиянию окружающей среды. Дефекты нарастают, клетки старятся. Приверженцы другой теории убеждены, что механизмы старения и смерти, словно мины, изначально заложены внутри каждой клетки. Для любого вида живой материи характерна своя программа старения. Всё решено на генетическом уровне: ещё среда не успела «заесть», а смертный приговор уже вынесен.

Богатырь защищается от мародёров

На пути к смерти обычно лежит старость с её неодолимым морем болезней. Можно ли справиться с ними? Под старость сам организм перестаёт слушать-

* ИНТЕЛЛИГЕНТ. ru

ся человека и помогать ему. Он пренебрегает многими своими обязанностями. Вырабатывает всё меньше антител, нейтрализующих вирусы и бактерии. Всё активнее ведут себя свободные радикалы – агрессивные молекулы, возникающие при интенсивном обмене веществ. Они разрушают митохондрии – «электростанции», размещённые внутри наших клеток. В результате возникает «энергетический кризис». Клетки слабеют. С возрастом организм всё хуже справляется с наплывом свободных радикалов – они ускользают из-под контроля и продолжают свою подрывную работу.

Пожилый организм не только не препятствует разрушительным процессам, протекающим внутри него, но и сам... демонтирует себя. Активность большинства генетических программ на склоне лет снижается. Можно назвать лишь несколько исключений. Упомянем, например, «коллагеназную программу». Коллаген – это белок, составляющий основу соединительной ткани. Он содержится в костях, сухожилиях, связках. Он крепит наше тело; при его нехватке кожа становится дряблой.

Однако с возрастом всё активнее действует особая генетическая программа: организм вырабатывает большое количество фермента коллагеназы. Между тем единственная задача этого фермента заключается именно в разрушении коллагена, то бишь основы ткани. Складки и морщины – вот самая безобидная мета, оставляемая безжалостным ферментом. Хуже другое: из-за него кости делаются хрупкими как стекло и ломаются даже при небольших нагрузках.

Молодой организм борется с разрушительными процессами; организм стариков покоряется им. Тело молодого человека – это арена кипучей деятельности: специальные «ремонтные программы» исправляют генетические дефекты; иммунная система убивает возбудителей болезней; ферменты расправляются со свободными радикалами, прежде чем те успеют навредить. Организм стариков – это крепость, покинутая армией. После битвы она принадлежит мародерам – микробам, свободным радикалам, агрессивным ферментам.

Врачи и генетики всё лучше понимают, как действуют механизмы старения. По гипотезе итальянского геронтолога К. Франчески, старость – это не что иное, как затяжной воспалительный процесс. Люди, в организме которых подобный процесс протекает особенно интенсивно, умирают раньше других. Отпущенный нам возраст во многом определяется особенностями иммунной системы. С одной стороны, она должна быть достаточно сильна, чтобы справляться с вирусами и бактериями, а с другой – достаточно слаба, чтобы не изводить собственный организм хроническими воспалительными процессами.

Медики из Тюбингенского университета обнаружили в крови некоторых пожилых людей целые конгломераты иммунных клеток, которые только мешают друг другу атаковать вирусы. Эта гиперактивность иммунной системы обуславливает преждевременную смертность. Можно предположить, что в будущем с помощью своевременной вакцинации – эдакого «укольника бессмертия» – врачи научатся регулировать активность иммунной системы, делая всё для того, чтобы племя «мафусаилов» множилось. Борьба с воспалительными процессами – одна из главных задач современной медицины.

Кстати, у многих людей, доживших до преклонных лет, их иммунная система с годами сама вновь и вновь «юстируется», чтобы своей активностью – избыточной или недостаточной – не навредить! У других так и не справляется с возложенными на неё испытаниями; их имена не встретишь в списках долгожителей. У третьих «с колыбели иммунная система настроена идеальным образом» (К. Франчески).

Ещё один предмет роскоши – молекулярные часы

Впрочем, ближе к столетнему рубежу, как показывают исследования, с организмом начинает твориться что-то непонятное. Многие факторы риска перестают ему вредить. «В глубокой старости не играют никакой роли ни уровень холестерина, ни курение, ни алкоголь, ни избыточный вес. Все, кому это впрямь вредно, давно умерли», – говорит датский геронтолог К. Кристенсен. В таком случае «последнее слово» остаётся за самым фундаментальным фактором, определяющим жизнь любого живого существа, – за его генами. У тех, у кого в роду были долгожители, больше шансов достичь глубокой старости. Примерно в 30% случаев долголетие человека определяется его генами.

В 1990-е годы в опытах с дрозофилами и червями учёные «выключали» тот или иной ген, продлевая жизнь подопечным вдвое, а то и более. Так, Ц. Кенион из Калифорнийского университета (Сан-Франциско) исследовала червя *Caenorhabditis elegans*, чьи гены паразитально схожи с человеческими. После некоторых генетических манипуляций червь в её опытах жил в четыре раза дольше обычных сородичей. Если бы такое удалось с человеком, мы жили бы 360 лет.

В упомянутых опытах речь идёт о генах – их обнаружено уже более семидесяти, – которые регулируют активность других генов, снижают интенсивность обмена веществ, защищают наследственную информацию и улучшают работу иммунной системы.

Ген **Sir2** замедляет жизненные процессы, протекающие в дрожжевых клетках, продлевая им жизнь. Мутация гена **INDY** меняет продолжительность жизни дрозофилы. Этот ген отвечает за доставку в клетки питательных веществ, и если он мутирует, то лишние калории оказываются не в счёт. Определённый ген выключает инсулиновый рецептор в жировой ткани мышей. Продолжительность их жизни возрастает примерно на 20%. У червей порой достаточно изменить всего один ген, чтобы их продолжительность жизни удвоилась. У людей такое вряд ли возможно, ведь наш организм устроен гораздо сложнее. Один из немногих найденных генов долголетия человека – это ген **ApoE**. Одна его разновидность **e4** в 4–5 раз повышает риск заболевания типичными старческими недугами, в то время как **e2** снижает эту опасность. Последний вариант заметно чаще встречается у долгожителей.

У червя *Caenorhabditis elegans* старение клеток регулируется геном **SGK-1**. Обычно этот червь живёт пару недель. В опытах Р. Баумайстера из Фрайбургского университета черви, у которых отключили ген **SGK-1**, после тех же двух

недель выглядели по-прежнему молодыми. Может быть, и у нас есть подобный ген?

Американский геронтолог Т. Перлс из Бостонского университета, изучая ДНК людей, доживших до глубокой старости, обнаружил очень распространённую вариацию. На хромосоме 4 находится ген МТР, регулирующий содержание жиров в крови. У долгожителей часто встречается особая разновидность этого гена.

Сложность проблемы ещё и в том, что некоторые разновидности генов в различные периоды жизни играют разную роль. Иными словами, когда-то они вредны, когда-то полезны. Возьмём, например, фактор роста **IGF-1**. Его избыток в молодости повышает риск заболевания раком. Если же другие факторы – «гены долголетия» – будут сдерживать **IGF-1**, то в старости он станет помощником: защитит организм человека от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Упомянутые выше гены – лишь крохотная часть механизма старения. По оценкам некоторых исследователей, в этом механизме задействовано до семи тысяч генов. Неизвестно пока, кто инициирует их деятельность и как взаимосвязаны все эти гены.

Долгое время была популярна гипотеза теломер. Эти концевые участки хромосом всякий раз укорачиваются в момент деления клетки. Уж не «молекулярные часы» ли это, готовые отмерить отпущенный нам срок? Да, некоторые виды клеток – те, что особенно бурно размножаются, например, клетки кожи, печени, слизистой оболочки кишечника, – впрямь гибнут, лишившись теломер. Им на смену приходят другие клетки. Но прервать жизнь такого сложного организма, как человеческий, теломеры не могут. «Взгляните-ка на мышь, у неё теломеры гораздо длиннее. Но сколько живёт мышь и сколько – человек?» – замечают скептики.

Исследования последних лет доказывают, что особой программы старения в нашем организме нет. «Старение – это продукт нашей цивилизации, – полагает американский биолог Л. Хайфлик, первооткрыватель теломер. – Этим феноменом мы обязаны лишь улучшениям в области гигиены, медицины, питания, образования и бытовых условий». В природе глубокая старость, вообще говоря, редкий феномен. Большинство животных гибнет, не успев состариться: от холода, голода, врагов. Так что, с точки зрения эволюции, «молекулярные часы» – вещь ненужная. Это «роскошь», которой мало кто воспользуется.

Брат ворон даёт совет человеку

Но насколько сильна власть генов? Пока никто не может сказать, положен ли виду *Homo sapiens* какой-то предел, дольше которого не прожить. Одни биологи полагают, что у каждого вида животных есть своя предельная продолжительность жизни. По расчётам американского биолога Д. Ольшански, даже если бы человечество победило рак, инсульт и сердечно-сосудистые заболевания, то люди стали бы жить в среднем лишь на 15 лет дольше. Другие автори-

теты, наоборот, считают все разговоры о «предельном возрасте человека» бессмыслицей.

В последние полтора века средняя ожидаемая продолжительность жизни человека с каждым годом возрастает. И, возможно, когда-нибудь люди «научатся» доживать до 120 или 130 лет. Надо лишь суметь «скреплять» своё тело с помощью лекарств, «строить» его по лучшим терапевтическим технологиям, ведь научились же мы строить здания высотой в 120–130 метров, скреплять их стены, а ведь прежде до этих высот «доживали» лишь отдельные постройки – подлинные чудеса света.

Весь XX век медицина накапливала средства для эффективной борьбы с болезнями. Уже сейчас медики могут победить многие недуги, сокращающие жизнь человека, – прежде всего онкологические болезни, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. Однако беда в том, что врачи чаще всего узнают об этих недугах слишком поздно, когда организм больного почти разрушен.

Продлить человеческую жизнь нельзя без «нанодиагностики». Её методы позволят заметить появление в организме первых раковых клеток или наблюдать первые склеротические изменения сосудистой ткани, приводящие позднее к инфаркту или инсульту. Со временем по кровеносным сосудам помчатся микроскопические роботы, врачую и ремонтируя любые перерождающиеся участки тела. «Болезнь нужно побеждать в зародыше», – вот прописная истина новой медицины.

Медицина XXI века бросит вызов смерти, стремясь, например, с помощью стволовых клеток исцелять изношенные или смертельно больные органы тела. Врачи научатся заменять любые части нашего тела их точными биологическими копиями. По прогнозам, к 2020 году медики станут выращивать любой орган тела. Вот тогда уже организм не будет отторгать эти «заведомо родные» почки или сердце после их пересадки пациенту. «Мы будем обновлять тело до тех пор, пока оно не выздоровеет», – уверяют футурологи от медицины. В XIX–XX веках медики сумели победить некоторые инфекционные заболевания, прежде выкашивавшие миллионы людей, – например, оспу или чуму. Теперь пришло время искоренять неизлечимые прежде заболевания внутренних органов.

Впрочем, мы не обязаны пассивно ждать милостей от медицины. Любой из нас в силах сам удлинить продолжительность жизни, изменив образ жизни. Ведь то, как ты живёшь сейчас, во многом влияет на твоё будущее. Курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни – вот барьеры, о которые разбились многие тела и сердца.

В последние десятилетия был поставлен ряд опытов, в которых мух-дрозофил, червей, крыс заставляли питаться низкокалорийной пищей. Животные получали столько пищи, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду. Вследствие такого рациона продолжительность жизни возросла у крыс на 40%, а у дрожжевых клеток – даже на 70%.

Опыты на человеке ставит сама жизнь. Есть группы людей, которые придерживаются строгой диеты по религиозным убеждениям. К ним относятся,

например, адвентисты. Американские антропологи исследовали образ жизни 34 тысяч адвентистов, живущих в Калифорнии. Они вегетарианцы, причём несколько раз в день они съедают хотя бы пару орехов, и ещё они регулярно занимаются физическим трудом. Вот и зримые результаты: женщины-адвентистки живут на 6,1 года дольше, чем статистические калифорнийки, а мужчины – даже на 9,5 года дольше. Впрочем, комментируют учёные, адвентисты ведут во всех отношениях образцовую жизнь, поэтому трудно сказать, что именно обусловило их долголетие. Всё дело в числе калорий? А если да, то как именно диета сказывается на человеческом организме? Вот некоторые объяснения.

Стройные люди ведут активный образ жизни, а потому реже болеют и дольше живут. При низком уровне потребления калорий замедляется обмен веществ, а значит, в организме человека накапливается меньше свободных радикалов.

И диета замедляет жизненные процессы. С человеком происходит то же, что с семенем, брошенным в сухую почву. Пока он голодает, его тело словно спит, готовясь «процвести» позже. При голодании клеток включается какой-то механизм, защищающий их от старения, словно срабатывает сигнал тревоги. Сейчас ищут способы перехитрить клетки, заставить их подавать сигнал «не-впазд» – не от голода, а от каких-то химических веществ.

Впрочем, сами по себе диеты покажутся многим слишком суровыми, чтобы ради них отказаться от всех соблазнов мира. Даже организм обезьян в экспериментах, продленных учёными, «вопиет» против принудительной аскезы. Кости животных делаются хрупкими; у них понижается температура тела; пропадает половое влечение.

Применительно к человеку всё это звучит памятным пушкинским анекдотом: «Нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!» Или, говоря языком здоровой прозы, резонно ли полвека прозябать и в прямом, и в переносном смысле: голодать, мёрзнуть, не знать радостей любви, чтобы только лишних 20 лет... голодать, мёрзнуть, не знать радостей любви...

Путешествие на «планету стариков»

Успехи медицины порождают неожиданные проблемы. На протяжении тысячелетий весь распорядок человеческой жизни был ориентирован на то, что люди «живут быстро и умирают молодыми». По существу, лишь во второй половине XX века общество начинает привыкать к тому, что люди старше пятидесяти лет могут вести такую же активную жизнь, полную интимных переживаний и приключений, как и двадцатилетние.

Это связано, в частности, с тем, что объём знаний, требуемый во многих сферах деятельности, расширился настолько, что люди вынуждены учиться до 30–35 лет, набираться опыта до 45 лет, и лишь к этому времени они становятся настоящими профессионалами. Пик социальной активности человека сместился, и одновременно наблюдается повторный пик эмоциональной, душевной

активности. Кроме того, к 45–50 годам родителей единственный, как правило, ребенок отделяется от семьи.

Итак, общество привыкает к тому, что в пятьдесят лет человек переживает «вторую молодость». Это становится естественной нормой. Возраст, который в прошлые века казался «преклонным», «старческим», теперь стал временем бурной деятельности.

Если бы – случись чудо! – какой-нибудь пятидесятилетний современник Шекспира увидел своего ровесника, родившегося в 1950 году, он уверовал бы, что тот отыскал молодильную воду: настолько бодрым и здоровым покажется нынешний «старик» в сравнении с людьми того же возраста, жившими в прежние века. И дело тут не в целебной воде, а в регулярном медицинском обслуживании, здоровом, калорийном питании на протяжении всей жизни, избавлении от непосильного физического труда и применении лечебной косметики. На службе здоровья минеральные вещества, витамины, гормоны. Это оружие эффективно. По оценкам западных социологов, примерно половина людей, родившихся сегодня, способна будет дожить до ста лет. Точнее, если нынешние демографические тенденции сохранятся, то к 2060 году в наиболее развитых к тому времени странах средняя продолжительность жизни составит 90 лет для мужчин и 95 лет для женщин.

Сейчас по продолжительности жизни первое место в мире занимает Япония. Всего за несколько лет, с 1998 по 2003 год, количество столетних людей в Японии удвоилось. В 1998 году таковых было 10 тысяч человек, в конце 2003 года – 20 561 человек. Более миллиона японцев старше 90 лет. По прогнозам демографов, в 2050 году треть населения Японии будет старше 65 лет.

Никогда ещё люди не жили в том мире, какой появится на Земле всего лет через сорок. Не жили в мире... стариков! К 2050 году на планете пожилых людей будет больше, чем молодых. Не только властям Японии придётся решать особую демографическую проблему. В Китае, Европе, России и Канаде более трети населения окажется старше шестидесяти лет. «По своему воздействию на общество, на его экономику и политику этот феномен можно сравнить со вспышками чумы в средние века», – говорит немецкий социолог А. Бёрш-Зупан.

Как обслужить общество стариков? Как прокормить армию пожилых людей? Если в Европе широко обсуждают потребности пожилых людей, то в странах третьего мира пока об этом почти никто не думает. Экономика этих стран не поспевает за демографическими изменениями в обществе. «В то время как промышленно развитые страны сперва разбогатели, а потом состарились, в развивающихся странах общество старится, так и не разбогатев», – предупреждает Г. Брундтланд, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения.

В странах третьего мира быть старым значит быть нищим. Здесь пенсионная система чаще всего обеспечивает лишь элиту. Остальным старикам пока помогают лишь дети и внуки. С распадом семейных структур эта социальная система разрушается. Дети едут в города. Старики остаются брошенными в

своих деревнях. Если страны Азии, Латинской Америки и особенно Китай не продумают, как обустроить людям достойную старость, то через 10–15 лет эта проблема станет для них бедствием. К сожалению, сказанное во многом справедливо и для России, где положение одиноких пожилых людей тоже крайне тяжело.

Так меняется мир. Он становится «миром стариков», богатых или нищих (тут уж многое зависит от государственной политики). А молодым дороги постепенно перекрываются. В завтрашнем мире будет всё меньше места для молодёжи. Старики возьмут верх не здоровьем, не умением, а числом. Вот только как обеспечить право на достойную жизнь большинству членов этого геронтократического общества, в котором всё бремя забот ляжет на плечи молодого меньшинства? Да и не превратятся ли многие из тех, кому старанием медиков продлили жизнь, в лишних людей своего времени, не знающих, чем заполнить свою жизнь, и годных лишь на то, чтобы днями напролёт просиживать у телевизора?

Не будут ли эти люди, смешные собственным праправнукам, также мучиться от недоступности смерти, как герои Свифта – струльдбруги, которые со временем перестали даже разговаривать с окружающими их людьми, поскольку язык постоянно меняется, и люди, «родившиеся в одном столетии, с трудом понимают язык людей, родившихся в другом». Где уж тут вечная молодость и красота Дориана Грея?

Остаётся надеяться разве что на биотехнологов, которые, может быть, не только победят раннюю смерть, но и вернут стариков к активной, деятельной жизни.

8720

NOTA BENE

Литературно-публицистический журнал

Главный редактор **Эдуард Кузнецов**
Заместитель редактора **Рафаил Нудельман**
Заведующая редакцией **Елена Вайнштейн**
Корректор **Лена Драгицкая**
Полиграфические услуги **«Клик» (Иерусалим)**

Адрес редакции:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Тел. 02-5325931. Факс 02-5324863

Электронный адрес: omegag@bezeqint.net

OCR Давид Титиевский, апрель 2019 г., Хайфа

NOTA BENE

Literary-Publicistic Magazine

Editor-in-Chief **Eduard Kuznetsov**
Deputy-editor **Rafael Nudelman**
Manager **Lena Wainstein**
Printing-house **«Click» (Jerusalem)**

The Magazine's Address:

POB 45156, Har-Hotsvim, Jerusalem 91450, Israel

Tel: 02-5325931. Fax: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

NOTA BENE

כתב-עת ספרותי פובליציסטי

אדוארד קוזנצ'וב עורך ראשי

רפאל נודלמן סגן העורך

לנה ויינשטיין מנהלת אדמיניסטרטיבית

הדפסה סטודיו "קליק" ירושלים

כתובת:

ת.ד. 45156, הר-חוצבים, ירושלים 91450, ישראל

טל: 02-5325931

פקס: 02-5324863

E-mail: omegag@bezeqint.net

Nota Bene (NB) © Э. Кузнецов



Nota Bene

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Использование материалов журнала без ведома и согласия редакции не разрешается.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Мнение авторов публикаций не обязательно совпадает с мнением редакции. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

6
номеров,
включая
доставку

Журнал
выходит раз
в два месяца

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ*

В Израиле (почтой)	₪ 210
В России (авиапочтой)	\$65
В Европе (авиапочтой)	€ 55
В США (авиапочтой)	\$70

* Цена включает доставку и НДС

Телефон для справок: **02-5325931**

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

В Израиле:	
в магазине	₪ 40
в редакции (вкл. доставку почтой)	₪ 35
В России (авиапочтой)	\$11
В Европе	€ 9
В США	\$12

Желающие оформить подписку могут выслать чек, выписанный на имя компании «Journal Omega», по адресу редакции

Журнал
можно приобрести
в книжных магазинах:

- **Афула:** ● «Арбат», ул. Арлозоров, 13
■ **Ашдод:** ● «Спутник», Мерказ Сити, ул. Ха-Клита, 3/6; Мерказ «Йуд», ул. Ха-Невиим, 7 ■ **Бат-Ям:**
● «Книжный мир», ул. Бальфур, 49 ● «Спутник», ул. Бальфур, 74 ■ **Беэр-Шева:** ● «Радость», ул. Гистадрут, 37
● «Спутник», ул. Яир, 33; ул. Гистадрут, 55/4 ■ **Ганей-Авив:**
● «Спутник», ул. Арбаа Онот, 14 ■ **Герцлия-Питуах:** ● «Меркурий», Каньон Мерказим 2001 (напротив «Моторолы») ■ **Иерусалим:**
● «Золотая карета», ул. Яффо, 129; ул. Агрипас, 3 ● «Гешарим», ул. Агрипас, 10 ● «Аквариум», ул. Бен-Йегуда, 34 ● «Меркурий», ул. Кинг Джордж, 20 (или ул. Элиаш, 6) ● «Спутник», ул. Яффо, 91
■ **Кармиэль:** ● «Альтернатива», ул. Ха-Галиль, 2 ■ **Кфар-Саба:**
● «Арлекин», ул. Вейцман, 72 ● «Спутник», ул. Вейцман, 148 ■ **Нагария:**
● «Альтернатива», ул. Геатон, 2 ■ **Нацрат-Илит:** ● «Арбат», Мерказ Раско ● «Альтернатива», Мерказ Раско ■ **Петах-Тиква:** ● «Пегас», ул. Хаим Озер, 13 ● «Спутник», ул. Хагана, 14 ● «Светлана», ул. Пинскер, 9
■ **Рамат-Ган:** ● «Спутник», ул. Герцль, 67 ■ **Реховот:** ● «Рая», ул. Герцль, 175 ● «Спутник», Пассаж Фарлан, ул. Герцль, 161 ■ **Ришон ле-Цион:** ● «Элла», ул. Ротшильд, 82 ■ **Тель-Авив:** ● «Дон-Кихот», ул. Алленби, 98 ■ **Хайфа:** ● «Дон-Кихот», ул. Герцль, 59
● «Здесь!», ул. Ха-Невиим, 23 ● «Азбука», ул. Хаим, 4
● «Колизей», ул. Ха-Невиим, 24 ● «Улыбка», ул. Халуц, 55
● «Адар», ул. Герцль, 48 ● «Альтернатива», ул. Халуц, 42 ● «Спутник», ул. Ханита, 40 ■ **Холон:**
● «Спутник», Кикар Вейцман, 13

■ **Книжный интернет-магазин:**
www.neshima.com

11-06
40-00